

НОВЫЙ  
МИР

9

---

1935

**Н О В Ы Й**

**М И Р**

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И**

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ**

**Ж У Р Н А Л**

**К Н И Г А**

**Д Е В Я Т А Я**

**С Е Н Т Я Б Р Ъ**

---

**М О С К В А**

**1 . 9 . 3 . 5**



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. — Дорога на Океан, роман. . . . .	5
2. НИК. БРАУН. — Стихи о любимой. . . . .	82
3. ВЛ. ЛИДИН. — Сын, роман, продолжение. . . . .	85
4. Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ. — Два стихотворения. . . . .	109
5. Г. НИКИФОРОВ. — Мастера, роман, конец первой части. . .	110
6. П. НИЗОВОЙ. — Недра, роман, продолжение. . . . .	137
7. МАРК ШЕХТЕР. — Два стихотворения. . . . .	155
8. РАЙСА АЗАРХ. — Пятая армия, роман, конец первой книги. .	157
9. Ш. ГЕРГЕЛЬ. — Гремит барабан, роман, продолжение. . . . .	175
10. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Ленкорань, дорожные записи. . .	200

### **ЗА РУБЕЖОМ:**

11. Международная хроника. . . . .	220
------------------------------------	-----

### **НАУКА И ТЕХНИКА:**

12. В. Е. ЛЬВОВ. — Энгельс и физика. . . . .	226
--	-----

### **ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:**

13. П. РОЖКОВ. — Беспринципная спекуляция под видом критики. .	238
14. А. СТАРЧАКОВ. — По поводу одной теории. . . . .	250
15. И. АНИСИМОВ. — Лирика Верхарна. . . . .	260

### **КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:**

В. КАНТОРОВИЧ. — Л. Никулин, «Стамбул — Анкара — Измир». .	270
--	-----

---

Статформат Б/5 176 × 250.

Уполн. Главл. Б-10943. Тир. 50.600. Об'ем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Сдано в набор 3/IX-35 г.

Подписано к печати 27/IX-35 г. Техн. ред. В. Белокопъ, Зак. 1704.

Тип. им. тов. И. И. Оквордова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

# Дорога на Океан

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

## Курилов разговаривает

Беседа с другом не возвращает молодости. Неверный жар воспоминанья согреет ненадолго, взволнует, выпрямит и утомит. Разговора по душам не выходило. Друг рассказывал только то, что помнил сам Курилов. Он и не умел больше. Это был старый, бывалый вагон, но дизеля и моторы вставили в него, мягкие кресла и шторы на окнах придали ему непривычное благообразие, а пол покрылся мягкой травкой хорошего ковра. В купе, где почти вчера смердели жаркие овчины политработников, сверкало сложенное конвертами прохладное белье. Поколение старело, и вещи торопились изменяться, чтоб не повторять участи людей. Как ни искал Курилов, не осталось и рубца на стене, разорванной снарядом. В этой четырехосной коробке мой герой когда-то мотался по всему юго-востоку, цепляясь в хвосты ленивых тифозных поездов. Но член армейского реввоенсовета назывался теперь начальником политотдела дороги. Судьба опять одела его в кожаное пальто и тесные командирские сапоги. Кольцо замыкалось.

Он достал трубку и пошарил спички. Коробка была пуста. Последнюю сжег диспетчер соседней станции, которого он разнил на предыдущей остановке. С минуту Курилов глядел на свои большие, в жилах, руки. Вдруг он покричал наугад, чтоб дали спички. Секретарь доложил кстати, что партийные руководители собрались у вагона. Курилов

приказал начинать совещание. Семеро вошли, толкаясь в узком проходе. У первого нашлось смелости рапортовать о благополучии Черемшанского района, и Курилов усмехнулся детской легкости, с какою тот соврал. Не отрываясь от бумаг, он махнул рукой. Они сели. Смеркалось, но все успели разглядеть нового начальника. Он был громадный и невеселый; изредка улыбка шевелила седоватые, такие водопадные, усы. Он поднял голову, и все увидели, что не лишены приветливости начальниковы глаза. Догадывались, что он приехал шерстить их, и всем одинаково любопытно стало, с чего он начнет. За месяц пребывания в должности он не мог, конечно, постигнуть сложной путевой грамоты.

Страхи оказывались напрасными. Дело началось с урока политграмоты. Начальник меланхолически спросил о роли коммунистов на любом советском предприятии. Ему хором ответили соответствующий параграф устава. Курилов поинтересовался, хорошо ли задерживать выдачу пайков рабочим, и опять вопрос всем понравился своею исключительною простотой. Алексей Никитич осведомился, есть ли бог. Парторг пушечным голосом объяснил, что бог не существует уже шестнадцать лет: таков был возраст революции. Курилов сдержанно выразил недоумение, каким образом пьяный машинист, на ходу поезда выпавший из будки, остался невредимым. Кто-то засмеялся; случай, действительно, обращал на себя внимание...

Он оказывался совсем милым человеком, этот Курилов; такого удобнее было называть попросту Алешей. Тогда начальник попросил директора паровозоремонтного завода снять калоши: с них текло. С алеющими ушами тот отправился за дверь, в коридорчик.

Курилов заново набил трубку. Синий дым путался в его усах и прорастал во все углы салона. Вопросы стали выскакивать из начальника, как из обоймы. Совещение превратилось в безглый перекрестный заврос, и дисциплинарный устав развернулся одновременно на всех страницах. Лица гостей сделались длинные и скучные. Их было семеро, а он один, но их было меньше, потому что за Куриловым стояла партия. И вдруг все поняли, что простота его — от бешенства. Значит, начальник не зря выгнал двое суток на станции, не принимая никого. Сразу припомнилось, что в Ревизани этот человек, с плечами трузчика и усами Ницше, одного отдал под суд, а троих собственной властью посадил на разные сроки; что в прошлом он — серый армейский солдат, которого эпоха научила быть беспощадным; что сестре его, почти легендарной Клавдии Куриловой, поручена чистка их дороги. Повестка дня неожиданно разрасталась.

— Начальник депо среди вас? — брюзгливо спросил начальник.

— Никак нет. Он уехал в Путью по вопросам снабжения.

— Он знал, что я здесь?

— По линии было известно о вашем прибытии.

— Беспартийный?

— Нет, он член партии.

Курилов взялся за карандаш, пригтовившись записать —:

— Его фамилия?

— Протоклитов.

Заметно удивленный, Курилов раздумчиво вертел карандаш. Должно быть, он понадеялся на память, раз не записал фамилии смельчака. Ждали неожиданной разгадки, но здесь задрезжал звонок. Секретарь Фешкин схватил трубку. Он долго мычал какие-то вопросительные междометия, всунув голову между кабинкой управления и

старомодным ящиком аппарата. Стало очень тихо. Трубка начальника гасла; что-то всхлипывало в ней. Фешкин попросил разрешения доложить, но все уже знали сущность дела. Происшествие случилось на двести первом километре, у раз'езда Сакониха. Шестьдесят шесть вагонов было разбито, из них восемнадцать ушло под откос. Причины крушения, наименование груза и количество жертв остались неизвестны. Успокоительный поезд вышел из Улган-Урмана час назад... Курилов пошел к окну. Оно запотело, семеро надьшали. Он протер стекло взмахом рукава. Лицо его было усталое и хмурое.

Шли ранние осенние сумерки. Мелкий, почти туман, сеялся дождик на путях. Между вагонов бродили тучные куры, подбирая осыпавшееся зерно. Два чумазых, тепло одетых мальчугана, дети депо, играли возле вагонной буксы. Старший объяснял младшему, как надо насыпать туда песок. Даже внешне угадывались в нем незаурядные педагогические способности. Детскими совочками они набирали материал из-под ног и стряхивали в смазочную коробку. Вагон был товарный, с чужой дороги и направлялся в ремонт.

— Фешкин, сколько до Саконихи? — спросил Курилов, и на этот раз дети показали ему дьяволами, загримированными в невинность.

Ему ответили несколько голосов.туда было час с четвертью, если не задержат в Басманове. С этого узла открывалось большое встречное движение. Кроме того, шел хлеб нового урожая. Курилов повторил вслух это могущественное слово.

— Включиться в график... едем! — И посмотрел себе под рукав; было ровно девятнадцать.

И опять, щуря кубанские свои, со смородиной, глаза, Фешкин испросил позволения доложить. Голос его звучал надтреснуто. Моторисса не могла отправляться немедленно. Несмотря на ряд напоминаний, все еще не доставили соляровое масло с базы. Курилов помолчал.

— Хорошо, я поеду на паровозе. Распорядитесь... — Он повернулся на каблучках и удивился, что эти люди еще

здесь. — Ну, все могут уходить. Совещение отменяется. Мысленно обнимаю вас... — И жест его пояснял истинный смысл приветствия.

Он надел пальто. Перекликались маневровые. До контрольного поста было шесть минут ходу. Кочегар раздвинул шуровку, Носовой платок в руках механика казался куском пламени. Плиты под ногами зашевелились. Зеленая семафорная звезда одиноко всплыла над головой. Курилов вышел на переднюю площадку паровоза. Машина набирала скорость, поручни больно колотились в ладонях. Здесь он простоял целый час, наблюдая, как в пучках света вихрится, пополам с дохлыми мошками, встречный мрак. Паровоз стал замедлять ход, и в октаву ему откликнулись осенние леса. Курилов спустился вниз и двинулся прямо на задние сигнальные огни вспомогательного поезда. Оттуда в лицо ему повеяло острым холодком беды.

### Крушение

Было холодно, глухо и печально. За теплушками ремонтной бригады попался первый вывороченный рельс. Отсюда поезд шел прямо по баластному слою, дробя шпалы гребенкой колес.

Кто-то бежал навстречу, размахивая фонарем. То и дело посверкивало в мокром лаке калош. Человек панически спросил, не приехал ли начподор. Курилов назвал себя. Они пошли вместе. Человек оказался начальником местной дистанции. Курилов задал неминуемые вопросы. Была надежда, что движение откроют завтра к полудню. Огромный этот срок определял размеры катастрофы. Выяснилось, что произошел отлом головки рельса. Это была старая, запущенная ветка с рельсами образца девятьсот первого года, с подошвой в сто восемь миллиметров. Начальник дистанции образно прибавил, что это не путь, а исторический памятник. Курилов недобро взглянул на него и промолчал.

Минуту спустя он спросил, давались ли предупреждения поездным бригадам. Сбивчивому ответу соответствовала такая же суматошная жестикуляция. Фонарь стал описывать крайне замысловатые фигуры. Оказалось, что требования

на рабочую силу и ремонтные материалы выполнялись всегда в урезанных количествах. Но начальник дистанции знал, что в его власти было вовсе закрыть движение, и сбился окончательно. Надо было, однако, заполнить чем-нибудь эту зловещую тишину. Итак, санитарный поезд с ранеными ушел полчаса назад. Да, их было не очень много! Впрочем, он воспользовался тем, что Курилов не настаивал на точной цифре. Пассажирских вагонов во всем составе было только четыре; все четыре — облегченного типа, двухосные. Конечно, они вошли друг в дружку, как спичечные коробки...

Курилов сдержанно попросил не размахивать фонарем —

— Вы подшибете меня, гражданин, — сказал он грубовато.

А тот и себя-то еле слышал —

— ...когда мы прибыли сюда, представьте, возле обломков стояла отдельная... вполне отдельная ступня в лапте. Я так удивился, что чуть было не поднял посмотреть. Но самого человека, который к ступне, как ни искали, не нашли...

— Какую вы чепуху плетете!.. — вскользь заметил Курилов.

— Никак нет, товарищ начальник... — Ветер, невидимый ветер, затыкал ему гортань, и вот уже не оставалось сил сопротивляться неминуемому. — Но это означает, что под горами лома могут еще находиться пассажиры!

Несколько шагов они прошли молча.

— Подходящее место для пассажиров... — тихо сказал начподор. — Вы не особенно нужны мне. Ступайте!

Но тот не отставал. Именно теперь страшно было оставить начальника наедине с его мыслями. Курилов почти не слушал, что он там болтал. Скоро они добрались до самого места крушения. Горы путаного железного лома громоздились на насыпи. Мягкие вагонные рамы, сплетенные ужасной силой, служили основанием этого варварского алтаря. Еще дымилась жертва. Тушей громадного животного представлялась нефтяная цистерна, вскинута на его вершину. Судорожные полосы факельного света трепетали в ее маслянистых боках. Навсегда запомнился тупой

обрубок шеи. Орудие убийства было налицо: два кривых рельса уходили в подбрюшье цистерны. Еще капал из раны густой и черный сок. И точно затем, чтоб никто не видел агонии, висела фанерка с запрещением подносить огонь. Курилов подошел ближе. Ищепленная обшивка вагонов щетинилась в нечистом дрожащем сумраке. Все это было скуповато полито ползучим багрцем несчастья.

— Очень хорошо... — прохрипел начподор.

Могучие костры полыхали далеко внизу по сторонам насыпи. Их было много, может быть, семь. Пламя достигало верхнего уровня леса. С обугленных ветвей струились тоненькие ленточки дыма, вышитые искрами. Они долго металась и маялись над головой, прежде чем погаснуть. Эти неповоротливые, равнодушные пламена лишь усиливали ощущение гибели и разрушения. Дальше стало не пройти: опрокинутый вагон перегородивал путь. Курилов спустился вниз, под откос. Сапоги глубоко тонули в сугробах сыпучего, непонятного вещества. Это оно придало такую бугристость очертаниям насыпи и теперь с легким шелестом бежало вниз, к огням.

Стараясь не наступать даже на тень Курилова, начальник дистанции преследовал его сзади —

— ... Обстоятельства крушения представляются в следующем виде. Уклон в этом месте достигает шести тысячных, то-есть шесть метров падения на километр пути. Двадцатисемиминутный перегон машинист проходил с нагоном времени в восемнадцать минут. Шли с толкачом. Выяснено, что опоздание произошло по причине свеклы. Я хочу сказать, — потухшим голосом поправился он, — бригада задержалась в Басманове для покупки двух корзин свеклы, которая в этом районе отличается сахаристостью...

— Допросить старшего кондуктора.

— Никак нет, он убит. Когда мы прибыли, он висел сплюснутый на стопкране. Мы пробовали кувалдами сбить с него тяжесть, чтоб расспросить подробнее, но он... Налитесь, товарищ начальник!

Скрученный рельс торчал на-весу поперек пути. Вагонная дверь в чудесном равновесии покачивалась на нем. Люди молча подлезали снизу. Головоломное сплетенье крыш, осей и швеллерного железа нависало над головой. Курилов расстегнул пальто, ему стало жарко. Отчаянно покричали сверху: «Пырьев и Ефимка на домкраты, остальных давай на канат!» И, точно клапан открыли в тишине, стали слышнее голоса, треск дерева и металлические стуки, но жалобного шелеста под ногами не могли заглушить все остальные громы и шорохи ночи.

— ...в таких условиях следовало давать не более тридцати километров, но, опасаясь помять график своей свеклой, машинист нажал и попал как-раз на то место возле пикетного столбика. Он дал сигнал тормозам и на мосту стал натягивать состав, чтобы с ходу взять под'ем...

— Посветите мне, займитесь делом! — сказал начподор. Этот человек обладал даром быть неприятным.

Нагнувшись, он черпнул ладонью с насыпи. Он испытал при этом ноющую боль в спине: сказывалась поездка на открытой площадке паровоза. Было, однако, не до простуды. Внимание целиком принадлежало горсти этого щекотного, жирного, с таким вкрадчивым шелестом, вещества.

— Что это, зерно?

— Так точно, пшеница.

Она мерно цедилась сквозь пальцы, и горстка убывала на глазах.

— Сколько ее здесь?

— Под хлебным грузом находилось шестьдесят два вагона. Из них разбито... почти все разбиты, — признался он с удалью крайнего отчаянья. — Словом, мы образовали комиссию под моим председательством и постановили... Вы желаете что-то спросить, товарищ начальник?

Курилов поднял голову. Должно быть, это пыль и копоть от часового пребывания на паровозе искажали так его черты. Как судьба, он безотрывно глядел теперь в лицо этого человека, участь которого была ему известна наперед. Начальник дистанции был немо-

лод; липкая, темная прядь волос, подобно следу от топора, пересекала его потный лоб. Глаз его, запавших в глубину, Курилов не разглядел вовсе.

— Дети у вас есть?

Тот по-своему понял вопрос: в его положении хороша была и милостыня.

— Так точно, двое. Кроме того, я плачу алименты... — и взяткой пахла эта непрощенная искренность.

— Повидимому, это вам больше удается!

...Итак, речь шла о хлебе. Это было самое грозное слово тех лет. Политическое значение хлеба давно переросло его товарную ценность. По существу, новая эра начиналась с этого первого социалистического хлеба... Все вокруг было зерно. Одеялом его была укрыта насыпь, и деревья росли на пшеничных холмах. Оно ползло в костры, трещало в них и смрадило. Никто никогда не сеял так щедро. «То-то всколосится по весне!» — глуховато сказали сзади.

Теперь уже не один, а целая свита сопровождала начподора. Как на подбор, вся она состояла из начальников. Рядышком, на правах старшинства, шагал начальник района. Сердито посыпывая, он изредка останавливался высыпать из калаш набившееся зерно... По-солдатски мерил пространство артельный староста, он же начальник ремонтной колонны, монументального строения старик, со смоляной, из-под самых глаз, бородой. Начальник Улган-Урманского депо приехал взглянуть на катастрофу окружного значения. («Ваша фамилия не Протоклитов?» — спросил на всякий случай начподор. — «Никак нет, Кусин!».) Еще какая-то долгополая власть присоединилась к этой беспримерной прогулке. И, наконец, высоко держа факелок, который шипел и ронял капли керосинового огня, лихо завершал шествие детина с самоотверженным лицом, тоже — факелу своему начальник. Так они шли, сопровождаемые пальбой и трескотней огня, когда бросали в него смаху сырые чурки.

Курилов снова нагнулся, и тотчас все повторили его движение.

На сдвинутом рельсе лежала старая сплюснутая железка. Едва зажата под соединительный болт, она прикрывала

отломанную и приложенную на старое место головку рельса. Покрышка едва держалась, не стоило труда оторвать ее напрочь. Начподор приказал произвести промер отлома. Пандырный ноготь артельного старосты вдавился в линейку близ цифры пятнадцать. Он не посмел произнести вслух эту цифру. Тотчас же несколько рук вытолкнули вперед не шибко расторопного, тонкошеего старичка в обтрепанном красноармейском шлеме. Он и не думал бежать, но каждый держал его за какой-нибудь незначительный клочок одежды. Курилов спросил, кто этот, местного масштаба, чудак. Ему дружно гаркнули в самое ухо, что это и есть дорожный мастер, непосредственный хозяин катастрофы.

Запинаясь и заворуженно поглядывая в ордекок, что поблескивал за распахнутым пальто начподора, мужик стал объяснять назначение железки. Это было не его изобретение; как чрезвычайная мера она допускалась и на других линиях, чтобы не задерживать очередного состава; и не его была вина, что здесь это стало обыденным явлением. Курилов вяло усмехнулся этой дурацкой правде, и вдруг все понял его усмешку как одобрение происходящему. Раздались голоса, недружные вначале, что страшного в этой штуке ничего нет, называется бандаж, по-русски — бинт, накладывается под болт, крепится гайкой, а колесо прижимает его при проходе, и все получается хорошо, даже с пользой государству. «Как есть мы бедняковско государство, и должны мы отсоль обходиться по маленькой!» — вскричал тонкошей, и какой-то подвернувшийся мужчина с утиным носом прибавил от себя, что «жизнь ноне производится не в пример слабже супротив прежних времен, а только суеты горазд больше». Тут же выяснилось, что железа на бандажи не хватает, и артельный староста все ведра у бабы своей покрал, все крыши посыпал с битых вагонов, лишь бы не останавливать движения на любимом транспорте.

— Путя шибко плохая! — воодушевленно вскричал тонкошей. — Иной раз рельсу от старости в одиннадцати ме-

стах порвет, пра! Еле поспеваю, дорогой товарищ. Все бегаю да железки накладаю!

— Вы, что же, спринтер, что ли?... все бегаега, — полюбобьгтствовал начальник района.

— Не, я из-под Житомира, беженец. У меня и семейство тут...

Жертва была найдена. Потянулись взглянуть на нее в последний раз перед тем, как отдадут ее прокурорам. Факельщик поближе поднес огонек. Желтое пламя озарило пухлые конопатые щеки, как бы облепленные тополевым пухом. В бедных варварских лаптях, с клоком ваты на плече драной кацавейки, мужик глядел напуганно, но улыбался, улыбался всем.

— ...и надолго такого бандажа хватает? — вялыми губами спросил Курилов.

И опять начальник дистанции скрипнул калошами и тряхнул головой—:

— Разрешите доложить. Трехмиллиметровое железо пропускает восемнадцать составов. Я проверял лично...

Начподор вздрогнул и брезгливо качнул головой. Итак, преступление опиралось здесь на научное исследование. Точность его гарантировал инженерский значок на фуражке путейца.

— Я вас выпущу из своих рук только под суд... — сказал начподор, глядя на эти новенькие, как бы гардюющие перед ним, калоши. Ему все еще было жарко, но он не понял и стал застегивать пальто; пальцы срывались с петель. — Бесстыдник вы...

Он заторопился из этой человеческой ямы. Начальников кругом поубавилось. И тотчас же веселее стало глазу. Сотни лобких и безотличных людей сновали между обломков, и как будто целый заводской цех приехал сюда в полном составе. Клеток дорожных кирок, плакучий визг домкратов... даже их нехватало преодолеть давешнего шелеста под ногами! Внизу, мимо костров, вереницами шли с ведрами колхозные бабы. Они черпали зерно и ссыпали его во временные бунты. Сам председатель управлял людским потоком, и по лицу его, напряженному и багровому от огня,

проходили тени этих пятисот мужиков. Подгонять их не приходилось, потому что им понятнее всех была истинная цена хлеба. Так они спасали зерно.

Иногда лихой гортанный крик раздавался сверху: «Давай на канат!» И потом щекастый паренек, уткнув в бока ручки, зачинал длинную и не очень сложную песню. В ней было и про то, как «совещку власть спасали меленковски кулаки», и про то, как собственную милку его посватал «черноусый раскоряка, из Сарпула купец». Никто не смеялся, хотя все знали, что это очень смешно. Он вертел головой при этом, чтобы песни хватило на всех, и пламя факела трепетало от пронзительности его голоса. Мужики внизу слушали его в почтительном и сумеречном молчании. Затем следовал одинокий вскрик, тяжелая вагонная рама вставала на дыбы и сразу, кромсая дерн, брызгаясь землей, теряя окна и двери, рушилась под откос. Так они чистили путь.

Курилов шел дальше. Лесная тишина густела. Начальники отстали.

### Человек на мосту

Действовал закон дорожных катастроф. Площадь крушения была обратно пропорциональна его размаху. Всего на протяжении восьмидесяти метров срезало и раскидало путь. Тотчас за поворотом начиналась непролутая трасса. Изредка чиркая спичку, Курилов взглядывал под ноги себе. Качество пути всюду было одинаковое. Еще один, вроде давешнего, бандажик попался ему по дороге. Он сложил его вчетверо, как бумагу, и спрятал в карман, чтоб показать в наркомате. Одурающе пахло острым, после первого заморозка, листовым тленом. Табор, суматоха, длинные огни ада — все оставалось позади. Сюда не достигал тревожный холодок несчастья. Все спало, даже ветер.

Курилов много думал об этих людях, потому что глядел на них не из вчерашнего дня, а из завтрашнего. За последний месяц перед ним прошли сотни людей: стрелочники, кондуктора, инженеры, ревизоры движения и пути. Все соревновались на показатели лучшей работы, все

состояли членами всяких добровольных обществ, все до изнеможенья выступали на совещаниях, все повторяли то же самое, что говорил и он. Здания станций, столовых, управлений, даже диспетчерских кабинетов были утеплены стенгазетами, профсоюзными объявлениями, лозунгами, плакатами и еще множеством серого цвета бумажек, на которых было написано что-то, мелко, торопливо и плохим карандашом. Но качество перевозок оставалось прежним, и катастрофы время от времени напоминали массовые древние жертвоприношения. Партия ждала ответа от него, Курилов пока молчал. Он еще не знал... Боль в пояснице мешала ему сосредоточиться. Просунув руку под пальто, он тер кулаком простуженное место; боль унималась, он шел дальше.

Влажным знобом потянуло в лицо. Впроеме леса объявились пустынная река и мост на ней. Пространство расширилось, и, хотя накрапывало временами, колдовски светилась западная окраина неба. Очень далеко горела деревня. Зареве состояло из тусклых желтых воланов, как рисуют зарю на трактирных картинах. На мосту чернел плотный и невысокий силуэт человека. Опершись локтями в перила, он глядел в стылую предзимнюю реку. Она была омутиста и ленива; только у деревянных быков, у самой их пяты, вздувались лиловые горбыли воды. Курилов неслышно подошел сзади. И хотя сердце всегда учует прежде, чем увидят глаза, человек не обернулся.

— На мосту запрещено стоять посторонним, — сказал Курилов.

Человек вздрогнул, обернулся, и тело его мгновенно подалось назад, на железо. Они узнали друг друга с первого взгляда. «Здорово, президент республик!» — чуть не выговорилось у Курилова. Встреча была неожиданная для обоих. Но и вся эта ночь полна была необыкновенностей. Она началась с имени Протоклитова, с подыхающей цистерны, с расточительных россыпей зерна, и до конца ее было еще далеко. Сама природа события, ради которого попал сюда Курилов, неузнаваемо искажала действительность.

— А я обходчик тут, — тихо сказал человек и немножко выпрямился. — Тут и вся служба моя.

— Обходчик, значит, твое дело ходить, стеречь, наблюдать порядок. Слышал, что у тебя случилось? — и кивнул в сторону, откуда пришел.

Человек сказал спокойно:

— Тот участок не мой. Взаимного отношения не имеем.

— Да... но и у тебя эти штуки есть! — Он вынул из кармана давшуюся железку. — Это я у тебя снял. А за такую вещь и расстрелять можно...

Тот принял улику из рук Курилова, погнул в одну и другую сторону; ржавая, она подавалась даже без металлического хруста. Усмехаясь, он вернул ее.

— Плохая!.. А расстрелять всегда можно. Все под этим ветром ходим. Навыкли...

Дерзость была острая, она пахла намеком, но не стоило обижаться до срока, пока не выяснены будут правила начавшейся игры.

— Говоришь ты чудно. К слову, как зовут-то тебя?

— Меня? — Он погладил мокрое железо перил. — Я Хожаткин. Родион Хожаткин, вот кто я.

Он солгал без запинки и с тем большей легкостью, что Курилову незачем было уличать его. Сомнений не оставалось. Настоящей фамилии этого человека, знаменитой на Каме, нельзя было забыть. Да и слишком памятна была эта громадная, черноволосая олофернова голова на широком, коренастом торсе. Помнилось также, что Павел Степанович Омеличев не имел живых братьев; старший умер во время войны, и похороны его запечатлелись в памяти провинциального городка, как образец неуклюжего купеческого тщеславия. Была, значит, какая-то причина Омеличеву стать Хожаткиным. Может быть, стыдился нынешнего непотребства своего и нарочно прятался в новое, фонетической отвратности полное, имя.

По фамилии была и внешность: грязная, стеганая, на вате, куртка и пролысый, как бы истоптанный, треушок. По громадности его чурковатых ног, по веревочным колтунам на них Курилов по-

нял, что они обуты в лапти. Словом, перед Куриловым стоял битого вида мужичок, который от беспокойств тогдашней крестьянской жизни продал бедную свою лапотинку и веселое ремесло променял на одинокую, отшельническую должность. Все, включая и напевную, окающую речь его, было сработано искусно, продумано и слажено без единой щелки. Был вполне достаточен для этого сорокдвухлетний срок.

Поздороваться ему с бывлым знакомцем значило бы признаваться в падении и проигрыше, соглашаться на превосходство Курилова, которого выдвигал в иной, посмешнее, форме и однажды почти держал в руках; протянуть ему руку — не означало ли заискивать в куриловском снисхождении или, что еще поганее, как бы напоминать про уплату старого долга. Все это понимал и Курилов и оттого решил держаться принятого тона.

— Что же, на пожар любишься, Хожаткин?

Зарево выдувалось вправо; должно быть, свежей пицци подвалил ему ветерок.

— Вот, гляжу: пожар, суета, небось, бабы стонут, коровы мычат, ребятишки пугстыми глазами смотрят. А до меня уж не доходит: дальность. Вспоминанье одно: почадит и заглохнет! У самого также все погорело. Так и живу, как Ефрем Сирин, с дыркой посередине души. И даже сам не знаешь, чего в тебе больше — дырки аль души. А только с той поры тянет меня на огонь, как на водку...

— И большой дом был у тебя, Хожаткин? — раскуривая трубку, спросил Курилов. Обширные палаты Омеличева, венац творения прикамских зодчих, где впоследствии помещалась Чека, были ему хорошо известны, да не о тех палатах шла речь.

Огонь пятнисто осветил лицо этого человека. Нет, это был не прежний Омеличев, цыганской масти и русской закваски. Этот выглядел много старше, а между тем были они с Куриловым почти однолетки. В бровях, одна ниже другой, серебрились волоски; глаза западали вглубь, ближе к разуму, и мудрость их стала плачевна. Росла полукруглыми клочковатая борода, делавшая его

похожим на сыча. Но меховой козырек треушка не прикрывал высокого, пазухами вперед, лба. Соколенок улетел, цыган улетучился, а злой и горький ум остался... Курилов разжигал свою трубку несоразмерно долго.

— Уж ладно, погляделся и хватит! Туши свою спичку, пальцы сожжешь, — глухо заметил Хожаткин, отворачиваясь. — Ты про дом спросил. Дом мой был хороший дом, сколько добра накоплено было!

— Жалешь?

— А нет. С непривычки-то перво время и холодно, и стыдно, и боязно было по канавкам скитаться, а потом обошлось. Папаня говаривал: огонь — божья ласка. Он слабже не умеет приветить, бог-то!

— Один здесь живешь?

— ...как перст. Все обрубали. Культовый я, милый гражданин...

— Фрося-то жива? — неожиданно для себя спросил Курилов.

Хожаткин досадливо закусил губу —

— А не знаю. Семь лет — сроку много.

Они замолчали, оба недовольные случившейся обмолвкой. Тут собака подбежала, тощая, как бы в лохмотьях, собака нищего. Она обнюхала куриловские сапоги; запах был привычный, лежалого железа и мазута. Легонько, без обиды, Хожаткин толкнул ее ногой. Она села и уставилась туда же, на зарево. Взгляд ее был дурен и печален. Всякому свое: на пожаре могли оказаться и собаки.

— Пес твой?

— А мой. Егоркой звать. В мороз подобрал, собачью дружбу легко купить. Вот окривел намедни, мальчишки выхлестнули. Известно, дети!.. — Он потрепал по шее пса, Егорка лизнул руку, угадывая мысль хозяина. — Я сюда, на мост, кажную ночь хожу, как в клуб. — Человек там поет, на реке. Иногда час попоет от полуночи, иногда более. Тут, ведь, лес, поселенья нет. — И с вызовом махнул на круглое, косматое, пустое пространство впереди.

— Рыбак, что ли?

— А не знаю. Может, святой, а может, просто так, коней караулит. А мо-

жет, тоже Ефрем Сирий. Их ноне табуны развелись. Знаешь, даже мудрый, даже в уединении ищет эха, чтоб поделиться с ним. Иные львов заводили при себе, либо змею, либо птаху какую, а этот с песней тешится. Голос не старый, и слово неразборчиво, а поет нежно и с понятием звука...

Курилов слушал, покачивал головой, не умея добраться до смысла хожаткинских намеков.

— Спустился бы узнать, что за человек. Может, без документов? Ты — обходчик. — Он нарочно огрублял свою мысль, чтоб вызвать его на ссору, потому что в ссоре открывает человек свое лицо.

Но уже и теперь не выдерживал Хожаткин взятого тона: мужики так не говорят.

— Песне документа не нужно. Она сама по себе. Да и поет он про себя, а я вроде вора пользуюсь. Коли не торопишься, пожди малость, скоро запоет. Занятно бывает: чужую песню слушать — точно на звезды смотреть...

— Нет, мне уж пора, Хожаткин. Ты проводи меня до поворота.

Тот неохотно оторвался от перил —:

— Что ж, мы с ним ходить легкие. Двинули, Егорушко?

Все трое они тронулись в одну шеренгу. И опять не давались им слова. Хожаткин прятался. Скоро, учуяв поживу, собака метнулась под откос. И верно, мгновение спустя, послышался тяжелый плеск птичьих крыл. Опять сорвалось собачье счастье. Слышно было, как, отчаявшись в удаче, лакал Егор воду из канавы.

— Ты на будущее время святым-то не особо верь, Хожаткин. Осмотри молодца, паспорт спроси... они такие! Как на людях стыдно, так к богу за пазуху прятались! — снова начинал и начинал Курилов. — А что про крушение думаешь?

— Тебе виднее, ты сверху приставлен, — уклонился тот. — Тебе виднее, причина родит людей аль люди причину.

— Притча! Я знаю, ты скажешь: рельсов нет, рабсилы нехватает. Но ведь здесь временную заминку в закон си-

стемы возводят. Неверно, мы богаты, Хожаткин.

— Это правильно. Через всеобщую нищату ко всеобщему богатству!

— Опять притча, — сердился Курилов, хотя и понимал, к чему он клонит. — А почему предупреждений бригадам не выдавали?

— А что ж их давать? Ездить-то надо! Смотри, сколько грузов-то навалили. В былое время, как я сюда определился, начальник станции с семейством на паровозе за грибами ездил. Самовар поставят в лесу, детишки перепелок гоняют, а кучер тем временем выспится на тендере...

— Значит, признаешь, что выросли от той поры? — Ис этого места возобновлялся старый разговор, прерванный когда-то на одном купеческом чердаке.

— Мы не говорим, что развития нонче нет. Оно есть. Нам державы удивляются, и так ли еще впредь удивятся! Содрогнутся однажды державы и головами покачают, которы уцелеют. А только... — Он шел, грузно переваливаясь, почти как его пароходы когда-то с хлебными баржами позади. Он шел-шел и тихо засмеялся вдруг. — У нас тут очень смешно вышло. Барышня одна, така жулябия, завмагу за головку сыра отдалась. Шуму что было! Завмага вон, магазину ревизия (свиной головы не досчитались да маргариту пуд!), правление в газетах раскровянили. А дело-то не в завмаге, а в барышне. Завмаг, вишь, кривой, вроде моего Егорки. На него глядеть-то — в горле першит. А при барышне ейная мама да меньшей брат. Хотя не жаль, барышня-то из поповен, чего ее жалеть! Наш папаня, бывало, говорил: «Не каждой маме дорога кровь чужого сына». Оно и наоборот справедливо... Очень интересное заседание получилось, я был там.

Все это казалось непостижимым. Человек этот даже если и не читал газет с приказом о назначении Курилова, мог легко догадаться о его должности по форменной фуражке, по звездочкам на выпушке воротника. Он не был пьян, — значит, он просто не дорожил своим местом? Видимо, гоненья и ненастная, скитальческая судьба не отбили преж-

ней дерзости у этого человека? Подобно коршуну, он вился над падалью великих боев и как бы пригласил и Курилова нюхнуть от этого страшного места. Все его речи были только нагнотом на старой ране.

— Давно на дороге?

— Двадцать шестой год.

— В профсоюзе состоишь?

— Плачу.

— А ты еще злей стал, Павел Степаныч!

Тот отпрянул, Курилов смешил карты игры. Отшельник поторопился отыскать себе эхо и теперь раскаивался.

— Ты меня спрашивал, я отвечал, начальник. Ты бы мне подмигнул, я тебе по-твоему отвечать стал бы. Ну, отпусти меня теперь. Мой участок досюда. Позвал бы в гости, да табуретка у меня одна. Кому-нибудь на полу сидеть, а ты, ведь, не сядешь. Да и неловко тебе со мною. Могут стукануть и тебя... — И он сдернул треушок на прощанье.

Нужно было знать многое из их прежних отношений, чтоб не дивиться сумасшедшей проникновенности беседы. Курилов молча пошел вперед. Через несколько шагов он оглянулся. В темноте еще угадывался без шапки Хожаткин. В дымке осенней ночи мерцал его лоб. И еще слышно было, как чесалась собака: донимали ее клещи.

### В погость втягивается Аркадий Гермогенович

Из-за поворота показался костер. В него только-что свалили вагонную раму. Целые копы искр метнулись с раздавленных головней. Мимо раздробленного железного хлама, мимо озер зерна, мимо телефонистов, которые пристроились тут же, на брезентах, закинув свои шести на провода, Курилов шел дальше. Гудели зуммера, трещал огонь, как подкидывали им свежих поленьев. У громоздкого, окосолапавшего существа, носившего имя 509-А, Курилов остановился, и тотчас же его окружили начальники. Кучка людей сутилась возле паровоза. Воздетый на домкраты, он беспомощно, выбитым зраком, глядел вперед себя. Штук тридцать шпальни-

ка, который он сгреб, зарываясь в землю, беспорядочным штабелем преградили ему путь. Что-то еще дымилось в нем: парил неостывший котел. Все его умные геометрические сухожилья были в песке. Передний поршневой шток согнулся. Самую коробку правого поршня отвалило ударом в сторону. Оторванное колесо передней тележки валялось тут же. В свежем стальном изломе бродили крупчатые искры. Под брюхом котла, лежа на спинах в песчаной яме, молчаливо работали люди. Свежий, еще ржавый рельс они старались подпихнуть под скаты.

— Осторожнее, не зашибись!

— Не вперво-ой..

Сопровождаемый начальниками, Курилов спустился вниз, к пассажирским вагонам. Четыре плацкартных, двухосных, они были завалены битым порожняком, опутаны травой, облеплены глиной, с дырявыми пролежнями в боках. Колеса полнолуниями круглились над головой. Из одного окна, чудом просунувшись через оба стекла, росла ободранная березка. Рядом, на отвалившейся стенке, стыла черная, с лаковым отблеском, лужица. Факел отразился в ней круглым, во много колец, бликом.

— Кровь, что ли? — вяло спросил начподор.

— Не, его мазут. — Факельщик коснулся пальцем и, суеверно отдернувшись, вытер о траву. — Вот, начальства ждут, а вытереть не догадались, дьяволы!

В застывшую лужицу упала огненная капля, поворчала и загасла. Кто-то коснулся куриловского локтя. Он обернулся не сразу. Может быть, Омеличев вернулся досказать при людях то, чего не посмел наедине? Приятно было вдвойне, что он ошибся.

Это был маленький, старомодного вида и эконоец обезумевший старичок. Широкополая шляпа сбилась на затылок, мелькали полы его громадного брезентового плаща, рябило в глазах от его рук, которых, казалось, было вчетверо больше против обычного. Качалась его голова, и тряслись безволосые щеки. Он походил на волчок, запущенный в неистовое вращенье. Не сводя глаз с высо-

кого начальника, не в силах выкрикнуть и междометия, старик суматошливо шарил у себя по карманам. Прекратив работу, люди с угрюмым вниманием наблюдали эту истерику. Что-то передавалось и им; всем становилось одинаково тошно и как-то зыбко под ногами. Это был пассажир с разбитого поезда. Кто-то шепнул на ухо начподору, что старик два часа высидел среди обломков, прежде чем прорубили пол и извлекли его сверху.

— Уберите его отсюда, — приказал один из начальников и выбрался. — Суньте его в теплушку...

Уже протянулись решительные руки, но тут личико старика прояснело и оживилось. Он сорвал с себя шляпу и молниеносно завертел в пальцах. Похоже было, что самая участь его решалась в эту минуту. Он воскрикнул, и на лицах у всех множественно отразилась его улыбка. Утраченная вещь была на своем месте, под ветхой лентой шляпы.

— О, мне всегда везло! — И рванулся вперед, на Курилова. (Кто-то благо-разумно и во-время подхватил небольшой, в наволочке, узелок, выпавший из его рук.) — Мне нечего роптать на судьбу! Знаете... знаете, я даже мух ловлю без промаха. И я сразу догадался о вас. Начальника, э, легко узнать во все века по тому флюиду беспокойства и подчинения, который он распространяет вокруг себя. Я заметил вас издали, когда еще...

— Не шумите, а то я прикажу удалить вас отсюда, — вразумительно заметил Курилов, потому что этот пронзительный голос даже приостанавливал работы. — Что вам надо от меня?

Старик смутился. Провидение на этот раз принимало слишком суровую осанку.

— Вот, — сказал он потерянно, протягивая крохотный кусочек картона. — Возьмите! Моя фамилия Похвиснев. Был сенатор Похвиснев, который в наше время судил еще Нечаева, но я...

— Дайте сюда.

То был плацкартный билет на проезд от Москвы до станции Черемшанск. Билет выглядел вполне законно: стоял порядковый номер, и была выбита дата продажи. Это об'ясняло, каким способом

Похвиснев попал сюда сквозь расставленную всюду охрану. Курилов вернул ему эту неоспоримую декларацию пассажирских прав.

— Нет, — сказал сухо Курилов. — Я не смогу вас взять с собою. Я приехал сюда на паровозе. — Он мог бы прибавить также, что моторисса политотдела не предназначена для перевозки пострадавших.

... Он возвращался мимо людей, которые все еще кричали, гипнотически заряжая друг друга бодростью и ожесточением. По дороге он встретил Фешкина; соляровое масло доставили, наконец. Обрадованный встречей с начальником, секретарь стал докладывать сводку о суточной работе дороги. Не дослушав, Курилов повернул вспять: он изменил намерения относительно давешнего старика. Похвиснев находился на том же месте, с прижатым к груди узелком, похожий на провинившегося школьника. Более оскорбленный, чем поврежденный своим несчастьем, он все еще улыбался. Какой-то жалостливый слесарь с куском тормозной кишки в руках толковал ему сбоку, что, ежели он заявление в дирекцию сопроводит надлежащими удостовереньями, ему, без сомнения, возвратят затраченную на билет сумму.

— Идемте, — сказал Курилов, беря старика за рукав. — Моя моторисса, кажется, прибыла.

Тот повиновался; и это выражение испуга и потерянности он сохранял все то время, какое провел в вагоне начподора. Фешкин, обязанности секретаря совмещавший с комендантскими, отвел ему свободное купе. С тем же страхом и ожиданием еще больших бед старик присел на плюшевое сиденье. «Металла не люблю...» — бормотал он на разные лады, но в его положении это была естественная реакция на пережитое. Он уже не слышал, как заходили в вагон начальники, как приводили под конвоем обожженного и напрасно арестованного машиниста, как дал ему стакан водки и яблоко Курилов и как в сопровождении той же охраны ушел начальник дистанции. Когда, перед рассветом, Курилов зашел в купе, старик спал.

Седой и не очень жалкий, он спал си-

дя. Щеки его, с младенчески розовой кожей, лежали складочками на грубом воротнике плаща. Он напоминал что-то ботаническое, бестелесное, из семейства тайнобрачных, и в каких-то поворотах, наверно, даже просвечивал насквозь. Представлялось сущим издевательством всадить это хрупкое растение в брезентовый, на кокосовых пуговицах, балахон.

Он вскочил и, оглядевшись, мгновенно припомнил все события протекших суток. Брови его нахмурились; он склонил голову на бочок, прислушиваясь. Под ногами глухо гудели моторы.

— Что это, мы едем? — высокомерно удивился он.

— Сидите, сидите... — ободрил его Курилов. — Мы трогаемся через две минуты.

Гражданин Похвиснев прищурил глаза, и нижняя губка его отпала вниз от негодования:

— Вы, кажется, решили захватить меня, э, с собой... как трофей ваших преуспеяний?

— Но вы же сами просили меня довести вас до Черемшанска!..

— Простите, вы не давали мне досказать. Вы даже пригрозили скрутить мне руки. Я имел в виду выразить вам протест по поводу порядков на вашей дороге. Э, ваши пассажиры приезжают домой далеко не в полном виде... Э, их доставляют по частям! Это и называется мокрое дело. Но там сперва убивают, а потом берут деньги, а у вас наоборот! — Он схватился за шляпу и сделал паузу, чтобы сарказм его проник до самых недр ошеломленного начальника. — Нет, я не могу... я не рискую продолжать с вами путешествие. Когда-нибудь попозже, в урне... э, с удовольствием. Ну-ка, пропустите меня!..

И как-то по-якобински, ядовито и набекрень нахлобучив шляпу, он прошел мимо Курилова. Тому оставалось только посторониться. Хлопнула наружная дверь. Курилов бросился к заднему окну и поднял шторку. Светало. Небо подчистили и подмели. Звезды гасли; заглатывало их зеленоватое, безветренное утро. Мятое, непроспавшееся облако подымалось на восходе. На рельсах лежал

иней... Путаясь в полах своего брезента, старик уходил по шпалам. Время от времени он обеими руками поправлял шляпу, чтоб не свалилась. Походка его была почти величава. Вероятно, он подзревал, что сзади наблюдают за ним. Узелка при нем не было.

— Вот гусак, — усмехнулся сам себе Курилов. — Занозистый какой...

У окна он задержался до первого солнечного луча. Осень выдалась в том году рыжая и неистовая. Местность была красива.

### Курилов и его спутники в жизни

Алексей Никитич вообще не одобрял железной дороги. Было смешно знать, что весь путь от океана до океана выложен деревянными плахами, а на них нашиты десятиметровые стальные полосы дорогой и вычурной прокатки. Самый паровоз, невыгодная, паразитическая машина, казался ему более острым и метким символом капиталистической системы, чем марксова водяная мельница. В мыслях он видел эту дорогу иною: ее служащие говорили на десятке непохожих наречий, ее шпалы были из многих и различных сортов дерева, и еще снегоочистители ползали по ее северным путям, когда на южном, конечном ее пункте распускались стройные хамедореи. Человеку своего времени, Курилову всегда хотелось овесть ту далекую путеводную точку, куда двигалась его партия. Это был единственный способ куриловского отдыха. Разумеется, он мог предаваться фантазиям лишь в тесных пределах книг, на которые время удавалось украсть у сна или работы. И этот воображаемый мир, более материальный и соответствующий человеческим потребностям, чем христианский рай, увенчивался в его догадках пределом знания — неумиранием. Как и большинство его современников, он пугался мысли, что ему не придется держать в руках зрелых плодов дерева, которое, вот, уже росло, ветвилось и могучими корнями распирало землю. Он не боялся смерти, он только не хотел ее.

Мысли о смерти — это было не куриловского порядка. Солдат, прудыривлен-

ный столько раз и вдобавок опробованный революцией, он имел право усмеяться над чужими страхами. Тот возраст, когда разум впервые сталкивается с мыслью о неизбежном, застал его на фронте. Ему минуло едва тридцать, и только-что удалось ускользнуть от полевого суда. Он был молод, драчлив и здоров, — условие самое главное для плодотворности такого рода размышлений. Кроме того, вокруг него так много и разнообразно умирали, что притуплялось то недоверчивое удивление, с которого начинается всякое исследование... Однако, в последние месяцы ему довелось наблюдать умирание совсем вблизи, и это происходило не посреди истоптанного военного поля, где самый страх тушился неодолимым вихрем гибели и уничтоженья. На этот раз опыт был обставлен с лабораторной тщательностью. Больница предназначалась для ответственных работников. Модернизованные цветочки типа лакфиоли были нарисованы на матовой охровой панели. По желанию включалось радио, и долгие больничные сумерки насыщались мелодиями, блаженными, как сновидение. Профессора приходили, как маги, рассыпая дары надежд, мудрой горечи или примиренья. Самая смерть в этом убежище несчастных представлялась таинственным медицинским средством, необходимым для последнего исцеления.

Дважды в декаду, а вначале даже и чаще, Курилов навещал это место. Стояли две кровати; вторая до самого конца оставалась незанятой. На ближней к окну лежала востроносенькая, никогда ни судьбой, ни мужем не балованная женщина. Она конфузилась перед сиделкой посещений Курилова; больше всего она боялась, что ее заподозрят в чувствительности. И, пока он сидел, рассказывал о новостях, ей доступных (—и никогда во всю совместную жизнь они не узнали так много друг о друге! —), она поминутно напоминала ему то о заседании, которого не вправе был избежать, то высылала покурить на лестницу; трубка была его второй привязанностью. И он шел, солидно поглаживая усы и по-мужски умиляясь щедрости этого дара. Он преувеличивал расточительность

катеринкиной доброты, потому что лишь в этом и мог проявить свое эгоистическое великодушие.

Подробности этого процесса, продленные во времени, представляли как бы под лупой. Уже уйдя с работы, Катеринка отказалась ехать на юг. Все сидела у окна с гитарой, подергивая струну. И крепко вошла в память Курилову эта сухонькая ручка на звонкой деревянной деке... Сюда Курилов перевез жену еще весной, когда чахоточным всегда становится хуже. Шел лед. И Катеринка все просила, чтоб он повез ее в машине поглядеть на эти грязные, уплывающие льдины. Они становились все синее (нет — голубее, прозрачнее!), приближаясь к родному морю. Он ее не понял и последнее желанье принял за блажь... В каждое посещение он заставлял Катеринку иной, чем была прежде. Чужали и западали глаза, углублялась землистая морщинка меж бровей: днем и ночью трудились над нею непонятные ему силы. И, наконец, убавлялось чего-то понемножку в катеринкиных руках. Он не спрашивал о здоровье, а лишь следил за торопливым биеньем ее пальцев. О, в эту пору целую дорогу, с вокзалами, станциями и разездами, можно было поместить в тесное пространство между ними. Они стояли на разных ее концах, и голос одного почти не достигал другого. Все тягостнее становилось бывать здесь. Процесс как будто остановился. Казалось, еще немного, и доктора перетянут в свою сторону. Курилов стал пропускать дни посещений; он засиживался на работе.

Тогда были хлопотливые дни организации политотдела. Нехватало ни людей, ни необходимых знаний. Еще не умея разобраться толком, в какой логической последовательности железо, уголь, люди и вода образуют этот высший тип инженерного хозяйства, вдобавок раскинутого на тысячу километров, он уже отвечал перед страной за показатели дорожной работы. Нехватало дней, и он тратил ночи, точно владел неисчислимым количеством их... После трехнедельного отсутствия, перед самым выездом на линию, он заехал в больницу. Впервые он приходил сюда в железнодорож-

ной форме. Шитая без примерки суконная гимнастерка сидела на нем мешковато, но — «Какой ты нарядный нынче, весь в черном!» — шепнула Катеринка. Ей захотелось коснуться звездочек на его воротнике, но Курилов сидел неподвижно, напуганный этой непривычной нежностью. Ее рука не дотянулась и упала. Вдруг Катеринка круто откинула голову и спрятала свои виноватые руки под одеяло. «Эх, Алешка, Алешка...» — сказала она еще, но уже так тихо, что он догадался о смысле лишь по движению ее губ. И такая знойная лучезарность была в ее взгляде, что он испытал почти смещение. А он-то полагал, что это происходит незаметно, как неслышно задергивают оконную занавеску, чтобы не будить задремавшего ребенка... Слова эти, самая интонация их, звучали в нем весь вечер, пока сидел в своем политотдельском кабинете. Работа не ладилась.

Он натуго набил трубку, сгреб в портфель бумаги, пересыпанные табаком, и раскрыл окно. Дерево стояло невдалеке, гривастое, в растрескавшихся пробковых доспехах — совсем Руслан, скинувший с себя шлем. На кудрявой лиственной кроне маслянисто лежал лунный свет. (Политотдел помещался во втором этаже.) Две тени, тесно прикипшие одна к другой, несколько утолщали самую тень дерева. Это не были воры, и легко было догадаться, что более тонкая из них принадлежала девушке. Они шептались; глупые, растерянные слова, при помощи которых влюбленные ощупывают друг друга, как слепцы! И хотя все это были пустяки, недостойные серьезного человека, Курилов бессознательно спрятал трубку в карман (снизу могли заметить ее вспышки) и принялся к работе у окна. Дверь в кабинет оставалась незапертой, и он все время думал о ней.

Повесть была в самом начале; они еще не смели обниматься:

— ... ты боишься?

— Да.

— Меня боишься?

— Себя... нас обоих.

Иногда набегал ветерок, и лунный свет проливался глубже. Толстый сук над головами их казался змием священ-

ной древности. Шепот сливался с шелестом листвы, и самая парочка становилась листком, гонимым неизбежностью через мир. И снова философ с неподкупным и ревнивым лицом цензора прислушивался, как в материи происходит таинственное обращение соков... В этом месте хорошо бы свистнуть, вложив пальцы в рот, что однажды и проделал господь бог над двумя такими же организмами. Повторилось бы знаменитое изгнание, погасло бы очарование сада, и не они, а сам Курилов стал бы беднее. Пробуждалось любопытство к чему-то, никогда им неизведанному. С Катеринкой у него всегда были отношения только честной и трезвой дружбы. Тихонько притворив окно, он вышел из комнаты.

Было поздно. За столом Фешкина сидела неизвестная девица. Она листала старые папки и делала выписки на длинную полосу бумаги. Нет, она не походила на того инструктора, что отправлялась с ним в поездку; у той нос был мясистее и какой-то точковатый. Курилов постоял, покусал усы. Ему пришлось в голову, что это и есть новое, социалистическое отношение к труду: никто не заставлял девицу оставаться на работе до ночи. Неожиданно для себя Курилов предложил отвезти ее домой. Она благодарно согласилась. Трамвай уже не ходил, а утром в учреждении выдавали картошку; не случись Курилова, ей пришлось бы собственными силами волочить мешок к себе на окраину. В машине он спросил ее, не ударница ли. Она застенчиво объявила, что, работая в пропагандистской группе, скитается по должности из города в город, куда пошлют, разъясняет массам художественную литературу, кино, а также пение. «У меня есть подобранные работы, которые производят колоссальное впечатление на слушателей». Ее огорчало только, что авторские построенья редко сходятся с политической схемой. Она привела в пример Джованиоли, Спартак которого, вождь восстающих рабов, на поверку оказывается князем.

— Жизнь сложнее всяких схем! И посмотрите, какие громадные механизмы созданы природой, чтоб приводить в движение совсем простые вещи, — по-

учительно заметил Курилов, думая о давешней парочке за окном.

— Я понимаю, что жизнь. Вот от нее-то иногда прямо хоть в бутылку лезь! — с досадой призналась она.

Он улыбался наивности ее сообщений. И хотя своих детей никогда у него не было, детей он любил и с ребятами сходился быстро. Она осторожно поинтересовалась, не знаком ли он с Джованиоли. При своем высоком положении Курилов мог одним духом узнать из первоисточника о замыслах автора. (Ее уважение к начальнику политического отдела дороги достигало уверенности, что все судьбы мира решаются в его служебном кабинете.) Алексей Никитич отвечал, что нет, с Джованиоли он не знаком... Кстати, они приехали. Курилов помог ей взвалить на спину рогожный мешок. Она жила во втором этаже ветхого деревянного строеньица. Больше того, ухаживать—так ухаживать, он даже вышел из машины открыть ей парадную дверь. Никогда еще при живой жене он не был так любезен с посторонней женщиной. Было тихо, и все еще не без луны. На фоне серенького облачка рисовалась труба какой-то фабрики. Густо пахивало укропом; сразу за домом начинались огороды. Сбросив мешок, девушка об'явила, что сейчас позовет соседа по комнате помочь ей. Курилов не возражал, но ему не хотелось уезжать так быстро. Давешние лунные лучи, застрявшие и обломившиеся в нем, болели, как занозы. Вдруг она спросила тихо, правда ли, что у него умерла жена...

Он поморщился, как подколотый. Вопрос содержал в себе скверное пророчество. Любопытство железнодорожной девицы показалось ему просто наглостью... Ну да, она стремилась в заместительницы и вот украдкой пробо-вала его ноготком! Он достаточно слышал про эту породу: они быстро постигают несложную науку ездить на казенной машине по всяким распределителям житейских благ, сплетничать и вообще вести интенсивную аристократическую жизнь, как понимают это мещане. Что касается ее ребячливости, то не слишком ли много пышного тела было на ней для

одного ребенка? Кстати (позвольте, позвольте!) он припомнил, что зовут девицу Марина Сабельникова (он еще в прошлый раз решил, что или солдат, или оружейный мастер был в роду!), что два месяца назад ее собирались послать на работу в депо, под Пензу, но сперва она отпросилась в отпуск, а потом так и прижилась при дирекции... Словом, пока доехал до дому, он придумал десятки способов избавиться от навождения. Вылезая из машины, он так решительно произнес: «В Пензу, в Пензу еее!», что шофер даже переспросил о значении такого небывалого адреса. (В отношении безымянной парочки на пустыре он решил дать нагоняй коменданту, по нерадивости которого двор государственного учреждения превращался в сад свиданий.)

Ничем, кроме простуды, Курилов никогда не болел; ранения не шли в счет. По замечанию ближайшего друга, Сашки Тютчева, Алексей Никитич вполне годился бы вертеть чигирь в среднеазиатской пустыне. Болезненной и тихой Катеринки всегда было ему мало. Самое начало их супружества обошлось без любовной игры, без шалостей и излишеств, но зато и без той греховной силы, что доставляет первобытную сытость душе. Впрочем, со временем он свыкся со своим полуголодным любовным пайком, старался щадить самолюбие жены и лишь с недавнего времени стал примечать, что запоминает всех молодых женщин, попадающихся по дороге. Уже через день выяснилось, что мысль о Марине ему приятна. Еще раньше где-то довелось прочесть, что женщины, сами добывающие свой хлеб, уважают время любовника и не требуют особых усилий. О, Катеринка не осудила бы, если бы эта миловидная, с круглым лицом, простоватая девушка, придя к нему раз в декаду, ушла бы немножко позже обычного, чуть вялая и с глазами, обращенными в себя. И опять он великодушно предоставлял Катеринке право на эту якобы материнскую щедрость. Все обстоятельства к тому и шли. Однажды девица Сабельникова робко пришла к нему за материалами для его биографии: ей поручили соста-

вить ряд поучительных жизнеописаний виднейших работников транспорта.

В самом разгаре стояло лето. В обширной каменной площади за окном жаркий и пыльный остывал вечер. Слабым ветеркам с реки было не под силу расплескать эту гнетущую духоту. Курилов покраснел, когда она вошла. «Сбывалось, сбывалось...» Марина бесшумно прошла по квартире; количество книг удивило ее. Стоя перед шкапами, она читала вслух заглавия на корешках. «Вот здорово, все о войне, о городах, о Дальнем Востоке...» Напуганная своим невежеством, она схватилась за портфель. Едва написав десяток строк, из которых половина выражала лишь степень ее смущенья, она поймала на себе пристальный, прищуренный взгляд Курилова и вскочила со стула, и листки с шуршаньем разлетелись с ее колен. Эта запоздавшая тревога отрезвила его. Уже с закрытыми глазами он сидел на диване, вслепую набивая в трубку табак.

Только на одно мгновение он увидел ее глазами любовника, и хотя ни разу не испытал, как начинается это (— и даже всегда удивлялся изобретательности влюбленных, заполняющих чем-то промежутки между обручением и брачной ночью!), он знал уже все наперед. Наверно, Марина будет покорна и трогательна. У нее не будет торжествующих глаз победительницы. Она не спросит его ни о завтрашнем дне, ни о чем. Конечно, она станет стыдиться своего дешевого простиранного белья и голубой майки поверх тела... Он вспомнил, что никого, кроме них, нет в квартире, и все-таки испытал мучительную потребность запереть дверь в пустующую комнату Катеринки. Медленно, как во сне, Марина проходила по комнате. Осиротевшая катеринкина гитара попала ей на глаза. Мимходом и резко она дернула винту. Звук заставил Курилова поморщиться, как несвоевременное напоминанье о забытой жене.

Он глухо позвал Марину по имени; она отрицательно покачала головой —:

— Я не хочу, чтоб вы раскаивались, Курилов.

Она стояла у окна, царапая истрескав-

шуюся шпаклевку подоконника. Бездонный пролет в целых двенадцать этажей простирался под нею; Курилов жил высоко. Желтая одинокая звезда всходила над Воробьевыми горами. Для Курилова, оставшегося на диване, она висела над самым теменем Марины.

— Вы не заметили, сколько сегодня жары? — спросил он в оправданье себе.

Она сказала тихо:

— Днем в тени было двадцать два.— И вдруг: — Скажите, ваша жена была красивой?

И теперь его уже не возмутило, что о живой Катеринке говорят в прошлом времени.

— Она была добрая.

— У вас нет ее фотографии?

— Она не любила сниматься.

— Тогда опишите мне ее!

Все это было не очень понятно, но сейчас он уважал Марину именно за то, чего не понимал в ней. Он подчинился самой власти ее приказы —:

— Она была очень честная к людям и всех считала лучше себя. Она была простая работница. В годы тюрьмы она много сделала для меня и товарищей. Все, кто знал ее, называли ее просто Катеринкой...

Марина склонила голову, как это делают в память мертвых. Ветерок из окна шевелил прядку волос над ее маленьким пылающим ухом. Курилов растегнул ворот гимнастерки. Оцепенение проходило, жара спадала. И вдруг он разглядел все в Марине: и ее розоватые локти, почему-то испачканные чернилами, и ее сбитые, на стоптанных каблуках, туфли. И хотя рядом, в гардеробном ящике, находилась вся неношенная катеринкина обувь, и, по его мнению, не было бы дурного в том, чтобы Марина выбрала себе лучшую пару, он не посмел предложить ей это. Больше того, он решил, что слишком сурово встретил свою простодушную гостью. Представлялось, что уж чаем-то напоить ее совершенно необходимая вежливость. И пока возился на кухне, разжигая газ, Марина неслышно ушла. Решив, что она спряталась, он искал ее всюду и сердился, что его заставляют играть в

прятки... Час спустя он еще думал о ней. Ночью ему нехватало Марины. Утром выяснилось, что его пугала мысль утратить ее навсегда. Такие, как он, достаточно постоянны в своих привязанностях. Квартира ему казалась огромной и неудобной с тех пор, как увезли Катеринку; с уходом Марины она стала и нежилой.

Здесь, на закате, у подобных Курилову всегда случается смятение, путаница чувств, толчея сердца, недоступная разве только памятникам да дуракам. Тютчев как-то раз сболтал ему, что именно с этого биологического распутия между старостью и женщиной и виден бывает заключительный рубеж. Наверно!.. Не смерти он боялся, а умирания: утратить возможность влиять на мир, стать в поуху врагу, в жалость и тягость другу! Его выводы отличались поспешностью и чрезмерной упрощенностью. — У людей там, внизу, в чернорабочих ходовых частях социальной машины, никогда не образуются эти поганые накипь сидячей жизни и ржавчина. В такие минуты с восхищением и завистью он вспоминал бывшего учителя и друга, литейщика Ефима Демина. Когда-то, на заре большой жизни, он посвящал Алешку в высокие тайны формовочного искусства. Позже Курилов постиг удивительные законы движения идей, товаров, масс; узнал, кто такой Шекспир, и откуда началась собственность на земле, но так и не выучил всех секретов Ефима Арсентьича. Демин был на тринадцать лет старше. Уже он перескочил рубежи куриловских сомнений. Он ходил теперь в хорошем пиджаке и с палочкой. В дни больших технических побед о нем напоминали в газетах наравне с героями ударной стройки. Каждое лето завод отправлял его ремонтироваться в Кисловодск.

Еще год назад он сидел у Курилова за столом, Катеринка потчевала его семьей. Посещение пришлось в выходной день. Старик выпил, разгорячился и цвел линиями стариковскими радугами. Вохмелю он бывал обидчив и честолюбив благородным честолюбием труженика, горбом заработавшего право на почесть. «Такой я теперь человек, что все

меня знают. Третьевошь в Правду пришел, а и там знают». Волнуясь и заново переживая, хвастаясь удачами и риском, он повествовал, как начинал свою бедную юность на Балтийском заводе (— о-отличный завод!) по четвертаку в день, как скитался в жизни и даже заходил к одному, святой жизни, старцу (— и старец, хе-хе, повелел мне заняться торговлей!), как ставил впоследствии литье на Мотовилихе, когда Колчак увел с собою литейных мастеров; как отливал на Путилове первый в Союзе волховский ротор, а в Колпине знаменитые ахтерштевни для лесовозов, рулевые рамы, гребные винты для морских судов. Разумные стальные детки, созданные его рукою, жили и двигались самостоятельно на всех морях и дорогах страны... Ему вполне нравилась жизнь в Москва в целом, и вид из окна, и советская власть (— о-отличная власть, надо сказать!), и то ему нравилось, что для него одного поставлено столько еды и вина, а Катеринка оделась для него в новую вязаную кофту, а Курилов (— бывший хоть и неспособным в учении!), питомец его, запросто заседает с наркочами. Его расуждения были немножко крикливы, он размахивал руками, грозил кому-то (— самому себе!) бросить все и разводиться дроздов, едва ему стуканет шестьдесят пять. Успокоился он не прежде, чем опрокинул стакан... Курилов шурился на него, дымил трубкой и думал, что, наверно, при социализме будут жить только вот такие мастера, влюбленные в свое искусство, их подмастерья и ученики. И еще подумал про себя, что хоть и высоко поднялся по общественной лестнице, никогда не испытает простецкого деминского удовлетворения, происходящего от близости к самому горну жизни.

— Бери меня назад, в учебу, — пошутил Алексей Никитич, рассматривая руки, давно утратившие чернорабочую грубость.

Арсентьич засмеялся, поперхнулся, закашлялся; синие жилки налились на висках —

— Что, аль тесен стал сановнику государственной камзол? — При случае он бывал ядовит на слово. — Пони-

маю тебя, ты делаешь вещи долгие, а я короткие, так, что ли?

— Ну, и твои — долгие. Вот, скажем, сахар, что держишь в руках, — продолжал Курилов. — Простая вещь, сладкая, распилена на кубики. А надо посадить, пропахать, полить, прополоть, наверно — окучить, собрать, промыть, сварить его... Да еще вправить его в поток всего мирового хозяйства!

Арсентич все еще улыбался, но теперь чужой, суровый старик сидел перед Куриловым —:

— А ты избери работу полегче. Например, пальто стеречь. Отличная работа! Оно, скажем, висит, на хорьке, а ты сидишь супротив и со вниманьем и лаской наблюдаешь его. И очень хорошо вам обоим. — Так бранился он долго, и, наконец, сжался над смущенным учеником, пославил яду: — Выпей, Алексей, в твои годы не опасно. Мало пешком по жизни ходишь.

И тут же стал рассказывать про блюминг, заказанный его заводу. Должно быть, это было самое торжественное слово его заката. Повесть была длинная, с отступлениями, неминуемыми при взволнованности: как рыли яму под бетонный кессон, как наткнулись на подпочвенные воды, как дрался с камешками, когда дренажный отвод они соорудили из кирпичной щебенки, и, в заключение, какое они, мастера, испытали сердцебиенье, когда многоручейная лава хлынула из ковша. Через месяц предполагалось литье второй станины.

— Таки костры вожжем — подпалим серенку уральско небо! — Азартные руки его дрожали, как у игрока, а Курилов слушал жадно: бесстрашие так же заразительно, как и страх.

Учеба не состоялась. Все обернулось по-иному: случилась ответственная командировка, потом заболела жена, потом опубликовали постановление о политотделах на транспорте. Новое назначение оказалось лучшим лекарством от сомнений. Дорога была из самых длинных, самых важных, самых худших в стране. Строенная по частям и группами предприимчивых коммерсантов для обслуживания ближайших российских провинций, она всегда еле справлялась со

своим грузооборотом. Состояние пути, паровозного и вагонного парков, дисциплины и подготовки кадров ухудшалось с каждым годом. Дорога прославилась классическими катастрофами; она содержала неистощимый материал для острословия, и утверждали, что по ней ездили преимущественно простакки.

Хозяйство его становилось огромно; сюда входили заводы, депо, сотни станций; все остальное исчислялось в цифрах со многими нулями. С политической и экономической точки зрения линия продолжалась много дальше, и Алексею Никитичу всегда хотелось побывать на ее истинном конечном пункте. Он никогда не пользовался отпуском и перед выездом сумел договориться, где полагается, относительно месячного своего отсутствия. Словом, на этот раз давнее куриловское желание побывать на Океане как будто начинало сбываться.

### Он едет на Океан

Его мечта свойственна была, наверно, всякому сухопутному человеку. Эта царапина на душе сохранилась еще с детства, от одной чуть ли не по складам прочитанной книжки. Ее написал совсем неумелый человек, и потому взволнованной искренности его не пожрали требования высокого искусства. Книга посвящалась разным морям на земле. Вперемежку с текстом раскиданы были рисунки — то какого-то парусника с загадочным и манящим названием, то молоденького юнги, что покачивался на рее над излучиной волны, то забулдыги-боцмана; он скалил зубы, истертые о трубку, и звал людей испробовать от его скитальческой судьбы. И даже обложка книжки была пронзительно синяя... Мальчишку захватили эти строки, хоть и не понимал полностью очарования вольных океанских сокровищ, не принадлежащих никому. Он прочел их не разумом, а сердцем. Так и осталась она на нем, как шрам, как памятная зарубка... Стоило пристальнее взглядеться в эволюцию ребяческого влечения, чтоб постигнуть все остальное в Курилове. (Так в окаменелом куске янтаря по волочкам плененного растения, по пузырь-

кам первородного воздуха, по чередованьям золотистых слоев читается повесть о чудесной юности мира.)

Мальчику взмечталось стать моряком. Он и во снах видел круглые синие просторы, неопиаемые города на их побережьях, крылатые посудины в заливах. В дождливую пору разливался ручей под городком, где вырос Курилов; на нем-то и устраивали слободские ребята примерные сражения самодельных эскадр; бессменным адмиралом и корабельным мастером бывал у них Ленька Курилов. Но сезон, наиболее благоприятный для посещения этой первозданной родины мира, как таинственно и неохватно сказано было в книжке, прошел. Куриловская весна проскочила, как нахлестанная. Отец выписал его к себе в столицу. Мастер показал мальчику тиски и ящик с инструментами. Выдали табельный номер и научили, как опиливать головки прижимных винтов. Впервые Алексей заработал себе сапоги. Мечтание не возвращалось. В полном разгаре стояло лето жизни, когда снова вспомнилось об Океане. Воспоминание застигло его на телеге. Днище ее было застлано жаркой соломенной трухой. Армия отступала, по арьбергардам лупили немецкие дальбойки, раненых везли в тыл. Стоял июль. Солнце добивало недобитых. Где-то на полпути Курилова положили в доме ксендза. Скрипели колеса за окнами, и пели уцелевшие петухи. На тесовом потолке билось смутное, стрельчатое отражение лужи. Мечта приступила внезапная, встрепанная, истерзанная бредом. Поднималась и падала прозрачная волна; он сам был на ее гребне. Потом затихала острая, такая прямая боль в груди, и ощущением зрелой океанской тишины наливалось обессилевшее тело.

Со временем наглухо зарубцевалась царапина детства. Самое понятие об Океане, как о вольном множестве вод, распалось. В жизни вода пребывала в самом низшем своем качестве: ее наливали в ванну, в тендерную коробку паровоза, в стакан с лимоном; иногда также она неопрятно падала из тучи. Вдруг он снова заболел Океаном. Случилось это на совещании по топливу.

Недогрузка угля и нефти совпала с прорывом по торфу и дровам; заводы целой области сбивались с плана. Ломило голову после ночи, потраченной на подготовку к докладу. Сараистую эту комнату не проветривали никогда. Все в ней, даже чернила, пропиталось вонью стоялого табака. Курилов, который председательствовал, открыл окно. Мокрый тревожный сквозняк ворвался на заседание. Завихрились занавески, потячьи затрепетали ожившие бумаги, где-то хлопнула с дребезгом стеклянная дверь, курьерши помчались по коридорам. Капли дождя упали на картонные папки, оставляя пухлые желтые кружки... Океан был осенний, он старел. Срывало корабли с причалов; все, доступное глазу, двигалось; в зеленоватых распадах волны не успевали отражаться дымчатые бегучие облака. Оппонент демонстративно поднял воротник пиджака, четыре фурии ворвались в разные двери; Океан закрыли.

Вот, в последний раз представлялась возможность побывать на его берегу. В вагоне Курилова висела карта страны. Он следил по ней за ходом моториссы. Она успела пройти две трети Волго-Резвианской, когда Алексея Никитича нагнала сообщение из Москвы. Катеринке было плохо. Телеграмма была подписана сестрою. Курилов побаивался этой старухи, да и не он один в партии. Суховатая, своенравная, прямая, она не терпела возражений. Эта женщина не имела личной биографии; отдельные этапы ее обозначались общественными датами. И если Клавдия любила кого-нибудь из живых, то одну лишь Катеринку. Телеграмму принесли на разезде, когда Алексей Никитич вышел посмотреть, как они тут, в глуши, делают жизнь. Пыхтела местная лесопильная установка. Наливная рябая девка в белой мордовской рубахе несла две доски на плече; они плясали и пригибались в такт ее шагу. Кроме того, беременная женщина развешивала белье на плетне, и посвистывали какие-то, соответственные сезону, птицы. Курилов спрягал бумагу в карман и, горбясь, вернулся в вагон.

Не задерживаясь нигде, наводя трепет на районных диспетчеров, моторис-

са мчалась назад. Линялые чувашские леса провожали ее бегство. Куриловский Океан снова оставался позади. Телеграмма пришла по дорожному селектору, и на станциях уже были осведомлены о переменах в семейном положении начподора. Начальники находились на своих местах; они прикладывали руки к козырькам, когда стремительный, с приопущенными шторками, вагон ракеты пронеслся мимо. Дверь к Алексею Никитичу была закрыта. Транспортные сутки начинались в восемнадцать часов. В середине двадцать первого сюда с пачкой телеграмм входил старший ревизор движения. Он просил разрешения доложить предварительную сводку работы.

— Сколько погрузка?

— Две тысячи семьсот. — И смотрел, как в узкой щели, под шторкой, мчится осенняя горелая лента насыпи.

— Плохо. Прием с других дорог?

— Четыре тысячи триста. Сдано пять тысяч ровно, Алексей Никитич.

— Ладно. — Он становился совсем путейцем; неудачи соседей помогали ему привести в порядок свой собственный вагонный парк. — Почему мы идем так плохо?

— Мы не плохо идем, товарищ начальник. Подстегнуть — не останется от нас ни рожков, ни ножков... — Ревизор был из бывших машинистов.

— В былое время я делал в этом вагоне больше. Позовите секретаря.

Фешкин вырастал в двери, пряча в рукав папироску.

— Запишите, Фешкин. Выяснить, с какого времени на шестом участке работает обходчиком Хожаткин. И еще! Вызвать ко мне в Москву Протоклитова, начальника Черемшанского депо. Попутно наведите о нем справки, где следует. Записали? Принесите пачку табаку со стола.

Так он сидел взаперти, глядя в точку перед собою. Газетные сообщения старели с каждым километром пути. Книг не было. У Фешкина нашелся Дюма, но Курилову было не до мушкетеров. Проводник нашел за креслом узелок в наволочке; багаж гражданина Пыхвиснева завалился туда в суматохе. Сутки находка валялась перед Курило-

вым, дразня его грязноватой оберткой. Случайно он прощупал там полотенце, мыльницу и книги. Он обрадовался: книги — как колоды в пустыне, они принадлежат всем!.. Верхняя, самая толстая, оказалась историей религий. Со скуки Курилов полистал ее. Полтысячи по-немецки добросовестных страниц сопровождалась картинками. Это был наиболее полный каталог богов, с указанием родословной, возраста и даты гибели каждого. Выяснялось, что агонии их длились столетиями. Можно было проследить, как медленно спадала с человека первородная шерсть, как пытался он охватить природу своими неумелыми руками, как трудно поднимался с четверенек будущий хозяин земли. Все это были автопортреты давно исчезнувших народов. Боги были сделаны из страха, ненависти, лести и отчаянья; материал определял лицо бога. Там были крылатые, с неистовым оком в затылке, чтобы человек не напал сзади; — в подобию равнодушной женщины, украшенной панцырем из грудей; — в виде мохнатой ноздри, вдыхающей жертвенный дым или, напротив, в образе мгlistой сферы, полной скошенных в непрестанном движении глаз; — боги тридцатирукые, по числу человеческих ремесел, пеглавцы, быки, циклопы, слоны со священным пятном на лбу (— и занятно проследить, во что отложился и сформировался на протяжении нескольких месяцев этот образ в сознании Курилова—), волчицы, змееглавые тетрахионы, колючие африканские эвфорбии с ядовитым млечным соком и, наконец, просто незамысловатые чурбачки; жертвенной кровью были нарисованы на них щелеватые остяцкие глаза и жадный рот, достаточный поглотить самого себя.

В былое время Курилов неоднократно, на больших армейских митингах путем обычного голосования выяснял вопрос: есть бог или нет? Осложнений, как и оппонентов, никогда не случалось. В те годы солдат Курилов не предполагал, что религия может стать предметом серьезных научных исследований. Правда, его всегда удивляло, почему голод и чуму варвар неизменно почитал за даяния божества, а дьяволу приписывал

компас, медицину и типографский станок, почему в честь юродивых воздвигались храмы и учреждались ордена, а гении своих человечество сажало поглубже в землю и жгло на кострах; почему Джордано Бруно был объявлен циником, а Эванс — сумасшедшим, Соломон де Ко заперт в сумасшедший дом, а Симпсон, применивший хлороформ при родах, и Дженнер, введший оспопрививание, объявлены слугами дьявола. Должно быть, всегда владела человеком темная и жадная надежда выиграть истину кратчайшим путем. Вдруг Алексею Никитичу представилось, что когда-нибудь в эту книгу войдут страницы, написанные о нем самом. Он усмехнулся, ему стало интересно, он листал дальше.

За мрачной ночью человечества пришла Эллада. Со страниц книги поднялось солнце. Прежде, чем научиться думать, люди учились улыбаться. Курилова вдоволь потешили картинки эллинской космогонии. В лавровых рощах резвились розовопятые богини; на высокой центральной горе пировали с родственниками и выдвигенцами здоровенные мужики, гомеры и игрушки, боги-выпихои, боги-жулики и военного звания боги. С наизусть и беспечной точностью была разграфлена вселенная, и только Харон, перевозчик на иной, безветренный берег, омрачал веселое повествование об Элладе. От румяного животного хаоса отслоилось первое грустное познание самого себя. Познав улыбку, люди научились пугаться ее отсутствия. Не знакомый с бытовым строением древности, Курилов представил себе Харона на русский образец. С круглым щербатым лицом, в солдатских обмотках, Харон сидел на корме дырявой ладьи, подстелив под себя рядно, скручивал махорочную ножку и вонял; облезлая армейская манерка, вычерпывать, что натечет из щелей, валялась у него в ногах. Курилов захлопнул книгу и как был, в шлепанцах и без гимнастерки, стучаясь о стены, отправился пить боржом.

Темный чад образа преследовал его до ночи. Что ж, такой аккомпанемент соответствовал цели поездки. Он воз-

вращался на похороны. Он торопился отдать последний поклон человеку, с которым прожил двадцать три честных, ничем невозмутимых года. Эта женщина дружески заботилась о нем, это была его последняя хорошая женщина. Нетрудно было вообразить, как вслед за длинным ящиком пойдут они вместе с Клавдией; она еще жестче сомкнет губы и ни слова не промолвит ни о чем. За тридцать слишком лет подпольной работы она хорошила и не такою! Садный гриппозный ветерок понесет им в лицо бумажки и пыль. Он позвонил сестре еще с вокзала. Бранливым голосом она упрекнула его за опозданье. Катеринку сожгли накануне. Подробности были обычные. Кроме того, у Клавдии шло заседание; она положила трубку. Оба знали, впрочем, что в тот же день встретятся в столовой партийного комитета.

Она присела к его столу просто, точно виделись еще вчера. Пахло едой, все спешили. И опять Клавдия не сообщала ничего о последних днях Катеринки. Молча они хлебали борщ. Дальше их меню раздвоилось; сестре запрещено было мясо. Курилов изредка взглядывал на Клавдию, на ее сухие, птичьи тонкие, точные в движеньях руки, на ее волосы, стянутые в тугую и маленький, как у земских учительниц, бывало, пучок. Она не стригла волос, чтобы не следовать моде; вместе с тем она укладывала их так плотно, как будто боялась, что в ней заподозрят женщину. Тютчев был несправедливо зол, утверждая, что она напоминала Фукс-Тенвила. Возможно, острослов имел в виду желчную и резкую прямогу знаменитого прокурора, но не желтое, кабинетное его лицо. Обращала на себя внимание моложавая свежесть этих впалых щек.

— Что всматриваешься, приглянулась?

— Как мало меняешься ты, сестра. Ты, как русская баба. Они бывают только трех возрастов: десяти, двадцати трех и пятидесяти лет. И перемена происходит сразу, в один день. — Он заметил ее иронический взгляд и каким-то сложным путем перекинулся на дру-

гое. — У меня были занятые встречи в эту поездку.

Она подняла глаза и ждала.

— Во-первых, я отыскал Протоклитова... кажется, сына того генерала, который, помнишь, в разное время судил нас обоих.

— Председателя судебной палаты?— Она не удивилась: борьба в стране еще не была закончена. Лицо ее осталось равнодушным. И не то, чтоб зажило, но просто мстить отпрыску врага за преступления целой политической системы не пришло ей в голову. — Ну, и что он?

— Он в депо. По всей видимости, не плохой работник. На чем-нибудь сорвется, конечно... Буду с ним говорить на-днях. Любопытно, сохранились ли у сына длинные, желтые отцовские зубы.

— О, зубы Протоклитова! — и жесткая улыбка шевельнула губы Клавдии.

Алексей Никитич долго смотрел на котлету, точно не понимая ее назначения.

— Потом Омеличева встретил. Он обходчик на путях... назвался другой фамилией: тоже новая жизнь! Мужик прокис, но рана еще гноится. Кстати, ты не получала писем от Ефросиньи?

— С чего она станет писать мне!

— Все-таки сестра...

— Не дразни меня, Алексей. — И заговорила не прежде, чем допила свой кисель. — Что же ты о ней ничего не спросишь?

— Все понятно, Клаша.

Прищурился глаза, сестра смотрела куда-то мимо Курилова —:

— Жаловалась накануне, что так и не показал ты ей ледохода...

... она попросила довести ее. Собственный ее, старинной системы автошарабан не выходил из ремонта. Они пошли к выходу. Толстяк в чесуче, хотавший с приятелем, значительно побавил веселья. Клавдия не терпела любителей советского анекдота. Официантка почтительно посторонилась в дверях. Невидные под длинной юбкой, чуть поскрипывали на старухе башмаки. В машине она сказала в пространство перед собою:

— ...будешь жениться?

Нет, у него просто не было времени подумать об этом. Она пояснила:

— Вам не сидится в этом возрасте.

— Я так полагаю, что для Катерины это теперь безразлично.

Сестра не любила, когда против нее употребляли ее же оружие.

— Лицо у тебя нехорошее. Устал?

Нет, не усталость! Но вот навалился урожай, а дорога не успевает оборачивать порожняк. За десять последних суток случилось двести шестьдесят случаев несвоевременной подачи паровозов. Из пятисот вагонов, пригнанных в Улган-Урман под хлеб, шестьдесят два процента без крыш, а в двадцати на вершок угольной пыли. Машины по выходе из ремонта имеют до семидесяти дефектов. У директора паровозоремонтного завода татуировка на руке в виде двуглавого орла... С некоторого времени поезда ходят по его собственным нервам. Но все это вышло бы слишком длинно в перечислении. И он сказал только, что схватил простуду, наказанный за ребячество прокатиться на площадке паровоза.

— Надо беречься. И у тебя пальто холодное, — упрекнула Клавдия.

— Ничего, у меня пуговицы на меху.

Оня поняла его шутку так, как ей хотелось—:

— Ну, рада за тебя. Ты хорошо держишься. — И, не дожидаясь подтверждения, захлопнула за собою дверцу авто.

### Жмурки

Куриловы жили уединенно, друзей они не видали подолгу. Все это были люди, раскиданные по периферии: Курилова чуть не ежегодно перебрасывали с места на место. Два больших кольца сделал он вокруг столицы, прежде чем получил свое последнее назначение. Как и большинство куриловских современников, друзья узнавали новости друг о друге единственно из газет. Одно значительное и постороннее обстоятельство заставило их в эту пору съехаться в Москву. Тотчас по возвращении Алексея Никитича они наперебой звонили ему на службу. Они торопились услышать его голос, не убавилось ли в нем бодро-

сти. Впрочем, никто не спрашивал ни о чем, а Курилов избегал отвечать на незадаанные вопросы. Самых близких приятелей он спраживал на один из ближайших выходных дней. Пускай, пускай пошумят они в его огромном опустелом доме!

Ничего не изменилось там, но самое эхо комнат стало иное. К пустоте в квартире он привык и раньше, но теперь еще неизведанная пустота прошла совсем мимо. И хотя, уходя из жизни, Катеринка не оставила следов по себе, как в зеркале, куда так часто и испытующе гляделась в начале болезни (— и всегда муж посмеивался: вдруг стала заботиться о красоте!), все здесь напоминало о ней. По существу, ему нечего было делать здесь, но в служебном кабинете не на чем было спать. Он возвращался сюда только ради кровати. По счастью, он никогда не страдал бессонницей.

За этот срок образ покойницы как бы тинкой заволокло. И только один человек дальними окольными путями напомнил ему о Катеринке. Однажды он вошел к Курилову без доклада и чумазыми кулаками оперся в стол.

— Моя фамилия Протоклитов. Вы вызывали меня, начальник.

— И даже дважды!.. У меня создалось впечатление, что вы избегаете меня.

— Это не верно, незачем. Я вернулся в Саконику час спустя после вашего отъезда, — с достоинством и без подобострастия об'яснил он. — Я слушаю вас, начальник.

— Садитесь, я сейчас освобожусь, — не подымая головы и посасывая потухшую трубку, бросил Курилов.

Перед ним лежал финансовый план дороги, поставленный на вечернее обсуждение в наркомате. Такого рода заседания бывали в особенности боевыми. Дорога давала дефицит. Курилов просматривал листы в последний раз, ставя на полях отметки цветным карандашом. Внимание его раздвоилось. Он услышал чирканье спички и вслед затем ощутил дым дурного табака. И тотчас же крупным планом увидел перед собою полыхающую спичку. Сперва он не понял да-

же, что ему давали прикуривать. Спичка догорала. Черный, вроде спорынья, рожок угля гнулся в сторону; пламя лизало протоклитовские пальцы, но они оставались неподвижны. В складках кожи чернела застарелая паровозная копоть.

— Мерси, — сказал Курилов. — У меня всегда воруют спички.

Он поднял голову.

В сереньком свете осеннего денька он смог разглядеть этого человека лишь по поверхности. Протоклитову вряд ли было больше тридцати девяти. Для своего роста он был неплохо сделан. Широкая грудь в клетчатой спортивной рубашке нависала над столом, как угроза. Две глубоких морщины, похожих на надрезы, просекали его лоб, невысокий, очень впалый на висках и выпуклый в надбровьях; третья, более короткая, обозначала рот. Его было ровно столько, чтобы говорить мало слов и просунуть пищу. Спокойная, рассчетливая воля светилась в его глазах. Этот человек был бы хорошим летчиком, недурным шахматистом, умным собеседником. С таким не бывает случайностей в жизни. Игра, которую он вел, была огромна.

Курилов знал о нем мало. Вскоре после декрета о политотделах на транспорте Протоклитов подал заявление об уходе с дороги. В его расчеты, наверно, не входило, что оно попадет в руки начподора, как высшей партийной инстанции на дороге. Столкновение стало неминуемым. Этот человек принял вызов.

— Итак, я прочел вашу просьбу, — начал Курилов и откинулся на спинку кресла. — Имеете намерение уходить с транспорта?

— Да, у меня есть причины.

— Они секретны?

Тот удивленно приподнял бровь —

— Я ответил бы на это как следует, если бы вы не были начальником. Я партиец. — Он откинул куда-то во впадину виска острую прядь темных волос. — Действительно, я хотел переменить профессию. У меня есть способность к изобретательству. Я собирался подучиться и заняться этим делом вплотную.

Энергично, наотмашь, Курилов смахивал со стола рассыпанные крошки табака.

— Вам везет, — сказал он мягко. — Транспорт наш как-раз такая область, где вы с успехом сможете применить ваши способности.

— Я предполагал, что человек вашего положения смотрит на это дело шире.

— Нет, мне нечем похвастаться в этом смысле. Время тревожное. Оборот вагона достиг шести суток, и вст, — он хлопнул ладонью по докладу, — мы выходим из драки с годовым убытком в одиннадцать миллионов. Морально мы с вами отвечаем за это поровну. Не огорчайтесь, вы еще молоды. — Повидимому, Курилов не желал выпускать Протоклитова из пределов наблюдения своего и власти.

Начальник депо сдал папиросу между пальцев; осыпались искринки. Он стряхнул их с колен и поднялся.

— Жаль. По существу дела, вы правы, товарищ начальник! — И взялся за шапку.

Он носил кубанку с кожаным донцем, она к нему шла.

— Погодите, я еще не кончил, — на полпути остановил его Курилов и выждал, пока тот снова не занял прежнего места. — Мне хотелось ближе познакомиться с вами. Странно, что, будучи партийцем, вы так легко смотрите на эти вещи: уйти, остаться. К слову, вы давно в партии?

— Шесть лет.

— Все время в депо?

— Нет, три года ездил машинистом, потом работал инструктором-механиком. В депо я пришел полтора года назад.

— Вас не любят в депо.

— Да, меня боятся, — холодно и кратко согласился Протоклитов. — Я командир, и дело наше почти военное: дорога на восток. Люди — неговорчивы. На протяжении истории сколько их резали, жгли, топили, и как туго они всегда подавались вперед! Эта страна любит, чтоб ей приказывали. А можно было бы втрое быстрее вести дело. Люди — мозгляки, они не умеют даже голодать...

— Ну, это и не обязательно для них!

— Конечно. Я и сам сработан из того

— Вы недовольны и собою?

Тот имел право не поддерживать такого свойства беседы. Курилов дружелюбно кивнул ему: —

— Скажите, вы сами не с Алтая? — Вопрос был ложный, он сбивал с толку.

— Нет.

— ... и не с Камы?

— Это не совсем соседние области, товарищ начальник. Я вижу хитрость и не могу понять, зачем она так неуклюжа. Нет, я волжанин.

Его ответы заслуживали похвалы за сухую и ясную точность. Чужаки, которых и раньше приходилось разоблачать Курилову, были покустарнее. Устроили небольшую передышку. Беседа пошла о работе депо. Показатели по ремонту, промывке и подаче паровозов были в Черемшанске вполне приличны. Курилов похвалил. «Служим революции», — усмехнувшись, откликнулся Протоклитов.

— Пересыпкин говорил мне, что вы противились помещению вашего портрета в газете.

— Я считал это отличие лишним, товарищ начальник. Я не делаю ничего, чего бы не могли и другие. К сожалению, конечно!

— Да... но мы на лучших примерах воспитываем отстающих.

— Я слышал про это. У меня своя точка зрения, когда дело касается меня самого. К слову, я не коренной пролетарий. И вообще это не деловой разговор!

Курилов пристально взглянул на него, и тот бесстрашно выдержал взгляд. «Гляди, гляди, старик, привыкай ко мне!» — читалось в ответном взгляде.

— У вас плохой табак, возьмите моего. — Он перебрал Протоклитову кисет, и реплика его прозвучала так: «Вы мужественный человек, зачем вам прятаться? Дайте мне уважать вас». — Вы и раньше работали на транспорте?

— Когда — раньше?

— До революции, например.

Протоклитов скручивал самоделку; не упало и крупинки из его ловких и длинных пальцев.

— Вас, видимо, не на шутку интересует моя личность, товарищ начальник, — засмеялся он, делая вид, что конфузится

такого внимания. — Но жизнь моя переполнена событиями, ничем не замечательными. Детство мое идеологически не выдержано. Отца почти не помню, мать была очень набожная. Впрочем, если бы не религия, она давно подвесила бы себя на одном из тех крюков, на котором навязывала бельевые веревки. Постоянное общение с веревкой, как и с ножом, будит мысли, товарищ начальник... вы не замечали? Она была прачка, в земской больнице. Ночью бывало, разбудит, лохматая, страшная, кричит...

— Она была больная?

— Она была пьяная: иногда она запивала. Тогда она требовала, крича, чтобы я читал ей вслух всякие патерики, сказания о святых отцах и прочие церковные выдумки. Ветер, ночь, подвальное окно снегом заносит, вонь: общественная уборная помещалась у нас в коридоре... Я читал ей какого-нибудь авву Дорофея, Максима Великого. Зевота до корчей, обом непонятно, но она сидит против меня и плачет. Я никогда, не видал, чтобы столько зараз вытекало через глаза! Но, знаете, Курилов, все матери — славные женщины. И я разбил бы лицо тому, кто сказал бы про нее дурно. Теперь я уже простил ей все, — и свой ночной испуг, и эти бессонные сиденья. Впрочем, многое из прочитанного нравилось и мне самому. Мне тоже хотелось жить в лесах, в каком-нибудь кедровом дупле, запросто беседовать с богородицей, останавливать взглядом диких зверей... словом, зарабатывать то царствие, о котором, помните, сказано у Иоанна Лествичника?..

— Как же, как же! — с поспешностью, как зачарованный, поддержал Курилов. — У него, у этого Ивана, прекрасная одна формула есть: в чем найду тебя, в том и буду судить!

И он взглянул в упор, но тот продолжал, как ни в чем не бывало:

— ...после смерти матери (— она опрокинула на себя котел с бельем—) я ушел в Сибирь. Туда меня давно влекло. Это теперь мы там понастроили, а раньше туда ходили за приключениями. — Он комически развел руками: — Вот уже целое паровозное хозяйство на

руках, а все еще тянет промерить тайгу до самого океана.

— Все мы были детьми, — сочувственно сказал Курилов, потягивая понемножку сладкую горечь табака.

— Дальше началась жисть. Я не шибко грамотен в марксизме, я диалектику больше по жизни изучал. Долго шатался, обовшивел весь; потом один чиновник принялся меня воспитывать. В общем, собирался из меня такого же подлеца сделать, каким был и сам. Взятчик, сыщик... а что жену свою делать заставлял! Впрочем, благодаря ему я три года проучился в Иркутской гимназии. Не бывали в Иркутске? Напрасно, непременно побывайте... Сбежал я от него; взял на дорогу новый его пиджак, портсигар и сбежал. Служил в трактире, балбеской в полотняных штанах, по приискам скитался. Много позже устроился на Уссурийскую дорогу в ремонтную колонну, подручным по забивке костылей. И тут уронили раз книгу из поезда, а я поднял. И прочел, и жадность меня взяла все на свете ощупать... Но скоро попал в компанию, и тут выгнали меня за выпивку. Материнское пристрастие сказалось!.. — Он озабоченно взглянул на Курилова. — Это у меня еще до вступления в партию было. Теперь я ни капли не беру.

Зябко засунув руки между колен, он как-то жалостно улыбнулся, и восхитил Курилова этот умный, математически показанный разрез человека. Да, этот человек видел много, усвоил еще больше и уж, наверно, недешево заплатил за такое бесстрашие взгляда. «Ничего, мне и этот орех по зубам!» — думал Курилов, не сдаваясь.

— Высшее образование вы получали потом?

— Нет, я почти самоучка. Упорство — главное мое качество, а книги всегда бывали у меня основной статьей расхода. Ближе книги нет у меня родни.

— Но почему же... — усумнился Курилов. — Такая культурная семья, а сына не учили... Ваш родитель, я слышал, был видным чиновником при губернаторе?

Протоклитов ждал, что Курилов примет какой-то встречный маневр, но не

думал, что это произойдет так скоро. Трубочный табак плохо курился в папиресе. Молчание длилось ровно столько, чтобы спичкой ушлотнить самокрутку. Потом он улыбнулся, и Курилов узнал знакомый, желтоватый оскал зубов.

— Мне не очень нравится весь тон беседы, начальник, — сказал Протоклитов спокойно, но кожа кресла захрустела под ним. — Я вижу вас впервые. (—И это была правда!) Мы не приятели и не сидим за бутылкой вина. Видимо, я мало жил, плохо смеаю. Вы всех лжущих протаскиваете через такой допрос, или я один не внушаю вам доверия? Вам знакомо мое лицо, мои слова, моя фамилия?

— Ну, вот уж и рассердился! — дружелюбно рассмеялся Курилов.

Он встал, прошелся по комнате, открыл окно, выглянул наружу. Лужицы в человеческих и конских следах вздрагивали от капель измороси. Дерево линяло. Парочки не было, — хорошо!

— Я не обидчив, — говорил Протоклитов, — но ты вторично путаешь меня с кем-то. Я же понял, для чего ты начал этот разговор. Угодно тебе слушать басни мои дальше? Но или я высокого давления жулик, или твоя память стала расклеиваться с годами. — Он уже не решался действовать прежним методом нагромождения подробностей и вести борьбу на то, кто утомится первым. — Моя фамилия Протоклитов, ты припомни. Вообще говоря, это фамилия довольно редкая; мне говорили, в основе ее даже греческий корень. Но в Москве имеется еще какой-то Протоклитов, не то гинеколог, не то артист... кажется, довольно известный. Потом один из черниговских архиереев был тоже Протоклитов, Герасим или Иона, не помню. А с этим гинекологом, я смотрел, даже инициалы мои совпадают. Из нашей же семьи, кроме меня, не осталось мужчин. Да ты разъяснись, чудило: а то несладно выходит!

Видно было, его терзало простецкое любопытство, с кем именно его спутал Курилов, и тот охотно шел ему навстречу.

— Понимаешь, ты напомнил мне одного чиновника царских времен...

— Пойми же, человечина, не мог я быть царским чиновником, — зайдя за стол, хлопнул Курилова по плечу. — В год объявления войны мне было восемнадцать лет!

Приличнее было для обоих объяснять интерес Курилова личной симпатией к незаурядному партийцу. Но — «Вы далеко пошли бы, Протоклитов, если бы не я!» — таков был смысл последней куриловской улыбки.

— Товарищ начальник имеет еще вопросы к обвиняемому? Меня ждут в депо.

Да, он имел. Не менее всего предыдущего, Курилова интересовала подготовка к соревнованию на переходящее знамя и еще, как осуществляется в Черемшанском депо постановление о перестройке работы транспорта. Начальник очень искусно показал раскаянье свое в неосновательных подозрениях, а Протоклитов как-то слишком быстро поверил этому. Все это походило на неписанное перемирие, и, когда через десяток минут тот вышел, Курилов не сомневался в правдивости своих догадок.

Затем он слушал, что происходило в приемной. Вплотную эта скверная дверь никогда не притворялась. Кто-то спросил у секретаря (и голос был похож на пересыпкинский):

— Слушай, Фешкин, что это?

— Бумажка, как видишь! — отвечал Фешкин. — Не тереби мою душу.

— Но я и спрашиваю, что за бумажка?

Все секретари Курилова бывали нетерпеливы с посторонними —:

— Я ж тебе излагаю в популярной форме: один старик забыл в вагоне Алексея Никитича книги. Велено узнать адрес старика, я узнал. Понятно? Катись теперь... — И вдруг: — Эй, товарищ, частные разговоры с этого телефона воспрещены!

— Я по служебному делу. — И этот голос принадлежал уже Протоклитову.

Начальник депо вызывал черемшанский коммутатор. Он предупреждал своего дежурного, что покончил дела в дирекции и выезжает немедленно. Слегка

отклонясь в сторону двери, Курилов слушал этот голос, глуховатый и с машинным разбросом слов. Теперь был похож и голос. И если бы не опасение, что раскрылся слишком рано, думать о Протоклитове доставляло бы ему темное и волнительное удовольствие, понятное рыбакам, охотникам и птицеловам, когда уже на прицеле добыча. Голос напоминал Курилову об удивительной поре: у него тогда хватило мужества выслушать каторжный приговор с песней и такой усмешкой, что председателю суда мигренилось до поздней ночи. И тут-то вставал в памяти рассказ Катеринки, как ходила к старику просить о свидании с мужем и как скверно пошутил тот насчет замены отсутствующего дружка.

Обида имела свыше чем двадцатилетнюю давность. Совсем выдохся яд той равнодушной и цинической издевки. Не в привычках Курилова, всегда небрежного к врагам, было бы желать поздней и бесстрастной расплаты. Но выстрел должен был произойти независимо от воли уже потому, что добыча начинала двигаться под прицелом. Следовало только фактически установить родство этого железнодорожника с тем статским генералом. За это, правда, говорило и совпадение фамилий, и несвойственная чину интеллигентность Протоклитова, и, наконец, что с дороги он задумал бежать как-раз при появлении Курилова. Внимательный разбор последнего обстоятельства и сбивал Алексея Никитича с толку. Через руки председателя судебной палаты прошло слишком много всякого кандального народа, чтоб он запомнил вихрастого, задиристого паренька да еще рассказал о нем сыну годков через шесть, когда тот подросток. Словом, Курилов гнался за ним потому лишь, что тот убежал.

Будь беспартийным протоклитовский сын, он нашел бы предлог без шума выкинуть его с дороги. Бок-о-бок находиться с ним в одной партии нравилось ему еще меньше. В эту минуту Курилов нечаянно увидел раскрытую телефонную книгу на подоконнике. Подчиняясь еще неосознанному влечению, Курилов полистал ее лениво. Там действительно зна-

чился еще один с такой же фамилией, какой-то профессор с Чистых прудов. Решась на дополнительное исследование, Курилов притворил дверь поплотнее и позвонил туда. Соблазняла легкость приема, каким ловилась жертва. Требовалось только узнать, нет ли у профессора брата-транспортника. Лживость одного этого пункта означала бы порочность всей протоклитовской биографии. Долго не отвечали. Потом голос, торжественный и гулкий, точно из готического собора, спросил, что и кому нужно.

Курилову везло, однофамилец был дома.

— Я Петроковский, — наспех выдумал Курилов и ждал, что из этого получится. — Мы виделись мельком, и при вашей загруженности работой вы вряд ли помните меня.

Профессор ответил не сразу. В раковине трубки шипело и шевелилось собственное дыхание. Потом стали бить часы. Машинально Курилов сверил их со своими. Профессорские отставали на четыре минуты.

— Нет, сейчас отлично припоминаю. Я сперва не узнал вашего голоса. Вы относительно вашего отца?

Удивительно, как гладко и удачно налаживалась беседа —:

— Да, я насчет отца, — наугад согласился Курилов, рассчитывая всунуть свой вопрос где-нибудь в конце беседы.

— Он умер сегодня на рассвете, — сказал профессор-однофамилец. — Третьего дня его оперировал сам Земель. Мой диагноз подтвердился на вскрытии. Болезнь была так запущена... Он погиб при обычных для уремии явлениях.

Профессор ждал дополнительных распросов: родственники любознательны, но Курилов как бы забыл про заготовленный вопрос. Известие о смерти выдуманного Петроковского не только настораживало. Правда, оно не испугало его. Это известие как-то расслабило его. Он не клал трубки. С полминуты Протоклитов слушал его дыхание, потом произнес утешительно, что этого следовало ждать. Их раз'единили. Курилов взглянул на часы. Вре-

мени оставалось в обрез, чтобы выслушать сводку, принять редактора дорожной газеты, Алешу Пересыпкина, который буйствовал у секретаря, и отпраляться в наркомат.

Вошел Фешкин и сказал, что машина подана.

### Братья Протоклитовы

Первая часть протоклитовской биографии, пока действовала инерция социального происхождения и полученного воспитания, действительно изобиловала вредными подробностями. Они были недостаточны, чтоб умертвить его физически, но их хватило бы, чтобы он споткнулся о них на всю жизнь. Конечно, это была случайность, что однажды Глеб приехал на каникулы к отцу, а городок был отрезан белыми, и студента путейского института мобилизовали на восстановление государственного порядка, растоптанного большевиками. Еще с юности Глеба отличала от товарищей положительная трезвость взглядов. И, раз не удалась путейская карьера, стоило сделать попытку отыгаться на другом. Глеба не на шутку увлекла карьера национального героя. Кое-кто из бывших приятелей мог бы многое порассказать о делах и намерениях молодого поручика, по счастью, не осуществленных никогда. Ему пришлось на собственном опыте изведать изменчивость политического успеха, нюхнуть власти и дать ее почувствовать другим, а потом узнать горечь поражений и разочарований.

Мирный городок из глубокого тыла передвинулся вдруг на передовую позицию самого грозного из фронтов. Он стал столицей всего Приуралья, и обыватель последовательно знакомился с практическим курсом контрреволюции, а затем с механикой партизанской войны и суровой логикой народного гнева. Белый фронт закачался и заскрипел. Получив распоряжение об отводе своей части, Глеб Протоклитов зашел проститься с отцом. Действительный статский советник сидел на скамеечке в уборной и спускал в трубу какие-то бумаги. Он бегло просматривал их при этом и вполголоса разговаривал сам с собой.

— Папа приводит свои дела в порядок?

— Всякий за своим делом. «С ношей тащится букашка, за медком летит пчела», — ворчливо процитировал старик, не оборачиваясь к сыну. — Говорят, вас под Казанью шарахнули? Что у вас там, все бегствуете?

— Назначена общая эвакуация, отец.

— А, пора кончать, надоело. Ночью стреляли, я не спал.

— Матросы нарвались на заградительные огни. Многие взяты живьем.

— Да, я видел, как вели утром. Имей в виду, нельзя оставлять обиженных. Наше поколение этого не понимало. Вот, я просматриваю всякое старье... — Он с вожделием ненависти погрузил руку в архивную пачку, ожидавшую его расправы. — Сколько их прошло через мои руки... и горько обнаружить к старости, что и ты был таким же гуманистом, правдоискателем, русским дерьмом!

Отец был очень стар. Обострившимся взором Глеб попеременно смотрел то на желтые, редковолосые складки старческого загривка, то на крючковатые, парализованные пальцы. Старик ушел в отставку всего четыре года назад; сейчас он подводил итоги своей многолетней деятельности. Протоклитовы никогда и ничем не обманывались. Все становилось ясно. Городок уже горел; при Пугаче занималось с той же стороны. Осадное положение было объявлено три дня назад. Ни смех, ни людская речь, — один скрип повозок и лафетов доносился сюда. Старик заговорил не прежде, чем дочитал какую-то бумагу.

— По прямому назначению! — сказал он, и труба зарычала. — Любопытная эволюция понятий. Каждое высокое звание, которого люди добивались с риском жизни, когда-нибудь становится ругательством. Прости, что ты сказал?

— Я говорю, хочешь со мной? Я постараюсь устроить тебя в обозе. Остальное, к сожалению, зависит не от меня...

— Не стоит, милый. Туда можно доехать короче, — ворчливо и растроганно бросил старик, вспарывая новую пачку. Впрочем, он поднялся обнять сына. — Извини, что принимаю тебя в таком месте. Тяжко тебе?

— Да, вы оставляете нам в скверном состоянии мир... и мы не умеем отказаться от наследства. Я хотел строить железные дороги, изобретать паровозы, отец, а меня заставляют...

— ... работать на эпидемии? — засмеялся старик. — Ничего, и помни: бойся уцелевших и обиженных. Иди... Встретить Илью, скажи ему, что он интеллигент и дурак, а кроме того, перебежчик. Балда, кому поверил! Большевикам! И если господь не благословит его пулей в затылок заблаговременно, его остригут, дадут два раза по шее и выгонят... Ну, дай я перекрещу тебя. Ступай... — И пихнул в плечо с плаксивой и бессильной лаской. Он тоже торопился: личные его архивы были громадны, а часа через два красные части должны были вступить в городок.

Глебу пришлось принять участие в одном из самых лютых отступлений. Сибирь взрывалась на каждом шагу. Когда крылатые, почти осатанелые, советские командармы стали наступать, он спрыгнул с бронепоезда и бежал в ночь. По нему стреляли свои же. Провидя все наперед, он добровольно отказался от ладных саянок и верховой лошади, полагавшихся ему по чину. Со споротыми погонами, коверкая речь и обличье, в раскромсанных сапогах, потому что опухали ноги от беспрестанного бегства, Глеб отступал вместе со всей солдатней... Потом он искал новых знакомств и обдумывал попытку вмешаться в свою судьбу. Стало уже потруднее начинать себя в третий раз. Каждую деталь новой биографии он кропотливо обтачивал под лупой. Начав себя чернорабочим в ремонтной колонне, он быстро стал дорожным мастером и в два года прошел учебу на машиниста. Как многие в те годы, он скрыл свою высокую техническую подготовку. Его добротные познания тем охотнее принимали за следствие природной одаренности, что это подтверждало распространяемую тогда уверенность, будто культуру поколения можно сработать в пятилетку. Ничто не преграждало ему путей к дальнейшему возвышению. Порой он даже пугался убыстрения своего роста: следовало помедлить! Но те, кто по-

мнил его до последнего перевоплощения, были или расстреляны, или, подобно Курлилову, с достаточной скоростью катились в старость. О, это поколение горело хорошо!

И вдруг пришло письмо от приятеля, чудом уцелевшего, как и он сам. Это случилось после того, как Протоклитова расхвалили за изобретение батальонов колхозной самодеятельности в борьбе с заносами. Очень искреннее это письмо, кроме дружеских излияний, понятных по их прежней близости, содержало просьбу о присылке пятисот рублей... «...Понимаешь, я не обратился бы к тебе, если бы деньги нужны были мне самому. Эти несчастные червонцы предназначены моей старушке-матери. Конечно, ты помнишь ее и сам; это у нее мы провели неделю во время наступления на Котлас. Она до сих пор читит тебя, как сына, и молится о тебе всякую ночь. Здоровье ее, под влиянием понятных страхов, сильно пошатнулось в последнее время; у нее накопилась какая-то задолженность, а мне так хочется чем-нибудь помочь ей. Будет еще лучше, если ты сам отвезешь эту сумму матери. Я, к сожаленью, совсем запутался, а у тебя, как у железнодорожника, имеется, конечно, бесплатный проездной билет. Ты сможешь погостить у нее и отдохнуть. Ее зовут Полина Петровна, если ты не забыл. Разумеется, Глебушка, если сумма для тебя разорительна, пошли ей пока триста, после дошлешь остальное...»

Нет, сумма была не такова, чтобы испугать Глеба, хотя он и не имел ее на руках, но отозваться на просьбу Кормилицына значило признать себя сообщником этого человека. Впрочем, пока это был еще не шантаж, а только простодушная глупость пошляка. И по этому признаку Глеб припомнил этого белобрысого, безобидного, небольших воинских чинов верзилу с непропорционально маленькой для такого туловища головой. Помнилось также, балбес этот был большим любителем карточных пасьянсов, шпрот, французской борьбы и рассуждений на генитальные темы; кроме того, он брэнчал на чем-то струнном и обожал рассказывать невероятные истории, быв-

шие предметом товарищеских издевательств.

Протоклитов получал в месяц четыреста, но промолчал он на письмо совсем из других соображений. Вражда с дураком не умнее дружбы, а письмо Кормилицына могло и не дойти по адресу. Месяца через полтора пришло другое. Приятель жаловался на забывчивость Глеба и довольно подробно упоминал, что он тот самый поручик Кормилицын, Евгений Львович, Женька, которого Глеб когда-то выручил из одной неприятной беды. «Старушка пишет мне, что денег от тебя до сих пор не получала. Не знаю, чем объяснить твою черствость; а я-то предполагал в тебе сердце еще довоенного образца! Если же ты так высоко забрался, что я могу скомпрометировать тебя, как павший человек, то вот тебе стишок на это: «Ты меня не любишь, ну и бог с тобой, — чорт тебя накажет серной кислотой!» — Дурак был, видимо, из вредных. По счастью, никто третий не интересовался пока перепиской начальника Черемшанского депо. Эти пятьсот Глеб взял заимообразно у брата и под вымышленной фамилией послал по приложенному старушкину адресу с таким чувством, точно опускал деньги в воющую дыру. Кормилицын замолк, на этом дело и покончилось.

Теперь уликой становился даже брат. На его холостяцкую квартиру Глеб отправился прямо от Курилова. Каждая минута была дорога ему. В случае отсутствия Ильи на этот раз он решился проехать к нему в клинику. Братья не виделись два года. Установилось правило не надоедать друг другу расспросами. Оба были холосты. Глеб благоразумно избегал заводить под боком у себя врага или двойника; делиться кроватью означало делиться и едой, а там и до души недалеко. Илья жил наедине со своей коллекцией часов и с книгами; поместить жену было некуда... Оба были хорошего роста, рассчетливы в мелочах, отличались сдержанностью, пока не начинал действовать какой-то взрывчатый механизм, спрятанный в обоих. Оба отличались отменным здоровьем, требовательностью к себе и одинаковою волевой си-

лой. — Это были совершенно разные люди.

При разнице всего в четыре года братья не имели никакого сходства. Перечисленные черты Глеба были искажены, преувеличены до безобразия в Илье. Профессор был не столько высок, сколько длинен; не плотен, а костист; смуглый румянец Глеба выродился у Ильи в неприятную краснотцу кожи, которая вдобавок постоянно шелушилась на скулах. Знаменитые зубы были слишком крупны у Ильи, чтоб его украсил этот родовой протоклитовский признак. Впалые виски удлиняли его голову, шишковатую, выбритую, посаженную на массивную шею. Словом, все протоклитовское заключалось в нем в переизбытке. «Бог сердился и переложил в него нашего добра, когда лепил его, — сказал про него иронический старик Игнатий, — и оттого Протоклитова не получилось». Отец не любил и боялся Ильи, Глеб уважал и остерегался его, Илья тяготился ими обоими.

С порога Глеб спросил — дома ли? Старуха в кухонном подряснике поглядела на его грязные сапоги и сказала, что профессор не принимает на дому. Гость подчеркнул, что ему нужен не профессор, а Илья Игнатьевич! Он отпихнул старую, прежде чем она успела добиться, как следует доложить о нем. С какого-то времени жизнь в этом доме стала производиться по строгому этикету... Половинка двери в столовую (— а два года назад здесь помещалась библиотека!) была открыта. Глеб сразу увидел длинные, в узких ботинках, ноги Ильи; они отражались в сумеречных бликах на паркете.

— Га, летучий голландец! — без особого оживления сказал Илья, не поднимаясь из своего низенького кресла.

— Я спешу и не задержу тебя, — еще из прихожей предупредил Глеб. Он раздевался и все старался уловить, какая именно произошла здесь перемена. — Здравствуй... вижу, ты не особенно обрадован моим нашествием!

Илья качнул головой, бровь поднялась с медлительностью шагбаума —

— Было бы славно, если бы ты зашел получасом позже. Но хорошо и то, что

ты не появился на полчаса раньше. Нет, не зажигай! — дернулся он, когда Глеб потянулся к выключателю.

Стало поздно тащить гостя в соседнюю комнату. Пол был засыпан белыми, неправильной формы, лепестками; огромная, с кочан, роза отцвела и осыпалась здесь полчаса назад. Лепестки были из фарфора. Они не звенели, а с глиняным хрустом лопались под ногами. Разбитая вещь была большая и не особенно ценная.

— Ни о чем не спрашиваю тебя, но живешь ты, повидимому, шумно. Кто это надела, собака?

— Нет, жена, — скучным голосом сказал профессор и, хотя были сумерки, стал смотреть себе на ногти. — Это сор в моей избе.

Глеб схватил брата за плечи —

— Старик, два года назад ты сам настоятельно остерегал меня от женитьбы. Что это, несчастный случай, любовь, оплошность?

Старший Протоклитов погладил острые свои колени. Через его руки, привычные руки хирурга, ежемесячно проходили сотни пациентов. Ему ли было не знать, какие случайности постигают неосторожных!

— Не говори так громко. Старуха может передать ей. И будь снисходительнее к людям старше себя! — ответил он сконфуженною шуткой.

Глеб притворил дверь. Все это было так невероятно, что собственное его дело мельчало в сравнении с такой катастрофой.

— Она твоя ассистентка?.. Кажется, так всегда бывает с профессорами. — Он хотел сказать, что, обычно, ученые по рассеянности женятся на том, что находится под рукою. — Ты извини меня за вопрос...

— Нет, почему же!.. Га, она актриса.

— Известность нашей фамилии ты хочешь дополнительно увеличить славой знаменитой актрисы?

— О, она совсем не знаменита. Га, скорее это переходное состояние от гусеницы к бабочке... — Он не пояснил своего заключенья и смотрел на мокрые сапоги Глеба: — На улице дождь?

— Да, с утра. Денек какой-то... как безутешное горе. Ты не выходил еще?

— Нет, но я сегодня кончил рано. Зато вчера был трудный день. Две классических гипернефромы... и еще делал нос одному прохвосту. Отлично получилось. Любимая женщина разберет, но в местное, например, не заметят.

— Как ты сказал, гипернефромы? — заинтересовался новым словом Глеб.

— Да, это когда на почках нехорошо. По существу, оба были смертники... — Пальцы на профессорской руке, слабо окрашенные выцветшим иодом, шевельнулись. — Открой буфет, будь добр. Там есть коньяк. Э, не тот... погоди, я сам!

Он сложился, распрявился вновь и пошел к буфету. Громко треснул осколок под его ногой. В величайшем раздражении он ударил по нему носком ботинка, дважды и трижды, пока не загнал его под буфет.

— Чудак, прикажи вымести!

— Нет, еще рано. Это мое лекарство!

Вдруг он вышел в коридор, и Глеб слышал, как где-то в конце его Илья спросил кухарку, надела ли его жена калоши. Это был обреченный человек: он любил. То здесь, то там стали бить часы: шесть вечера. Время обходило комнаты. У Ильи была обширная коллекция часов. Он вернулся через минуту. Глеб улыбался —

— Часовая мания все еще продолжается? Я для тебя вычитал одну историю. Знаешь, Карл Пятый был большой любитель этих вещей. Однажды холуй уронил его коллекцию на пол. Император сказал спокойно: «Отлично, теперь все они станут ходить одинаково!»

— Га, это смешно, — без улыбки заметил Илья и зевнул. — Хочешь? Это хороший коньяк.

— Нет, ведь я не пью совсем.

— Да, ты никогда не умел. Я забыл.

Он налил в кофейную чашку, что подвинулась на глаза, и отпивал долгими затяжными глотками, как молоко.

— Кто ты теперь? — спросил он в промежутке.

— Ты про мою форму? Это железно-дорожная форма.

— Я не про то. Но, судя по тому, что ты начал бриться, ты шибко идешь в гору. Ты перестал притворяться негра-

мотным? Не делай огорченного вида, я же не уличаю тебя ни в чем. Но сделай одолжение, не лги при мне. Ну, я настроился. Га, давай твои дела!

— На этот раз я с большой просьбой... и последней!

— Если речь о деньгах, то не рассчитывай. Я в нищете. Конечно, советская власть не даст мне умереть с голоду, но времена заработков прошли. Сейчас нужны эпидемиологи, санитарные врачи... а мы все-таки обслуживаем индивидуальные потребности. Много тебе надо?

— Нет, я и без того должен тебе. Дело мое необыкновенно. Но, видишь ли, мне всегда и все удавалось, хотя я никогда не верил в свою удачу. Мне казалось, судьба заманивает меня, чтоб тем злее прихлопнуть напоследок. Но сейчас наступил перелом. Вот видишь, как я извиваюсь перед тобой... — Он многословил из опасения сразу получить отказ. — Словом, мне нужно, чтоб ты забыл меня...

— Но я и так вспоминаю тебя лишь потому, что ты сам даешь поводы! — иронически заметил Илья.

Это была правда. Братья охладели друг к другу давно. Волнений детства и совместных приключений юности, родства и мнимой социальной близости их... всего этого топлива хватило ненадолго. Обычно Глеб налетал раз в год, вот так же шептался, благодарно тряс руку брата и опять растворялся в неизвестности. Когда жена спросила однажды о его родственниках, Илья отвечал, что их не осталось. Люди такого склада в слишком приподнятом смысле понимают родство; его ответ выражал скорее меру душевной горечи, чем правду.

— Представь себе, Илья, что меня вовсе не было на свете.

Тот неторопливо допил свой коньяк: — Га, ты решился на самоубийство. Я не отговариваю тебя... но почему ты сообщал мне об этом?.. хочешь, чтоб я помешал тебе?

— Нет... я просто перестаю существовать, как твой брат. У тебя остается только однофамилец.

— Признайся, наши отношения никогда и не были ближе!

— Тем легче это сделать. Я допускаю даже, что тебя однажды спросят обо мне...

Начиная понимать, Илья перебил его —:

— Да.. но инициалы-то сходятся!

— Я не спорю. Но тебе поверят! У тебя отличная репутация.

Руки старшего Протоклитова длинно провисали между колен. Он поднял одну, и пальцы веером растопырились на ней. Это был его обычный жест недоумения и настороженности.

— Ты хочешь, чтоб я соврал для тебя, Глеб Игнатьич?

— Тебе придется сделать это только раз. Мне даже обидно, что мы так долго об этом... Видишь ли, я не могу объяснить всего, но мне не хотелось бы преждевременно свалиться в яму. Поддержи меня! Почему ты молчишь, богишься?

— Я ничего не боюсь, — рванулся из кресла профессор, и можно было верить этому холодному и жесткому утверждению. — Га, что же, это я компрометирую тебя?

— Нет, но ты можешь стать косвенной причиной большого несчастья, которого ты не хочешь.

Рот профессора раз'ехался в длинной усмешке —:

— Я не знал, что родство со мной так преступно. Пятнадцать лет назад я кромсал солдатские ноги в походном госпитале и жевал мой жмых, как и все. Правда, я не делаю паровозов и блюмингов, но я чиню людей, авторов этих машин... и в меру сил исправляю ошибки господ бога. Это неплохая должность, Глеб. Не стыдись меня!

— Ты меня не понял, Илюша, — вставил брат, очень довольный его страстностью и гневом; только в этом состоянии и можно было ждать сговорчивости от Протоклитовых. — Я не то имел в виду...

— Нет, погоди! Мне мало нравятся наши отношения. Что я знаю о тебе? Только то, что ты инженер и мой брат. Ты хочешь отнять у меня и это. Но в чем проявляется наше родство? Га, давай перечислим наши свиданья! Однажды после шестилетнего перерыва ты

пришел ко мне вечером занять пятьсот рублей...

— Я перешлю их тебе по почте! — в раздражении крикнул Глеб.

— Дело не в монете. Я живу отлично. Я акцентирую другое. Ты сжатый человек: не пьешь, не куришь, не играешь в карты... куда тебе деньги? Потом через полгода ты прибежал ко мне спросить, хорошая ли болезнь ишиас. Я помню, как ты оживился, когда я рассказал тебе о подкожном симптоме. Это, разумеется, не государственный секрет, но у меня странное ощущение...

— Просто ты не в духе. Когда жена бьет вазы...

— Э, нет. Но если бы ты заболел на деле, ты отлично изучил бы все и сам. Тебе нужно было обмануть кого-то!

— ... не вижу странного, что обратился к тебе с медицинским вопросом. Было бы смешно спрашивать тебя о тутовых червях или дымогарных трубах...

— ... и было бы ужасно узнать, что ты лжешь всякий раз — поморщившись, досказал Илья. — Мне противно, изогались все, вчерашние мои друзья... га, даже вещи! — Вторая волна гнева шла на Илью, но вдруг он смягчился и подался в сторону брата: — Слушай, ты стыдишься отца?

— Да, — с опущенной головой признался Глеб.

— Папашу провидение подсунуло нам посредственного, правда. Гаер и убежденный крепостник. Кстати, ты никогда не рассказывал о нем. Красные его не тронули?

Глеб медлил с ответом. Были смысл и искушение солгать, что он расстрелян. В сумерках сошло бы, но он остерегся —

— Он умер заблаговременно, до их прихода... и, кажется, собственно-ручно.

Братья замолчали. Пальцы Ильи сжимались, стягивая бархатную скатерть. Коньячный штоф заметно сползал к самому краю. Неожиданно Илья нагнулся и погладил пестрый комок, лежавший у него в ногах. Это был кот, дорогой, трехмастный. Видимо, не поверив ласке Ильи Игнатьича, он оскорбленно и ве-

личественно пошел вон из комнаты. Конечно, он знал и сам, что он дорогой, что он трехмастный.

— Ты с детства не любил кошек, Илья.

— Я открыл в них особое очарование позже! — и Глеб понял, что это ее кошка.

— Что же, у твоей жены спектакль сегодня?

Илья не ответил. Глеб взял со стола фотографию в кожаной рамке. Повидимому, это и была жена. С карточки улыбалась простенькая девочка. Должно быть, серая игра бромосеребряных теней совсем не передавала прелести, погубившей Илью. Ничего не сказав, Глеб поставил ее на место. И, вот, он уже каялся, что пустился на эту чрезмерную даже в его положении предосторожность. Было невероятно предположить, что Куррилов когда-нибудь встретится с его братом! Глеб нерешительно поднялся: не хотелось встречаться с женою брата. Кроме того, ему всегда бывало скучно с пресными, правдолюбивыми людьми. И все-таки дождевик свой он надевал долго, выжидая минуты возобновить атаку на брата.

Илья спросил, наконец:

— Что же, они преследуют, гонят тебя?

— Пока нет, но если узнают. — Он сделал паузу. — Но, пожалуй, ты и прав! Я также не мог бы солгать человеку, которого уважаешь. Но если этот человек вызывает в тебе...

— Ну, у нас с тобой разные представления об аморальности. Я глубоко несовременный человек, Глеб. Впрочем, советую тебе наплевать! Га, всякий человек отвечает сам за себя своею работой для общества. Итак, я не буду, не хочу врать даже для тебя, Глеб. Знаешь, у меня как-то нос распухает при этом, я становлюсь похож на Мусоргского, а я и без того не хорош. А тут еще молодая жена, знаешь ли...

Глеб схватился за шапку —

— В тебе всегда была эта ледяная, барская честность, Илюша. Ты осторожен... ты и женщин избегал в молодости из страха заразиться... ты... — Он задохнулся.

— Приходи, когда отойдешь. Мы закончим наш разговор в более мирной обстановке, — примирительно улыбнулся Илья, и это была его первая т а к а я улыбка за всю беседу.

Дверь захлопнулась. Илья постоял в прихожей, опершись рукой о вешалку. Зимняя шубка жены висела здесь. Меховой обшлаг коснулся его руки. Мех был белчий, вкрадчивый, мягкий. Нежное, тревожное тепло одело его пальцы. Он вернулся, и штоф оказался снова в его руках. На этот раз Илья Игнатьич ограничился разглядыванием рыжих огоньков, бродивших в жидкости.

### Приключение

Профессорские интересы не выходили из круга клиники, лекций и некоторых коллекционерских увлечений. Последняя страсть началась у него еще со школьной скамьи, и возраст определял предмет собирательства. Вначале это были перья всяких сортов, приспособленные к различным человеческим конституциям. Илья не писал ими, а выменивал на завтраки у неимущих соклассников и запирал в заветную шкатулку. Восемнадцать лет спустя он подарил их одному десятилетнему мальчугану, первому своему пациенту.

На смену перьям пришли марки. На них были изображены жираффы, вырезанные подковкой лагунок коралловых островов, пальмы, черноусые южноамериканские генералы, пирамиды и яхты под парусами. Все это были картинки о мальчишеских странах Купера, Жаколио и Буссенара... В юности его пленяло оружие. Для юноши это был неплохой подбор всяких, индийских и персидских, сетчатых и полосатых дамасков. Старинное афганское ружье, увитое ремennыми кистями, навсегда осталось у него на стене. С годами он также отдал дань гравюре и особую привязанность питал к романтическому Пиранези, который на бумаге воздвигал все то, что ему не удавалось строить в жизни. Илья Игнатьичу нравилось пустынное одиночество этих руин, увитых плющом, нагромождения каменных арок, башен и лестниц, архитектурные неистовства, гениального не-

удачника. По любой из помянутых коллекций можно было бы проследить историю мысли над вещью, как эволюцию человеческой потребности, но его привлекало в них другое. Почтовый штемпель на марке с датой события, которое не повторится никогда; щербатая зазубрина на малайском клинке, по которой угадывалась сила удара; первый, еще до подписи, черновой лист со следами пальцев взыскательного гравера. Это не было прикрытой формой стяжательства; вещи, не задерживаясь, текли через разум его и руки, не оставляя ни жалости по себе, ни сердцебиенья...

Материально окрепнув в жизни, он пристрастился к часовым механизмам. В его квартире скопилось множество всяких деревянных, кожаных и бронзовых коробок с певучей, на все стальные голоса, начинкой. По этой части он проявлял такую же осведомленность, как в области скальпеля и кетгута. В прошлое посещение Глеб пошутил, что только башенных часов нехватало ему для полноты собрания. И опять он копил эту звонящую и тикающую рухлядь не потому, что стремился изучить этапы развития часовой промышленности, не из стремления по облику часов понять разницу в отношениях людей ко времени, этой гробнице идей, порывов и героев; просто тело его стало примечать непреклонный бег лет. Имелись в его коллекции и чеканные луковиды восемнадцатого века (— мельчайшие, чуть не в пшеничное зерно, колокольчики играли беспечный менуэт); были и масонские, угрюмой немецкой выдумки часы (— трое в черном заколачивали длинный скорбный ящик; по числу ударов их молотков отсчитывались часы, четверти и минуты). Когда-нибудь причуда эта должна была покончиться, но потребовалось участие десятка лиц и сотни смежных обстоятельств, чтобы это, наконец, произошло.

Началось с газетного объявления. Протоклитов прочел о продаже старинной Кароновской часовой луковиды. Его насторожило это объявление, как охотника шорох дичи. Блистательная вещь, дважды описанная в литературе, и сама — литературная реликвия, исчезла с любви

тельского горизонта лет сорок тому назад и вот снова возвращалась из своего небытия, подобно комете, совершившей свою таинственную параболу. В первый свободный день Илья Игнатьич отправился по указанному адресу. Место находилось где-то у Лефортовской заставы, на пустынном церковном дворе. Продолговатое, древней кладки, приземистое и на лабаз похожее строение стояло здесь. Оно треснуло наискосок, и, судя по двум железным накладкам и потекам известкового раствора, его еще лет двадцать назад пробовали свинчивать домашними средствами. Две нестарых, свилястых и в цвету, впрочем, беспощадно ободранных, сиреньки украшали это вполне гиблое место.

Итак, судьба воскрешала наяву померкшую грезу Пиранези и вводила Протоклитова на ее задворки. Продавец сокровища жил в яме, на манер отшельников. Нужно было по сбитым, источенным ступенькам (—молодая крапивка росла из каменных трещин!) спуститься в полуподвал и потом завернуть за угол второй старорежимной катакомбы. Что-то чавкало под ногами, пока Илья Игнатьич на-ощупь пробирался по коридору. Он не курил и спичек не носил с собою. Теплый, влажный смрад усиливался по мере того, как он подвигался вперед: коридорчик упирался в отхожее место. И верно, скоро Илья Игнатьич учуял близость дыры и увидел на уровне головы незастекленное оконце; уцелевшая ветка сирени просунулась сюда снаружи, чтобы задохнуться от мерзости; слабый свет уличного фонаря многократно мерцал на обвядших, умирающих лепестках. Коллекционерская страсть не раз заводила Илью Игнатьича во всякие углы, но в такую трущобу, слишком мрачную даже для притона, он попадал впервые. Любитель редких механизмов вернулся назад, шупая осклизлую стену. Под ногти забивалась какая-то липкая дрянь. Наугад он постучал в дверь, которую признал по двум обожравшим пробоям для замка и рваной войлочной обшивке. Ни шороха не было ему в ответ. О, сокровище было искусно упрятано как от воров, так и от музейного ведомства!

Протоклитову приходилось наблюдать, как расточительно, зачастую немудело, но всегда с оттенком взволнованной величественности нарождался новый век. Месяц назад он делал хирургическую операцию на одном из крупных строителей. Пыльные горы щебня и ломаной арматуры валялись на дворе, но больница была обставлена с показной роскошью, и позавидовал мастер, что всегда не имеет под рукой такого, сверкающего керамикой и никелем оборудования. В бытность на фронте он видел также, как защищался вчерашний век, но как уходил из жизни этот битый и недобрый старик, — это наблюдать предстояло ему здесь. И он подумал с сожалением, что, мечась между ежедневными заседаниями и работой, он совсем потерял представление о тех чрезвычайных по крайностям формах, какие в эти годы принимала жизнь.

Он постучал опять, и на этот раз дверь распахнулась внезапно. Не отступил он вовремя, это тюремное сооружение, сбитое из отсыревших лафетных досок, раскрошило бы ему плечо. Низкий, слегка синеватый просвет двери заполнила громадная и смутная фигура; голова ее терялась по ту сторону притока. Для начала можно было догадываться: это был старик, запущенный, стремительный и невообразимо бородатый.

— Какой чорт ломится там?—окликнул хозяин, без вызова, однако, или особого ожесточения. Выслушав объяснения Протоклитова, он чертыхнулся и отошел в сторону. — Вдвигайтесь... порог высокий. Если в калошах, то можно не снимать. Вообще все можно, пики-козыри!

Илья Игнатьич огляделся на всякий случай, чтоб не лырнули финкой из-за угла. Пахло здесь явным неблагополучием. Над круглым мраморным столиком висела скудная лампочка на излоданном шнуре, многократно обернутая цветной тряпичей, она освещала лишь самое себя да то, что под нею: роговой рожок для надевания башмаков и стакан с каким-то темным пойлом (— и сахарной жижей приклеились вокруг него длинные седые волосы!). Не гадко, а стыдно было глядеть на эту гнусную

подробность человеческого неряшества. Попривыкнув, Илья Игнатьич разглядел такую же классическую паутину на пятнистых, заслеженных стенах, лекарственных пузырьки и боржомные бутылки в углу и, наконец, овальное зеркало прямо на полу; время от времени, при каком-то повороте, вонзался оттуда в зрачок тоненький, дрожащий лучик звезды. Это и было здесь самой ошеломляющей подробностью. Стены находились на своих местах, но вместо потолка, по крайней мере, над половиной комнаты, темнело вечернее небо; уже проступила по нему белесая россыпь звезд. В одном, правом, углу еще чернели две-три перекладины стропил. Другая часть комнаты, налево, совершенно пропадала во мраке. Протоклитову было так, точно вступил на дно заброшенного колодца.

— Чего выпятились? — глуховато и насмешливо пробубнил хозяин. — Это как-раз Орион, пики-kozyри, слышали про него? Это звезды такие. В ясную погоду — недурное зрелище: как-никак самая емкая из книг. Сколько там всякой чепухи написали народы за минувшие века! Писали-писали, а крышу покрыть нечем, пики-kozyри... — И он покосился украдкой на пошительного и изумленного посетителя. — Видите, крыша-то — тютю! Просела, собрались ремонтировать, — оказалось, гвоздей нет. Жильцов, кроме меня, не осталось, вот и порешили в жакте (— он как бы сплюнул это слово, и оно отвратно шмякнулось о воздух —), что не стоит пылить ради одного человека. Ждут, скоро и я сойду на-нет. А я все не мру да не мру, пики-kozyри. Хожу по моей пещере да пою на манер Иван Дамаскина! — И он похохотал, не очень весело, но зычно, грозно и раздрающе; наконец, как бы задохнувшись чадным дымом тоски своей, он резко смолк и отвернулся.

Протоклитов помалкивал, не зная, как следует вести себя в таких случаях. Обсуждать всерьез отсутствие крыши означало бы сочувствовать, а сочувствие в свою очередь приводило к неминуемому блоку, даже обществу с этим нищим и обреченным подпольем. Остало-

лось отшучиваться, он это и сделал не особенно ловко —:

— Так и живете на манер халдейских мудрецов?

Когда-то был красив и даже величав этот одряхлевший гигант, но все утекло. Точно с манекена, свисали полы люстринового пиджака, и никакое чудо не могло бы вернуть прежнего благообразия этой отошталой, продырявленной сумы с душою. Такое же большое, круглое было и лицо у него, опухлое и нездоровое, точно пальцем выковырянное из исполинской тыквы. Илье Игнатьичу показалось даже, что когда-то встречал его, и даже довольно часто, но паутинка воспоминания тут же и порвалась. Неприимно и дико глядели эти, все еще непотухшие, глаза. Они подозрительно скопились в Протоклитова —:

— Вы образованный человек, — заметил он с укором и гораздо тише. — Сейчас никто уже не помнит о халдеях. Теперь все больше насчет повидла да штанов. Верхнюю часть тулова не утруждают работой, пики-kozyри. — И опять захлебнулся шершавым, злым смехом; переливчато свистнул воздух в его расширенных бронхах. — Образованный человек, а часы покупаете. Значит, деньги есть. Платят, значит? Ничего, не обижайтесь: нынче все мы родня. Шибче горя не бывает родства! Ну, уже присядьте, поговорите со мною... А то насидишься с чучелом, — он ткнул перстом в неосвещенную часть жилья, но, как ни вглядывался Илья Игнатьич, ничего там не разобрал, кроме греческой статуэтки да вороха мятого белья на кресле, — так, верите ль, мозги затекают, и волос начинает вовнутрь расти. Э, чайком бы вас, пики-kozyри, — полувопросительно заметил он, но сесть было не на что, а чай распивать в таком месте Протоклитов и вовсе не порешился бы.

Вдобавок, хозяин все шаркал подошвами, перхал, — мучила его эмфизема, чесался и снимал что-то из-под бороды. Он делал это так часто, что следовало отнести эти поиски за счет дурной и бессознательной привычки. Речь его была в достаточной степени сдобрена прокисшей философической крошкой и

еще такой желчью, что вещи, казалось, начинали коробиться, когда он заговаривал о них. Протоклитову стало скучно и противно. Очень учтиво, даже не без интеллигентской приятности во взоре, Илья Игнатьич напомнил старику о цели своего визита. Тот сердито забурчал что-то, пятерней разгребая бороду, и гудел еще долго, без всякой связи и видимого смысла.

— ... итак, — стало слышно, когда оформилось в слова его бормотанье, — вы притащились за моим Кароном. Что ж, в могилу не спускаются без дела. Так вот и уплывает добро-то! На прошлой неделе я задарма отдал гоудуновский ларец с аметистами (— а про него и в летописи помянуто!). А месяц назад отсюда унесли Э м и л я с авторским посвящением Екатерине. Что ж вы все спали-то, господин инженер?! Тут ко мне грек ходит... а может, итальянец или еврей. Вежливый, по-иемецки говорит... говорит, точно напилком по стеклу режет. Этот все покупает и за границу везет. Вы поспешите, а то он так и расклевывает меня понемножку, живого: вам ни ребрышка не достанется! — Он протянул руку наобум в могильное свое пространство, извлек из него две вазочки растленной формы, вытряхнул оттуда какие-то стручки и сохлую моль, сдунул пыль прямо на покупателя и без особой настойчивости протянул ему. — Видали, стилист чистейший директор, не угодно? Так. А милосская девка без рук, голая, тоже не пройдет? Зря, пики-kozyри. Красота — полезно, при красоте стыднее! Чего же бы вам т а к о г о?

Так он рассчитывал проговорить с оступившимся л ю б и т е л е м, может быть, всю ночь. Он что-то переставлял в темноте с места на место, оттирал рукавом, показывал округлым, дугообразным жестом и все свистел, свистел. Очень волнуясь почему-то, Протоклитов еще раз, уже настойчивее, указал, что он не старевщик и, кроме распубликованных часов, не имел другой причины для того, чтобы злоупотреблять гостеприимством хозяина. Это было высказано столь витиевато, что старик понял не сразу. Покопавшись в бороде, он долго смотрел себе на отросшие, желтые ногти.

Он казался разочарованным. Вдруг, что-то сообразив, он бережно принял с подоконника один из цветочных горшков, одетый в пухлую белую плесень. Их там стояло множество; в некоторых еще теплилась слабая зеленца, из других торчали бурые комья гнили.

— Погодите, мы договоримся, пики-kozyри. Вы не ботаник? Жаль, я отдал бы эти орхидейки бесплатно: некуда приладить. Я ведь, как в затворе, не выхожу. Ботанических садов в России не осталось: повыврубили. Да и что от нее осталось, от матушки! Василий Блаженный на площади да я вот, срамной... — Снова он заворковал что-то в бороду, длительно и невнятно, а Протоклитов, закусив губу, решил терпеть до конца: Кароновская луковица стояла беседы с этим одичалым маньяком. — А когда-то все это цвело, господин химик... онцидиум кавендишианум, слово! го, а? За одно слово рублей двенадцать можно взять!.. а ныне какие-то цветные паучки под листьями развелись, с предприимчивыми такими лицами. Сидит, подлец, и пахнет из мух крутит... Гляньте разок на память, да гляньте же, это уже бесплатно! — Он отвел в сторону безлистый, суставчатый стебель и показал совсем пустое место: видимо, паучков следовало принимать как аллегория. — Все сгибло, туда и дорога. Библиотеку крысы сожрали... вот и продал Э м и л я-то от греха. При этом заметьте, господин ботаник, что и крысы предпочитали книги довоенные, идеалистического содержания. Ваших Лафаргов они не жрут: клей не тот-с!.. Да и кому это нужно. — Все отсюда же, из темноты, подобно балаганному магу, он хватал книгу за книгой, потрясал ею и кидал назад, во что-то мягкое. Протоклитову почудилось, кто-то с обезьяньей ловкостью ловил их на-лету. Сверкала тусклая позолота корешка, всхлипывали развернувшиеся страницы, и снова вещь тонула во мраке ямы. — Вот, вот они, творения голландского солдата Декарта, путешествующего по обету на поклонение Лоретской богородице. Или вот книга чисел Галилея, присвоившего изобретение миддельбургского очешника. Или вот еще листовки друга герцога Вилле-

руа, вашего незабвенного Марата, который, обезглавив живого математика Бальи, уже тянулся за мертвым, за Ньютоном. Запоминавали, хе-хе, пики-козыри? За исключением десятка вот этих подмоченных праведников, для вас история только уголовный архив человечества... и ни песен там, ни книг неугасимых, а только пестрые стрекулисты, хапуги да фантомы! Все хвастаетесь, что новые корабли построены плыть в неоткрытые океаны. А забыли: там, позади, в тумане, было такое же благословенное, со-олнечное утро (— и сведенным пальцем погрозил кому-то—), когда корабли Веспуччи только подплывали к берегам чудеснейшего из материков. Ха, вы и это забыли, во что превратили его впоследствии. Забвенье — высшее социальное качество, господин музыкант!

Тут уже окончательно выяснялось: профессии посетителя он путал единственно из презрения. Злоба помешала старику вступить на тот последний рубеж, что называют успокоенным и совершенным знанием; у этого сразу началось бешенство скуки. Новая эра мнилась ему лишь бесцельной и бестолковой суетней невежд, но еще слышал песни молодости, лившейся поверх его пещеры, и завидовал ей со всею страстностью своего громадного и холодеющего тела. Чем-то отпугивало его то единственное средство, с помощью которого возможно было избежать дальнейшего одичания и сократить муки распада. Уже он набрасывался на все живое, имевшее неосторожность попасться ему на глаза. Без видимой связанности он швырял в Протоклитова какие-то сомнительные исторические факты, адресуясь, может быть, к самым халдейским звездам, размахивая руками, подгрывая воздух под себя, грозя массой своей раздавить воображаемого оппонента. Он спрашивал, кому подражают атомы, сцепляясь в образ человека или дерева, он кричал о каких-то гигантских, стоптанных окровавленных башмаках, в которых шагало вчерашнее человечество, а врач, забыв о Кароне перед лицом такого яркого клинического случая, относил все это за счет расслабления ассоциативной мысли и того чрезвычайного возбуждения, ка-

кое постигает память перед тем, как ей погаснуть навеки.

— Амба, господин флейтист. Я раздумал продавать моего Карона. Не хочу, понятно? Я отдам его моему грекосу... и пусть он увозит его с собою на мотоцикле в ад!

Предприятие срывалось, и, конечно, не драться же было за потраченное время с размахавшимся стариком. Илья Игнатич стал незаметно отступать вдоль стены, вздрагивая, когда задевало плечо оторвавшийся клок обоев. В эту минуту что-то зашевелилось в глубине (— то самое, что Протоклитов принимал за груды белья в кресле!), но кому принадлежал этот плачевный, пронзительный голос, сразу нельзя было понять—:

— Простите, что я вмешиваюсь не в свое дело, Николай Аристархович... но посмотрите, до чего вы довели вашего гостя. Вчуже мне обидно за него!.. и кому интересны ваши конфиденции? Кто же виноват, что, свергая вековых истуканов, народ поколебал почву и под вами? Вы вспоминаете грехи великих, как будто они оправдывают и ваши собственные. А вспомните Бакунина, которого вы, вы пытались губить. Это был святой человек... а и он, например, брал в долг и... э... и не отдавал!

Хозяин насмешливо отмахнулся —:

— Помолчите, высококонравственный друг мой, — огрызнулся он с непонятным озлобленьем. — Вы и прежде страдали потливостью ног и склонностью страшить девушек яковинскими мыслями. Вы всегда играли роль мудреца и праведника и мучились незнанием, чего в вас больше. А случай на Псне помните?..

Снова послышался легкий треск мебели, и, чудо, груды белья привстала. Образовавшийся человек сделал шаг вперед. В сумраке Илья Игнатич разглядел чистенькое стариковское личико с вислыми седыми бровями.

— Я возмущен вашей выходкой, Николай Аристархович, — надтреснуто и важно произнес он. — Я раскаиваюсь в своей доверчивости. Вы старый человек и не стыдитесь при постороннем человеке шутить про такое!..

И тогда-то свирепый взрыв завершил невероятное приключение коллекционера. Видимо, это были старинные, никогда не помирившиеся соперники. Век давно перешагнул через их распрю, а они продолжали жить ею, потому что других интересов уже не оставалось. Их сводила теперь только взаимная ненависть, ставшая сильнее всякой привязанности. Но, значит, здесь суждено было покончиться и ей.

— Ты надоел мне со своей бессмертной любовью, поганец, тухлая мышь и кривляка! — загремел большой старик. — Мне надоело видеть этот сохлый крапивный лист, надетый вместо лица. Арлекин!.. Эй, дьяволы, заберите его, посыпьте его золой! Она жила со мною, твоя бессмертная любовь. Каждую ночь я шатался к ней в мезонин, пики-козыри. Я спал с ней, пока ты сочинял ей свои дурацкие вирши...

— Я не слушаю, не слушаю вашего бесстыдства, Николай Аристархович! — заикаясь и тоже благоразумно пробираясь к выходу, шептал старик маленький. — Вы клеветники, Николай Аристархович, вы бесчестите мертвую... Этого не было, не было!

— Ты жил у нас под кроватью... и когда мы ворочались на ней, было слышно, как ты чихал от пыли, разрисованный мозгляк. Гробовщики... мерку ходите с меня сымать!.. Вон идите, все! Дайте мне отдохнуть одному, одному... подарите мне хоть... — его голос почти пресекался, — хоть безразличность к трупу!..

И в эту минуту, чтобы быть справедливым до конца, Илье Игнатьичу не очень хотелось уходить. Не лишен был глубокой занимательности петушиный бой стариков. Во всем они казались полной противоположностью друг-другу. Это были лев и мышь, но в том возрасте, когда красоту и могущество их примирительно уравнивает старость. Пальцами заткнув уши, маленький пробирался к выходу, пугаясь в брезентовом балахоне, громадном, как рояльный ящик. У него были явные шансы опередить Протоклитова, которому дорогу преграждало раскорякое, с вывернутыми внутренностями, кресло. Последовала какая-то бессловесная суматоха, как бы

вадет только в пожаре. В коридор Илья Игнатьич просунулся одновременно с маленьким стариком, и тотчас же со стоном и дребезгом позади ударилося что-то в захлопнувшуюся дверь. (Вазочкам директор нашлось, наконец, подходящее применение.) Протоклитову повезло первым выскочить из подвального лабиринта, но весенняя грязца раздалась из-под подошвы, он поскользнулся, и мгновение спустя маленький повалился на него.

— ... не верьте, не верьте ему, — жалобно шелестел он, еле переводя дыхание и цепляясь за рукав. — Он лгал, он всю жизнь лгал! Я объясню вам все...

— Дайте же мне встать! — ворчал Протоклитов, багровый от негодования.

— Да-да... вы не ушиблись? — Вдруг он потерянно схватился за голову: — Это ужасно... я забыл там свою шляпу. Помогите мне, не бросайте меня!

Никто, однако, не порешился бы войти туда снова. Они смятенно стояли во дворе, слушая торжественные звуки грома и неистовства. Никому не нужный человек буйствовал в потемках среди гадких, падающих стен. Судя по тоненькому стеклянному взвизгу, разбитому зеркало: погасла последняя халдейская звезда! Грохот и возня становились слабее; вот и последние шорохи растворились в прохладной майской тишине. И только сердце угадывало еще незаконченную суету огромного, созревшего и увядающего тела. Не требовалось особых знаний, чтобы поставить диагноз происходящему. Это была агония, и социальная предшествовала физической.

Они подобрались к окну. Привстав на колени, не выпуская протоклитовской руки, маленький заглянул в подполье. У Николая Аристарховича было темно. Маленький поднялся; детский страх округлил его глаза —

— ...знаете, у него был веронал, он выменял его у грека на Эмиля. Два пузырька... он еще хвастался, что это импортный, хороший... — подавленно зашептал он (— Протоклитов отчетливо представил себе этого покупателя, вкрадчивого и вежливого, в бархатистой шляпе, с мертвенно-синими бритыми щеками, обменивающего бесценную книгу на

смерть; мировой образ покупателя душ претерпевал в этой стране занятую эволюцию.)

Молча он повел со двора своего нового знакомого; было бы жестокостью вторично возвращать к жизни то, что оставалось позади. Старик слегка упирался, ему жаль было утраченной шляпы. Внезапно он вырвался и вприпрыжку побежал назад. Илья Игнатьич подумал, что эта была жгучая потребность взглянуть на соперника в последний раз. Протекла наверно, четверть часа, прежде чем старик показался снова. Он шел, пошатываясь и держа в руках широкополую, мятую, точно на ней лежали, возвращенную собственность. Кроме нее, он ничего не унес оттуда а, может быть, даже и оставил часть себя. — Так вот как происходила смена жизни! Из нее ушли купцы, чиновники, монахи, биржевики; заодно пропали и самые слова, их обозначающие. Но, значит, оставалась какая-то шеренга, которой лишь теперь наступил срок. И, точно отвечая на задуманный вопрос, старик забормотал вяло и раздельно, как в былые времена читали над покойником псалтырь —:

— ... И этому человеку я завидовал сорок с лишним лет. Он взошел надо мной, как звезда, а мы начинали вместе. Сам того не замечая, он проглотил мою жизнь. Он был удачник. У него были полные, красивые дети и высокая, гордая жена. Он был директор классической гимназии, оплот реакционного министерства... — В конце концов, его горечь была понятна: людей всегда устрашала гибель светила.

— Послушайте... его фамилия? — тряхнув за плечи маленького старичка, по-мальчишески закричал Протоклитов.

Старик поднял на него незрячие, опустошенные глаза.

— Дудников! — сказал он, ежась от холода и величия имени.

Илья Игнатьич разжал руку. Точно затхлым ветром прошлого опахнуло его. Дудников был директором той гимназии, где он учился. Нельзя было забыть этого большелобого, надменного человека, — только нимба нехватало вокруг его головы. Он носил синий диагональный форменный пиджак на красной генеральской

подкладке и с гербовыми пуговицами. Воспитанники старших классов шутили, что, даже лаская жену, он не снимал с себя парадного мундира, чтоб не забывалась! Даровитый преподаватель истории, он совершал удивительную карьеру, разбег которой остановила революция. Его кабинет походил на храм, где он сам был и жрецом, и божеством. С расписного плафона низвергались позолоченные символы наук и искусств. Его швейцары обладали сарказмом Вольтера, внешностью и выправкой римских легионеров. И когда он сам проходил по коридору, отражаясь в безднах наощенного паркета, гипсы классиков провожали и ели его глазами, как солдаты полководца на смотре.

— Ага, так это был Дудников! — вслух повторил Илья Игнатьич.

Ему захотелось узнать подробнее судьбу этого человека. Им руководило почти ребячливое чувство добыть секрет учителя, заглянуть в завешенное окно, прочесть запретную книгу. Он задавал вопросы, но старик был не в состоянии отвечать. Тогда Илья Игнатьич попросил позволения навестить его. Тот охотно сообщил свой адрес и даже обрадовался случаю свести знакомство. Его звали Аркадий Гермогенович Похвиснев.

Густо пахло распускающейся почкой, сыростью задворков и непросушенного щепня.

Протоклитов проводил старика до трамвая.

## Актриса

Свидание состоялось только через два месяца. Работы навалилось столько, как будто вся Москва встала в очередь резаться у Протоклитова. Да и на этот раз он зашел лишь потому, что случайно оказался в их районе. Старика не было дома, его ждали из очереди с минутью на минуту: выдавали хозяйственное мыло. Илью Игнатьича встретила племянница Аркадия Гермогеновича. Ей было двадцать один, ее звали Лиза, у нее были заплаканные глаза. Протоклитов заинтересовался, как врач. Оказалось, актрисе не давалась роль. Ей собирались поручить

Анжелику в Мнимом больном, о постановке которого давно поговаривали в театре. Оставшись ждать, Илья Игнатьич предложил ей выслушать ее монолог, и, так получилось, сам подчитывал ей за Аркана. Лиза упрекнула его за плохую, несколько жестковатую дикцию; он, со своей стороны, дал ей также ряд ценных практических указаний. Между прочим, он отметил полную правдоподобность молюеровского замысла, согласился с едкой критикой тогдашнего врачебного сословия, а о состоянии французских больниц в восемнадцатом веке посоветовал прочесть хотя бы в донесении того же Балли. (Имя это, вскользь упомянутое покойным Дудниковым и теперь пришедшее ему на память, показывало, что в этот момент он еще помнил о цели своего прихода к Аркадию Гермогеновичу.)

Он так уважал театр и звание актрисы, до такой степени был искренен и не знал женщин, что предположил, будто все это ей очень интересно — :

— ... их клали по шестеро на одну кровать, больных, и так, что ноги одного приходились к самому затылку другого. Га, вот это была медицина! Мертвец, лежа на спине, занимает полметра. Тем, кто рисковал поболеть в королевском Париже, приходилось всего по двадцать пять сантиметров. Удачники лежали на боку, не в состоянии шевельнуться; остальные ждали своей очереди под кроватью. Судите сами, Лиза (— вы позволите старику называть вас так? — вставил он с неуклюжим кокетством холостяка—), что творилось на задворках блистательного Версаля!.. Заразные, хронические, беременные — все лежали вместе, как спички в коробке; лихорадку и чесотку лечили одинаково; оспенные бродили между кроватей, ища местечка прилечь. Существовали два способа лечения: клистир... га, извините за подробности!.. и пила. Операции производились тут же, на глазах у всех. Нет, вы почитайте при случае этого честного простака: жуть берет!

Она смотрела на него с любопытством, во все глаза — :

— Да, я непременно прочту. Постойте, я запишу автора. Спасибо, что вы

надоумили меня, но ведь в театральной библиотеке этого не достанешь!

— ... о, я сам занесу, если хотите, — предложил Протоклитов, радуясь горячей отзывчивости совсем молодой девушки.

Похвисневы жили в утепленной стеклянной галлерейке. Две прозрачных ее стены выходили в крохотный и пыльный садик. Грядка моркови, два кустарничка, да еще деревце простоватой породы составляли все его содержание. Лиза объяснила про деревце, что в непогоду оно скребется всеми лапами в стекла, как бы просясь поближе к печке. «Посмотрите, оно ластится к человеку, как большая, умная дворняга!»

Она сказала простодушно:

— Я с детства люблю собак, кошек... а вы?

— Кошки... они приятные, — солидно произнес Илья Игнатьич.

Ситцевая занавеска делила эту тесную комнатку пополам (— во второй половине и жил дядя). Огненные на ней петухи клевали жука. «Такая множественность бывает, если смотреть через стеклянный подвесок с люстры, правда?» — заметила Лиза. Дыра эта была попросту убога, но Протоклитову нравилось тут все: и обилие зеленоватого, от листы отраженного света, и масса книг (— стопка книг даже замещала четвертую, отсутствующую ножку клеенчатого кресла), и койка с дырковатым байковым одеялом, и самая теснота, казалось, насыщенная чистой свежестью незнакомой девушки. Лиза поминутно задевала Протоклитова то локтем, то лоскутом платья, то дыханьем.

— Дядя рассказал мне, как вы встретились у Дудникова. После этого он неделю проболел. Кстати, разве вы чаевщик?

— Нет, не совсем.

— Зачем же вам старые часы? Уж лучше новые. Они вернее ходят.

— Га, это трудно объяснить. Это склонность...

— Ах, склонность!.. — протянула Лиза, и в интонации ее выразилось раздумье гораздо большее, чем причина, вызвавшая его.

... Видимо, в один прием невозможно было изучить биографию Дудникова. Илья Игнатьич стал бывать у Похвисневых. Ему дополнительно понравился открытый, как под ветром, лоб девушки, ее манера улыбаться, приподымающая самые крылья бровей, ее чистые, без единой лжинки, глаза, даже ее привычка говорить много, быстро, и ни слова о самой себе. Он и сам был скрытен, и потому его вдвойне привлекала замкнутость Лизы, причин которой он не умел разгадать. Словом, ему пришлось по вкусу даже самые недостатки Лизы. (Он так и не узнал никогда второй половины этой формулы: любовь ушла, когда и достоинства раздражают.) Впрочем, столько уже сказано по этому поводу, что бессмысленно множить варианты.

Илья Игнатьич долго хотел этой девушки, и было в его кружениях что-то от ребенка, которому приглянулась нарядная конфетка, забытая старшими на столе. Незнакомый с современной ему техникой дела, он пускался во всякие ухищрения и добивался ее усилиями, одной трети которых хватало бы для любого успеха. Этот предельно занятый человек изобретал всякие головомомные подарки, загородные прогулки в сопровождении дядюшки и даже письма, полные достоинства, научности и растерянности. Дело затянулось почти на год; дядюшка, вначале говоривший, что «робость влюбленного — единственный вид трусости, заслуживающий снисхождения», начал волноваться. Втайне он уже обдумал план объяснения с молодым человеком (— в его возрасте все человечество казалось ему исключительно преступным и молодежавым), когда Лиза сама, минуя все условности, шуточно и простодушно намякнула Протоклитову о своем согласии.

— Условие, Илья: вы никогда не будете надоедать мне расспросами.

— Я заранее люблю и ваши тайны, Лиза!

Переезд в жилище мужа состоялся лишь после того, как там побывал букинист. В лютой расправе с книгами муж принял участие на стороне жены.

Была выбита пыль из штор и вчерне намечено расположение комнат. Лиза открыла окно, и, свесившись за подоконник, болтала ногами. Шел теплый летний дождь, капель с крыши падала ей в розовую раковинку затылка. Свадебный подарок, Протоклитов был поистине расточителен. Полтора месяца московские букинисты рыскали для него по книжным кладбищам. Они собрали целую библиотеку по сценическому искусству. Сюда входили классики мировой драматургии, много томная история театра и театральные учреждения. Илья Игнатьич разложил все это у себя и позвал ее, — она уже догадывалась о причинах переполоха. Она вошла, она изумилась, она не поверила, что об этом можно написать так много. Озабоченно и виновато она полистала одну толстую тетрадь, сверху. Величавые, надуленные старики, в кружевных жабо, в париках, в сюртуках какого-то вампирного покроя, сморщенные старушки в тальмах выглянули на нее из прошлого. В глаза ей бросилось лишь одно: разнообразие бород и причесок, какие изобретались на протяжении веков. Ее охватила растерянность, подобная отчаянию художника, который впервые пришел в музей, полный первоклассных произведений; казалось безрассудством вступать в соревнование с ними. Она посмотрела на руки мужа, они были пусты. Смущенно кивнув головой, она отошла к окну. Он был простоват, бедный супруг начинающей актрисы!

Конфетка была, наконец, в его руках. Целых полгода Илья Игнатьич ожесточенно жевал ее в меру здоровья и сил; в таких не сразу доберешься до начинки. Увлеченный своими занятиями, он не замечал, как менялся распорядок в его квартире. Протоклитов ложился в одиннадцать, — Протоклитовы ужинали в час. Протоклитов не выносил кошек, — у Протоклитовых всегда на ночь примащивался к ногам трехманный, неприятнейшего характера зверь. У Протоклитова не чаще раза в полугодие собирались коллеги обсудить новости оперативной урологии, — к Протоклитовым гости стали забредать запросто, на огонек. В

большинстве это были развязные молодые люди в заграничных джемперах и со скептическим образом мышления. Они и в гостях чувствовали себя, как дома, а он и дома вел себя среди них, как в гостях. Старики перестали бывать у Ильи Игнатъича, и теперь, самый молодой среди них, он выходил на положеньи старика. Только неизменная преданность этому звонкому, кареглазому существу заставляла его мириться с неудобствами брачного существования.

В круг его профессиональных забот вошли новые, пока еще незаметные и приятные. Маленькая женщина имела склонность к большой деятельности. Ее не удовлетворяла роль второстепенной актрисы малозначительного театра. Ее выпускали к рампе не дальше выходных дверей. Казалось, режиссеры и директор боялись в ней соперницы своим бездарным женам. Ей завидовали, ей мстили за страх, который она внушала... Все это, сопровождаемое безжалобным молчанием жены, принимало в глазах Ильи Игнатъича острую убедительность. Он терялся, писать ли пространное письмо наркомку, ехать ли на сражение с директором. Сам он, однако, за все время ни разу не удосужился посмотреть свою жену на сцене. Она неоднократно приглашала его к себе за кулисы. Тяжеловесная внешность Протоклитова, его имя, его профессия, должны были произвести переполох в среде ее врагов. Словом, она хотела пригрозить им ремеслом мужа. Никто из тех, кто строит мосты или командует парадами, или пишет разоблачительные книги, никто не смел зарекаться, что завтра же не возьмет на эмалированный стол с откидным, шарнирным изголовьем. В своей обиде она преувеличивала значение своего оружия. Власть Протоклитова была не больше власти диспетчера, направляющего поезда, или социального могущества пекаря, замешивающего общественный хлеб.

Прежде чем выступить на защиту актрисы, Илья Игнатъич тайком купил билет и сказался, что идет на встречу с американским невропатологом. Театр, где упражняла свои дарования Лиза, находился далеко. Нужно было ехать

трамваем на двадцать копеек и один переулочок пройти пешком. Храм искусства в прошлом оказался купеческим, средней руки, двухэтажным особняком. Бытовым аммиаком шибало из подворотни, и местные жоржки с подрагивающими галстучками стайкой погуливали по тротуару. В общем, заведение было довольно глухое, сюда приходили и в валенках, а перед спектаклем читались лекции о пользе Шекспира. Пожилая женщина в вязаном платке матерински провела Илью Игнатъевича на место и продала ему бумажку, где среди прочих значилось имя и его жены. Вентилятор над головой вытягивал вредный воздух. Его остановили, как только занавес раскрылся и сапоги под занавесом ушли. Произошла суматоха, зрители рванулись в передние ряды. Когда все улеглось, Протоклитов увидел жену.

Тогда обожали импортные пьесы из заграничной жизни. Это обнаруживало вкус дирекции и давало возможность под благовидным предлогом показать запрещенные танцы и нарядные туалеты. На этот раз сцена представляла американскую, среднего достатка, избу. Укрывшись дерюжкой, Лиза спала в глубине ее, пока ее не будила старуха, похожая на тюк утиля. Она стала разносить негодницу, что та не затопила печь, не подмела избы. По всему видно было, что старуха притесняет ее. На Лизе были такие же лохмотья и парик, как и на гнусной тетке. Пришли люди сообщить о смерти старухина мужа. С напряженным лицом Лиза действовала метлой, выжидая времени подать, наконец, свою реплику. Между тем появился Васильев, одетый под ковбоя. И хотя бы этот Васильев был влюблен в нее... нет, Васильев был влюблен в другую!

Условная световая граница отделяла от него милую его Лизу, и ему не удалось смотреть на нее иным, чем зрительским, глазом. Участие Лизы было незначительно. Она играла роль стенки, в которую ударяется мяч, чтоб лететь в руки другого. И вдруг Илья Игнатъич забыл про темную, ему одному ведомую, родинку у Лизина предплечья, близ мышцы *pectoralis major*, где прячется

голубая ямочка ключицы. Эгих послушных, доверчивых зрителей окраины увлекала не жена его, а крепкий, наотмашь разящий юмор знаменитого памфлетиста. Пятнистый румянец побежал по мглистым щекам Протоклитова. Ему казалось, что его узнали и присматриваются без глумленья, но и без особого сочувствия. Наблюдать конфуз мужа было им интереснее, чем кривлянья его жены. Кроме того, что-то начало капать на голову. Он изогнулся, стало падать на плечо, он мазнул пальцем и понюхал, — к его удивлению, не пахло ничем. Вдобавок, в продолжение всего акта колени его упирались в переднее сиденье. Театр не был рассчитан на таких долгоногих посетителей... Наконец, он поднялся и, путаясь в чужих ногах, цепляясь за номерки на стульях, бежал к выходу. Женщина в вязаном платке семейственно пожурела его вслед:

— Эго, батюшка, дома надо делать, не доводить...

Вернувшись из театра, Лиза застала мужа уже дома. Без жилета и в туфлях, готовый к ночи, он читал у себя. Свет настольной лампы падал сбоку. Угловатая тень носа тонула во впадине щеки. Он не поднял глаз, когда тихонько открылась дверь. Лиза посвистела; она умела издавать тоненький тревожный звук, похожий на манок рябчика. Он не замечал ее. Танцует и кружась, она перебежала комнату и заглянула сзади. Журнал был иностранный; на развернутой странице с предельной тщательностью изображена была киста почки, до резекции похожая на человеческий эмбрион, и рядом — сморщенная, уже выхолощенная капсула ее, совсем как стратостат перед полетом (— о нем только-что отшумели газеты).

— Фу, гадость какая! — шепнула Лиза.

Илья Игнатич продолжал читать. Лиза обиделась и отошла. О, как ей надоели все эти книги о кистах, папилломах, экстирпациях... страшные обозначения человеческого несчастья! Когда-то, в самом начале, она очень трусила этих слов. Профессию мужа она помещала где-то между чудотворцем и мясником. Однажды, договорившись с ассистентом,

она пришла в клинику; на нее надели халатик и холщевый беретик на голове зашпилили английской булавкой. Она отказалась проследить весь путь больного от ванны до операционной. Она имела об этом представление: палаты, и в них лежат мужчины, похожие на чурки, и женщины с наружностью выходящих солдат. Ей хотелось видеть главное, ее повели. Ничто не удивило, ее, не заставило содрогнуться. Много людей в белом стояло возле высокого стола, и пальцы хирурга ловили что-то в темном, квадратном, совсем бескровном пространстве. Не было и следа тайны в ремесле мужа. Право, дело графолога, что сидел у них на табуретке в фойе, было во сто крат сложнее! В глянце библиотечного стекла она поймала свое отражение. На щеке и кончике носа лоснился свет. Она торопливо расстегнула сумочку, чтоб припудрить лицо.

— Ты был сегодня в театре? — тягуче, спиной к мужу, спросила она.

Ему было как-то неловко глядеть на нее, точно в компании с ней он и прикалывал сегодня знаменитого писателя. Илья Игнатич читал. Статья принадлежала одному мировому светилу, но, кажется, статистика смертных исходов не соответствовала его славе.

— Почему ты не досидел до конца? — монотонно и тем более зловеще повторила Лиза. — Я видела, как ты уходил. Тебе не понравилась пьеса?

— Я должен был навестить больного. Он нервничает, завтра его кладут на стол.

— Это не тот, которого ты кромсал третьего дня?.. он еще жив?

— Нет, тот поправляется.

Она иронически пошурилась —

— Ты лжешь, Илья, и ты плохой актер. Почему ты ушел из театра?

Отложив журнал на колени, Илья Игнатич смотрел на жену. Она показала ему вдвое несчастней, чем прежде. Ее средства не превышали средств дикарки, очаровательной и ничтожной, и он подумал при этом, что описание ее потребовало бы исключительно уменьшительных эпитетов. Она была неболь-

шого роста. Ее карие глаза, если бы не эти бродячие золотинки в них, были рядовые, немножко грустные, из тех, какие часто встречаются у людей, потерпевших крушение или у девушек в поездах дальнего следования. В ее личике, не очень правильном и с чуть приплюснутым носиком, привлекала воспаленная и беспомощная вялость губ. В жизни она вела себя так просто, что было бы стыдно обидеть ее. Но, значит, надо рассердить женщину, чтоб увидеть, какую она станет много лет спустя. Вот, враждебная, зачуждавшая, она наступала на него... И вдруг, расхохотавшись, как была, в шубке, вскочила к нему на колени. Сквозь тонкую рубашку он ощутил зимний холодок ее пуговиц. Статья мирового уролога валялась в ногах. Лизина туфля, соскользнув с ноги, упала на скверную, изрезанную почку.

— О, тебе не нравится Кагорлицкая, верно ведь? — И погрозила пальчиком, таким розовым, что почти не давал тени. — Ты помнишь ее, у нее такая востренькая мордочка, как перочинный ножик. Эта ужасная женщина идет в гору! Но все же знают, как она пробивалась в люди. Надевала трусики, пряталась в платяной шкаф и кричала ку-ку. А Анатолий Петрович искал ее и, конечно, сразу находил... (— Она с тем большей легкостью приписывала Кагорлицкой грехи своей подруги, Гальки Громовой, что Протоклитов не знал их обеих. —). Кстати, я заметила тебя с самого начала и показала подругам. Мы по очереди смотрели в дырочку занавеса. Что это ты жевал, вкусное?.. Зойка Ершова сказала, что ты похож на допотопного ящера, а Кагорлицкая — что ты вроде Каменного гостя. Но ведь это глупости, ведь ты не задушишь меня!? Жаль, что ты ушел: весь первый акт я играла только для тебя... ты заметил? Но ты ушел, и дальше я играла плохо, знаю сама. Между прочим, ты не помнишь, какие социальные корни у Беранже? Давеча зашел спор, и мне пришлось молчать. Не знаешь? Ну, а вдруг тебя спросят на конференции, а ты... Кстати, тебе понравилось, как я играла? Что же ты молчишь?

Щекой она чувствовала его замедленное, в два темных ветра, дыхание. Как она изучила его! (...и все-таки боялась какой-то одной, никогда не прочитанной в нем строчки.) Так она тормошила мужа, ласкалась к нему, а кресло под ними пыхтело и отдувалось, как толстяк.

— Ты все-таки молчишь?

— Что тебе сказать, Лиза! — Он с содроганьем вспомнил поганую каплю с потолка, простодушную шутку билетерши и то упрощенное лицедейство, которым торговали под видом искусства для масс. Он постарался изобрести оправданье: все известные театры начались так же, с двух-трех энтузиастов, дачного сарая и веселой, нищей молодости. — Ты молода, у тебя все впереди. Га, снимай пальто, детка, и давай ужинать!

— Ты не отвечаешь на вопрос.

— Я очень голоден, Лиза, и устал. Это был трудный день. Заходил твой парикмахер. Я назначил ему завтра... ты свободна?

Ее бровки сдвинулись у переносья, ее терпенье истощалось. Так среди птичьего щебета и при ясном небе внезапно заворчит гром. О, давно следовало выяснять — она ли жена врача, или он муж актрисы. Наступление продолжалось; копенгагенская ваза, дар восторженного пациента, сомнительно покачивалась на этажерке. Но снова озорной улыбкой озарилось нахмуренное личико, туча сошла, и солнечные лучи беспечно заскакали по полянкам. Он прижал ее к себе и очень тихо спросил о ребенке, которого они начинали ждать. Она прислушалась и по-детски определила, что он прорастает.

— ... Совсем забыла. Одевайся скорее! Со мной пришел Виктор Адольфович... ты еще не слышал о нем? Я тебя познакомлю, идем. Это наш главный режиссер. Он очень, очень ценит тебя, имей в виду. У него, кажется, апендицит, и он хочет посоветоваться.

— Га, но поздно же, Лиза... и тут не приемный покой. Пусть приходит завтра!

Она пристально взглянула на него: — Значит, ты не хочешь моего успеха? В театре ходят слухи, что пойдет Мария Стюарт, ты понял? Ты эпосо-

бен понять, что это означает для меня? Ну же, вдевайся в свой пиджак! Странно, у тебя совсем нет друзей. Как ты жил раньше, как ты жил! Идет большая бурливая жизнь, новые массы выступают на арену, а ты... Ты сидишь взаперти, несчастный кустарь-одиночка, и любуешься на свои мочеточки!

— Лиза...

— ... и ни слова! Он во всех смыслах джентльмен... я уверена, вы подружитесь. Он проговорился, что хотел бы работать со мной. Знаешь, у него своя система... он одного актера заставил целый акт провисеть на веревке: очень левый, очень левый! Тебе может оказаться полезной дружба с ним... а почему бы и нет? Кстати, он долго упирался, но я сказала, что ты давно искал познакомиться с ним. Впрочем, я ему очень нравлюсь...

— Какие по крайней мере постановки-то у него? — заражаясь ее таинственностью, спросил Илья Игнатьич.

— Ну, Фредерик и еще там кое-что, на клубных сценах. Это неважно, ты только хвали его...

Она все журчала, завязывая его галстук. — Ей с детства хотелось играть Марию, она сообщает это ему первому. Кагорлицкая полиняет от злости в случае ее удачи. Виктор Адольфович ужасно трусит своей болезнью. Он будет ставить Марию по-новому, в социальном разрезе. Действие будет идти в зрительном зале, а публика будет посажена на сцену. Музыка пишет Власов, который выиграл автомобиль по какому-то билету. Афишу задумано напечатать в виде выдержек из обвинительного акта. В курилке будут развешены диаграммы по феодальной экономике, а посреди фойе — поставлена плаха и кукла палача в натуральную величину. Это будет общеобразовательный, острый спектакль, он вызовет неминуемые подражания, соперничества по выдумке и десятки полезных дискуссий.

— Ну, все готово! — и подтолкнула его, такого несговорчивого, к двери.

... В бывшей библиотеке сидел за столом молодец с мертвенно-бледным лицом и в крагах. Он был уже не молод и признаки не аппендицита, а явного

расстройства печени имел на лице. Он вопросительно взглянул на Протоклитова, вражду или дружбу несло ему новое знакомство. Взгляд его был замученный и тусклый. Илья Игнатьич просил извинения за свои ночные туфли.

Тот сперва насторожился, потом прояснел —

— Что вы, в такое время!.. но Лиза так настойчиво уговаривала показаться вам, что я решил воспользоваться ее любезностью. Она права: уж если потрошиться, то только у вас. Но скажите прямо, пугайте... это очень больно?

### Лиза

Уменье прочно пускать корешки даже в самую тощую почву всегда отличало Лизу от ее сверстниц и подруг. И когда думала о себе, хорошая она или дурная, умная или только жадная, мысль незаметно замещалась созерцанием одной давней подробности детства; она освоила ее много лет спустя. Был один овраг в Пороженске, весь в осыпях и богатырских бурьянах, огромный, как из библии или сна. Битое стекло, ведра без дниц, конские копыта и гигантские соглевающие сапоги валялись здесь, и на грядках их качались плодовые, с тусклыми соцветиями, дикарские травы. Ничего другого не уживалось здесь, кроме простенькой повилики. Ее гибкий, беспомощный стебель, подобно недугу, обвивал грубые, солдатские тела сорняков. Наверно, всем этим жухлым пижмам, корзинчатым пыреям, змеглавым чертполохам лестно было рядиться в хрупкую прелесть ее нежных и маленьких цветов.

Лизин отец, чиновник пустякового ведомства, перебрался в славный Пороженск в середине войны, как только ясно стало, что не пройдет миру даром пролитая кровь. Это было еще до поры заградительных отрядов и запрещений покидать города. Старик перевез сюда имущество и купил небольшой, весь в вишеннике, домишко. Скоро он спрятался от жизни еще глубже, и только на поминках вдова познакомилась с соседями, считавшими их за гордецов. Похвистневых соблазнили легенды, пушенные

про это место, как про обжорный, беспечальный рай, и правда, по слухам, когда-то проживало здесь старинного уклада племя — без взлетов, но и без векуселей, без лекарств, но и без напрасных сердцебиений. Упадок наступил после появления железной дороги, и Лиза открыла эту, не очень веселую летопись городка на самой последней ее странице.

Там были написаны житейская скудость и недоброе провинциальное хамство. Очень скоро Похвисневы изведали это на себе. Домишко присел, а собаку тамошние шутники подтравили иголкой, а соседи вырубали вишенник на хворост, руководясь старинным правилом, что чужая яблонька жарче своего полена горит. Чиновничий скарб поехал на барачолку; из имущества оставалось метров тридцать припрятанной мануфактуры, имевшей тогда хождение наравне с разменной монетой, да пара золотых колечек, воспоминание об одном смешном семейном торжестве. Мать стала прихварывать ногами. Девочке приходилось самостоятельно добывать хлеб для обеих. Сперва она побиралась; протягивала руку, и большие, не по тому краю, глаза ее были так чисты, что от одного смущенья ей торопились дать. Хлеба ей с матерью никогда не хватало; несколько позже Лиза обучилась красть его. Привычно, каждое утро она отправлялась за овраг, в слободу Басурманку. Это была не жалость к матери, — нищете не известна чувствительность; это был пока слепой инстинкт, выталкивающий осиротелого зверенья из его норы на добычу.

В ту пору было что красть, начинались первые базары нэпа, еще робкие, еще с оглядкой на устаревший декрет. Они вызывали обильное слюнотечение и напоминали о пиршествах древнего Рима, о картинах Снайдерса и Иорданса, о кладах, извергнутых из себя милосердной землей. Магически преобразовало бытие. Из ям, подвалов, железных сундуков вылезали сидельцы со своими товарами. У них была внешность того, чем они торговали; молодцы с осетровыми и севрюжными лицами постукивали плавниками по прилавку. Низвергнутый вчерашний день дразнил

и виденьями обволакивал сумрачных, состарившихся, насквозь простреленных войною людей. По желтым, с красноватым жирным отстоем, рекам топленого молока, среди берегов из дымящейся снеди плыли ослепительные караван ноздреватого, из домашней печи, хлеба. Это походило на пышные каннибальские проводы сахара, ржавой сельди и картофельных очисток. Люди жрали всюду, молча и украдкой от родных, точно творили преступление. Появлялись товары, способ употребления которых следовало искать в словарях: принимают это вовнутрь или надевают на себя или только нюхают в вареном виде. Какие-то профессора кулинарии с ненавистью в потухших глазах готовили эти разухабистые яды. Можно было неделями колесить по стране и, не выходя из вагона, наблюдать тысячеклометровые натюр-морты пылающих яств. Это фламандское неистовство, парад и разгул нищеты, соблазны, сделанные из всех животных, обитающих в воздухе, в воде и на земле, завершались тирожными, райскими цветами из масла, сахара и миндаля, — низменные, убедительные тезисы старого мира, высказанные на лаконическом кондитерском языке. И было жутко, жарко и смертно любопытно глядеть в прищуренные, беспощадные глаза врага, приблизившегося на штыковую схватку.

Еще никогда в жизни собственность не диктовала с такой властью всех остальных норм частного человеческого общежития. Милостыня была единственной формой компромисса с социальной революцией. В глазах обывателя кража в эту пору переставала быть преступлением, она становилась кощунством, проявлением безумной дерзости, граничившей с героизмом. — Эти люди с Басурманки скоро признали маленькую воровку... Они усмешливо, вполглаза, следили за ее неумелой хитростью, и хотя знали, что дело добром не кончится, не хватало до поры, даже помогали своим притворным равнодушием, давая время созреть событию. Так копят скраги, ежедневно жертвуя сытостью, и ребятишки собирают землянику по закусьям, чтобы потом

захлебнуться ею в припадке блаженного и жестокого расточительства. Уже давно готовился этот недобрый спектакль с одним актером, не подозревавшим о таком количестве зрителей. Весь базар принимал участие в игре с десятилетней замарашкой, и то, что умещалось в детской кулачке, служило нищенской платой ей за приближающуюся развязку.

Всю игру спутал приезжий огородник из Устерьмы. Там народ живет ладный, бабы ходят, подобно башням, под самые облака, а этот и вовсе был, как рыжебородая сосна, в горелого цвета армяке; он все шурился по сторонам, не нападут ли, не отнимут ли его богатств. Впервые после долгого перерыва он вывозил на продажу дары устеремских песков, вспоенных его потом. Дивные, с розовыми бочками, репы обнимались с морковью, длинноликой и той смешной расцветки, что бывает у дьячков в предбаннике. Скуластая, лиловая на садах, свеклоуха нежилась бок-о-бок с перезрелыми огурцами, похожими на деревенских, с белыми лысинками, старичков — их уже в прожельть ударило ранним заморозком. И все это до одури, до беспричинного головокружения пропахивало укропцем, запахом деловитой сытости, прочного зажатка и уютного чужого жилья. Лизе до слез захотелось репки, и, добыв ее, она успела выскочить из тесного круга телег; но чернички, пришедшие побираться и целиком зависевшие от базарных благодетелей, задержали ее в узком проулке, куда она метнулась. Ее схватили и, дурно ощупывая, как добычу, привели назад. Базар двинулся, привстал на свои лаги и кады и, уставясь на зрелище, замолк.

— А ну, пострадай, сердешная, — молвил хозяин покраденной репки. — У самого такие-то! — И, задрав грязные варовкины юбочки, леностно, вполсилы, чтоб не убить, взмахнул кнутом.

Лиза не заплакала, не закричала, и не страх испытывала она, а пристальное детское любопытство к людям, в грозном ребячестве своем принимавшим ее за взрослую. Рыжебородый не ударил. «У самого гакие-то...» — раздумчиво, совсем в ином смысле, повторил мужик и, шлепнув ее рукой, шершавой от зем-

ляной коросты, лишь бы исполнить закон, подтолкнул вперед. Не выпуская репки из кулачка, Лиза упала ничком, рванулась, побежала, и все кругом, эти рыбы, птицы, мертвые свиные головы, возбужденно засмеялось, взликовало, забило в ладоши, точно птаху выпустили на благовещенье.

— Ножечки-то у ей бо-осеньки! — умиленно сказала громадная торговка в мужском картузе, и видно было, что пощада доставила ей удовольствие выше всякой расправы.

Так, понемножку, Лиза приобретала опыт.

Школьное образование ее не превышало скудных знаний двух местных учительниц-сестер; одна из них была горбатенькая, и это качество избавило ее при взятии города от лютых офицерских ласк. Судьба другой, искренно любившей девочку, была печальнее... Все остальные познания приобретались от матери. Ее собственная жизнь сложилась прихотливо и поучительно; она обучалась в институте, знала языки и музыку, переводила Жорж-Занд, бывала за границей, — и все это затем, чтоб устроиться женой старательного и незадачливого тупицы, бросавшегося на всякие ухищрения и всегда с одинаковым неуспехом. Эта преждевременная, во всем разочаровавшаяся старуха когда-то мечтала о больших страстях, но самые условия существования постепенно подменяли хороший творческий гнев — мстительностью, любовь — безвольным и восторженным обожанием, и отчаянье, приводящее сильного к мужеству, — скукой. Ее здоровье ухудшалось с каждым годом, и, не имея времени придать постепенность воспитанию дочери, она торопилась передать ей свой житейский опыт, — рыхлое, зачастую смердящее душевное сырье, из которого честный, слабый или лукавый сделали бы самые противоположные выводы.

Властно держа за руку напуганную девочку, она таскала ее по каким-то чрезвычайным случаям жизни и то вводила ее в воображаемый музей, полный неопишуемых и никогда не достигнутых ею сокровищ, то тащила в анатомический театр, где в самых неожиданных сече-

ниях и уродствах представляли трупы человеческого сердца, то подводила к черным ямам прежней жизни, одно дыхание которых оскверняло. Все, на что падал ее взор, корбилося и чернело. Ее сомнительная мудрость была, во всяком случае, разносторонней. По ее словам выходило, что жизнь есть медленное, милосердное убивание, что три темноты — юности, здоровья и радости — одинаково заслоняют свет истины, что мужчины изменяют от нечистоплотности, а женщины от величия и горя. Слышом рано оставляя Лизу на милость людей, она сама впрыскивала в нее яд своих разочарований, чтоб не убило ее в самом начале зло. Ее уроки запоминались с тем большей легкостью, что подлая жизнь городка служила наглядным пособием к этим занятиям. И, когда Лиза не понимала с первого раза, у матери хватало терпения объяснять ей дважды и трижды.

Так, сидя на скамеечке, у разбухших, почти слоновьих ног матери, одиннадцатилетняя Лиза по складам училась общению с людьми. Правда, мать сумела также сообщить ей свою поверхностную, бескостную, без всякой направленности, культуристскую; дочь забирала без переоценки это шестрое, неравноценное наследство. Рассказы матери об исторических событиях приобретали странную увлекательность, когда хотя бы в малой степени сюжет их походил на ее собственную судьбу. Лиза навсегда сохранила, как первую травму детства, историю одной шотландской королевы, Марии Стюарт, также приспособленную к облику рассказчицы. В передаче матери, точно гляделась в зеркало, это была грустная повесть о красивой и несчастной женщине, обманутой приверженцами, оскорбленной любовниками и вычеркнутой из памяти родни. Событие, почти ничтожное, романтически закрепило этот образ в памяти Лизы.

В то лето у Похвисневых снимал коммуну режиссер сезонного театра, он же дирижер, он же исполнитель всяких хаотических ролей. Он и провел положенную замазашку на спектакль. Закат, в полнеба, был красен и тих, как

после казни, и только эшафота не хватало там для полноты впечатленья. Горели вечерние огни. На опухлом от дождей фанерном листе, забрызганном сурриком, были нарисованы топор и корона, а в скобках стояло — из королевской жизни. Имени автора не значилось вовсе; да и вряд ли принадлежало Шиллеру это мелодраматическое крошево с пением и танцами, со вставными штучками и антрепренера, рассчитанными на привлечение туземных сердец. Бедные комедианты!.. Фигуры, одетые в цветную ветошь, ломались при полупустом зале, бесстыдно вслушиваясь в каждую шелестинку одобрения. Посреди монологов у них обламывались носы, рушились колонны; фининспектор выглядывал из-за кулис, на-глазок определяя сбор. Но и среди развалин, и под угрозой фиина эти юноши продолжали царствовать, сражаться и любить. Так зарождалась и комедия масок!.. Сэр Дудлей обзывал государственного секретаря лоботрясом, а тот поддавал ногой в тыльную часть его светлости... Но Лизу одинаково захватили и ритмическая речь спектакля, и лубочные страдания королевы, и дешевые принадлежности балаганного гения, и даже неразбериха интриги, которой толком никто в Пороженске не понимал...

Целую неделю Лиза прожила в каком-то задумчивом оцепенении... и все спотыкалась. Пороженск стал ей тесен; и хотя не сохранилось древних стен вокруг городка, выйти отсюда представлялось невозможным. Вдруг она пропала... Можно было бы рассказать длинную и чудесную историю о ребенке, который один, без чужой помощи, бредет через пропасти и волчьи ямы жизни, и зло шарахается от его спокойных, неведущих глаз. Долгими окольными путями она добралась до Облоно. Еще существовали бродячие трупы, остатки военного коммунизма. Лиза сказалась безродной, ее приняли в передвижной театр. Так начался самостоятельный опыт актрисы. Она играла детей. Из села в село, по бесконечным зимним проселкам, ее возили на дровнях, закутанную, во что придется, и добрая зеленая звезда сопровождала ее в небе.

Она вернулась домой три года спустя; мать еще жила. Она уже не поднималась вовсе. Страшна нищета в Пороженске. Дочь вошла и присела у двери. Ей было пятнадцать лет. Мать провела пальцами по ее лицу. Дочь была жива, а это главное.

— Что ты делала?

— Мы играли пьесы разные... из жизни стран капитала. В крестьянской избе... народу набьется тесно... всем хочется попасть, а мест нет. Один раз парни с досады стали бить окна. Я так испугалась...

— Что ты ела?

— О, все!

— Где ты спала?

Она спала на театральном занавесе; на нем хорошо спится!

— Тебя не обижали?

Лиза неуверенно покачала головой —:

— О, я у всех там была дочкой!

Мать улыбнулась ее скрытности. У всех, значит—ни у кого. Уж, конечно, были у нее причины бежать от счастья в темную пороженскую дыру! Мать велела Лизе раздеться и стала штопать ее лохмотья. Лизина вылазка не удалась. Затем опять продолжалась скудная пороженская жизнь. Через полгода Лиза осиротела.

Три последующих года Лиза с нетерпением ждала возвращения трупы, но прежний театр прогорел с таким треском, что других смельчаков уже не обрелось. Театральная муза со страхом обходила это место. Местный ремесленник и жестковатый купец нэпа, уже не меценат и не шалопай, предпочитали посещать бесплатные представления жи и в о й церкви, что во имя Симеона-Богоприимца, на обрыве, где завелся один голосистый тенорок. Все лето он в одиночку и вполне успешно соревновался с цыганскими каруселями, обосновавшись в слободе. На третий год, благодаря стараниям скачущих властей, приехал, наконец, театр, составленный пополам из безусых энтузиастов и всякой престарелой комедиантской гольтыбы. Газетка всячески рекламировала культурное начинание, и на этот раз успех был необъясним и огромен. Дощатые стены временного театра ломались от пу-

блики... Лиза посещала почти каждый спектакль и репертуар заучила на-зубок. У нее были причины с такими усилиями добиваться этих контрамарок: она прицеливалась, прежде чем повторить прыжок в жизнь.

Среди прочих фигурантов, заносчивых и бесталанных, имелся там один трагик с гремучим, почти фанфарным именем. Оно звучало, как титул. То был Ксаверий Валерьянович Днестров-Закурдаев Второй. На афише это наименование ставилось в самом начале, как роскошная виньетка, намекавшая на преемственность театральных династий. Он пользовался особым почетом от властей, жил в номерах и расхаживал в крылатке какого-то демонского образца, пугая пороженских монашек и коз. Выбор Лизы остановился на нем. Однажды она пришла к нему, подобно героине одной заигранной пьесы, с букетиком поздних васильков, робкая, сияющая, ангел благовестия. Тонкие ключички торчали из сарафанчика... Вступая в хранину великого артиста, она еще не знала, что скажет ему. В дверях ее платье зацепилось за крючок; что-то треснуло. Она втянула голову в плечи и замерла, смутившись окончательно.

Гений сидел у раскрытого окна. Рассеянным зраком взирая на каланчу, окрашенную жидким закатцем, он лущил какой-то спиртовой состав своеручного изобретения. Так заряжался он к спектаклю. Вечером ему предстояло сходить с ума в Арбенине.

—... мне нужно сказать вам некоторые вещи, — с поникшей головой сказала Лиза, и руки покорно обвисли вдоль ситцевого платишка.

Тот царственно повернул голову. Девушка приходила в минуту изжоги и тоски. Черные толстые мухи сновали над ним взад и вперед, ползали по рукам; он их не стонял, бесчувственный и великодушный.

— Реки, отроковица, — одобрил Закурдаев маленькую и покровительственно махнул рукой, репетируя какой-то недавний жест из Маскарада.

Правдиво, как умела, Лиза объяснила, что она всем сердцем предана театру, что она пыталась играть в любительских

спектаклях, что у нее ничего не выходит, что она хотела бы умереть на сцене, что она служит секретарем в д о р п р о ф с о ж е, что она пришла просить у него совета и, наконец, что она любит его. Закурдаев стойко выдержал весь этот залп и лишь на последней фразе отпрянул от нее, как от чорта. Что-то, подобие восторга, взбурлило, однако, на самом доньшке души. Гостья глядела так пристально, так скорбно, точно знала всю пустоту его бездомной жизни, видела морщины на его лице, изрезанном, как перекресток у Басурманки в ярмарочный день. И все-таки продолжала любить его смешной любовью восторженной, ничем не запятнанной провинциалки. Он испугался; ему почудилось, сама смерть, наряженная в девственность, посетила его. Он заежился, но этот холодок в спине был ему приятен.

— Меня?.. не может быть! — и хотал долго, внушительно и неискренно, сдвинув на один глаз свою самаркандскую тубетейку. — И давно? — Он хотал, исподлобья присматриваясь к девушке выцветшим от алкоголя трезогольчатым зрачком. — Ну.. и что ж ты испытываешь при этом?

Она покраснела. Нет, еще не существовало точного определения ее чувствам! Это была производная испуга, восхищения, обожания и покорности высшей силе. Она перечислила его роли, сопровождая их выдержками из текста; для каждой из них у нее нашлась наивная, но по-своему меткая оценка. Женщина, в глаза хвалящая артиста, всегда представляется ему совершенством ума и такта. Закурдаев слушал, гладил свои брови, подкручивал их кольчиками и поглядывал изредка на кольцо с опалом какой-то судорожной расцветки. Невинная девушка с грошовым букетиком цветов лыстила ему больше, чем корзины роз, о которых мечталось в молодые годы. Впервые в жизни он боялся женщины, конфузился и, не доверяя, требовал подтверждения.

— Портер пьешь? — громово и неожиданно гаркнул он. — Местного завода. По особому заказу, марка А, э к с п о р т н о е. Правитель прислал!

Она потерянно улыбнулась и, закинув голову, медленно выпила то, что ей налили из черной, как грех, бутылки. Оно пролилось к самому сердцу, все закачалось в ее глазах; игра началась, отступление стало невозможным. Было мутно и гадко, слегка поташнивало. Портер был в смеси со специями, составлявшими закурдаевскую тайну. Крупинки пряной горечи долго тлели на губах. До спектакля оставался час. Закурдаев приказал ей рассказывать все, что она знает, Ему нужно было время обдумать это происшествие. Она не поняла, чего он от нее хотел.

— Я спрашиваю, как у вас тут жизнь и в чем она проявляется!

Лиза тряхнула головой и усмехнулась.

— У нас жить в о л ь г о т н о, только скучно, — начала она, растопыривая пальчики на руках.

— Ты говори громче. Тут акустика плохая. А?.. кстати, я послушаю твою дикцию.

Должно быть, действовал выпитый яд. Сейчас у нее был зоркий глаз и острое слово. Она начала с детства и не задерживалась на подробностях, а лишь показывала пестрый лоскуток факта и откидывала в сторону. Сюда входило и описание кучи гапок, подобно копоти оседающих на вечерние Деревья («Ребята под вечер сшибали их палками, чтобы было чем играть в похороны. Мы обертывали галчат в серебряную бумагу и хоронили, как митрополитов. Я люблю жалостные игры!») Она поведала также о посещении с друзьями Щеньгинских песков, где, по слухам, находилась братская яма с расстрелянной волчьей офицерской сотней. («Вечерело, когда мы пришли. Что то черное стоймя торчало из бугра. Мне показалось, что это черная рука того, кто сделал гадость с учительницей, тетей Глашей, — она меня жалела. Тогда я взяла камень побольше и кинула. Рука упала, сломавшись у корня. Потом оказалось, что это просто колышек, и вообще никакой могилы нет: их увезли в Москву. Мне тогда шел одиннадцатый год».) Повествование кончилось, между прочим, и монашек из множества закрытых окрестных монастырей («Когда же вас чорт заберет,

блехи вы, блехи опилочные! — ужасался их количеству начальник местной милиции, но клаялись земно старухи и припевали хором, плуще сводя с ума высокую ту власть: «всегда готовы, батюшка комиссар, мученический венец приять!») И заключила свой рассказ упоминанием о пороженской сирени, избытком которой как будто прикрыться и оправдаться хотел городок за обилие крыс, за топи улиц, за пьяные бесчинства жителей своих.

— У нас ее синель зовут! — по-детски улыбнулась Лиза (— и ничем не обмолвилась о первой вылазке в жизнь —), а гений жмурился, точно последний яркий луч заката упал ему в глаза.

— Вкусно рассказываешь, — важно и оглушительно хрипел Закурдаев. — От тебя прямо электрический ток бежит. Литургия!.. хо, вали дальше, Лизенок.

Она перешла к перечислению зачелустных сплетен, секретов и чудовищных событий городка. Ее рассказы напоминали фрески на церковной стене. Темные, скорченные прешные тела, обгорелые в огне своих злодеяний, причудливо нагромоздились перед Закурдаевым. И она сама, втиснутая среди них, стремилась сорваться из этого страшного хоровода, чтобы кто-нибудь унес ее в любую иную жизнь. Чего только не насовал старинный русский чорт в эту подлую копилку! — Старуха убила сына за вступление в комсомол. («Топором!», и глаза блеснули.) Купец, что торговал басоном в галантерейном ряду («Знаете, пружины, волос, диванная трава!»), сошелся с молодежкой монашкой, бросив семью («А у него восемь сыновей и все мальчишки!») Милицейская корова принесла в приплод пятиногую телку («Лишнюю обрубил... она и сдохла.») Соборный протонерей повесился в полном облачении на алтаре, получив извещение о закрытии собора («А внизу все клочки от евангелия валялись...») Закурдаев слушал, отпивал понемногу и то усмеялся, то вздрагивал, когда его физически толкало слово Лизы. Тюбетейка так и ерзала у него на голове.

— Земля, как и вода, содержит газы... и это были пузыри земли! — глумливо мысленно процитировал он.

... и этот любовный пират, каракатица в сюртуке, прокисшая огуречная кадушка, заgrimированная под Мирабо, поверил, что провинциальная девушка влюблена в его громовый голос, в седую от перхоти шевелюру, в его золотые запонки и петушиный кадык. Тем легче далась ему эта вера, что когда-то необыкновенный успех у женщин сопровождал его гастрольные поездки. Он их совращал по-снайперски, на выбор. Редкая выдерживала его натиск. Темпы его превосходили все известное в этой области. Это был беспощадный бич девственниц, гроза мужей, пожиратель невинностей и репутаний. Ходили слухи, что даже получавшие отставку без надежды на возобновление отношений тем не менее сохраняли о нем теплое и благодарное чувство пополам с изумлением. Можно было представить поэтому, как выглядел Ксаверий в свои молодые годы.

Все это оставалось позади. Чудовище дряхлело. Оно тяжелело и, чего никто не знал, глохло. Свои роли он выкрикивал почти наизусть. Нетрочная слава осквернителя домашних очагов увядала. Новые имена и рекорды всплывали в этой области. Все больше приходилось тратить усилий на одоление крепостей, которые прежде сдавались при одном его приближении. Да тут еще, одно к одному, убавили актерские ставки, врачи запретили пить, а старинный институт бенефисов, сладчайший венец провинциального театра, заменили юбилеями: дважды в году не поспраждуешь! Рушились привычные стены. Старость с грязным помелом заглядывала с порога. Понятно поэтому, как он должен был встретить нетронутую дикарку, которая принесла ему свой венок, возвращающий молодость.

— Ты вкрадчивая... Повтори же, что ты любишь меня. Еще... мало! Кричи мне в ухо. Бог покарает тебя, если ты солжешь мне в такую минуту...

Это был час восхищения, смешанного с ужасом. Как никогда, его жгло смерт-

ное влечение к этой женщине; оно осталось неутоленным. Все смешалось. Так, на закате, добивала его любовь. В замешательстве он сказал Лизе, что ему достаточно женских слез, пролитых по его воле: он не хотел губить свою последнюю! И, сняв кольцо с опалом, надел его на тоненький пальчик Лизы. С еле скрываемым испугом она вернула ему драгоценность: «Это только в сказках обручаются с драконами!» И хотя ее трясло и тошнило, всю дорогу домой она смеялась над вынужденным великодушием Закурдаева. Уроки матери пригодились. Ее планы сбывались даже в мелочах. Она не приходила к нему целую неделю. Он мучился боязнью утратить сокровище, недоступное и все-таки принадлежащее ему одному. Он ждал Лизу, откровенно искал ее глазами со сцены, расспрашивал о ней пороженских старожилов; оставаясь один, он повторял это имя нараспев. Она пришла, когда он полностью испытал от разлуки. Его брови извивались, похожие на уколотых гусениц. Растроганный, он спросил о самом большом ее желании. Она сказала. Тогда он поклялся, что через шесть лет она сыграет Стюарта на столичной сцене. Он решил принять предложение одного молодого театра и перейти на уменьшенный оклад и второстепенную категорию, лишь бы не терять Лизы. Хитря, он доказывал ей, что обучение самым первичным навыкам высокого искусства требует времени. Сезон кончался, Лиза согласилась ехать в Москву. У Закурдаева имелись там друзья, более удачливой судьбы, чем он сам. На первых порах Лизе было безразлично, кто станет лепить из нее великую актрису.

За день до отъезда она обошла городок. «Откуда же произошло название Пороженск?» Она побывала у сестры тети Глаши. Горбатенькая все жила, все учила; какой-то суховатый и стыдный для Лизы оттенок святости появился в ее лице. Она не одобряла этой поездки... Лиза прошла также мимо своего домика; в нем поселился сапожник; пара лихих яловочных сапог, эмблема ремесла, торчала в окне, где когда-то сидели ее модельные тряпичные куклы. Могилу

матери засыпал желтый лист. Дни укорачивались. Наступала пора пожаров, сплетен, любительских спектаклей и пьяной, ножевой драчи в Басурманке. Лизе показалось, что уже никакая сила не вернет ее сюда.

Осторожно ставя туфельки, чтоб не оставить их в размокшем суглинке, Лиза спустилась в слободу. С очень холодным любопытством она прошла среди этих простецких колымаг, на которых одинаково возят хлеб, навоз и новобрачных. Из ларьков глядели злые, враждебные глаза. Их уже прижимали в эту пору, торгашей с Басурманки... Все размокало. Позднее солнце не справлялось с пороженскими грязями. Усталая, Лиза выбралась из оврага на другую сторону его и уселась на осклизлых выпученных корнях березы. Все ей было видно отсюда. У собора шла приемка свинных шкур. Отважный велосипедист, не покидая седла, пробирался через улицу. По красным размытым глинам бродили куры. С базара раз'езжались возы; посверкивали тоненькие спички оглобель. Бугор был высок. Лизе представилось, будто сидит у окна дирижабля, пересекающего вечность. Осенние воды проступили на лоймах. Над дальними лесами бахромчато повисал дождь, походивший на рваный театральный занавес. Он вдрагивал и быстро опускался. Заканчивался первый акт ее спектакля.

Пока не стало накрапывать, она сидела здесь, напевая песни, какие знала. Хотелось угадать хотя бы вкратце содержание второго акта. Когда-нибудь этот суматошливый старик станет ей окончательно тягостен и бесполезен. Она выгонит его, обозвав глухарем и уродом. Все это произойдет так естественно, что соседи не заподозрят о ссоре, хотя Закурдаев и уйдет в состоянии, близком к апоплексическому. Ей и теперь уже надоело его признания про батальоны целованных девок и ушаты выпитого вина. Глухота довершит дело справедливости над Закурдаевым. (Ей уже довелось видеть, как посреди спектакля однажды он забыл роль; повернувшись спиной к зрителям, он крутил судорожно салфетку и бил ногою в пол от нетерпения)

досады.) Выяснится окончательно, что Ксаверий не прошел на московской публике. Он будет желать привычной славы и легкой жизни, а с него потребуют работы и молодости. С последнего места его уволят за пьянство и дебош. Связи его порвутся сами собою...

Так, перед второй ступенькой огромной лестницы в жизнь, она прощалась с детством, иронически благодаря за уроки, полученные в этой практической академии бесчестности, унижения и мелких бедствий.

## Друзья

На совещании начальников районов, состоявшемся в ноябре, Курилов увидел Марину снова. Появившись лишь к самому концу заседания, она уселась на подоконнике в углу. И почему-то вся вторая половина куриловского заключительного слова носила оттенок резкости, не адресованной, впрочем, ни к кому. Несмотря на мелкие колебания, дорога выбиралась из прорыва, но зато и все остальные показатели народного хозяйства стояли в эту декаду на рекордной высоте. Газеты отмечали высокую слаженность между всеми частями хозяйственного организма; оставалось добиваться, чтобы эти новые качества вошли в привычку у работников... Курилову не хотелось встречаться с Мариной. Тотчас после заключительной речи он быстро прошел к себе, в надежде, что Марина тем временем уйдет. Он раскурив трубку и впотьмах ходил по кабинету.

Дома уже не менее часа дожидались его друзья, которых созвал, наконец, в гости. Было славно посидеть за бутылкой вина, вспомнить бывшее и обсудить предстоящее. Но где-то у выхода караулила его Марина, и он с досадой осуждал себя, что хотя бы только в разговорах пошел на близость с сотрудницей своего же учреждения. Он стал вспоминать, как все это случилось, и самый круг мыслей заставил его снова подойти к окну. На стекле с наружной стороны висели капли дождя. Слоистое осеннее, лиловое с желтиной небо слало изморось и ветер. Неслышно он рас-

крыл окно и выглянул наружу. Оголенные деревья шевелились и скрипели. Руслан стоял голый, раскочивались его круглые ребра. Налетал ветер, и крупные капли дождя ударялись в лоб Курилова. Он зажмурился, приучая глаза к темноте. Под окном было не пусто, парочка была на своем месте. Их силуэты отлично угадывались на фоне рябых осенних луж. Больше того, во мраке мерцал вырез ее шейки, куда он целовал длительно и беззвучно... Должно быть, этот пустырь знали все влюбленные их района.

Курилову показалось, что за шумом дождя он разбирает их шопот — :

— Как оно бьется в тебе... даже сквозь рубашку.

— Оно молодое, а ты глупый...

— Дай ухо... я скажу тебе.

И через мгновение:

— Пусти меня, мне холодно.

А Курилов слышал даже то, чего они не говорили. Его гимнастерка просырела; усы стали тяжелы и влажны. Горьковатый привкус был на губах, точно он сам касался ими влажных щек девушки. Наверно, Марина давно ушла, отчаявшись в возможности обясниться с ним, а все (хоть и стыдно было обкрадывать этих нищих!) держала его здесь какая-то притягательная сила. Чувство было смежное с завистью к той вольной и упоительной бездомности, какая сопровождает всякую юность. На этот раз он снова не решился прогнать их, а только... Надо наглухо замазать окно, чтобы предохранить себя от наводнений!

Он спустился вниз. Сотрудники разошлись. Сторожиха обходила дозором вымершие коридоры. И тут, в раздевалке, к нему подошла Марина. Она не знала, с чего начать.

— Вы еще не уехали? — строго упрекнул он, имея в виду Пензу.

— Нет, я уже вернулась.

И правда, он забыл, уже три месяца прошло с той поры, как он отвозил ее с картошкой.

— Мне говорили, вы хотите уходить с дороги. У меня препятствий не имеется.

— Меня не отпускают, пока я не закончу вашего жизнеописания.

— Чего же вы хотите, Сабельникова?

Она заметно робела и вместе с тем очень уважала себя за настойчивость —: — Я многое уже сделала... получается интересный агитационный материал. Но без вас, Алексей Никитич, список был бы неполный. Я могу зайти в любое время и записать с ваших слов. Мне бы только даты, остальное я разовью сама. Пролетарское детство, завод, революционная деятельность, палачи, каторга....

Он засмеялся —:

— Ну, если вы под каторгой разумеете нашу дорогу, то пожалуй... — Курилов никогда не был на каторге. — Вас ведь Мариной зовут?

— У вас хорошая память, — улыбнулась та.

Курилов искоса взглянул на нее, ему почудился намек. Нет, она ни о чем не напоминала. Это был скромный, рядовой работник, каких много, простенькая, без кудряшек и затей, круглощекая, с прямым пробором в гладких волосах; и только глаза, всепонимающие, сияющие бабьи глаза оправдывали эту чрезмерную простоту. На носу у нее была красная царапина; она конфузливо прикрывала ее пальцами. Они были красивые, вязаная кофточка грела плохо. То-и-дело она совала их в карман, то ли пытаясь согреть их, то ли придать трикотажному изделию своему хоть какую-нибудь форму, но вдруг вспомнила про нос... И, вот, ей уже нехватало рук говорить с Куриловым!

— Ладно, — сказал он, сердясь. Ледяным сквозняком поминутно обдавало их из двери. — Давайте в конце декады. Вот, например, двадцать четвертого утром, хотите?

... Он не успел надеть пальто, — место Марины заступил секретарь.

— Пошадите, Фешкин, тороплюсь. Ждут пятнадцать человек. А, цифры, давайте!

Монотонно, следя за лицом своего шефа, Фешкин докладывал сводку. Кривая проявляла тенденцию итти вниз. Сказывались первые заморозки: грунтовые воды распирали баластный слой, сильнее покачивались вагоны, количество предупреждений возрастало, падала коммерческая скорость движения. Шел ноябрь.

— ... кроме того, вы просили выяснить (— он справился с бумажкой —) о Хожаткине. Такого на дороге не значится. Обходчиком на четвертом участке состоит Омеличев, Павел Степанович. Два года он пробыл на принудительных работах и выпущен, как доказавший свою социальную полезность. В прошлом су- довладелец и...

— дальше!

— Но есть сведения, что из будки он сформовал подобие постоянного двора, берет по десять рублей за постой и торгует вином. Что касается Протоклитова, то партийная организация дала о нем вполне приличный отзыв. Грубоват, но точен и исполнительен; просился учиться. Взысканий не имел, под судом не состоял, особых регистраций не проходил. Самый запрос о нем вызвал удивление... — Фешкин сделал сочувственное лицо, в душе он разделял преувеличенную куриловскую бдительность. Как правило, секретари не очень либеральны; они всегда — волноломы перед гаванью, о которые обрушивается жизнь. — Нет, Алексей Никитич, дело, к сожалению, безупречное.

— Это я знаю. Чистку он проходил? Ага, тогда узнайте, когда его чистка. Все?

— ... и, наконец, я выяснил адрес и фамилию старика, забывшего книги. Там имелся библиотечный штамп, а в таких местах ведется точный учет клиентов. Фамилия его Похвиснев... — Он опять заглянул в бумажку.

— Дайте сюда, спасибо. Кстати, окон в моем кабинете на зиму не закрывайте. Форточки обычно забухают и... это единственная возможность проверивать комнату. Понятно?

... уже при самом выходе пробовал еще навалиться на него начальник районного политотдела, у которого дирекция, в видах экономии, отобрала вагон, но такие дела ждали утра. Курилов помчался домой. С полдороги он держал в руке ключ от английского замка. Дверь открывалась неслышно. «А, други!» — сказал он с порога, оповещая о себе. Его встретили шумом, свистками за опоздание, взрывом восклицаний, образовавших своеобразный товарищеский туш.

Сразу он оказался и «стройным путейским мужчиной», и «грозой красногловых» (начальники станций попрежнему носили красные фуражки), и даже «главкрушением». Никто не назвал его м о р ж о м, по-старому; слово было катеринкиной выдумки. Дружеская суматоха была сработана по сговору. И пока Курилов шарил трубку в карманах, уходил раздеваться и мыть руки, почти-тельная тишина стояла за столом.

Пряча улыбку в усах, Курилов двинулся по кругу позвать дождину протянутых ему навстречу рук. Тут же, шуткой платя за шутку, он справился у Тютчева, не выпнали ли его за очередные штучки из театра, где тот сидел директором; на Аркинда подивился, не на экспорт ли угнал свою богатейшую когда-то шевелюру, — они не видались шесть лет; у Иванова, что бесменно заведывал одним обздравом на Волге, осведомился, научился ли хоть спирт из аптеки выписывать; Ваське Ананьеву, ровеснику и другу по ссылке, напомнил, как лучили однажды рыбу на Ангаре, и Федоска, сын его, упал в воду. Оказалось, что Феодосий Васильевич теперь инженер в Донбассе и дочке его одиннадцатый год. Незаметно молодое поколение заполняло пробелы в передней боевой шеренге.

— Матереют детки, усатеют... — одобрительно и мужественно сказал Василий Ананьев.

... Стеше, старой пулеметчице и катеринкиной подруге, пообещал подыскать в женихи какого-нибудь лихого ингуша в бешмете и с серебряными газырями, а как добрался до Арсентьича, просто сжал старика в плотных и безмолвных объятиях. Сопя, старик отбивался от ласки.

— Ну, что с птицами твоими, старче?

— Вот второй отолью... — он даже не произносил слова б л ю м и н г, оно подраивалось — ... и баста! Шибко прысат.

(Должно быть, на куриловском Океане обитали птицы Арсентьича!)

Место Ефима Арсентьича пришлось на углу, в стороне от общего веселья. Весь вечер был он важен и неприступен. Большинство этих людей он видел впер-

вые и по-старчески ревновал к ним Курилова. Не вмешиваясь в беседу, он придирчиво высматривал мелочи. Стол был такой, какой и полагалось вдовцу: без скатерти, — и тесно, вперемежку с бутылками, заставленный всякими консервными коробками; бутылок больше было, чем коробок. Глаз его тяжело нащурился; сам Арсентьич вдовел уже давно. Вот, в поле его зрения вошла чужая рука; на манжетке болталась перламутровая запонка. «Разрешите проявить инициативу!» Арсентьич поднял суровые глаза. Рука и голос принадлежали Сашке Тютчеву. Однако, прежде чем начать распределение, Сашка мельком справился, часто ли навещает Курилова грозная его сестра. «Ой, не любит она меня», — шепнул он при этом. «И меня!» — сказал Табунцов. «И меня...» — с огорчением присоединился Савва. Курилов успокоил друзей. Она и до несчастья-то навещала брата не чаще раза в месяц, а ее привязанность к Катеринке была известна всем.

Упоминанье этого имени заставило всех замолчать на минутку. В трудные годы Катеринка для всех их была и прачка, и повариха, и товарищ, и мать.

— Рукодельница была! — молвил Арсентьич и вдруг поднял голос, багровея. — Эх, горели, не жалели! Оттыкай бутыл, гололобий...

Пир начинался. Центральная посуда с хмельной кавказской чернотой пошла по кругу. Курилов, слегка горбясь, ел. Он делал это истово, по очереди обходя все закуски. Но, прежде чем выпить за единение друзей, встал со своего места Кутенко. Встреча совпала со днем рождения Курилова; он хотел говорить, ему дали слово, полагая, что хозяину будет посвящена его речь. Впрочем, кое-кто заранее посмеивался: беспартийный Кутенко слыл еретиком и поэтом между ними. Опасения подтвердились; высоким, петушиным голосом Кутенко заговорил о дружбе, которую несет и бьет о камни в порожистом потоке времени. Он зайкался, вдобавок; слово, прежде чем явиться на свет, долго мучило его, как роженцу. Никто не глядел ему в лицо. Тема тоста заключалась в восхвалении чести и доблести его поколения—драть-

ся до последнего и ложиться безропотно — так, чтоб этой лестницей мертвых все выше, на одоление последних высот, поднимались юные фаланги бойцов.

Он волновался и не следил за оговорками —:

— ... мы пришли в жизнь молодыми и нескладными парнями. Ты с завода, Алеша, я — из-за фабричной конторки. Дорога была длинна. Мы оба пели, чтоб итти было веселее. Признаемся: песня наша вначале носила чисто этнографический оттенок!.. но попутный ветер ударил в нее, как в парус, она выпрямилась и зазвенела по-новому. Нас подняло, скрутило и бросило сразмаху о твердыню. Наши юности премуче взорвались, и в брешь ворвались штурмующие полчища нашего класса. Мы не успели сделать все, что хотелось; многое нами сделано начерно и наспех. Будем спокойны: те, которые придут позже, приведут в стройный порядок наши огромные, зачастую неряшливые черновики..

Кутенко был сух и высок. Сидящим видна была страстная игра мышц на лице его и шее. Сейчас он почти не заикался. Изредка, как бы проверяя себя, он взглядывал на Курилова; тот продолжал есть.

— Ты говори, говори, — подмигнул он в промежутке. — Я еще не обедал нынче. Делал генеральную промывку дороги, жаркий день. Ты говори!

— ... пробитую брешь оплели ветвями, украсили флагами: она стала триумфальной аркой в будущее. Под нею легкой спортивной походкой проходят наследники. Вглядимся в их лица; не будем льстить себе, разговор идет о самом главном: я вижу там разных. Но гремят оркестры, и шествие продолжается. Мы не ходили так, Курилов! Они поют про паровоз, который летит стрелой, чтоб остановиться в коммуне. Но до такой-то степени мы, самоучки, знаем и Гегеля, и Гераклита: не останавливается поток, и всегда в нем несется всякое, необходимое для осуществления жизни.

Кажется, он хотел выразить мысль, что декреты не распространяются по вертикали, что новые, неизведанные фазы экономики и техники могут вызвать

какие-то новые социальные новообразования. Стараясь перекричать фанфары, он задавал наследникам своим вопрос: знают ли они, от каких клоак и кладбищ увело их старшее поколение? Известно ли им, какими усилиями пробивались эти бреши в веках, как великие успехи тормозились не менее почтенными заблуждениями; как зачастую гибли лучшие из бунтарей, потому что не разум и знание руководили порывом, а минутные взрывы голода, гнева или отчаянья. Знают ли они также, что последний штурм за преобразование планеты будет сопровождаться беспрецедентными гражданскими войнами, сыпняками и монументальными восстаниями. Он не спрашивал: «наши ли вы?», но «готовы ли?» И он забывал, что начало уже сделано, а люди, рождаясь, вступают в производственные отношения независимо от их воли.

— Не томи, закругляйся, Костя! — почему-то со сконфуженным лицом сказал Тютчев.

— Кутенко, тебя подкупил новорожденный, чтоб мы не пили его вина, — очень холодно посмеялся Аркинд.

Кутенко принял его упрек, точно произнесенный в миллион голосов —:

— Я понял тебя, Матвей. Нет, мною говорит не сомнение. Мир — это двигатель, работающий на молодости. Он и рано узнали социальную стоимость хлеба и радости. Звание человека, которое раньше нам выдавали вместе с паспортом, многие из них успели заработать беззаветной отвагой и трудом. Но помни, что именно в них созревают ростки будущих бесклассовых отношений, завтрашней морали и новой, социалистической человечности.. И так, за пример высшей социальной дружбы, скрепляющей два смежных поколения! За молодость, за наше будущее, которого мы с тобой наверно не увидим!

Он выпил почти в одиночку, поперхнулся и сел. Перед ним стояла ветчина, он придвинул ее поближе. Ему попался хрящ.

— Не скрипи ножом, Костя, — попросила Стеша, — даже ногти, знаешь, от звука болят!

— Хороший ты, но провинциальный человек, Кутенко, — вскользь заметил и Тютчев. — И у меня еще сохранилась книжка ранних твоих стихов. Плохие! Ты мало изменился с тех пор. Чего ты напугался, чудак?

Кутенко обиженно молчал, не поднимая глаз. Всем было немножко стыдно за сомнения, высказанные оратором. Но это был тот самый Кутенко, который сидел вместе с Аркиндою, совместно с Саввой экспроприировал один из банков и вместе с Куриловым бежал от левого суда. В тот раз Курилова арестовали первым, но Кутенку вздернули бы вне очереди, лишь бы поскорее умолк. Страстное человеческое тепло всегда излучалось из этого человека. Однажды его уже проработали за утверждение, что социальная зрелость в искусстве приходит через трагическое, а трагическое он полагал хотя бы в биологическом угасании. Было необходимо исправить оговорки товарища, и первым это понял Тютчев. С каменным лицом трактирного лицедея он стал показывать Стеше и Арсентичу всякие явления из области прикладной магии. Он втыкал, например, в себя фруктовый нож и с мистическим свистом извлекал его назад через затылок. Точно так же он брал стакан, ударял по донышку с притворной силой, и под стеклом рождалась стертая серебряная монета. Хохоча и показывая золотые зубы (взамен выбитых когда-то в контрразведке), Стеша собрала целую кучку монет, а тот все печатал и печатал. Арсентич же, встав, сокрушенно качал головою: рекорды его блюмингов оставались позади.

— Халло, филистимляне, — в испарине, вздувая щеки, кричал Тютчев. — Прошу дать мне золотые, а также бриллиантовые предметы... — И буква «р», точно песок, хрустела у него на зубах. — Я буду опускать их в себя и возвращать в виде любых вещей мелкого домашнего обихода. Халло, у вас нет золота?.. ваших шей не украшают алмазы? Тогда я па-опрошу...

И хотя жаль было губить веселье, тут-то и поднялся Курилов. «Слово ему, слово!» — закричали со всех сторон. Одна Стеша продолжала хохотать на Ананье-

ва, который, соперничая с Сашкой, приподнимал сам себя с полу за седеющие волосы.

— Итак, Кутенко, по-твоему — социализм для тех, которые успеют. Ты и о дружбе говорил по линии общей судьбы, а не общности общественных интересов, — начал Курилов, и все приблизительно поняли, на какой манер он станет его разносить. — Но, вот, я смотрю на ваши лица, милые ваши рожки, и вижу себя, многократно повторенного в них. Все вы куски моей собственной жизни; это оттого, что биографии наши мы делали сообща, руководясь одним и тем же. Все вы по отдельности — друзья мне. Я не сводил вас друг с другом, я и не знакомил вас, а вы друзья и между собою. И если я выпаду из этого кольца, ваша дружба останется неизменной. Она скрепляет вас железной и разумной дисцитлиной, она не портится, не выветривается, — не будем говорить о тех, кто изменил ей! О ней и следовало говорить, а не о мертвых или неродившихся, Костя.

— Теперь держись, Кутенко! — шутливо погрозил Аркинд.

— Я вижу в вас всего себя целиком. С тобой, Арсентич, мы познакомились у Лесснера. Ты был помоложе, чем теперь, и волос на тебе было поуще. Ты уже получал рубль, а я продавал себя по сорок копеек в сутки. Ты любил поговорить со мной и, однажды, в завершение разговоров, привел меня в одно место на Петергофском шоссе. Это было в воскресный день. Дом принадлежал гробовщику. Нарядной пирамидкой стояли в окне гробы, и сверху, помнится, стоял дамский, весь в серебряном кружеве. Мы сидели; один брэнчал на мандолине; водка имелась на столе. Потом пришел Ленин. На нем был чесучевый пиджак с мокрыми пятнами на плечах. Месяц стоял дождливый, то-и-дело спрыскивало. Жизнь тогда делалась совсем просто. Он читал нам доклад о штрафах на заводских предприятиях. Я мало понял, — должно быть, мне хватало моих сорока копеек. Кроме того, я был горд: накануне избил околоточного Гагина и удрал. Два лица наплывают одно на другое: твое, Арсентич, и Ле-

нина. И еще помню, он уронил карандаш, вы оба наклонились за ним и стукнулись крепко...

— ... но не дал мне поднять карандаша, — тихо и твердо вставил Арсентьевич.

— После того я говорил с ним только раз, когда приехал делегатом от армейского комитета депутатов. Дело было в Смольном, дела было много. В приемной стояла фанерная перегородка, и всееры острили, что строительство социализма уже началось. Ленин не узнал меня, а я не решился напомнить... Это была занятная пора! Я еще только открыл Пушкина, пробовал ходить в воскресную школу рисовать Лаокоона, а Шекспир был еще впереди. Я бился над Энгельсом, и многое пока не приставало к неуклюжим мозгам...

Телефонный звонок прервал его на полуслове. Савва, ближе всех сидевший к аппарату, взялся за трубку.

— Тебя, Алексей, с дороги, — сказал он.

Извинившись перед друзьями, Курилов наклонился над столиком. Он слушал и сумрачно наматывал ус на палец.

— ... сколько?.. пятнадцать метров высоты? — удивленно ударил он на цифре. — Хорошо, я выезжаю. Прицепите к скорому ночному на Ревизань. Вспомогательный вышел? — Он повернулся к гостям. — Вы уж пируйте тут без меня. Спешно вызывают в одно место...

Он напрасно делал секрет, все уже догадались, в чем дело. Наскоро простившись, он при общем молчании двинулся к дверям. На полдороге он остановился, и лицо его стало такое, точно он забыл что-то и не может вспомнить. На глаза ему попался Сашка; закусив губу и необычно выпрямившись, Курилов смотрел в него. В замешательстве Тютчев перешел на другое место, но Курилов продолжал глядеть туда же, в безличный и пыльный простенок. Его окружили, его брали за руки, а он молчал, все молчал и делал один и тот же жест, как бы призывавший к тишине.

— Ка-ак... в спине буровит, —

сказал он удивленно и через силу. — Вот, опять, опять...

Его простуда грозила стать хронической. Шел ноябрь. Боль была волнистая: она просекала спину наискосок и застревала где-то под коленом. Курилов вспомнил мать, как маялась покойница поясницей, и знахарка из слободы лечила ее топором и приговором... Друзья исподлобья наблюдали померкшее лицо Курилова. Ему подставили стул, и он сперва не понял, чего от него хотели. Боль поглощала все остальное. Тост оставался незапитым, о Кутенке забыли.

— Будь добр, позвони, — не обращаясь ни к кому, сказал Алексей Никитич, — позвони на дорогу, что я не смогу выехать в таком виде. Пускай едет Мартинсон. (— Это был его заместитель.)

Алексей Никитич поочередно, жалко и виновато, глядел на друзей. Конфузаясь, он рассказал о роковой поездке на паровозе. Немедленно образовалось подобие медицинского совета при начподоре Волго-Ревизанской. У всякого отыскался самый испытанный и скорый способ лечения прострела. В названии болезни никто не сомневался. Кроме аспирина, рекомендовали также умеренный массаж, синюю лампу, русскую баню с веничком, спиртовой компресс, а Стеша, простая душа, даже красную шерстинку на запястье. Солидное мнение приволжского облздрава пересилило остальные. Облздрав Иванов грудью стоял за горчишники. На кухне отыскали два пакетика желтого порошка. Стеша действовала за аптекаря. Газетный лист поверзых-то физиономий густо замазали едкой кашцей. Алексея Никитича отвели к дивану и, хоть сопротивлялся, содрали с него гимнастерку.

— Сложение у тебя, братишка, как у юноши, — говорил Иванов, деловито накладывая на спину горчишник. — Ты словно и не жил. Погоди, ты еще развернешься у нас. Ты ведь бабник, скрытый бабник: такие самые злые! Ну-ка, привстань. Чего дрожишь?

— У тебя ж пальцы, как у мертвяка... — сквозь зубы жаловался Алексей Никитич.

— Терпи, для твоей же пользы! — И

вдруг стал догадываться. — Э, а уж не подагра ли у тебя, Алексей?

Оно прозвучало прозно, это слово старости.

С серым лицом и глазами в потолок, Алексей Никитич лежал посреди них, в равной мере удивленный и ослабленный припадком. Боль проходила, и он порывался ехать на крушенье, но его не пустили. Наперебой они старались повеселить его. Табунцов делал вид, будто фотографирует его головкой сыра; захмелевший Тютчев поверх одеяла засунул ему подмышку огурец вместо градусника. Алексей Никитич улыбался, но слушал иное. Водосточная труба проходила тотчас за окном. Ливень не прекращался. И, если вслушаться, получалось, будто в другом конце трубы играет осипший, разбитый патефон...

Он так и не слышал, как все они, кроме Ефима Демина, разошлись по домам.

### Утро

Вот, истончается сон, и Курилова будит слабый шелест стружки. Арсентьич чинит окно. Разбухшие от сырости рамы не прикрываются плотно; в непогоду сквознячки разгуливают по квартире. Курилов осторожно двигает плечом: нет, не болит, ничего и не было! Вместе с ночью ушла и боль. Ему досадно на себя за вчерашнюю слабость, — вчерашнее всегда маленькое. Дстойна осмеяния болезнь, излеченная двумя пакетиками горчицы. Какая там подагра! Это поганое слово скорее обижает, чем пугает его. Оно связано с представлением о бездельи и излишествах, которых он не изведal. Ты соврал, недоучившийся заволжский фельдшер!

Пропусту здоровье, на которое он никогда не обращал внимания, напоминало о себе. Надо бы не пропустить зимы, купить коньки или съездить на месяц в дом отдыха, хотя бы в ту же Борщню. Заведующий усадьбой клялся, что в голоду все часеление окрестных деревень гиталось исключительно зайчатиной. Тот бы пострелять! С его слов Алексей Никитич добросовестно изучил топографию местности. Тотчас за бугристым холмом, что по местной легенде прита-

щил на себе безвестный разбойник Спирька, на сотню километров распространяется нерубленное чернолесье. Кажется, Тютчев хвастался своим ружьишкой?.. И, вот, воображение ставит Алексея Никитича на лыжи и спускает с крутой и снежной Спирькиной горы; запудривает до макушки снежной пылью и бешено несет к лесу, который сперва пропадает и, вдруг, в белом вихре вскидывается над головой. Знойко и весело от мокрого холода, что струится ему за ворот... Раннее утро скупится на краски. Все, лес и поле, по-детски намазано синькой. И даже невысокое зимнее солнце, красное сплющенное и большое, точно нарисовано ребенком.

... он открывает глаза. На прибранном столике сверкает свежий хлеб в плетенке, и деликатной струйкой бьется из чайника пар. «О, Арсентьич, ты, как древний Мидас из похвисневской книжки! Ты обращаешь в золото все, к чему протянешь руку. Ты коснулся моей юности, и она зазвенела, как песня. Ты строишь машины и всякие инструменты, которыми человек меняет лицо мира. В годы нэпа ты оживлял омертвевшие станки. Люди от встречи с тобой делаются человечнее и умнее. Ты умеешь не только блюминги и ахтерштевни; ты умеешь жить!»... Ладно, что не довел вчерашней речи до конца. Она неминуемо закончилась бы тостом во здравие Океана. Посмеялся бы Арсентьич, Кутенко счел бы своим союзником. «Други, милые, телесные, живые соратники, самая большая река Океана, куда мы все течем!»

Мигая мне, чтоб я подождал его, он вокакивает и босыми ногами бежит в ванную. Упругая ноябрьская вода скрипит в ладонях; нещадно он льет ее на себя в наказание за вчерашнее малодушие. (Катеринка всегда бранилась за эти брызги на известковых стенах.) Потом, на правах временной хозяйки, Арсентьич приглашает к столу. Облачась в профессорские очки, старик развертывает газету. В комнате становится светлее. Как всегда, он читает вслух. Япония рыщет по Монголии, Литвинов едет в Америку, французская эскадрилья летит в Москву. И опять ни сло-

ва о Катеринке; мертвая, она все еще здесь.

После чая Арсентьич прощается. На праздники он уезжает к своим, на Урал. Они уходят от меня в прихожую. Мне слышно, как старый литейщик журит ученика за вчерашнее хвастовство биографией и тут же хвастается сам, что завод вышлет на станцию за ним машину. («О-отличная машина!») Наверно, лицо его при этом застенчиво морщится. Курилов берет его голову в руки, никто их не видит, они колот друг друга усами. Арсентьич очень стар. «Крепче, еще крепче целуй своего друга, Курилов. Больше вы не увидите никогда». Старик бранится и хлопает дверью.

... Мы смотрим в окно. Дом высок. Если прижаться щекой к наличнику рамы, из куриловского окна виден краешек Кремля. Он сутулый и какой-то небольшой сегодня. Пасмурно, хоть и подморозило за ночь. Черный гигантский локон от близкой электростанции тянется к линиям золоту Кремля. Порхают снежинки и долго выбирают место, куда упасть. Идет зима, и прохожие на улицах, наверно, пахнут нафталином. Я узнаю среди них Арсентьича по желтому фанерному баульчику, спутнику его путешествий. Старик лихо вбегает на мост. Он торопится к блюмингу и к птицам. Его перегоняет ящичник. Два разного размера ящика у него в руках, а третий, самый большой, на голове.

— Похоже на чертеш Пифагоровой теоремы, — говорю я, но Алексей Никитич не отвечает.

Нам видно обоим: прислонясь к перилам моста, Арсентьич пропускает мимо себя Пифагоров макет. Потом старик раздваивается: один вскочил на ходу в трамвай, другой завернул за угол дома, где кино. Огромная, с планер, ворона падает с крыши и по ветру виражирует перед окном. Ей зыбко и зябко. И сразу, точно черный капюшон надевают на город, все исчезает под ее крылом.

— Хорошее утро, — говорю я. — Пройдемся!

— Где мы остановились в прошлый раз?

— Мы начали строить дорогу через пустыню. Мы довели ее до станции

Улуг-Мергень. Остаток мы пройдем пешком: там недалеко. До Шанхая три с половиной тысячи километров, десять минут ходьбы!

И мы вступаем в громадное песчаное пространство. Караван людей и машин уходит в бескрайнюю даль перед нами. Алексей Никитич жалуется, что его оглушает говор лопат и кирок. «У вас слишком нежное и нечуткое ухо, товарищ!» Всмотритесь, еще невиданные дорожные комбайны стелют путь на ваш Океан. Они идут громадной очередью, кажется — самой тяжестью оплавливая пески и оставляя готовую, уширенной эмерсоновской колеи, трассу позади себя. Они жуют все под собою, старую монгольскую кумирню и кости двугорбого животного, павшего когда-то в песчаной буре. Визжат гусеницы и гремят экокаваторные цепи. Зной и смрад стоят в тени этих чернорабочих драконов. Это похоже на пахоту, и пласт весь в лепительных стекловидных гребешках. Нам некого расспросить о причинах спешки и об источниках этой фантастической энергии. Мы помешали бы этим оставшимся людям. Они разговаривают междометиями, как в атаке. Сжался над моим недоумением, Курилов кричит мне в ухо шестилетней давности новость о социалистическом Китае... Он все-таки настаивает на кирках, потому что этот упрощенный способ прокладки на целую пару десятилетий приближает наши события. Между нами происходит очередная распря. Впрочем, все это требует дополнительных пояснений.

Моя дружба с этим человеком выгодно отличалась от обычных отношений повседневного приятельства. Изредка мы сходились для шуточных, воображаемых путешествий за пределы видимых горизонтов. (Строитель нашего времени образуется из мечтателя<sup>1)</sup>, а искусство жить всегда слагалось в основном из умения глядеть вперед). Нам было по пути до самого Океана. Мы вылезали на редких остановках познакомиться с людь-

<sup>1)</sup> — Наверно, литератор, — поправил меня Курилов. — Строитель осуществляет не мечту, а железную необходимость!

Я охотно согласился с ним.

ми, которых нам не дано увидеть никогда. Некоторые занятные вещи были рассмотрены нами в эти часы. Когда нехватало глаза, и прозорливость поэта равнялась пронизательности политика, мы пользовались и вымыслом. Он служил нам зыбким мостком через бездну, на дне которой — неизвестно — в какую сторону шумит поток.

Это было трудно потому, что, разумно планируя историю, всегда приходится оставлять кое-что на долю случайностей, гениев и дураков. Наши догадки неизменно носили оттенок спешки и неполного знания, но пусть опровергатели исправят наши ненарочные ошибки. Словом, это была наша с ним шахматная игра, и школьный глобус с продранными материками и морями служил нам шахматной доской. Все лучше в этих партиях принадлежит Алексею Никитичу; мне же лишь неточности, побрякушки образов и упущения, неминуемые при пересказе.

Мы изымали себя из настоящего; мы уничтожали эту подвижную перегородку между будущим и прошлым, и тогда оба эти небытия приобретали одинаковую убедительность. Мы выходили в четырехмерный мир; все становилось нам доступно, и внятной была удивительная одновременность событий. Я малодушно рвало вперёд, к воротам сада, о котором так по-разному мечтали лучшие дети земли; мне хотелось прорваться сквозь кровь и пламена неминуемых несчастий, но мой насмешливый Вергилий непреклонно вел меня через все потрясения, что размещены в узловых пересечениях истории. Иногда мы забирались так глубоко, что уже нехватало мудрости определить, что добро и где зло. Но на ближней дистанции, когда начался предпоследний тур мировых войн<sup>1)</sup>, мы с глубокой горечью мирились с ролью созерцателей, хотя там часто было пригодились бы здоровье и силы двух лишних солдат. Я сожалею также, что нет у меня кури-

ловского дара ясных и точных построений. Правда, иные из них слишком подошли на памфлет, в других было более дерзости, чем правдоподобия, но в целеустремленной стройности им отказать нельзя. Так, я не смогу восстановить в памяти, в какой хронологической последовательности произошли восстания венгерских и галицийских мужиков, поддерживавших социальной революцией в центре Европы, но помнит сердце, как пылко откликнулось им на Сьерра-Неваде; и пока могучая держава торопливо, всеми юбками, тушила и топтала этот человеческий пожар, обжигавший ей бока, она получила смертельный нож в спину от своего недремлющего соседа.

Дальше началось неопишное рукоприкладство. Все народы, вне зависимости от воли, были впряжены в каторжный плуг, перепахивавший карту планеты. Никто не смог бы сказать, чего было больше в этой нечеловеческой трагедии, величия или низости. (И как хорошо, что самое спасительное свойство памяти — забывать!) Эти войны были длинны и опустошительны. Самый ужас их со временем вырождались в гнетущую скуку. Их прологи начинались по правилам бандитской дуэли, как будто демон войны покровительствует тем, кто первым схватится за пистолет. Сражения походило на клубление первозданного расплавленного вещества, и поражала способность человеческого сознания выдерживать даже такое испытание. Наконец, стало так жарко, что потребовалось скинуть совсем потрепанный фиговый листок буржуазного гуманизма<sup>1)</sup>. Были превзойдены устаревшие рекорды Навуходоносоров и Васильев Болгароктонов, Хулагу и Альб, Махмудов всех номеров и Омаров. Появились вожди, утверждавшие, что полезно, по обычаю долгобородых предков, сожрать в бою дымящееся, кровоточащее сердце врага. Бывали случаи, когда враждующие страны в одну ночь обращались в кладбища, и трупные боченкообразные черви становились единственным населением бла-

<sup>1)</sup> В тот период, кроме А. Н. Курилова и, изредка, Алеши Пересыпкина, на наши бдения заходил П. И. Смирнов, который помогал нам уяснить многие детали этого предпоследнего столкновения. К сожалению, не все наши общие друзья вошли в круг этого повествования.

<sup>1)</sup> Кстати, эта штука была изобретена еще в ту пору, когда полевая пушка не делала и выстрела в минуту!

гословенных долин. Были примеры, когда безумие заставляло двух вооруженных друзей-держав на ночлеге, и один с легкой дрожью изумления просыпался в брюхе другого. Кратковременные передышки и мирные сны процветания не обманывали уже никого: дьявол любит казаться ласковым. Время от времени начинались эпидемии бегства в Советский Союз, и требовались заградительные кордоны на границах, чтобы остановить поток одичавших людей из оползающего дома. Старая эра умирала трудно, и древнее ложе земли содрогалось под нею.

Азию постигли наиболее крутые перемены. Великая желтая страна, которая века защищалась лишь бездорожьем да непротивленным бронированному злу, сама схватилась за упущенные поводья судьбы<sup>1)</sup>. Это горемычное место колониальных грабежей и бессовестных накоплений подверглось почти физической переплавке. Громадный народ, никогда не знавший, сколько его есть, сдвинулся с места. Еще ни разу в истории закон численности не играл такой роли. Судя по легендам, которые мы застали пятнадцать лет спустя, великий национальный полководец<sup>2)</sup> проверял наличность своих повстанческих полчищ испытанным способом Чингисовой матери. Он всходил на гору, и если все до горизонта заполнялось живою колеблющейся лавой, он считал, что войска его в целости. Такой и установился расчет: первый круг неба, второй, пятый... Нельзя было придать какие-нибудь более регулярные подразделения этой тьме разгневаных людей. Ян-Цзы дал знак, и они двинулись в поход. Облака летучего лёсса, хуан-ту, заслонили солнце. Народные

<sup>1)</sup> Одна восточная держава окончательно заглотнула Китай и даже перенесла на материк столицу, но кусок был громаден, он взорвался, и чрево расплозлось по швам, и организм изменил свою социальную форму. Случилось это, разумеется, не сразу, и можно было по частям наблюдать этот поучительный процесс.

<sup>2)</sup> Благодарный народ наградил его столькими поэтическими эпитетами, что собственное его земное имя потерялось между ними, как в небе утренняя звезда. Но этот минь-жень, человек из народа, происходил с порожистых верховьев Ян-Цзы-Киянга, и в просторечии все называли его именем великой китайской реки.

певцы вскричали, плача, что Вань-Суйе-Ян-Цзы скомандовал ночь, чтобы порабитители не подсмотрели с неба. Сперва много лет бились внутри страны, а потом перешли на границы. Самым кустарным образом подвергалось избиению все, что спускалось с воздуха или высаживалось с моря. Карательная коалиция, куда за исключением Советского Союза, вошли все, вплоть до мелких залетных пташек, отступила. Беззаветный героизм всегда сопутствовал освободительным войнам, но не было ничего рационального и доступного учету в стихийной атаке Ян-Цзы. Народ, всегда умевший работать, голодать и презирать опасность, не считал трудней в свою героическую десятилетку под'ема<sup>1)</sup>.

Это был наиболее емкий на сенсации век, и самая неожиданная из них имела будничной оттенок. После срока, который сократят или удлинит потомки, наступила одна ночь: петух переправлял свои сокровища в Среднюю Африку, и лев на острове Маврикия с урчаньем зализывал свои обрубки. Все перемешалось. Никто не протестовал, когда, в эту пору конвульсивных поисков опоры, Голландская Индия неторопливой походкой устрицы вошла в великую островную империю; никто не удивлялся, когда малайская революция вытолкнула ее и оттуда. Похоже было, что историческая роль Атлантики как цитадели деспотов уже угасла. Наш Океан давно стал ареной мировой деятельности народов. Полушария поменялись местами, и стал называться Новым — Старый Свет. Варвары, последние варвары земли, теснились, как они делали это всегда со времен Александра и Миншамуна. Одно время Старый Свет служил постоянным двором для беглых королевств и республик. Опасность и вынужденное соседство заставило их искать сближения ме-

<sup>1)</sup> Стремясь объединить свою культуру с западной, молодой Китай и выстроил ту дорогу на северо-запад, которую мы посетили с Курловым в начале главы. Так как проблема водных коммуникаций между Востоком и Западом была затруднена пиратством неприятельских армид, таскавшихся по океанам, потребность в этой внутренней магистрали окончательно созрела.

жду собою, но братание буржуазий не состоялось. Последовал передел империалистических материков; некоторые из колоний без особой гордости приняли имена бывших метрополий. Жизнь в этих странах складывалась исключительно своеобразно<sup>1)</sup>. Старость, как и в жизни индивидуума, усилила и подчеркнула черты юности. И оттого, что орудия подавления масс действовали безупречно и бесперебойно, это полушарие двигалось все время при переperетых котлах... Словом, ко времени первой решительной схватки двух миров граница между ними проходила от Камчатки через Формозу на Яву, на Дели и Аден, по вогнутой кривой, через пески, на Монровию и дальше вверх по восьмому меридиану, считая нулевым проходящий через острова Верде<sup>2)</sup>.

Мы долго не знали, произойдет ли это грозное столкновение, или переустройство планеты будет следствием сотни мелких социальных взрывов. Почему-то Алексей Никитич держался этой, осколочной, теории. «Халло, не пугайся, доброе человечество. Главное уже

<sup>1)</sup> Ученые исследователи когда-нибудь более подробно осветят историю возникновения и развития самой популярной организации Старого Света — General-Providence Trust. В своем первоначальном виде — частная артель сыска и нападения, она оказала финансовым владыкам двуглавого материка некоторые секретные услуги, была легализована и превратилась в крупнейшую контору всяких комиссионных поручений. Этот тысячерукий левиафан брал на себя любые предприятия, от организованного похищения детей до избития держав-малюток, уцелевших кое-где на материке. Председатель фирмы, м-р Д. Мекези, имел самую толстую совесть, и оттого, что всегда греховны тайные помыслы людей, он за недорогую плату брал на себя прегрешения всего мира. (Война южноамериканского типа, например, стоила по каталогу всего в двести раз дороже отрыва ноздрей у какого-нибудь конкурента). У меня в записной книжке сохранилось несколько рекламных объявлений этой фирмы. — «24 процента наших акций у священнослужителей. Почитайте библию, и вы поймете, кого вы приобретаете в сообщники!» — «Вручая нам деньги, вы делаетесь пайщиками рая (Paradise-investors)!» и др.

<sup>2)</sup> Он рассердился на меня, когда я приписал ренции, состоявшейся за восемь лет до большой войны, принято было за нулевой считать меридиан Верде, как разделяющий континенты по ровну на два полушария.

произошло!<sup>1)</sup>. Я взбунтовался; поэту в равной мере, что и политику, требуется пророческий дар для предсказаний на таком расстоянии. Впрочем, мы сошлись на том, что важна конечная цель, а не предварительные варианты. Итак, разность двух классовых потенциалов сдвигала их все теснее, пока не начал действовать механизм физического притяжения. Несмотря на искусное лицемерие послов, континенты жили недружно<sup>2)</sup>. Правительство Северной Федерации Социалистических Республик до конца придерживалось миролюбия. Это не было боязнью; тылы и резервы ее были неисчислимы. Сдержанность происходила из уверенности, что каждый день ослабляет противника и облегчает его будущий разгром. Кроме того, не только проигрыш, а и неполная удача повлекла бы чрезмерное потрясение культуры. Человекоубойная промышленность процветала, а штабы еще не обнародовали своих секретных достижений. Творцы новейших доктрин о дешевой войне давно осмелили манеру нашего времени раскидывать горы металла в расчете лишь на механическое

<sup>1)</sup> Он рассердился на меня, когда я приписал ему эту мысль с целью выудить из него секретное признание. Он сказал лишь, что ни Маркс, ни Ленин никого не убаюкивали насчет неясных перспектив капиталистической эры.

<sup>2)</sup> Неоднократно на территории Федерации происходили странные и неуместные несчастья: гибли крупнейшие пассажирские стратопланы, рушились гигантские плотины, и наводнения смывали урожай, вспыхивали эпидемии, легко подавляемые возросшей культурностью народов. За три года до малайского инцидента произошло гомерическое нашествие вшей в районе Бурдо. Отличной породы, плоды многолетней селекции, заслуженно названные именем Монтекуколи, изобретателя бактериологической войны, они ползли на поселения в количествах, заставлявших вспомнить знаменитые гигиенические подати Монтезумы. Они шли плотным фронтом, эти подвижные ампулы с сыпняком, очень стойкие, не подверженные грозным случайностям насекомой судьбы. На некоторых, по крупнее, были обнаружены микроскопические клейма с надписью: «Бог да покарает вашу скуку!»... Уровень санитарной техники исключал всякие последствия этого нашествия, справедливо расцененного современниками, как вызывающий хулиганский шлепок по плечу.

поражение осколками<sup>1)</sup>). Кадры войны росли. При требованиях пространственной стратегии, поражающей врага на всем его расположении, даже механизированная война требовала участия огромных масс, а господу тем более страшались своих рабов, чем упорнее они молчали. Ходили слухи о существовании в Старом Свете каких-то установок, болванящих и, таким образом, обезвреживающих солдат<sup>2)</sup>). Была достигнута также возможность с больших расстояний управлять механизмами истребления, которые видели вокруг себя и отсылали хозяину визуальное изображение поля битвы. Синхронная скачкообразная шкала волновых длин исключала всякую возможность постороннего вмешательства. Приемный инструмент, названный «механическим полководцем», внешне был устроен по принципу мушиного корзинчатого глаза; тончайшие нервы сливали воедино разрозненные и зашифрованные теледосенсы. Точно также пугали наличием особых снарядов, прославленных под именем «летающих глаз»; они сами руководили пристрелкой, не требуя прямой корректировки, и, хотя при той застроенности промышленными предприятиями нельзя было промахнуться и вслепую, неприятель имел возможность «выбираться объекту»<sup>3)</sup>). Наконец, почти накануне конфликта, в

<sup>1)</sup> В Верденской операции (во вступительной войне предпоследнего империалистического тура 1914—1918) требовалось полторы тонны металла, чтоб вывести из строя одного бойца. Они подсчитали, что у римлян убийство одного человека обходилось только в 12 коп. (энергия в 3 клв., необходимая на добрый взмах меча).

<sup>2)</sup> Передовая в «Известиях Кантонского Совета», напечатанная в день прибытия нашего туда. Это и были известные впоследствии Детеровские камеры.

<sup>3)</sup> Одно время мы с Алексеем Никитичем превратили себя в лаборатории и опытные заводы. Мы не стеснялись изобретать. Мы строили орудия для обстрела из полушария в полушарие; — особые тупоглавные пули, достаточные пробить полк, если выстроить его гуськом; подводные линкоры громадных скоростей. Про них сказали бы, что они ходят в ухе, намекая на рыбу, убитую разогревом воды. (За счет температуры работали внутренние охладители). Мы выдумывали атомные рассеиватели вещества, при воздействии которых, испытывая подобие шекотки, человек растворялся в улыбающееся ничто; мы запускали

арсеналах Эджвуда, на родине старомодного льюзита, родился патриарх убийц, студнистый газ. Он имел способность расти за счет и дождевой влаги, и сока своих жертв<sup>1)</sup>). Не существовало посуды для его перевозки; нашли способ путем комбинированного обстрела создавать его на месте поражения. Он был назван «суб-девилитом», как бы в угрозу, что еще поострее припрятан за пазухой нож<sup>2)</sup>). Она надвигалась неотвратимо, улыбающаяся ведьма войны.

... погода мечты всегда благоприятна для путешествий. Наши предшественники описывали в стихах легкие чудесные страны, залитые солнцем, с блаженными долинами, полными мудрецов, детей и яблонь. Кто-то мечтал и об нашей эре! — Итак, мы не раз с Куриловым обошли эти печальные развалины, средоточие вчерашней цивилизации. Кровь из Европы была выпущена, и она долго лежала бездыханная, как исполненное, дурно заколотое животное, об одной ноге и носом в Гибралтар. Мы заходили в заброшенные города, строенные по последней моде капитализма<sup>3)</sup>; мы

танки вторжения на газе из всякой древесной дряни (— они двигались, пользуясь подножными кормом, пожирая леса, выдирая полочки из каменных домов, прокладывая по планете страшные просеки войны); мы вставляли человечеству особые газоупорные пробки в ноздри и уши, чтоб уцелело что-нибудь, и девушка земли обмазывала огнеупорной глиняной гадостью, чтоб сохранились матери для продолжения человеческого рода. Так было, пока занятия эти не показались нам отвратительными, и мы зачеркнули все. Главным оружием Федерации мы сделали идейную человеческую закалку.

<sup>1)</sup> Знаменательно, что химики Нового Света еще отрицали самую возможность создания так называемых «коллоидальных газов», а в Старом их уже употребляли при подавлении восстаний. Впоследствии суб-девилиту приписывали такое же революционное значение, как, хотя бы, открытию красного алizarина в 1869 г.

<sup>2)</sup> Мы видели его действие в бамбуковой роще под Такао. Издалека заметно было его слабое спектральное свечение, как будто тысячи спутанных радуг опустились на местность. Мы вошли вглубь этого поучительного гербария. Все заколыхалось вокруг. Было ощущение, что он видит нас и содрогается от смеха.

<sup>3)</sup> — С дождевательными антеннами вдоль улиц, на случай дегазации, с сотнями механических глаз и ушей на кровлях, с автомати-

спускались в города подземные, куда люди прятались от ужаса и солнца; наконец, мы видели вовсе сметенные военной бурей города, похожие сверху на срезы громадного мозга, в извилинах которого долго бушевало безумие. Не осталось даже Иеремии оплакать эти подлые кирпичи. Среди польни и раскиданных плит бегают маленькие ящерицы, бродят кладовщики в поисках закрытых сокровищ, да роются археологи, стремясь по останкам базилик, тюрем и дворцов восстановить разбойные отношения предков. Зимой дымится снег, а летом каменная пыль. Она ест глаза, они текут. Столицы молодых советских республик возникали в стороне от прежних очагов, как будто новая мысль страшилась жить в домах, где происходили такие убийства... (Мы посетили также и Москву. Новая столица давно передвинулась на восток, а она еще жила на пенсии веков, почетная музейная старуха, Мекка научного социализма, подпольщица всемирного возрождения. Мы окружили ее пояском садов и кварталами нового города, как старый Каятон и средневековый Лондон: Мы нежно любили этот город...)

Мы искали много побережий в поисках места для главной из четырех столиц нового мира. Мы поместили ее под Шанхаем<sup>1)</sup>, недалеко от места двух последних поединков. Исторически и географически это был величайший перекресток земли<sup>2)</sup>. Этот город мы называли безымянно, Океаном, потому что в пространном этом имени заключено материнское понятие в отношении всякого ранга морей, в свою очередь чеканными батареями, которые сами вращались на тепловое излучение авиа-моторов, с вместительными баллонами искусственного тумана, почти мгновенно одевшего город покрывалом под цвет почвы или воды, если город стоял у моря. И уже не смешным кажется эпизод из газет того года, когда свирепая пальба была открыта по стае вечерних галок, и весь Нибелунгенштадт зарылся в гадкий зеленоватый дым.

<sup>1)</sup> Большинство городов было переименовано в память героев или событий или же по климатическим признакам. Мы оставляем их старые названия, чтобы не сбивать с толку путешественников, которые отправятся туда по нашим картам.

<sup>2)</sup> Мы собрались заботливо и нежно обсадить его набережные магнолиями и стрелиция-

соединенных братскими узами каналов и рек... Неоднократно, смешными провинциалами, мы посещали это место. Мы поселились во временной рыбацкой сторожке на берегу, но адрес наш звучал романтично и гордо: «Океан, Набережная Ян-Цзы, 1035». Страшась уличных чудовищ, нами же изобретенных, мы выходили только ночью... Я не знаю, с чего начать описание этого города. Это была прежде всего столица людей, которые летают естественно и без усилий; старинная тенденция архитектуры заботиться о виде сверху получила здесь окончательное и стройное завершение. Там было много турникетов, воздухоплавательных аппаратов в виде речных байдарок, от одного вида которых поташнивало, зданий с глазурованными скобами на дверях, похожими на причалы для океанских кораблей; многоярусных улиц в официальной части города, получивших здесь третье свое измерение; уборных с фамилиями всех палачей китайского народа в сточной канаве, начиная от Сун-Чуан-Фана, Янг-Ху и Чжан-Чжуй-Чана; громадных лун высокочастотных дисков, истребляющих всякую мушиную нечисть и многого другого, засоряющего память. Наверно, там было достаточно и дикивинок, но мы не заметили, потому что самые чудеса служили человеку верно, как собаки<sup>1)</sup>.

Но так же, как, создавая богов, дикарь наделял их человеческими свойствами, мы не сумели создать племени, отличного от наших современников. Там тоже были в должном количестве и лентяи, и завистники, и дураки. (Я оговорюсь в защиту Курилова: Алексей Никитич категорически отрицал в городе будущего и пыль, и мух, и несчастные случаи, и даже то нормальное количество мелких лакомств, какое неминуемо во всяком человеческом общежитии). Мы отметили равным образом, что мальчишки всех времен одинаково

ми; потемки независимо от нашей воли засадили побережье хей-суном, бай-го и высоким стрельчатым нань-му. Нам остается согласаться, что это неплохо!

<sup>1)</sup> Алексея Никитича, между прочим, удивило количество простых, старомодных парусников в заливе.

нестерпимы. (Хотя иногда они служили нам гидами, и наша восторженность была им щедрой платой за этот не очень тяжелый труд). Словом, бывали часы, когда мы почитали себя оказавшимися вне закона.

Случилось, я заинтересовался с научной точки зрения гудением в непривлекательной уличной дыре, и меня втянуло в гигантский магнитный пылесос. Двадцать семь минут, распятый, я провисел на проволочной сетке, облепленный всяким мерзевшим сором. Руки мои искрились, и солоноватый привкус долго оставался на языке. Курилов, пытавшийся меня спасти, оказался рядом со мною, вроде Варвары. Толпа зевак, мальчишек, уличных фотографов, этой публики третьего разряда, окружила нас. Напрасно я кричал им, что друг мой, Алексей Никитич, является начальником политотдела большой дороги, а следовательно, и на меня распространяется крупница его святости. Ничто не помогало. Няньки показывали на нас своим детишкам, как на плененных обезьян. Другие ребятки, постарше, летали мимо нас на каких-то жужжащих машинках, вроде наших медогонок. Не очень метко они плевали мне на шляпу. (Было смешно узнать впоследствии, что не шляпа моя, а дымящая трубка Курилова была причиной экскурсий к месту нашего совместного унижения. О, старая, обуглившаяся с одного края, куриловская трубка, неизменная спутница наших путешествий!)

Здесь и состоялось наше очередное столкновение с Алексеем Никитичем (— пока нас не сняли с ужасной сетки!) Он категорически отвергал это происшествие. Кажется, он этих летающих малюток намеревался сделать благовоспитанными, чистенькими бакалаврами.

— Но вы же собираетесь соорудить христианский рай из нашего Океана! — кричал я, отплевываясь от летящей гадости. — Вы намерены начинить его херувимами и памятниками. Пускай они дерутся, мучатся, расстаются... в этом и жизнь!

— А вы клеветеете на детей будущего, литератор!.. и, кроме того, зачем вы всюду ищете сор?

— Хотя бы затем, что только это и указывает на присутствие живого человека! Ведь вы же висите на сетке?.. малыши плюют вам в трубку, пока не затухнет? И, может быть, это самая благополучная случайность, постигшая нас здесь...

— Но нам могли указать, что не следует приближаться к этой чертовщине!

— Да некому, милый друг! Им некогда розиться с нами. По мере упрощения человеческих отношений все большее количество объектов будут требовать постоянного присмотра и внимания... — И много другого на ту же тему выложил я ему в тот раз.

Он стал сердито раскуривать трубку, и я ушел от него, вполне убежденный, что споры ведутся не столько с целью разубедить противника, сколько с намерением доказать самому себе правильность своих воззрений.

### Марина составляет жизнеописание Курилова

Каждое утро менялся пейзаж за окном; так капризный художник чернит и перемазывает свое творенье. Однажды, еще не подымаясь с постели, Курилов увидел снеговую оторочку на оконном переплете. Потолок светился ровной сизой белизной. Мокрая свежесть стояла в квартире: с вечера форточка оставалась открытой. Стылая река не шевелилась в берегах, Кремль нарядился в рваные горностаевые лохмотья. Из-за снега глуше стали гомон трамваев и зимний скрежет ворон. У двери позвонили. По дороге, сняв чайник с плиты, Алексей Никитич пошел отомкнуть запор. На пороге изыбшая стояла Сабельникова.

— Сегодня двадцать четвертое, — напомнила она. — Можно мне в калошах, не раздеваясь? На этот раз мы быстро покончим...

— Зачем же вам спешить... снимайте вашу резину. — Он вертел чайник; струйка пара из-под крышки обжигала пальцы.

Снять калоши оказалось затруднительно. Он понял это с запозданием. У Марины вконец разваливались туфли и до приобретения новых она проводила жизнь в калошах. Дома она снимала их вместе с туфлями, чтоб не оторвать подошву вовсе.

— Они у меня пришепелят, — застенчиво объяснила она, поднимая с полу спухлый свой портфель.

— Входите, садитесь, двигайтесь... Чай пили сегодня?

Нет, она не успела. У них раскопали улицу под метро, и с утра трамвай не ходил. Кроме того, ей сказали из управления, что сегодня Курилов не будет на работе, и она поторопилась застать его дома. Алексей Никитич вспомнил, что собирался потратить этот день на докладную записку в ЦК, но... Велик был этот день!

— Вам погуще? Хозяйка из меня вышла бы плохая. Пойдите, у меня варенье было. — Он пошел к шкафчику, но варенье съели друзья; оставались только конфеты в пакетики, похожие на чортовы пальцы в бумажках. Они лежали здесь еще со времен Катерины. — Вот вместо варенья. Любите конфеты?

Она подумала, вспыхнула и, не теряя времени, сунула в портфель, за блокнотом. Надо было пользоваться хорошим настроением Алексея Никитича. Начальники рассеянны и в таком виде непостоянны, как женщины.

— Нет, уж лучше займемся биографией. — Впрочем, она развернула одну и сунула в рот. — Вот я и готова!

Он расмеялся; с этой конфетой, не умещавшейся во рту, как была она похожа на провинившуюся школьницу!

— Отлично, тогда записывайте! Есть такой город Пороженск. Так установилось: слава города измеряется количеством людских костей, положенных в его основанье. Так вот, это сильно исторический город. Но главная слава этой дыры в ее знаменитой русской юфти. Вы, конечно, не знаете, что такое юфта!

— Нет... и мне конфета очень трудная попалась.

— Да вы раскусите ее пополам!

— Она не раскусывается...

Он не внял ее замечанию.

— Юфта... записывайте!.. представляет собою шкуру годовалого быка, выделанную на чистом дегтю. Когда-то там находилась масса мелких кожевенных заводов, но потом все заглохло. Теперь это просто захудалый угол, весь в сирени и яблонях. Кстати, яблоки там с грецкой орех величиной, рот от них наизнанку выворачивает, но их только в чай и кладут вместо лимона. Вкусно! — И он так прищелкнул языком, что Марина ощутила терпкую кислинку на деснах. — От прежней славы осталось только разное кустарное производство да еще кружевницы. Слыхали что-нибудь, женщина, про пороженские кружева?

Марина замялась; в точности она не имела представления, где находится этот город, но самое имя его почему-то пахло кожей и дополнительно вызывало воспоминание о немеряных лесных пространствах, о близости чувашской земли, о знаменитом кулацком восстании. Что касается кружев, она по недостатку не употребляла никаких. Поэтому она сказала торопливо:

— Пороженские?.. как же, как же!

— Итак, я родился пятьдесят лет назад от честных и благочестивых родителей. Отец работал отделщиком на кожевенном заводе. Интересного в его грубой жизни мало. Он главным образом трудился, и я никогда не любил его за суровость. Он и разогнал детей. Клавдия убежала из дому пятнадцати лет, сестра Ефросинья, буйная, сорви-голова, вышла замуж за крупного промышленника, а я ушел в Питер, на завод. Вообще мне с родней не повезло. Дядя по матери был торговец, имел на базаре ларек со щепным товаром. Он умер, когда я был еще мальчишкой, но я любил его товар и, наверно через товар, его самого. Дуги, сани с крашеными передками, росписные ушаты, долбленые ковши, — и все это в бальзаминах, в конях, в заячьих лапках. На каждой вещи — весь обиход мужицкого мечтания!.. В праздник шатается, бывало, пьяный, по городу, отыскивает плачущих детей и обдает мятными, в орешек, пряниками. «Не обижайте детей!» — это было его любимое присловье. Чудак был в своем роде и помер от вина. — Он придвинул

хлеб и масло. — Вы кушайте, Марина. Биография — дело трудное. Я не очень тороплюсь? ...и почему вы не записываете?

Странно, как он не понимал ее смущения! Ее с треском выгнали бы отовсюду, если бы записала буквально, как он ей продиктовал. Ей требовалось нечто героическое, конкретный подвиг, побег, эпизод самопожертвования. Подобно всему своему поколению, она романтизировала прошлое, и чем больше становилась разница между старым миром и новым, тем все менее походили на людей вчерашние хозяева России... Вот они бы! Марина испытывала неловкость и розовела. На листке чернела одна-единственная строчка. Явно, Курилову было скучно перебирать для нее одной пыльные вороха воспоминаний. Ей с самого начала плохо верилось в успех предприятия. Конечно, он давно разглядел ее беспомощность, оторвавшуюся подошву, ее смешной портфель, ее зимнюю курточку с воротником из кролика, крашеного под леопарда. Нет, он не уважал ее... Она огляделась, ища гитары; вспомнилось, как резонировал в ней голос. Нет, не было гитары; должно быть, спрятал, чтобы не подказывала об одном глупом летнем вечере. Кстати, конфета прочно налипла на зубы. Она не таяла, а все набухала, заполняя весь рот. Одеревяневшим языком Марина спросила:

— Все это недостаточно для биографии. Вот, про дядю, например... может быть, его арестовывали? — И слабая надежда прозвучала в ее голосе.

— Нет, не припомню. Да ведь он и не скандалил! Дети его любили, толпами ходили за ним. Впрочем, я понимаю, что вам нужно. Но, к сожалению, ничего такого не было. Человек я вполне человеческий. Каждый в равных условиях делает вдвое. Пейте ваш чай, пока не превратился в мороженое. Что, вам не нравятся конфеты? — Он надкусил одну для пробы, оторвал с зубов и ожесточенно сунул в пепельницу. — Да, этим несгораемые шкафы взламывать...

Осмелев, она подалась в его сторону: —

— Мне говорили, например, что вы сидели в Ижевске во время восстания.

Он ответил сухо:

— Да, это было... и что же?

— Если бы вы остановились на этом подробнее!

Алексей Никитич зажег трубку, и вместе с хорошей затяжкой пришло воспоминание. Оно было неприятно Курилову, но вовсе не потому, что сами участники порою не в состоянии были указать расстановку сил и с точностью разобраться в последовательности событий того времени.

Это была пора стихийного формирования фронтов, и то, что называлось тогда восточным фронтом, летом восемнадцатого года представляло собою обширный, перегретый котел, в котором то-и-дело вспухали пузыри восстаний. Контрреволюция наступала отовсюду, и вся стратегия революции заключалась в попытках задержать смыкание смертного кольца. Было бы трудно искать четкой военной логики в летних операциях того года, когда паника была таким же руководящим фактором, как и героизм, когда объяснения могучим передвижениям вооруженных масс следовало искать не в совершенстве их технических средств или в искусстве полководцев, не в трусости или отваге, а прежде всего в глубокой идейности одних и опустошенности других.

Пока же удавка затягивалась все ту же. Территория республики приближалась по размерам к владениям Калиты. Вторая Армия Советов, образованная из разрозненных партизанских и красногвардейских частей, отступала на Казань. Недобитое белыми добивали голод и сыпняк. Положение считалось катастрофическим. На Ижевском и Воткинском заводах в открытую зрело восстание. Задолго до взрыва сюда стало собираться белое офицерство, объединившееся под именем Союза Фронтовиков. В эти тревожные июньские дни Курилов был послан туда из Сарапула формировать рабочие дружины для фронта.

Главный удар был нанесен белыми со стороны Симбирска. Шестого августа, с помощью подпольной организации и двухтысячной офицерской бригады Капеля, была взята Казань. Двумя днями позже, когда основное ядро ижевских

коммунистов было перекинуто под Казань, произошел знаменитый Ижевский мятеж. Его техника была обычная для того времени. Мятежники ринулись на оружейные магазины и, захватив власть, принялись за расправу. В этот первый улов Курилов не попал; его отыскивали месяцем позже, когда подполье окончательно провалилось. Ночью его привели в темную одиночную камеру, где вперемежку валялись комиссары, рабочие, председатели деревенской бедноты и прочие так называемые враги народа. Курилов стал здесь тринадцатым. Этот невеселый эпизод звучал в его передаче сухо, отрывочно, без всякой краски. Возможно, Алексей Никитич вспоминал его вовсе не для Марины. Он рассказывал его так, точно гляделся в осколок окровавленного зеркала, и угадывал позади себя, живого, груды зарубленных, исколотых, посеченных товарищей своих, и ощупывал себя, уже не прежнего, и не желал мириться с тем, что видел.

— ... горько признаться, Марина: я забываю даты, лица многих из тех, кто сидел вместе со мною. Улетучиваются из памяти даже замечательные адреса, по которым ходилось в юности (—эх, жаль, вас не было на-днях, когда у меня собирались друзья!), но это арестное помещение на Седьмой улице в Ижевске и имена двух палачей, Яковлева и Ошкурова, я вижу сейчас отчетливее, чем вас, Марина. В особенности этот последний, изобретательный мужчина в яловочных, с ремешками, сапогах и в какой-то полудекабрьской форме — памятен мне. Его считали пьяницей, а он кокаинист был; то-и-дело отворачивался — по пудрить душу. И тогда он очень интересовался просунуть дуло в волчок двери и палить по арестованным — «на счастье»... или согнать всех нас, тринадцать человек, на нары, крикнуть — чтоб подняли руки, и лупить в зажмурку, по ком попадет. Любопытен был также его инструмент — длинная, ременная, с цинковой проволокой плеть, а на самом конце — свинца со спичечный коробок; словом, через плечо, вперехват, она доставала до пояса. По рассказам товарищей, имел он также склонность сажать людей на шомпол и делал

это, надо отдать справедливость, с детским увлечением. Меня он знал хорошо, любил зайти, поговорить. «Ну, здорово, Алеша. Ты мне грозился трибуналом, а бог-то нас и рассудил! — и плеточкой малость позмеит. — Ну, как характеризует положение?» Я облизнулся, скажу только, что настроеннице мое плохое, и зубы, бывало, заноят от некоторых несказанных слов. — «Пули в лоб хочешь?» — «Рано, — отвечаю. — Сперва тебя надо повесить, стервеца!» Он только глазами блеснет, точно с порции кокаина. «Я тебя понимаю, но не жди ничего, Алеша. Твои бегут, как надроченные. Мы списались с чехами и теперь, с помощью божьей матери, станем совместно лупить большевиков!» Товарищи слушают, бывало, — кто кряхтит от злости, а один даже мякоть в ладошке до крови изгрыз, чтоб не закричать... Под конец скучно нам стало от такой жизни, а у многих уж и тело под рубахой подгнивать начало от побоев. Трудно бывало слышать ночные расправы, когда в обход камер пойдут палачи... Обратите внимание, бывает особый звук, передать только не сумею, когда штык входит в живого человека!.. потом петлю на ногу и сволакивают в одну камеру. Решились мы вырваться. Двери были не на замках, а просто приперты досками снаружи. Списались по камерам ломать двери, и, кто первый вырвется, тот выпустит и остальных. Кстати, собрали пыль, золу с печного душника, соли накопили с четверть фунта — засыпать глаза первому, кто войдет. Двое встали по бокам с поленьями, а третий на корточки присел, чтоб броситься под ноги. И, так случилось, первым вошел Ошкuroв... и мы его уронили... и стали рубить его же шашкой... и все не могли докончить. И выскочили, и телом рвали проволочные заграждения, и бежали, половину растеряв под пулеметным огнем у пруда...

Тут-то и подумать бы о нем и избежать, но не думалось, как будто тысячулетье оставалось в запасе. Он и сам удивлялся теперь, откуда взялась такая гимнастическая легкость у избитого, истощенного солдата. Но непонятная сила поднимала его вверх, и, случись

бездонная яма в земле, он прыгнул бы в нее без раздумья, как в бога, веруя в свою удачу.

— А ловок я был бегать тогда. Теперь уж не ускользнул бы...

Марина работала. Прыгающие строки неслись, сплетаясь друг с дружкой. Карандаш рвал и комкал плохую бумагу, пока не сломалось его графитное жало. Она растерянно взглянула на Курилова, как будто теперь-то и должно было последовать описание самого заключительного подвига, но оиять — ничего не было, кроме искромсанного куска жизни. Отвернувшись, Алексей Никитич глядел в окно. Трубка потухла; напрасными затычками он пытался разжечь последнюю искру. Сейчас он казался старше своих лет. Мысленно, лист за листом, он просматривал дальнейшие события биографии, недоступные детским глазам Марины. Отблеск первого снега, отразясь от потолка, контурно очертил его расплывчатой линией. Пользуясь передышкой, Марина втащила на колени портфель и шарила — не то ножа, не то другой такой же синей палочки с графитом.

— Вас...—прищурясь, спросила она,— вас тоже избивал этот подлый человек?

— Таких вопросов не задают, Марина... и вообще, зря вы это записываете.

— Но ведь это и есть жизнь! — его же словами возразила она.

— Это будни всякой борьбы. Знаете, я поищу для вас готовую биографию. У меня валялась где-то копия.

Марина не настаивала на продолжении, потому что не чувствовала в себе умения написать куриловскую жизнь во всей сложности обстоятельств. Больше того, она узнала, что человеческие биографии совсем не похожи на те, что становятся известны людям.

— Я очень уважаю вас, Курилов, — тихо сказала она.

Он с удивленным обернулся, она смутилась и прикрыла ладонью нижнюю часть лица.

— Зачем вы прячете свою улыбку? У вас прекрасные зубы... — Он мог бы так же похвалить ее кожу, такую свежую, чистую и как бы подтянутую на висках, даже ее большие, не очень жен-

ственные руки, даже ее обильные веснушки, даже то, как она смеется, кончик розового языка показывая в зубах. — Кстати, вы очень поправились в Пензе!

— Перед Пензой я целых две недели провела в Боршне.

— Что ж, хорошо там?

— Это большая усадьба и парк при ней. — И все искала карандаш при этом. — Река... я целые дни проводила в воде. Я ведь как рыба плаваю! (Куда же он все-таки завалился?) — Она взяла свой портфель и, запустив руку, наощупь искала там. Было бы гораздо проще выложить начинку этой сумки на стол и разобраться, но, значит, не решалась обнаружить свои богатства. — Между прочим, там в лесной сторожке до сих пор живет старуха, родственница бывших хозяев имения. Ее всем приезжим показывают, как в музее. И верно, когда смотришь ее, начинаешь понимать, зачем существует смерть. Она еще Александра Второго помнит... (Ведь вот, был и пропал!)

Зайдя сзади, Алексей Никитич глядел в пушистую, розовую ложбинку ее затылка. Со времени ее последнего посещения стыдные сны тревожили его, как молодого. И, точно давил его взгляд, Марина краснела и горбилась все больше. Видимо, ей хотелось прикрыть собою портфель. — Курилов заглянул сбоку. Сверху лежал большой ломоть хлеба и бородавчатое яблоко. В глубине он разглядел также книгу, зеркальце, обитое с одного угла, и какие-то лоскутки. Перечисленным не ограничивалось содержание этого огромного нищенского кошелька. Наверно он взорвался бы, не будь он пронизан стальным стержнем и прошит черной, смоленой дратвой. Вдруг что-то живое пискнуло там; Марина судорожно сжала портфель в коленях, и тотчас же снова стрельнуло оттуда смешным, металлическим писком.

— Что это у вас?

Все гибло, и поздно стало оправдываться.

— Это музыка, — сказала она, и ее сразу стало как будто вдвое меньше.

— Какая музыка? Ну-ка, покажите...

— Это детская.

— Все равно... Да я не сломаю, дайте!

На самом дне лежала детская гармошка. Марина потянула ее оттуда за ушко, и она запела расстроенным, обиженным аккордом. Яблоко вывалилось и покатилося при этом. Игрушка представляла собою кособокий ящичек, с мехами из цветного прокляенного коленкора. Жестяные ладки сидели на гвоздиках, и самая вещь более пахла клеем, чем звучала. Алексей Никитич отряхнул с нее хлебные крошки и оглядел с серьезностью, происходившей от неожиданности. Заранее он испытал дружеское сочувствие будущему владельцу этой игрушки.

— Вот видите, как неудачно все складывается у нас... — кусая губы, вся красная, сказала Марина. — Ладно уж, давайте сюда! За эпизод спасибо... — Она рассчитывала найти дополнительные материалы о Курилове в каком-нибудь революционном архиве.

Курилов не слышал, он был занят.

— Пойдите, не играет у меня ваша музыка.

— Так ведь она игрушечная. И еще: здесь есть дырочка в мехах. Вы зажмите ее одним пальцем и тяните...

Она не смогла бы объяснить, как это случилось. Она проходила мимо витрины детского магазина, когда туда, случайный и торопливый, упал луч солнца. И столько ярких красок стало вдруг за пыльным стеклом, что она соблазнилась истратить половину своих денег... О, она купила бы все, что там лежало и цвело! — Курилов был все еще занят. С сосредоточенным видом он взял флакон с чем-то желтым и тягучим, вырезал полоску из лоскутка и заклеил отверстие.

— У вас есть ребенок? — И, вот, гармошка заиграла, и это походило на торжественный марш в честь третьего лица, приносящего человечность в их отношения.

— Да... мальчик.

— Так вы из-за него и упрямылись ехать в Пензу? (Он вспомнил царапину на ее носу и смешной жест, которым она прикрывала ее.)

— Да, с ребенком трудно устраиваться в командировках. На тетку оставить нельзя, она припадочная: у нее печень.

Комнату мне отвели сырую, мой Зямка заболел... Ну-ка, давайте сюда, еще сломаете! — И захихнула игрушку на старое место, под хлеб.

Алексей Никитич смотрел на нее сумрачно и недоверчиво. Совсем другая женщина сидела перед ним, и не было между обеими почти никакого сходства. Этой были уже безразличны расположение или враждебность Курилова.

— Что же вы не сказали, что у вас есть ребенок! Я мог послать другую вместо вас.

— О, что вы! — с холодком усмехнулась она. — Это моя вина, что у меня ребенок. Дорога не обязана платиться за это...

— Неправильно, Марина. Мы не механизмы, мы строим наше общество для людей...

— Я знаю... и даже другим объясню это! — и поднялась, чтоб уходить. — Спасибо за чай. Биографию передадите Фешкину, ладно?

Уже не стыдясь своих туфель, она уходила, строгая, спокойная, прямая. Алексей Никитич догнал ее в проходной.

— Вы как будто сердитесь на меня. Марина? Вы просто устали и, кажется, плохо живете. — Ему очень хотелось немедленно изобрести что-нибудь приятное для нее. — Если вы не спешите, давайте проедемся за город. Первый снег... в детстве вы не играли в снежки?

Она стояла, как большой растерявшийся ребенок; соблазн поездки почти равнялся ее необъяснимой обиде, — нет, он был больше ее! В последний раз она ехала на машине месяца три назад, когда на грузовике перевозили книги и проекционный аппарат для ее пропагандистского кабинета.

— Много лет вашему сыну?

Она сказала, гордая (— Курилову показало, что она стала умнее и наряднее при этом —):

— Послезавтра пойдет седьмой. Он у меня занятный, и очень самостоятельный. — Она подумала и сказала глухим голосом, как говорят во сне: сперва в парашютисты собирался, а потом передумал и назначил себя в вагоновожатые...

— Вот, и отлично. Я завезу вас домой и познакомлюсь с вашим Зямкой. Надо сказать, я обожаю вагоновожатых! — И сам подумал, что давно не разговаривал с детьми, а это нехорошо. — И так, едем?

— Только ненадолго... — согласилась она, и, вот, уже была прощена незримая обида.

— Ну, и прекрасно. Спускайтесь, я буду через минуту. — Ему необходимо было захватить похвисневские книги; оказия забросить владельцу его багаж могла долго не повториться.

... Марину он догнал только на пятом марше. Веселое настроение вернулось к обоим. Лестничный пролет наполнился смехом Марины и гулким куриловским баском. Внезапно, Алексей Никитич остановился у чужой двери, и, расцепив спичку, всунул ее в узкую щелку между штукатуркой и кнопкой звонка.

— ... зачем это, Алексей Никитич?

— Тут один тип живет, ужасно обидчивый. У него собака, и та на присяжного поверенного похожа! Бежит...

Схватившись за руки, они помчались вниз, как напраказавшие ребята. На последней площадке они чуть не сшибли высокую старуху в таком же кожаном пальто, как у Курилова. Она удивленно посторожилась и, повернув голову, глядела им вслед. Алексей Никитич невольно выпустил маринину руку. Встреча была неприятна ему.

— Вот, хочю проветриться: первый снег! — смущенно выговорил он и неожиданно сделал какой-то мальчишеский жест. — Я все собирался звонить тебе... Ты не ко мне?

Вопрос был праздный. Курилов жил на последнем, на двенадцатом; Клавдия воспользовалась бы лифтом. Внимательно и печально старуха смотрела на куриловскую спутницу, и под этим взглядом гасли непотухшие искринки смеха на маринкиных губах. Потом тою же спокойной, непреклонной, не по возрасту легкой походкой она стала подыматься вверх. Марина смятенно догадалась, что это и была знаменитая сестра Курилова.

## Первый снег, первый снег...

Они долго молчали, как будто Клавдия могла еще вернуться.

— Как она меня напугала! — призналась Марина, когда машина вступила в уличный поток.

— О, это строгая женщина, — и поднял палец.

— Вы тоже боитесь ее? — спросила она, вверяясь его силе и доброте.

Ему почудился общинческий тон в ее вопросе; ему не хотелось отделяться шуткой.

— Нет, это не страх, Марина. Это большее, вам сразу не понять. Это постоянная проверка себя. Знаете, Марина, это очень крепкая старуха. Она никогда не кричит; я также никогда не видел ее слез, хотя она скупа и на улыбку. Это большой судьбы человек. — Что-то заставляло его идти сейчас на предельную откровенность. — Видите ли, у нее в молодости жениха повесили... отличный экземпляр человека и большевика! Орехи пальцами давил, и все, даже дети, звали его просто Семенушкой. Позже выяснилось: одиннадцать минут в петле прожил. Кажется, она его любила. Только не проговоритесь при случае: она этого не терпит... — Он помолчал, и в молчании его была нежность. — У нас в биографиях длинно распространяются о следствиях, а надо говорить о причинах, обусловивших их. Было бы короче и умнее. К слову, много успели написать биографий, дорогой Плутарх?

Она долго не отвечала —

— Ваша осталась, самая трудная. О вас стыдно писать обычными словами. Но со взрослыми вообще трудно; они скептически относятся ко мне, задают каверзные вопросы. Меня в Пензе на собрании спросили: морально ли в наше время подавать нищему. Конечно, аморально... но если он тоже хочет есть? Ошибиться боязно! Мне приходилось голодать, я это дело прочно понимаю. Тогда мне прислали запуску: а ты сыта?.. и нехорошее слово в конце. — Она закусила губку и спрятала от Курилова лицо. — Вот кончу это задание и уйду.

Мокрым ветром хлестало в открытое окно. Шла уже окраина, сажей нарисо-

ванная на пасмурных слоистых небесах. Шоссе взобралось на насыпь. Марина задумчиво глядела вперед, на серебряную птичку, что сидела на пробке радиатора. Два острых, вертикально поднятых крыла распахивали улицу; в отвалах падали дома, встречные грузовики, прохожие; и следом, прикованная к ногам птички, почти приподымаясь на воздух, неслась тяжелая машина. Было чудесно ехать так, в никуда, которое и есть страна неожиданностей и счастья.

— Куда же вы уйдете? В жизни везде трудно.

— Я к детям уйду. Я и раньше с детьми работала. С ними проще, и они не лгут.

— С детьми тоже нелегко, Марина. Они — лаборатория новых отношений. Это поколение вырастает на распаде старых общественных форм, и вы должны будете стать катализатором очень мудреного процесса. Вы дружно живете с вашим Зямкой?

— О, мы с ним приятели. Зямка — это Измаил. Я люблю гордые имена. Лет через двадцать люди будут очень гордые, без единой болинки и\* трещинки. Всякая боль или озлобляет, или ослабляет... и вообще надолго бракует человека. А гордый не застонет, не сожжет, не украдет... Сейчас мало гордых людей; у нас пока очень смиренных любят!

— Гордость антисоциальна, Марина; она доставляет человеку прямизну, но она же селит и рознь между людьми.

— Вы сами-то в это верите?

— Нет, —прямодушно сказал Курилов и засмеялся.

Она не стала добивать его, удовольствие поездки было сильнее. Магическая птичка уносила все дальше, в безграничное раздолье русской зимы. Снег на полях становился все белей, мерцанье его — таинственней. Чуть тронутый оттепелью, он округлял линии и придавал природе упрощенный, без лишних деталей, рисунок. Встречалась деревня на пути, — в веселый и тягучий гомон врывалась машина. Кричали петухи, колодезные журавли, собаки, вороны в сучьях, осыпая белые комья; ребята пробовали санками первопуток. Все это суетилось, кувыркалось, вопило на все лады.

Мокрые снежки, пущенные неметкой рукой, неслись вдогонку. Пошатывались какие-то уютные старички, выпившие по случаю первопутка; бабы, перейдя на зимний режим, судачили с ведрами у колодцев. Качалось репье, загрированное под хризантемы, танцовали избушки, политые сахаром. Пряничное царство милого первого снега!..

Но вдруг подступал лес. Потряхивая белой гривой, он бежал сбоку, наперегонки с машиной, и было весело смотреть на множество мелканье его резвых и бесчисленных ног. Он бежал до упаду, отставал, стлался кустарничком, прикидывался собачонкой, рекой, прятался весь в крохотную часовенку, в ямку, в ничто... И было бесконечно жаль, что не заехали за Зямкой. Мальчик обожал всякие механизмы, а перед автомобилем испытывал подавленное благоговение. (И уж он-то разобрался бы, что машина у Курилова была старая, много походившая на своем веку). Марки машин, иногда пролетавших через окраину, он определял на-глаз и без промаха. И, конечно, если бы старый волосатый бог, о котором ему успела нашептать тетка, вторично сошел на землю, он спустился бы на парашюте, в кожаных рукавицах, весь в масле и с французским ключом в руке.

—... поскребите смиренного, и, если он не дурак, то уж наверно недобрый человек. И пусть гордость движет поступками людей. Пусть это будет гордость мастера, гордость героя, гордость матери, которая их обоих родила. Жизнь, конечно, настанет красивая... Уж я-то это знаю лучше всех! Я все обдумала там, каждый уголочек. Я хожу по ней каждое утро. Все там очень дешево, очень прочно.... туфли и калачи! (Я долго живу; отец мой умер семидесяти, нагибаясь за бумажкой: он ужасно аккуратный был...) Я еще застану совсем чистую жизнь!

— Вы плохо живете, Марина?

Она не сумела сразу вспомнить формулу, которая так хорошо и полностью разъясняет жизнь —:

— О, мои несчастья слишком мелки, чтоб огорчаться ими. Я люблю жизнь всякую... даже когда идет дождь и надо

итти за керосином через три улицы. И трудности меня только закаляют... вот как в Пензе, например. Я задолжала в общепити пятьдесят рублей и боялась туда показаться, чтоб не отобрали документов. Такой переплет жизни, все одно к одному! (Верно это, что и Марк бедно жил?) Тогда я пошла к Зямкиному отцу, он в Пензе работает. Обрадовался (—новая-то жена уж надоела!), повел меня в кино смотреть белое пятно Арктики. Вот, как стало темно (и не стыдно!) — «слушай, говорю, я нахожусь в промежутке. Зямка заболел (— жалко будет, если умрет!), а у меня все талончики на обед вышли. Ты, как товарищ мне, близкий по личной жизни, должен помочь! Я отдам тебе в первую получку...» А он отвечает, что нет, — «не могу: я себе пальто шью». Я помолчала (так и не заметила, что на экране показывали!) — «ну ладно, говорю, купи тогда хоть белую булочку Зямке». Булочку купил...

— Вы никогда не любили его?

— Я узнала, что не люблю, только перед родами, когда он заставил меня перевести сбережения на его имя (— на всякий случай!) Он предусмотрительный!.. а я тогда помоложе, совсем розанчик была!

— Разок бы ударить его для протрезвления...

— Это аморально, Алексей Никитич. И, кроме того, он занятый, он ответственный работник: ему пальто действительно нужно! (Хотя, пожалуй, нет... не очень нужно.) Но и не судить же с ним: знаете, перед Зямкой стыдно... Чего ж ты глядела, скажет, мать?.. выбрала себе негодяя! — Она спохватилась и замолкла.

Как много раз она каялась в непрошенных откровенностях (— болтуня, болтуня!) Вот так и теряют друзей, когда в отношении закрадывается жалость. А все из-за гармошки, глухой писклявой коробки, обклеенной вонючей тряпицей. (Впрочем, она пощупала украдкой в портфеле, не рассыпалась ли от сотрясения игрушка. Нет, она была цела!) Марина не заметила, как они вернулись в город. И, как бы в подтверждение ее

страхов, машина остановилась посреди кривого и пустынного переуллка.

... Курилов дружески касается ее руки — :

— Я забегу только на минутку: мне надо отнести книги. Вы обождете меня здесь, Марина...

Его голос звучит успокоительно. Он захлопывает дверцу и пропадает во мгlistой снежной тишине. Прижавшись в угол сиденья, Марина ждет его. Падают онежинки, и ей кажется, одна ухаживает за другой. Курилов все не возвращается. Монотонная дрожь мотора усыпляет. Марина блаженно закрывает глаза, и ей хочется только, чтоб всегда было так тихо и печально, как в этом забытом переуллке... Она задремала, и ей приснилось, будто пришла Клавдия, очень необыкновенная, медлительная, величественная, и за ухо вытащила ее из машины. Марина открывает глаза, и не сразу понимает, что именно случилось. Улица неузнаваема. Белые мокрые хлопья несутся как попало. Все стало из снега. Пушистые прибы образовались по краям тротуара. Проехали сани, запряженные в сугроб; из-под него жалобно, точно пришитый, торчал лошадекин хвост. Снежный мужик, вроде тех, каких в избобили мастерит Зямка, скорчился в передке. Снег не успевает таять даже на кожухе радиатора. Шофер вышел накинуть чехол. Мокрая каша сразу потекла по его лицу. Ветер стихал, но снег усиливался. Он падал без конца. Все вокруг бесшумно поднималось куда-то в пеструю тревожную высоту. — Курилов не возвращается.

Боясь задремать снова, Марина строит догадки, что задержало Алексея Никитича в одном из этих серых, незамысловатых особнячков. Ей часто приходилось сочинять необыкновенные истории для Зямки. — Сперва она увидела военного покроя сапоги. Расклонясь голенищами в обе стороны, они стояли возле чужой кровати, пыльные, но не оттого, что в них долго шли. На желтых мятых подушках лежит больной друг; с этими провалившимися щеками он похож на Некрасова, когда умирал Некрасов. Курилов убеждает Некрасова соглашаться на операцию. Оба знают, что

это бесполезно, но другой темы для разговора нет... Ей не понравилось, она зачеркнула. Гораздо вероятнее, что здесь живет мать Курилова. Старуха прежнего закала; она не ходит к сыну; по долгу старшего в семье он сам навещает ее раз в месяц. Вошло в привычку, не раздеваясь, отсиживать положенное время в этой мурье, пропахшей деревянным маслом и камфарой. Сын сидит в табачном облаке, откинувшись к стене; подбородок вдавался ему в грудь. Сохлая и маленькая, перед ним мать; она в черной юсынке и с увядшими глазами. Еще в годы ссылки она оплакала его и проводила в непонятную жизнь, как в могилу. Боги из угла глядят понуро, как обделенные родственники... И снова Марина зачеркивает выдумку: матери он не повез бы книг!

Третьего варианта она не знала. — Могучая домохозяйка с корзиной мокрого белья на плече отперла Курилову и показала дверь, куда стучаться. Он прошел мимо столика с четырьмя керосинками, по числу семейств, мимо четырех дверей, за которыми поочередно плакал ребенок, фальшивила мандолина и трещали горящие дрова. Без стука он вошел в комнату; он спешил. Его ослепило обилие света, хотя вся стеклянная стенка была залеплена снегом. Тотчас же маленький старичок выскочил из-за занавески с петухами. Курилов сказал, что рад его видеть оправившимся от потрясения, и, протягивая узелок, прибавил шуточно, что, вот, дорога доставляет даже неостребованные грузы. Старик кивал, поглаживая матерчатые свои, со вздутиями на коленях, брючки. Глаза с резвостью блошек прыгали в его лице; оставалось предполагать, что одно появление призрака из события под Саконой повергало его в такое состояние.

Многословие его могло привести в отчаянье, а уйти сразу Курилову мешало какое-то смутное сознание вины перед этим человеком.

— О, вы правы! — сеял слова старик. — Судьбою я был неоднократно поставляем, а, в различные столкновения, но таких еще не бывало со мною. Мы, старики, к сожалению, мало приспособлены к тому, чтобы нас этак встряхива-

ли в вагонах... И когда я очнулся, то немножко болело плечо, и окна были разбиты; но и то, и другое оставалось на своих местах. Зато плевательница сехала на самую середину: она была, э, необычной формы и с крышкой. Я толкнул ее ногой, она не сдвигалась. В отчаяньи, и даже крича, я стал теревить ее, но она оказалась привинченной! Это был вентилятор, — словом, я сидел на потолке. Но вы же понимаете, дружок, что я не з таком возрасте, э... чтоб проводить остаток жизни на потолке! Тогда я...

Курилов сказал, что он очень торопится, и взялся было за скобку двери, и тотчас же, почти падая на него в стремленьи дотянуться до куриловского уха, старик сообщил, что полчаса назад его племянница прострелила себя... (Аркадий Гермогенович и сам удивился естественности, с какою родился этот экспромт.)

— Она жива?

Тот испуганно замахал руками, и, право, жестикуляция его была понятнее прерывистого старческого шопота. Пуля пробилась лишь мякоть ноги, дело ограничилось домашней перевязкой. Несчастье сопровождалось рядом побочных, столь же несчастных обстоятельств. Единственный в доме телефон сняли месяц назад за неуплату; муж племянницы в командировке; извозчиков окончательно вывели из обихода... О, нет, не врача, а только отвезти раненую домой! Такой большой начальник неминуемо должен был приехать на машине. Курилов молчал. Все это было не очень правдоподобно. Выстрел произвел бы переполох в обывательской квартире. И даже замытый, непросохший пол да ведро со снегом не расценивали куриловских подозрений. Тогда, точно опасаясь, что Курилов одумается, Аркадий Гермогенович демонстративно отдернул петушиную занавеску.

Чуть ли не всю эту половину занимало огромное, обитое черной клеенкой кресло, и в нем с неестественно вытянутыми ногами полулежала Лиза. Она была бледна, ни кровинки на раскусанных губах; старенькой шубкой дядя укутал ее плечи. Несмотря на огненную

пальбу в печурке, зимняя свежесть стояла здесь. Лиза постаралась улыбнуться; беспомощная враждебность читалась в ее взгляде.

— Ты напрасно беспокоишь постороннего человека, — сказала она, бессильно приныкая к клеенчатой обивке.

— Не учите меня правилам жизни, Лиза, — загорячился старик. — Вы звереныш! Вы даже не кричали от боли. Я всегда подозревал вас в бесчеловечности!..

— Но я же все равно не смогу дойти до машины...

Тогда Алексей Никитич поднял на руки этот смятый комок человеческой материи, заброшенный сюда с размаху, и, не говоря ни слова, понес к выходу. Она безучастно смотрела куда-то мимо его фуражки. И только бровка, время от времени дугою вскидываемая на лоб, как бы подсказывала, что боль еще не прошла.

— ... жжет? — Он вспомнил свое первое пулевое раненье.

— Нет, я только испугалась очень... — сказала она, радуясь легкости, с какою он ее нес.

... Марину разбудил холод. В дверцу лезла фигура в брезенте (— и хруст его показался Марине спросонок скрежетом зубов). Все еще длился сон, и было непонятно, зачем Клавдии понадобилась такая большая черная шляпа. А уже Аркадий Гермогенович тормозил за колено и с сомнительной ласковостью просил гражданина выйти ненадолго из машины. Марина выпрыгнула прямо в сугроб, образовавшийся у подножки; снежная мокредь охватила ее ноги. Портфель сам собою вывалился впереди нее. Можно было только уловить, что произошло какое-то несчастье. И, пока Курилов укладывал на сиденье обмявшее тело Лизы, женщины увидели друг друга; Лиза поморщилась и отвернулась первой. Старичок прворно вскочил на место рядом с шофером и захлопнул дверцу. Мари-

на отошла в сторону, чтоб не задело крылом. Зажглись передние фары, колеса забуксовали, выкидывая комья снежной грязи. Потом кузов машины накренился, волшебная птичка вздрогнула, рывкнула, и красный сигнальный огонек стал быстро уменьшаться. Сон с Клавдией сбывался...

Вышел дворник на единоборство с последствиями вьюги. Сдвинув шапку на глаза, он долго чесал у себя в затылке. В подвальном окне зажгли первую лампу. Как быстро стемнело в этот день!.. Знобило, слегка болела ушибленная в щиколотке нога, хотелось есть. Марина отломил кусок хлеба и с нерешительностью подержала в руке яблоко (— но Зямка как-раз любил такие, бородавчатые, и оно отправилось назад, в портфель). Едва можно было прочесть название переулка, производное от каких-то Спасов и Болванов. Ей пора было домой. Ни мокрые чулки, ни дальность расстояния не пугали ее: все это был только очередной перелет жизни. И, вот, она вспомнила ту житейскую формулу, которую не сумела привести Курилову: человек живет радостью преодоленных несчастий!

Четверть часа спустя куриловская машина ворвалась в переулок. Световые потоки обшарили приземистые строения. Дворник шарахнулся к стене. Переулок был пуст... Выскочив из машины, Курилов сам обежал его, заглядывая во дворы. Происшедшее казалось ему величайшей несправедливостью перед спутницей. Марины не было...

— Марина... Маринка!

Она шла пешком. Город стал топкий. Ледяная каша раздавалась из-под ног, и маленькие черные полиньи оставались в следах Марины. Она порадовалась, что Зямки не было с нею. Все кругом было рыхлое, текучее; оно гремело на крышах, сползая по скатам в желоба, оно силно откашливалось в водостоках. И уже плохо верилось, что это и есть первый снег, милый первый снег!..

*(Продолжение следует)*

# Стихи о любимой

НИКОЛАЙ БРАУН

## ДВА ДУБКА

Если сердце в сердце входит,—  
И любовь растет крепка.  
На поляне, при погоде  
Вырастали два дубка.

Вырастали, прирастали  
Грудью в грудь, кора в кору,  
Поутру зарю встречали,  
Провожали ввечеру.

Вместе звезды золотые  
Узнавали в полусне,  
Вместе листья молодые  
Раскрывали по весне.

Дружку друг поили соком  
Из глубин живой земли,  
К самым тонким и высоким  
Веткам бережно несли.

Если птица клювом метким  
Била вдруг по одному,  
Тихой дрожью каждой ветки  
Отвечал другой ему.

Если туча выла громом,  
Ливень шел прямой стеной,  
Двух стволов двойная крона  
Купой прядала одной.

И когда разлука грянет,  
В одного топор войдет, —  
От тоски другой завянет  
И на травы упадет.

Значит, сердце в сердце входит,  
И любовь растет крепка...  
Мы живем с тобою вроде —  
Два зеленых, два дубка.

## РАЗЛУКА

1

Тот день! Он был такой бездомный!  
И то ли дождь, то ли туман  
Летел сквозной и невесомый  
На придорожный цвет полян.

И мы расстались. Пахло мятой,  
Ромашкой, скошенной травой  
На той версте семидесятой,  
На узкой тропке полевой.

Ты потонула в невеселой  
Сырой и серой стороне, —  
И только жаворонка голос  
Взлетал и таял в вышине.

И вновь летели в даль вагоны,  
И, горяча тоску мою,  
Поля, березы, липы, клены  
Бежали в сторону твою.

И вот опять вечерний город.  
И я один. Я как в бреду,  
Сквозь ночи белые просторы  
Тоску живую проведу, —

И мне приснится даль сквозная  
И та, сырая, злая, та,  
Обыкновенная, лесная,  
Семидесятая верста.

2

Ты теперь придешь ко мне нескоро.  
Ты теперь далеко, — не вернешь.  
В тихом поле, на опушке бора,  
В деревянном домике живешь.

По ночам, твой сон оберегая,  
Все деревья, что живут в бору,  
Все цветы под окна выбегают,  
Тихим стуком будят поутру.

Ты проснешься — целый лес в ограде!  
Птичий гомон, хлопоты грачей.  
Ты выходишь — и цветы нарядней,  
Сосны выше, солнце горячей.

Ты выходишь — и по свежим росам  
Ты идешь, как в детстве, босиком,  
Ты идешь к дымящимся покосам  
Голубым озерным бережком.

Тишина кругом. И только пчелы  
Над пахучим клевером звенят...  
Где твой голос? Твой певучий голос?  
Не дойдет он, видно, до меня!

Не дойдет!  
Утрами, вечерами  
Счет веду разлучных, злых недель.  
Где ты? Для других — не за горами,  
Для меня — за тридевять земель.

## 3

Солнце влетит спозаранку  
В комнату, полную снами.  
Я говорю ему: «Где ты,  
Где пропадало всю ночь?  
Может быть, плечи любимой  
Холод знобит за лесами,  
Встань ему, солнце, навстречу  
И прогони его прочь!»

Ветер заденет за крышу —  
Я его кличу: «Крылатый!  
Долги пути твои, вегер,  
Ты еще встретишь ее, —  
Ты освежи ее щеки  
Запахом сосен и мяты,  
Ты донеси ее голос,  
Если она запоет».

Облако ходит высоко:  
«Облако, легкая дымка!  
Скоро ты ливнем нагрнешь,  
Тучей пойдешь грозовой,  
Ты обойди стороною,  
Ты обернись невидимкой,

Чтобы огнем не ударил  
Гром над ее головой!»

Птица присядет на ветку —  
Брошу ей лучшие крошки:  
«Ты долети до любимой,  
Дом ты ее разыщи,  
Сядь у нее на окошке,  
Спой у нее на окошке  
Всё, что кричит мое сердце  
В черной и долгой ночи!»

## 4

Я окружен тобой, как светом.  
Во всем себя напомним ты:  
В качаньи веток, в песне ветра,  
В приветах птичьих с высоты.

Всё ждет с тобой внезапной встречи,  
Всё — о тебе живая весть:  
Войду ли в комнату под вечер,  
Войду — и кажется: ты здесь!

Твоим дыханьем вещи дышат,  
Вздыхает город грудью всей.  
Ты входишь поступью неслышной  
В беседу жаркую друзей.

Ты промелькнешь в пролетах окон,  
Как луч, как ласточки полет,  
И кажется — вот-вот глубокий,  
Грудной твой голос поплывет

И озарит звездой летучей  
Мою работу, явь и сон,  
И я живу, тобой измучен,  
Тобой, как светом, окружен!

## ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Здесь ты выросла.  
Родили,  
Стали думать, как назвать.  
Лбы крестили,  
Водку пили,  
Водкой потчевали мать.

Детство!  
Зыбки новеселой  
Тараканья духота,  
Золотой во ржи подсолнух,  
Медь нательного креста.

Ты росла — ни слова против!  
Избяной тоской дыша,  
Ты росла, как на болоте  
Светлый стебель камыша.

Ты о суженом не знала,  
Ты ждала его примет,  
По ромашке ты гадала:  
То ли любит,  
То ли нет.

И, не зная песен лучших,  
Под гармошку, на гульбе,  
Пела горькие частушки  
О девической судьбе.

Но судьба легла иначе —  
Стали травы зеленей,  
Небо выше,  
Зори ярче,  
Реки глубже,  
Даль синей.

Ты не знала песен лучших,  
Ты запела,  
Но тебе, —  
Что тебе до тех частушек  
О загубленной судьбе?

Ты сама сложила песню —  
Хвоя дрогнула в бору...  
Милый-суженый, ровесник,  
Постучался поутру.

Ты ведешь свой легкий голос,  
Он идет по всей стране, —  
Этой поступи веселой  
Как не радоваться мне!

### РАЗМОЛВКА

Полдень был наполнен птичьим хором,  
Теплой синью, травами в цвету,  
Но повисли тучи в небе черном,  
Птичий свист осекся на-лету.

Все цветы завяли — и зловещей  
Осенью повеяло кругом.  
Как мне слышать, если глухи вещи?  
Как мне видеть в сумраке таком?

Как дышать, когда зажаты ребра  
В неподвижной, тесной духоте?

Как мне подойти к твоей недоброй,  
В этот миг померкшей красоте?

Как я мог тебя затмить обидой,  
Затуманить ясные глаза,  
И смотреть — и мук твоих не видеть,  
И не знать, как солона слеза!

Я и сам тройной слезой отплачу  
И тройной любовью отплачу, —  
Только б снова мир переиначить,  
Выйти к полдню, к вешнему лучу,

Чтобы снова облаком погожим,  
Птичьим свистом радость поплыла,  
Чтобы снова светлой и пригожей  
Ты ко мне, как прежде, подошла!

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ста весен нет, как не бывали,  
Сто зим на землю упадут,  
Луга, что мы с тобой топтали,  
Сто раз травой позарастут.

Из тьмы вчерашней, нелюдимой  
Пробьются к солнцу тополя,  
И станут родиной единой  
Земли враждебные поля.

Но этот Север, этот вечер,  
Открывший небу все цветы,  
И наши сны, и наши встречи,  
И вся, как есть живая, ты,

И сосен тонкие верхушки  
На этом небе золотом,  
И все дожди,  
И все кукушки,  
И с неба прыгающий гром, —

Всё отойдет невозвратно,  
И нет мне горя солоней:  
Другой придет с другой любимой  
И сложит песенку о ней.

И, может быть, ему приснится  
Сердце далеких перебой,  
Роса в траве  
И в небе птица, —  
Весь этот вечер голубой.

# СЫН

Роман

ВЛ. ЛИДИН

(Продолжение <sup>1</sup>)

## VII

Дом на улице Братства бесстрашно уцелел в непогодах. Его не разнесли на топливо в голодные годы. Диагонали дражки из-под обсыпавшейся штукатурки изобличали его деревянную основу. На низких окнах стояли фикусы и аспарагус, глянцевиная зелень окраинного жития. Ирина добралась до этой затерянной улочки на Выборгской стороне. Был четвертый час дня. Первые огни зажигались в окнах, обращенных на север. Вход в дом был по-провинциальному с крыльца во дворе. Выстуженное бельишко разноцветно трепыхалось на веревках. В большой черной кухне шумели сиреневые примуса. Ирина нашла в коридоре дверь Кати Васильевой.

— Андрей! — сказала она минуту спустя. — Я не смогла притти вчера вечером...

Она не отпустила его руки и села с ним рядом на краешек катиной постели. Скуластое лицо, особенно белое, как у всех рыжеватых людей, заострилось. Он ждал ее накануне весь вечер. Катя вернулась только в первом часу. Она деликатно оттягивала свое возвращение. Окурки, утыканные в пепельницу, повествовали больше, чем он сам. Сизый дым одиночества. Она не спросила ни о чем. Она открыла окно и проветрила

комнату. Ночь пахла дождем и окраиной.

— Леонид Александрович не пожелал со мной встречи, — сказал он по-доброму. — Может быть, он по своему прав. Но у тебя... мне казалось, нет причин не хотеть меня видеть.

Она покачала головой.

— Я очень хотела тебя видеть, Андрей!

Она возвращалась одна во втором часу ночи. Дождь остужал лицо. Мокрые торцы мостовой, последние пешеходы. Холодный ветер дул с реки. Бедная комматешка на Литейном не сберегала повадок тенора и афиш с его именем. Прокатное пианино, протертые плюшевые хозяйские кресла, жадная полнота чувств — и человек, заполнявший ничью пустоту этой комнаты, как и весь мир, впрочем... Теплый номер гостиницы с ее готовным убранством, смятая грудь френчонной рубахи, холодноватая взвешенность сил, знающих меру вещей, встреч, воспоминаний...

— Я очень хотела тебя видеть, Андрей, — повторила она. — Может быть, эта встреча нужнее для меня, чем для тебя...

Она сидела с ним рядом и всматривалась в его огрубевшее лицо. Хриловатый голос, не знающий обращения с именами сокращенными и нежными. Рыжие вихры, как в мальчишестве.

— Я написал тебе в свое время большое письмо, но так и не отправил. Тут,

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. 8 с. г.

конечно, приходится многое вспомнить. — Он задумался. — Леонид Александрович мне очень помог, — сказал он затем. — Если бы не он и не один человек еще... ты Трегубова не помнишь, конечно... я бы, вероятно, пропал. Леониду Александровичу я здорово обязан. Но тут вот получилось одно такое несоответствие... как бы тебе об этом сказать. Мой отец был рабочим на судостроительной верфи... среда была хорошая — механики, машинисты. И у меня есть влечение к технике, к разным механизмам. Но дело не в этом. Отец умер от тифа... мне шел девятый год. Началась голодовка, я ушел беспризорничать. Дальше тебе все известно. Наголодался я вдоволь... тут встретил меня твой отец, повез с собой в Петроград. Дело шло к зиме. Я думал: ладно, пока посмотрим, убежать будет время. Однако, вышло иначе: я осталась, пошло учение, Леонид Александрович воспитывать может. Но корни-то во мне все-таки прежние, от отцовской среды. Я так и не прижился, да и Леонид Александрович никогда для меня не был открыт. Взгляды у него другие, наше время ему все-таки чуждо. И в доме все было так, как будто в стороне от времени. Искусство — одно, жизнь — другое. Потом стали мы подрастать, стал я оглядываться. Молодежь в консерватории нашлась подходящая. Леонид Александрович не сочувствовал. В доме стало мне тесновато, но уйти не хотел. Тут многое, конечно, мешало: и обязанным себя чувствовал, и привык. Я о музыке думал так: чтобы в народ ее кинуть... чтобы поднимала, чтобы облегчала труд. Искусство воспитывает, как же оно может быть в стороне от жизни? Конечно, я только за последние годы понял это вполне. И вот, если бы не личные обстоятельства, я, может быть, так бы и блуждал до сих пор вокруг цели... — Он посмотрел ей в глаза. — Как это случилось, что детство кончилось и что я стал смотреть на тебя по-другому... не помню. В общем, мы из детства выскочили, и я раз прямо тебе обо всем и сказал... и ты мне ответила. Помнишь? — Она кивнула головой. — Я в это поверил. Полтора года прошло так. Лучшее для меня время, пожалуй.

Но тут все стало складываться по-другому. Дело не в том, что ты встретила кого-то... а в том, что ты от меня это скрыла. Тут я опять почувствовал разницу в нашем отношении к жизни и понял, что для вашей среды я так пришлым человеком и останусь. Есть у меня дядька на Верхне-Исетском заводе, старый механик, — сказал он, помолчав. — Он меня еще в Ленинграде в свою пору нашел, звал к себе. Я к нему и поехал. Конечно, плохо, что я не предупредил ни тебя, ни отца... но как-то не хотелось. На заводе я проработал с полгода в конторе. Сформировали квартет. Сначала в порядке самостоятельности. Потом стали приглашать на другие заводы. Ребята подтянулись, сыгрались. Стали разучивать серьезные вещи. Сезонники к «Яблочку» привыкли, а мы им Бетховена. Погнали музыку в самую гущу. Нами довольны, благодарят, приглашают. В Свердловск приезжали музыканты из Большого театра, одобрили, определили как рабочий квартет. Тут я и понял, что искусство, оторванное от жизни, — пустое искусство... и что прежде всего нужны знания. А знаний-то у меня нехватает.

— Так ты только поэтому и вернулся в Ленинград? — спросила она.

Он помедлил. Рыжеватые брови были сдвинуты.

— Нет, учиться я бы мог и в Москве.

Они были одни в этой комнате. Это было не то вчерашнее тепло в жарком и приглушенном номере гостиницы. Рыжие вихры не знали черепякового гребешка, который готовно ютился в карманчике низко вырезанного жилета. Грубоватая шерсть пиджака была, как прикосновение справедливой руки.

— А я не нашла своей цели, — сказала она. — Я потеряла связь с прошлым, с отцом, но к новому я еще не пришла... И вот, если бы не одно обстоятельство, я бы совсем не знала, как жить... — Он ждал продолжения, она молчала. — Когда-нибудь мы поговорим и об этом. Музыка — это много, конечно... целый мир. Но музыка — это прежде всего правда, гармония. А этой правды во мне еще нет... — Она протянула руку и взяла его за отворот пид-

жака. — Я рада, что ты вернулся, Андрей! — сказала она вдруг с искренним чувством.

— А я тебе не мог бы помочь? — Он наклонился к ней. — Сообща ведь все-таки легче.

Она не ответила. Только движение руки, державшей до этого колючий отворот пиджака. Это могло быть обещанием, могло быть безнадежностью.

Не было ничего больше сказано в эту первую встречу. Окраина заполнялась сумерками. Они поднимались со дворов и пустырей этой Выборгской стороны. В трамваях уже возвращались со служб. Вечерний поезд отходил с Финляндского вокзала. Пригородные молочницы грузились с пустыми бидонами. Воробье густо летело из-за города на деревья Католического кладбища и в парки Палюстрова. Плечико стеклянного флакона на столе Кати Васильевой начинало синеть. Это было как возвращение в жизнь.

Они пошли пешком с этой улочки — вдвоем, рядом, как прежде. Набережная Большой Невки была пустынно. Литейный мост, простертый в сумерки, еще не засветился редкими огнями. Нева многоводно шла в море. У двух спасательных желтых шаров, похожих на груди суперматических красавиц, они остановились. Арсенальная набережная, набережная Морса голубовато обтекали стремительное и темное тело реки. Широкое одиночество. Ирина любила это ощущение своего одиночества, проходя по мостам через реку. Их большая квартира на Троицкой была колыбелью всех этих размышлений о гордом одиночестве, о славе, о величии неповторимого имени человека... Чувство содружества заменялось понятием о борьбе с чужими самолюбиями и происками, подстерегающими на этом пути к славе. Общие усилия людей, идущих к одной цели, казались утопической мечтой о временах будущих и неосуществимых. Личность вырастала в своем преувеличенном значении и бродила по комнатам громадной квартиры, пока квартира эта не была уплоднена. Тогда жизнь оказалась опустошенной, лишенной певучего своего смысла. Она вспомнила встречу с отцом. Белый

рояль — хранилище неповторимых звуков. Надписи на лентах венков. Его самого — тучного и в шелковой черной ермолке, которому даже она, дочь, стала чуждой.

— Если ты многое понял по-новому, — может быть, ты и не упрекнешь меня ни в чем... — сказала она, как бы ответствуя своим мыслям. — А теперь пойдем... ветер.

Они перешли мост и пошли по проспекту Володарского. Глухой тоннель ворот ее дома впервые за все эти годы не показался ей мрачным. Одутловатые львиные морды приобретали пожилое добродушие.

— Хочешь взглянуть, как я живу? — спросила она коротко.

Они стали подниматься наверх. Узкая комната в этой траншее коридора. Раскрытый рояль, раскиданные тетради нот. Угрюмые глаза Бетховена внимательно и настороженно приглядывались к вторжению постороннего.

## VIII

Величественно и неприглядно встретила Трегубова лестница дома. Торжественный сумрак площадок с готическими витражами окон, похожими на окна собора. Но лифт бездействовал. С неодобрением покосился Трегубов на пыльный этот утробный плод с его бесполезной пуповиной. Затем он подобрал полы шинели и стал взбегать на пятый этаж. Военная сноровка оказалась не по крутизне лестницы. На площадке он остановился отдышаться. День его перед отъездом был расписан. Полчаса отведено на это посещение Опекушина. Военный облик посетителя заставил дольше, чем обычно, взглянуться сквозь приоткрытую дверь. Трегубов предупредил Опекушина по телефону. Бархатный пиджак со старомодной широкой тесьмой сменил бумазейную пижамку. Фуляровый галстук пышно вздувался под двойным подбородком певца.

— Давненько мы не виделись с вами, — сказал Трегубов. Он оглядел и белый рояль, и пыльные подношения прошлых времен. — А вы изменились... обрюзгли.

— Время, — ответил Опекушин сухо-вато и коротко.

Это посещение было для него неприятно. Трегубов обдернул на себе гимнастерку и прошелся по комнате. Мельком успел он прочесть благодарственные и признательные слова на красных и белых муаровых лентах.

— Вы, конечно, догадываетесь, о чем я пришел говорить? — спросил он напрямик.

Сумрак этой гостиной ему мешал. Он любил свет.

— Не имею удовольствия предполагать, — ответил Опекушин неприязненно.

«Записел, записел старик. — Трегубов поморщился. — Выветривает людей, что ли, со временем...»

— Я пришел говорить о Лащилине. — Ни одного чувства не выразило это полное и недружелюбное лицо. Шелковая ермолка согрела зябнущую лысинку. — Что вы по этому поводу думаете? — спросил Трегубов вплотную.

— А у меня нет никаких поводов вообще о нем думать.

И Опекушин с нарочитым равнодушием оглядел посетителя. Правая нога Трегубова стала постукивать нетерпеливо носком. Раздражали и эта ложная учтивость, и фальшивые интонации.

— По-моему... простите, забыл ваше имя... речь все-таки о человеке до некоторой степени для вас близком.

— Мое имя и отчество — Леонид Александрович.

— Так вот, Леонид Александрович, в судьбе этого человека я тоже принимал в свое время участие... если вы помните. Поступка его я не оправдываю. Но поговорить с ним и выслушать вы все же могли бы.

Поучающее вступление. Высокий рост, плечи, распирающие гимнастерку... люди нового племени, размашисто и своенравно входившие в его комнату. Даже хрустали лютры были отзывчивы на большие шаги и нестеснительный голос человека. Опекушин выжидал неодобрительно и хмуро.

— Каждый человек, — начал затем он брюзгливо, — имеет право на субъективные чувства. Мои субъективные чув-

ства заставляют меня по достоинству оценивать некоторые поступки. Здесь я имею свою установку.

— У вас есть дочь, Леонид Александрович, — сказал Трегубов.

— У меня была дочь, хотите вы сказать.

Желчный, непримиримый старик. Эта комната с отсвечивающими в сумраке колоннами стала походить на пустую сцену театра. Мишура реквизита и тени колуис, из-за которых могут появиться необычайные фигуры.

— Конечно, вы человек другого поколения, — сказал Трегубов не сразу. — Но вы живете в революционное время. В наше время нельзя решать вопросы так, как вы их решаете. Моя обида, мои чувства, мое самолюбие. Обстоятельства и поступки людей имеют свою глубину. В наше время это — социальная глубина.

— Может быть, в новом обществе принято оправдывать некоторые безнравственные поступки всякими там социальными глубинами. нас учили иначе. Я не навязываю никому своих взглядов. Но поздно навязывать взгляды и мне. Лащилин для меня не существует, — заключил он и поднялся.

Он стоял, опершись одной рукой о рояль. Поза торжественная и выжидательная. Трегубов снова прошелся по комнате, прислушиваясь к отзвуку хрустальной.

— Вы понимаете сами, — произнес он затем, — что если бы не судьба этого человека, я бы не пришел сейчас к вам. Вы ожесточены, а это первое доказательство несправедливости.

— Справедливость, — ответил Опекушин. — Упраздненное слово. Стоит ли тревожить это старое понятие?

Трегубов помолчал. Полчаса на обьяснение не потребовалось.

— Приход мой совершенно бесполезен, повидимому?

Легкое пожимание плечами.

— На мой взгляд, бесполезен.

— Ну, были бы вы хотя бы врагом, — сказал Трегубов вдруг с раздражением. — Все-таки позиция, убеждение, ненависть. А ведь это обывательское нечувствие. Даже не островок... а вроде

крыши дома во время наводнения. Как вы держитесь, а смочет.

Опекушин молчал. Он выжидал, когда покинет его этот неприятный ему собеседник.

— Что же, могу пожалеть, — заключил Трегубов затем. — Только к молодости все-таки вам придется притти... несмотря даже на разницу взглядов. Более крепкие породы выветривались, — Трегубов сделал перед обращением паузу. — ... Леонид Александрович.

Голова в ермолке склонилась — театральный полупоклон. Не стоило утруждать себя длительными рукопожатиями. Трегубов стал надевать свою длинную шинель. Сумрачное и непроветренное убежище. Улица пахла дождем. Он остановился и глубоко вздохнул. Революция открыла источники высоких свойств и способностей человека. Но прошлое еще было живо. В гнездилищах старых домов оно подстерегало поколения молодые и неопытные. Господствующие высоты были уже заняты. Но оставались ложины, опасные перелески, коварные маскировки. Опытный глаз военного с недоверием оглядывал эти мирные дома и благонадежные перспективы улиц.

В восьмом часу вечера накрепко уже были набиты фибровый чемоданишко и портфель на столе. Поезд уходил в десятом часу. Чайник на газовой плитке нахвистывал. Трегубов одобрительно оглядел своего собеседника. Не было уже прежней упрямой непримиримости в его лице.

— Так вот, Лащилин, поговорим напоследок. Я специально освободил перед отъездом часок. — Он вызвал его городской телеграммой. — Прежде всего о твоих делах. С консерваторией утрясется, надеюсь. Есть кое-какие формальные препятствия... главное, отсутствие вакансий. Но мне обещали. Я хочу говорить о другом. — Он прошелся по комнате — привычка к движению. — Мы живем в эпоху боев, — сказал он затем, как бы начиная доклад. — Старый мир оставил нам в наследство целые теории, системы и классы. Все это очень живуче. Не досмотри только — и вот уже

бурьяну и сорной траве до этих пор не росло. А самая живучая теория о человеческой личности. Живуча она особенно потому, что прикрывается этакой возвышенной маской. Человек создает ценности — следовательно, он единствен и неповторим. Получается так: рождаются способности вне среды и условий. А по-нашему, именно среда и условия способствуют образованию личности. Разговор этот не отвлеченный, а по твоему поводу. Я сейчас объясню. Способности человека могут нормально развиваться при условии связи с тем классом, который его выдвинул. Буржуазное общество тоже имело и своих ученых, и своих инженеров, и своих музыкантов, и оно их духовно растило. А ты вот связь с твоим классом утратил... годы прошли, и обнаружился разрыв. Была одна такая старая присказка о судьбе русских одиночек. Присказку эту в свое время весьма охотно поддерживали и даже возводили в принцип. Одиночка в большинстве случаев неудачник, не получает поддержки от общества и остается непризнанным. Судьбе таких одиночек посвящены целые романы, и романы эти даже считались документами русской души. А на самом деле нужна была эта присказка о ней, потому что она помогала малодушным оправдывать свое бездействие. До революции это было понятно. Но революция освободила все человеческие способности, и одиночка сейчас обречен... да и не нужен он никому со своими личными делами, по совести! Классы, огромные массы людей решают ныне историю и перестраивают судьбу человека. В рабочей среде, на Урале, ты почувствовал класс, из которого сам произошел. А если ты класс этот чувствуешь, то и поступок твой должен тебе казаться малодушным, недостойным поступком. Ты прежде всего обязан закончить образование, а не бежать с полдороги, хотя бы и из-за личных своих неудач. Кстати, о личных неудачах. — Он остановился перед ним. — В наше время даже любовь подвержена влияниям борьбы, которая происходит во всей нашей жизни. Буржуазное общество сумело и этот внутренний мир заполнить своими теориями и понятиями. Здесь и

чувство собственности, и высокомерное отношение к женщине, и боязнь материнства, и понимание семьи, как своего обособленного хутора. Моя жена, мои дети, мой дом. И ты отсюда усвоил много ложных понятий... Нет, если тебя выдвинул твой класс, — сказал он жестко, — так ты и возвращайся обогащенным. Знаниями, техникой, а главное, пониманием новых отношений между людьми. Рабочая среда первых своих послов посылает в жизнь. Первые выходят инженеры, профессора, летчики, первые музыканты... ответственное и счастливое дело. По-отцовски выпестываем мы эту молодость, новые сыны растут. — Он смягчился. — Все, что я тебе сказал, относится и к этому сложному миру... называют его миром чувств, что ли. Чужие враждебные влияния часто пользуются этими уязвимыми свойствами человека. Быть достойным сыном — это значит по-новому решать для себя даже личные свои вопросы. Сегодня я уезжаю недели на две в Белоруссию, потом вернусь в Ленинград. Меня переводят сюда на работу. Будем видеться, значит. Если что будет нужно, приходи. Я для тебя всегда дома.

Он пожал его руку.

— В консерватории буду не из последних... это могу обещать! — Скуластое и одаренное лицо. — А что касается личного, то за эти годы я много потерял, но больше нашел. С этой дороги я теперь не сверну.

— А если нашел, то и всё в твоих руках... способностей у тебя хватит, надеюсь. Главное, масштабами мерь... масштабами целой страны, а не маленьким своим личным масштабом!

Трегубов приглядывался к нему и вселел. Деловое его пребывание в Ленинграде завершалось утешительно. Только память о посещении мрачной квартиры с белым роялем, с муаровыми лентами венков, с тучным и выжидательно-недружелюбным хозяином мешала душевному равновесию. Они спустились вместе во двор. Была уже предвзвизная жесткая сухость в воздухе. Машина с поднятым парусиновым верхом дожидалась у под'езда. Трегубов забросил в нее свой чемоданчик и сел рядом с шофером.

Последнее крепкое рукопожатие, и его унесло.

Все было решено в тот же вечер, в узкой комнате, под портретом Бетховена. Ирина сказала просто: — Тебе негде пока жить. Живи у меня. Эта половина будет твоей. Потом ты устроишься. — Он был сверстником, товарищем детства, и она по-товарищески поделила с ним комнату. Он снова был дома, как в отрочестве. Лампа горела на столе и освещала знакомый женский пробор и клеенчатые тетради с его уральскими записями. Оттуда же, с Урала, пришел вчерашний сын металлста, красноармеец, потом военком, потом работник военного трибунала — Трегубов. Он узнавал жизнь не из прочитанных книг, не в теснинах огромного некогда доходного дома. Подбор книг его библиотеки не был продиктован вкусами старшего и чуждого поколения. Книги были для него, как спутники жизни. Уже не тот простоватый, по-военному великодушный, по-походному доступный Трегубов. Глаза привыкли к настороженному вниманию к человеку и к распознаванию всех сложных путей, которыми двигался тот мимо жизни, и иногда и наперекор ей... Надежное тепло испытанного и мужественного рукопожатия.

Ирина должна была вернуться к восьми. Он шел через город, вдыхая черствый и счастливый холодок зимы.

## IX

Вода шумно и одушевленно наполняла ванну. Зеркало становилось матовым. Была от'единена эта интимная комната утреннего умывания от солнечного яркого номера. Солнце стояло во всю ширину его большого окна. За окном Исаакий в блистании, в золоченых латах куполов. Ночью выпал снежок. Он походит на мел, которым оттерли до блеска сверкающий город. Но утренняя прохладная ванна не дала ощущения бодрости. Смятая вечерняя газета валялась на ковре возле постели. Под глазами непривычно вдруг означились припухлости. Лавровский с недовольством провел обеими ладонями по лицу. Не надо возвращаться на

места, где некогда был молод и счастлив, Город детства. Воспоминания о чувствах. Всё эти ламентации прошлого. Юные бури прошли. Зрелость разумно принимает охлаждение чувств, неосстановимость всего, что было. Женщина пришла к нему и ушла. Он и не ждал иного. Мера вещей, мера времени. Эгоизм выработал надежную самозащиту от бесполезных раздумий и сожалений. Смятая газета зашуршала под ногами. Он отбросил ее. А главное — скудоумие газетной заметки в этом смятом листке. Что это значит, в конце концов? «Холодность исполнения, чуждая нашему слушателю...» Какой это в аш слушатель и какой температуры вам нужно исполнение? «Ленинград ценит своих питомцев». Неудачник! Дурак. Ему нужны были сейчас Абессаломов, его бегающие коричневатые глазки... Исконные петербургские знатоки искусства. Встают поздно, рассуждают сонно. Потертые смокинги на премьерках... мышинные жеребчики, снобы. Он ненавидел этот блистающий город. Холодная архитектура ампира. Как раньше тяготели к столичному шуму, так изображают сейчас любителей тишины, запустения. Они приходят на концерты и на премьеры — эти заслуженные балетоманы с бесесыми редешущими проборами, с плохими желудками, с сапфировыми манжетными запонками, которых еще не отнесли в Торгсин...

Только в двенадцатом часу приехал Абессаломов. Номер был уже убран. Смятая газета аккуратно разглажена и положена на ночной столик. Бегающие торопливые глазки и тот же, позавчерашний, галстучишко из вискозы. Конечно, уже читал и даже перечел дважды.

— Какой дурак у вас пишет рецензии? — спросил Лавровский пренебрежительно.

Руки его были засунуты в карманы остро заглаженных брюк. Он чувствовал превосходство своего роста и подтянутой по-актерски фигуры.

— Вы имеете в виду «Красную газету»? — Абессаломов вдруг улыбнулся.

Улыбка неуместная и даже покровительственная.

— Я очень сожалею, что согласился приехать в Ленинград, — сказал Лавровский в упор. — Плохая организация. Отвратительная организация.

Он зашагал по комнате. Абессаломов сел.

— При чем же тут организация, Константин Александрович? — спросил он обиженно. — Концерт состоялся. Афиш было много, город заклеили. Номер, кажется, не плохой. Машина к вашим услугам. А пресса... прессой мы не заведует.

— Исполнитель может претендовать, чтобы о нем писал грамотный рецензент... — Он схватил со столика газету. — Кто это пишет? Вчерашний сотрудник «Аполлона», которому нужно спешно менять репутацию!

Бегающие коричневатые глазки стали внезапно колючими. Худая потертая фигура Абессаломова приобрела даже некоторую осанку.

— Не совсем так, Лавровский. Это молодой критик... вполне советский критик. В рецензии, в конце концов, ничего такого уж обидного нет. Признаёт технику, исполнение ему не понравилось. Я тоже вас вчера слушал и тоже имею свое мнение.

— Какое же мнение вы имеете? — Лавровский повернулся к нему и выжидал.

— Наверяд ли это для вас интересно.

— А вы скажите...

— Скажу. Блестящее исполнение. Но холодное, не волнующее. В Европе, может быть, так и надо... а у нас другие требования, другой слушатель.

— Нутра нехватает? — Лавровский усмехнулся.

— Не то. Я ведь серьезно говорю, по-товарищески. Все-таки мы вместе учились. Проникновения в композитора нет. А наш слушатель к этому очень чувствителен. Молодая культура. У нее свои законы и вкусы. Я много раз наблюдал на концертах. На этот счет у меня большой опыт. Исполнитель ведь прежде всего выразитель самых тайных надежд композитора.

Он сидел на кончике стула, упершись руками в колени. Способности ощутились вдруг во взрошенном этом, в куцем пиджачке, человеке. Он как бы вторично открылся в основном своем облике.

— Значит, вы находите справедливой оценку? — спросил Лавровский.

— Я вам сказал свое мнение. Вы не ощущаете публики, для которой поете.

— Хорошо. Берите нутром, а я попробую техникой. Мы это сырогололье слышали. Данные есть бесспорно, а культуры пения нет. У нас очень скоро в Шалапины производят. Я этих Шалапиных слышал. На третьих ролях в Большом театре поют. Выпадает дублировать — публика не ходит. Поживем — увидим. — День все же сверкал, не смотря ни на что. — Как с обратным билетом?

— Билет есть. 9.30. Международный вагон. — Абессаломов достал билет. — Я бы все-таки очень хотел, чтобы вы проверили правильность моих выводов... на рабочей аудитории. Такие ценители, я вам скажу! Музыкальных устойчивых вкусов, конечно, еще нет... но уже образуются.

— Я непременно воспользуюсь вашим советом, Абессаломов. Непременно.

Абессаломов умолк.

— Вы, конечно, можете отнестись к моим соображениям как вам угодно. Я говорил по товарищескому чувству. — И он опять вернулся на свое покинутое место — расторопного и услужливого распорядителя. — Если вам что-нибудь нужно в Ленинграде, располагайте мной...

Нет, ему ничего больше не нужно в Ленинграде. Москва — испытанная столица. А здесь, с одной стороны, — былое великолепие упраздненных времен, герои петербургских романов, заслуженные рамоли, тронутые увяданием поколение женщин, сменивших привычные привилегии на ежедневную службу; с другой — мужественные трубы, пролетариат, спортивная молодежь на стадионах. От первого он ушел, второе было ему чуждо. Он не имел связей с прошлым. Но он и не искал путей к этому новому классу. Обеднение искусства — вот путь к нему, упрощение

свойств, приспособление ко вкусам. Он пел романсы и арии из опер, которые требовали словесных вступлений с разъяснениями о феодально-дворянских эпохах. Какое понимание искусства могло быть у этого неудачливого недоучки! Абессаломов поднялся.

— Я надеюсь, что вы не в претензии, Константин Александрович. Конечно, наша беседа не более чем обмен мнений по интересующим нас вопросам искусства. Я заеду за вами в девятом часу.

О, витиеватость корявого мышления! Он откланялся. Лавровский не стал его удерживать. Утром на ковре он нашел губной карандаш. В медной потускневшей трубочке хранилось неважное это изделие ленинградской парфюмерной фабрики. Красный огрызок для губ, которые в юности не знали этих ухищрений. Он хотел было спрятать его в жилетный карман, но кинул в ящик ночного столика. Завтра это выметут, как прах недолговременных гостиничных чувств.

С наслаждением после жаркого номера и раздражительного разговора запахнул себя Абессаломов на воздухе. Пахло снежком, морозцем, трезвыми обещаниями зимы. Небо синело высоко и лаково. Он дернулся через площадь. Деловая перспектива улицы белела, приукрашенная снегом. С портфеликом и веснушчатая, несмотря на зимний денек, торопилась в консерваторию Катя Васильева. Абессаломов обрадовался.

— Васильева... вы мне нужны.

Она не удивилась. Она привыкла, что люди останавливали ее со своими делами и задачами.

— Я очень сожалею, что послал третьего дня кое-кому билет на концерт, — сказал он вдруг свирепо. — Очень сожалею. Качества одного человека нуждаются в сильной проверке.

— С этим человеком все кончено, Абессаломов, — ответила Катя спокойно.

Он осекся.

— Откуда вы это можете знать?

— Я это знаю.

Он посмотрел на нее и стал соображать.

— Вы имеете в виду не Лащилина? — Она пожала плечами. Но это было бы

действительно здорово. Я от души бы это обоим желал. — Он вдруг повеселел. Широкий жест — город, зимнее солнце, снежок — все принимал в себя после жаркого номера гостиницы. — Знаете ли, иногда чужие дела трогают больше своих. Вы мне поправили настроение, Катя!

Как бы мимолетный заговор у остановки автобуса. Они были как два хранителя чувств каких-то нуждавшихся в их поддержке людей. Дружба. Хорошее широкое слово. Душевное тепло, которое согревает этот зимний простор Ленинграда, его посвежевшие улицы. Кондуктор автобуса приглядывался к потертому улыбающемуся человеку. По кондукторской жесткой привычке он не доверял людям. Несвоевременность улыбки в этот утренний час могла изобличать пьяного.

Катя продолжила путь. По широкой Театральной площади были протоптаны тропинки к консерватории. На плечах Глинки лежал снег. Консерватория уже звучала фортепианными раскатами и вокализмами колоратурных сопрано. Фагот распевал, как птица. Ему вторила виолончель. Здание гармонии распакивало себя в будничных упражнениях навстречу деловому дню.

## Х

Служителя расставляли пюпитры. Впереди на двойной постамент, предназначенный для детского роста, должен был подняться дирижер. Многоголосо, как настраиваемое, гудело это собрание первых ценителей. Ученики, аспиранты, бархатные артистические курточки балахончиками, чолки, коротенькие юбочки подростков, профессора, родители с выводками — братьями и сестрами тех, кто выступал сегодня в концерте. Все это шумело, волновалось, занимало места, перебегало из ряда в ряд. И так же по другую сторону — в артистической — волновались, перешептывались, заглядывали на эстраду такие же подростки в курточках, чулочках и шелковых платицах, восьми-, десяти- и двенадцатилетние исполнители: пианисты, скрипачи, дирижеры. Революция открывала источники сил. В семьях

простых и неискушенных в искусствах возникали юные дарования. Их оберегали, учили и совершенствовали. В классах для этих одаренных существ, наряду с пионерскими играми, проходили теории композиции и контрапункта. Детские руки приобретали технику. Маленькие горящие уши, которые прислушивались теперь к шумам зала, хранили абсолютный слух. Дети рабочих, железнодорожников, военнослужащих, обитателей васьльеостровских домов, куда забрела музыка только в ящиках уцелевших шарманок, — они оживляли теперь эти дома звучанием своих упражнений.

Ежегодно на отчетных концертах представляли эти юные исполнители. Профессора давали последние наставления: не волноваться, внимание, больше сосредоточенности. Печсне спадало с седловатого носа. Каролина Ивановна выпускала двух учеников по своему классу: одна — рослая двенадцатилетняя девочка, дочь судового механика, с замечательной техникой и чистотой удара маленьких сильных рук; другой — тоненькое девятилетнее бледноватое существо, автор нескольких прелюдий и вальсов, которые с немолодой гдумчивостью исполнял сам на рояле. Взволнованная мамаша поправляла на сыне артистический фуляровый галстук. Главное было — отучить от шмыганья носом, особенно учащавшегося в волнении. Исполнители толпились у двери. Дверь была на эстраду. Отсюда видны были зал, хрустали люстр, шумящее оживленное собрание, люди на самом верху — это первое ощущение толпы, публичного выступления, ответственности, жадного интереса к исполнению друг друга.

Звонки. Стоявшие в проходе стали занимать места. Выжидательное щебетание, торопливый последний пробег между рядов. На эстраду один за другим вышли музыканты большого симфонического оркестра. Пюпитры оделись нотами. Широкая эстрада стала сразу тесна. Сдержанное перекивание скрипок, приподнимающее, волнуемое музыкальное бормотание, разминание пальцев, низкие отзвывы виолончелей,

напевные восклицания флейт. Затем тишина. Из-за кулис, еще не видная публике, пробирается между люпитров маленькая девятилетняя девочка. У нее кукольное японское личико, чолочка волос, шелковое короткое платьице. Ее замечают, наконец. Зал вздрагивает — аплодисменты. Ближний оркестрант протягивает ей руку и помогает подняться на постамент. Это два ящика — один на другом. Дирижер становится на возвышение. Его розовое личико смущено и довольно. Потом рука берет палочку. Сорок человек музыкантов поднимают скрипки, обнимают грифы виолончелей, держат наготове смычки. Римский-Корсаков, «Шехерезада». Детские руки приподняты, как два крылышка птенца. Птенец начинает полет. Море и Синдбадов корабль — *largo e maestato*. Партитура раскрывается в нарастании мелодий и звуков. Левая рука перевертывает страницы. Вступление вторых скрипок оркестра. Палочка называет инструменты по именам. Концерт разрастается. Рассказ календарца-царевича. Задушевное повествование скрипок, одушевленный разговор между ними. Виолончель басовито вмешивается и продолжает рассказ. Ей отвечают трубы. Руки дирижера пробуждают голоса инструментов. Царевич и царевна. Теперь аллегretto. Певучий речитатив скрипок, утишенных приятными, слегка гнусавыми сурдинами. Шелковое платьице взлетает. Трогательные детские штанишки. Багдадский праздник. Море. Корабль разбивается о скалу с медным всадником. Оркестр захвачен дирижером. Сорокалетние мужчины подчинены требовательным детским рукам. Руки настойчивы и неумолимы. Опоздание скрипки вызывает нетерпеливое подрагивание ногой. Воинствующие раскаты умиряются. Трубы покорены и звучат не гневно, а меланхолически. Примирение. Все инструменты участвуют в этом многоголосом, многозвучном заключении. Аплодисменты обрушиваются. Маленький дирижер стоит на своем деревянном постаменте. Две ямочки — смущенная полуулыбка. Чолочка вздрагивает. Руки при поклоне неумело расставлены в стороны. Все

рукоплещет и топает ногами. Дети подбегают к эстраде. Опять девятилетнее существо пробирается между люпитров и стульев. Музыканты собирают инструменты. Между рядами в лублике появляется такая же девочка, в таком же шелковом платьице, с таким же японским личиком, только на год или на два моложе. Она слушала сестру, сидя в кресле.

С эстрады уносят люпитыры. На середину выдвигается рояль. За дверями артистической шушуканье, горящие уши, скрипки, зажатые подмышкой. Каролина Ивановна выпускала питомицу. Рослая спокойная девочка проходит через эстраду к роялю. Она садится на краешек стула. Лист. Сильные уверенные руки ударяют по клавишам. Звук отчетлив и чист. Аккорды и септимы в последовательном нагромождении. Голова наклонена над роялем. Есть в этом наклоне упрямство преодоления. Рояль вздрагивает, подчиненный рукам. Лист воспламеняется. Толкователь развертывает его в повествовательном накоплении мелодий. Отчетливость фразировки позволяет уловить основную нить замысла. Успех. Каролина Ивановна выглядывает из-за дверей и обнимает за плечи питомицу.

Девочку сменяет виолончелист. У него оттопыренные пылающие уши, страстная одержимость двенадцатилетнего темпераментного существа. Виолончель запекает. Басовитые певучие звуки. «Прялка». Тугой горбатый смычок начинает пробег. Жужжание веретена. Ускорение темпа. Смычок, пальцы музыканта в движении. Левая нога согнута в колене и отставлена в сторону. В ее напряжении есть устремленность. Рука пробегает по грифу, оживляя и одушевляя инструмент. Глаза музыканта полузакрыты. Ноздри толстоватого носа раздуты. Щеки медленно наливаются краской. Потом они горят. Другие виолончелисты высовывают из артистической носы. Отец — столяр с мебельной фабрики — в праздничном грубошерстом костюме. Его подбородок намылен седой бородашкой. Когда ударяют аплодисменты, он кашляет в руку, застегивает и расстегивает

вает пиджак. Суровость не позволяет ему быть нежным с сыном. Он достает из кармана сложенный чистый платок и вытирает ему со лба пот. Впрочем, и это могло сойти за излишнюю нежность. Самое предательское — глаза. Но они могут слезиться от слабого зренья.

Профессор — тучный рыжеватый человек — напутствует очередного дебютанта. Дебютанту семь лет. Его привели родители. Платье на багровой мамаше шуршит и потрескивает. Ее многодетное тело стиснуто в шелк. Отец — маленький красноносый переплетчик из Балты. Сюртук на нем уцелел со свадьбы в Одессе. Сын унаследовал от отца птичий рост, лопушки ушей и философический взгляд. Его поили чаем с вареньем. Он сидел за столом, как большой, и отказывался пить с блюдечка. Потом он ел пирожное и облизывал ложку с обеих сторон. Игра на скрипке кажется ему занятием несложным и естественным. Его нашли в провинции, определили музыкальный талант в этом хилом тельце недоноска и отправили учиться в Одессу. Он преодолел в один год все начальные скрипичные трудности. Теперь он играл Давида и Моцарта. Он вышел на эстраду со своей красной скрипкой, как гномик. Его встретили аплодисментами — за рост, за игрушечный облик. Равнодушный философический взгляд оглядел ряды. Худая ручонка взялась за колки, скрипку он зажал подбородком. Аккомпаниатор взял ноту. Смычок провел несколько раз по струнам. Яша Спивак настраивал. Потом он кивнул головой аккомпаниатору. Он был готов. Правая рука со смычком поднялась. Начался Моцарт. Тошная ножонка в шерстяном чулке стала отбивать такт. Чулочки вязали дома. Слабый звук скрипки стал крепнуть. Мамаша вытирала лоб и щеки и взволнованно сморкалась за дверью. Старый Спивак слушал. Левая его рука держалась за бороденку. Погасший взгляд видел Балту, нищие поколения переплетчиков. В последний раз скрипки играли на его свадьбе. Это были напутственные песни бродячего еврейского оркестра. Они призывали богатство

и счастье. Он слушал сына и поднимал плечи. Разговор был наедине, с самим собой. Сын играл в столичном городе перед публикой. Ему было семь лет. Он унаследовал тощую кровь, маленький рост, большие уши и талант, который, может быть, скрывался в их роду. Его некому было находить и незачем было обнаруживать. Жизнь была нищая, нищими были судьбы. Он слушал Моцарта и шевелил рукой. Самолюбивые горячие мальчики выходили со своими скрипками и виолончелями. Их уши горели, глаза были полузакрыты. Они клали щеку на скрипку, обратившись к ней слухом. Музыка обретала свою молодость. Старые композиторы оживали под руками юнцов. Юность заливала этот просторный бассейн зала. Она была шумна и подвижна, как вода. Дворянские жирондоли и хрустали отзывчиво откликнулись на ее настойчивое вторжение. Моцарт, Лист и Шопен следовали прелюдами, вальсами и ноктюрнами за «Сицилианой» Баха и за симфониями Шуберта.

Антракт прервал это перекивание юных имен. Слушатели устремлялись к эстраде. Маленький музыкант раскладывался одной головой. Красноватую детскую скрипку он держал на отлете. Революция открыла двери домов, для которых музыка была недоступна. Их восторженное население теснилось теперь возле эстрады. Это было второе, младшее поколение консерватории. Позади, в артистической, так же волновались прифранченные подростки, которым надлежало выступить во втором отделении. Тех, что уже выступали, поили чаем. Они сидели за столом с неостывшими лицами, еще переживая успех. Некоторых клонило ко сну. На Яшу Спивака надевали шерстяные рейтузы. Он зевал и меланхолически протгивал ноги.

Ирина разыскала Каролину Ивановну. Пенсне на седловатом носу сверкало. Оба ее питомца имели успех.

— Какие ребята, — сказала она своим баском, — видела? Послушаешь во втором отделении Мишу Крапивина... готовый мастер и свое толкование. Все-таки есть от чего быть счастливым!

Каждый хочет увидеть результаты своих трудов... а мы, педагоги, в особенности. У тебя всё в порядке? — спросила она вдруг. — Смотри, чтобы психологических квестов не осталось. — Она зорко пригляделась к ней сквозь стекла пенсне. — Впрочем, об этом мы еще побеседуем. Ты когда зайдешь?

— Завтра.

— Приходи. Буду ждать.

И она заспешила дальше — огромная, с мощным своим затылком. Антракт кончился. Звучали звонки. Опять многоголосое гудел белый зал. Ирина шла сквозь ряды. Знакомые, рыжеватые вихры в пятом ряду. Он снова был в этом знакомом кругу. Только, преображенная опытом жизни, по-иному звучала теперь музыка. Там, позади парадных столичных концертов с их внимательными посетителями, позади блистающего зала филармонии, вставали ряды новых слушателей, наскоро сколоченные скамейки в дощатых помещениях клубов, затерянных на плацдармах новостроек, «сезонники» — уральцы, мордва и татары, — строительные рабочие и почетные металлисты заводов... Бетховен, занесенный в уральские дебри, Чайковский, находивший путь к неискушенным сердцам, начальное назначение музыки. Зал был раздвинут этим новым познанием целей, цели — приближены. Музыка входила в свой дом.

Хрупкий девятилетний мальчик, сын капельдинера театра Государственной оперы, направлялся к роялю. Рояль торжественно открытый, предоставлял себя детским рукам. Музыкант выждал и заиграл. Голова была низко наклонена над клавишами рояля. Как бы душевная беседа с этим большим певучим существом. Лирический, на полуфраззах, Шопен. Музыкант расшифровывал сложный музыкальный ключ композитора. Интонации и педалирование создают особый рисунок толкования. Музыка предстает в своем философском смысле. Маленький, бледноватый и неулыбчивый мальчик. Он играет Шопена, потом «Перекликание птиц», Повторение основного мотива — как бы перепархивающие с ветки на ветку стайки,

их птичий щебет — задумчивость и замедление. Перекликание окончилось. Стайка улетела. Закат. Музыкант спустил ноги с педалей. Концерт шел к концу.

За два часа густо выпал снежок. Скверик напротив филармонии свежо белел. Они пошли отсюда вместе, как прежде. Снежинки приставали и таяли на ее посвежевшей щеке. Снег пахнул запахами детства, катком, морозцем предвечернего часа. Это были часы сборов Опекушина в театр, в концерт. Приглашения на концерты становились всё реже, голос сдавал. Знакомый извозчик, некогда занимавшийся помещичью и ожидавший у подъезда — с медвежьей полостью, с четырехугольным плюшевым верхом шапки и курчавой от инея бородой — давно занялся мешочничеством. Город был сер и заставлен очередями; лифт не ходил. Но отрочество, звеня коньками, румяное от мороза, не замечая этих примет изменений, взбегало на пятый этаж: нежная, с отцовскими чертами лица, тринадцатилетняя девочка и скуластый, недоверчивый мальчик, которого воспитывали в этом доме... Теперь они опять были вместе. Но пестрая занавеска, висевшая посредине комнаты, отгораживала целую жизнь, которую он так и не знал до конца.

## XI

Оттепель грянула и расстроила белый парад зимы. Как обычно в декабрьские эти деньки, подул гнилой ветерок, раскислил снег, насморочно закапало с деревьев. И пошел месить холодное и скользкое месиво ленинградский, привычный к гнилой зиме люд. Над Невой поднялся туман. С Балтики несло изморосью и всяческой простудной дрянью. За мостами, затопленные оттепельной гнильдой, лежали Петроградская сторона и Васильевский остров. На этот раз на лаковые ботинки с замшевым верхом надеты были сердитые ботики, довоенные рыжие мокротупы. Не было уже склонности неторопливо перейти мост и полюбоваться простором. Лисков сел в последний ва-

гон трамвайного поезда и сунул нос в воротник. Хмурый и озабоченный народ ехал в дневной этот час трамвайным маршрутом № 31. Трамвай медленно полз по рельсам, залитым водой. Обвислая сигнальная веревка назойливо дергалась на остановках двойным движением кондуктора. Сигнал передавался дальше, в передние вагоны, и поезд медленно снимался с места и продолжал путь. Наконец, выбрался он на бесконечный проспект Красных Зорь. На остановке Лисков сошел. Выцветшие финские глазки слезились: они ослабели и не выносили ветра. Он разыскал нужный дом и поднялся вверх, где квартировал Опекушин. Знакомство было старое, с поры петербургских премьер. Артистки балета утешительно разделяли не одно одиночество. Был устойчивый полукруг лысин, коротко остриженных под бобрик голов, мундиров и фраков любителей балета и опер. В передней, однако, сняв довоенные свои мохроступы, Лисков подтянулся. Подбородок с ямочкой посредине был выбрит до костяного блеска. Высокий воротничок и длинная спина военного подчеркивали скудость вынужденного гражданского облачения.

— Леонид Александрович! — сказал он и склонил голову на грудь. — Узнаёте? Лисков. Если я не ко времени, прошу сказать прямо.

Его оглядели недоверчиво, но впустили. Между колонн зала, подле белого рояля, он остановился.

— Жилище артиста! — сказал он, декоративно воздев правую руку. — Я бы добавил: великого артиста. Наше поколение помнит пока что Опекушина!

Лесть была очевидной, за ней могла следовать просьба. Но просьбы не последовало. Иной была цель этого несвоевременного посещения.

— Чем могу быть полезен? — спросил Опекушин холодноватым тоном учтивого петербургского человека.

— Речь может идти о обоюдной пользе... если вообще можно говорить о пользе. Это будет разговор отвлеченный, о чувствах, если так можно сказать...

Лисков расположился в кресле. Его вытянутые ноги были скрещены одна на другой, скрещены были и руки, поигрывающие пальцами.

— Я бы не посмел вас, конечно, тревожить, если бы не некоторые обстоятельства, которые влияют на личную жизнь... на мою жизнь, да и на вашу тоже. Не удивляйтесь, пожалуйста. Что может быть общего между вашей и моей жизнью? Я объясню. — Он опять поиграл подагрическими пальцами. — Все это надо начать несколько издавка. Конечно, знакомство наше не близкое, и вас может удивить посвящение в чужую биографию. Однако, без этого не обойдешься. Вы изволите помнить Каролину Ивановну Штанге? — спросил он погода. — Учительница музыки вашей дочери, ныне профессор консерватории.

Опекушин кивнул головой. «А постарел, однако, тенор, постарел... а я ведь Ленского помню. Голос, фигура, на галерке психопатки визжали.. куда все девалось!» — подумал мельком Лисков.

— Так вот-с. Каролина Ивановна стала впоследствии моей женой, какой брак имел девятилетнюю давность. Четыре года назад, однако, мы разошлись. — Он достал портсигар. — Вы позволите закурить? Я несколько все же волнуюсь. — Он скрутил папироску и сунул ее в янтарный мундштук. — Не могу сказать, однако, — продолжил он, — что это расхождение произошло с обоюдного согласия. В этом не легко признаваться, но меня бросили. Бросили в том возрасте и в душевном расшатанном состоянии, когда уже трудно сколачивать заново семейную жизнь. Лета наши ушли. Старость. Вы получаете персональную пенсию. Получаю пенсию и я. Но не всякое сердце способно пережить свое опустошение. Помните, как у Тютчева или у Фета, что ли... «О, как на склоне наших лет...» и прочее. Так вот, на склоне лет я не могу примириться с этим вынужденным опустошением. Я продолжаю любить свою бывшую жену.

На этот раз Опекушин прервал собеседника.

— А я ведь ничего про эту самую вашу Каролину Ивановну лет пятнадцать не слышал, — сказал он брюзгливо. — И вся эта беседа для меня крайне неинтересна... крайне. — Он даже подобрал ноги, готовый подняться, чтобы прервать ее.

— Леонид Александрович, если я решился вас беспокоить, то я имею на это причины. Прошу вас дать мне еще десять минут. Я подойду к главному, и тогда вы поймете, какое ко всему этому отношение имеете вы... — Лисков задумался и вернул себя к прерванной мысли. — Я продолжаю любить свою жену. И после весьма сложного анализа наших отношений я не нашел причин, которые могли бы оправдать наш разрыв. Разница во взглядах и понимании действительности? Что же, я не отрицаю, что многое делается к лучшему. Но я не могу принять все безоговорочно. Я человек иного воспитания и иных традиций... так же, как и вы. На этой почве у нас, конечно, были расхождения, но не такого порядка, чтобы возник неразрешимый конфликт. Здесь есть другое... об этом я и пришел говорить. Это касается вашей дочери. Вы — отец, Леонид Александрович... и если вы сейчас и не находитесь в тех отношениях, в каких должны быть дочь и отец, то все же ее судьба не может быть для вас безразличной. Ваша дочь является сейчас основным препятствием для моего счастья, — сказал он в упор. — Да, это именно так, как это ни странно. Между моей бывшей женой и вашей дочерью есть некое тайное соглашение. Соглашение это очень оберегается, очень.. и я, как человек, который может помешать, становлюсь нежелательным. Между тем, мое место именно там, возле жены, которую я продолжаю горячо любить! — Он с аффектацией произнес эти избитые слова. — «Любви все возрасты покорны...», как это поется в «Онегине».

— О каком соглашении вы изволите говорить? — спросил Опекушин неприязненно. Поза и философические сентенции гостя раздражали его.

— Вот именно... о каком соглашении? Если бы я мог вам ответить на

этот вопрос. Однако, это тайна, и я на вашем месте поинтересовался бы, Леонид Александрович... это может касаться и чести вашего имени, имени благородного и далеко не всеми забытого!

Он опять льстил, при этом с возвышенным юродством.

— Я не любитель двусмысленных выражений и символов, — сказал Опекушин. Он смотрел мимо. Лицезрение посетителя было для него неприятно. — Эпоха наша практическая. Вещи имеют свое название. Потрудитесь называть всё своим именем.

— А имени-то я вот и не знаю! — воскликнул Лисков. — Имя должны узнать вы, поскольку все это касается вашей дочери. Я — человек, страдающий косвенно. Вы же должны быть готовы принять однажды обвинение в том, что благодаря вашему отношению к дочери ей пришлось совершить поступки, которые в наше социалистическое время считаются пережитками прошлого. Может вмешаться общественность. Могут тиснуть в газете. Знаете, там всякие спецкоры и наблюдатели жизни. Вы — персональный пенсионер. В театральных кругах знают ваше имя. Вы имеете учеников. Вам трудно, Леонид Александрович, отмахнуться от этих обстоятельств жизни. Может быть, если бы вы призвали к себе вашу дочь и допросили бы ее милостиво и по-отечески... весьма возможно, что тайна эта превратилась бы в обыкновенную жизненную историю. Я даю вам канву. Ваше дело расширить на ней узор.

— Потрудитесь объяснить, — сказал Опекушин резко. — Я этих шутовских иносказаний не выношу!

Гость равнодушно принял это оскорбительное обращение. Выдвигшие его глазки, казалось, были довольны эффектом. Человек негодовал, это означало движение. Шелковая ермолочка утрачивала свою степность.

— Я бы не посмел вас тревожить и не позволил бы себе вмешиваться в ваши семейные дела, если бы с этим не была связана моя личная жизнь. Ме-

ня не пускают в мой дом. Мой дом для меня закрыт. Я могу стать нежелательным свидетелем некоторых обстоятельств. Между тем при иных условиях весьма возможно, что наше расхождение было бы временным. Ничего не могу раскрыть до конца, ибо сам пребываю в неведении. Но вам историей дочери следовало бы поинтересоваться, Леонид Александрович. Отцы да не отвратятся от своих чад, как это сказано в Писании или где-то там еще... Как видите, цель моего прихода упирается некоторым образом в этическую проблему. Мы много говорим о новой этике, — продолжил он, философически раздвигая эти ограниченные пределы беседы. — Я — не ретроград и не выродок. Я присматриваюсь к движению жизни и готов принять новые формы. Старое общество было проедено пред-рассудками. Это верно. В новом обществе все должно быть иначе. Особенно этика. Печально чувствовать себя отставшим от жизни. С этой стороны вы должны оценить мое предупреждение. Оно сводится к тому, чтобы вам не остаться на общественных задворках. — На этот раз голенастые ноги даже сделали учтивое движение, похожее на расшаркивание. — Чувствую некоторый корпоративный долг по отношению к нашему поколению. Очень печально, Леонид Александрович, оставаться на задворках жизни. Я хочу увидеть новые формы отношений семейных и личных. Готов даже преклониться перед разрешением некоторых проблем, если это разрешение будет действительно новым. Но увы... в жизни все-таки поступают по-старому. В данном случае тоже, насколько я позволяю себе вникнуть в подробности, ваша дочь разрешает кое-какие проблемы не в соответствии со временем.

Он умолк, наблюдая за хозяином. Он ожидал резких слов, даже величественного жеста, указующего на дверь. Но тот сидел плотно по-стариковски в кресле. Выбритая щека обвисла над рукой, упершейся в подбородок.

— Я от жизни радостей давно не жду, — сказал он, наконец. — Привык и

к вторжениям в жилище, в котором живу, и в мою личную жизнь. Вы ли, другой ли... — Он усмехнулся. — Но я не делаю никаких выводов, я стал равнодушен... меня это попросту не интересует. Подробности жизни моей дочери мне неизвестны. Но меня никто и не посвящал в них. Родительских советов ныне не спрашивают. А следовательно, и мне нечего проявлять особую любознательность. Моя репутация не зависит от поведения моей дочери, — заключил он.

— Как сказать... под каким углом на это взглянуть. Если отторжение от отца дома вынуждает вашу дочь делать некоторые, не соответствующие нашему времени поступки, то общественное осуждение коснется и вас. Ничего не поделаешь, Леонид Александрович. Таково время. Впрочем, я хотел только предупредить... интересы у нас обоюдные, так сказать.

Он снова умолк. Его больше не спрашивали. Сообщение не произвело впечатления. Белый рояль дремал. Венки с муаровыми лентами говорили об эфемериде успехов. Молчание становилось слишком длительным.

— Вы ничего не имеете мне сказать? — осведомился он.

Голова в ермолке качнулась. Нет, у него не было вопросов к этому суетливому и словоохотливому собеседнику. Дочь... существо, которое прибегало в его комнату, обнимало его за шею руками и шептало торопливые и несурзные слова: «папынька, милый», подслушанные у рязанской няньки. Сейчас ему сообщали о дочери, как о постороннем существе. Что ж, всё последовательно, всё ко времени. Персональная пенсия давала ему право на заслуженное забвение. Но в голосе человека было вездичное ехидство. Опекушин ощутил вдруг, что у него нет необходимого безразличия к этому посетителю. Тот явно улавливал следы принесенного им беспокойства.

— Я не имею вам ничего сказать, — произнес Опекушин, закрывая глаза. —

Я могу вас только просить впредь избавить меня от необходимости вникать еще в чью-то личную жизнь. Что касается семейных моих дел, то я разберусь в них как-нибудь сам. Без посторонней помощи.

Беседа была окончена. Посетитель подобрал ноги.

— Вы меня извините, Леонид Александрович... но если бы не обстоятельство личного порядка...

Глаза оставались прикрытыми. Следовало откланяться. Он поднялся с военной выправкой. Опекушин вяло полпелся позади — бесполезная учтивость гостеприимства. Посетитель ушел. Остались запах дешевых папирос и приклеившийся к пепельнице окурок. Опекушин брезгливо стряхнул его в угол. Дымок устремился в форточку. Запыхало таяньем, сиротской зимой. Раздражительный и вульгарный приход. Но некая истина существовала все же за выпренными и нарочитыми словами человека. День с самого утра получил непоправимое повреждение. Сошлась с Лащилиным, слышал и это. Не одни воспоминания детства привели ее недавно поутру в отчий дом. Всё наперекор, всё по-своему. Ну, а если с ним так, то и он так. Кое на что натолкнуть, раскрыть глаза, заставить подумать о принципиальном отношении к жизни... не из-за желания зла, а по чувству справедливости. Его тучное, отвыкающее от движений тело посетила решимость. Он открыл зеркальную створку шкафа и достал костюм. Руки с привычной ловкостью проделали запонки в воротничок и повязали пеструю бабочку галстука. Бобровая шапка, последнее достояние славы, сменила шелковую ермолку. Тяжелая шуба с бобровым же воротником воспроизвела давний облик оперного певца. Пожелтевший, из слоновой кости, набалдашник палки привычно уместился в правой руке. В необычный час Опекушин покинул свое жилище. Сырость таянья, оттепель. Скользкое месиво захлупало под ногами. Чахлый ленинградский денек встречал несвоевременное появление по-зимнему оснащенного пешехода. Палка подпирала его крупную фигуру,

которую два десятилетия назад узнавали многие на этом проспекте. В коробках с шоколадным набором, рядом с ломтиком ананаса в оборочке, лежали шоколадные плитки с портретами Фигнер, Хохлова и Собинова. Его, Опекушина, узнавали по портретам на шоколадных конфетах и на открытках, которые собирали почитательницы... Он шел теперь один в этом новом веке, среди людей, которые не знали его, как уцелевший представитель свергнутого поколения. Ему нужен был сейчас человек, которого месяц назад не хотел он видеть. Это была первая дань времени. Время потребовало их встречи, и вот он шел, тяжело опираясь о палку, в испарине от талого дня, неся на плечах последнюю ветшающую роскошь прошлого. Знакомый румяный извозчик уже не дожидается его у под'езда. Трамваи, многоградный способ передвижения, были ему чужды, как племя, которое торопливо и непочтительно обгоняло и толкало его. Упрямо, с одышкой, все еще сохраняя осанку артиста, он шел пешком через чуждый и переименованный Каменноостровский проспект.

## XII

Пустые и нетронутые зимой лежали проселки. Не было еще снега в это позднее время года. Только схваченная морозцем пыль мелко дымилась, как порошок иодоформа. Автомобиль миновал кривые лачуги предместья, сборище покосившихся домов, дощатых заборов и скудных огородов. Город остался позади. Впереди лежали поля Белоруссии. Зеленовато-окрашенный форд крепился и одолевал рытвины и наезжанные в осень колеи. Редкий ельник рос по взгорьям. За ним открывались бугры и долины.

За три последних года из'ездил Трегубов эти белорусские пограничные земли. Следы войны, лет опустошения, безрадостного запустения края, пыльные шляхи, которые уходили в Польшу. Жидкая суглиночная грязь, болота и пни. Да белорусский невеселый пейзаж с ветряком. Была самовластная и глу-

хая империя. Были полноправные сыны этой страны, кичившиеся великодержавной славой. Были бесправные сыны, которым не разрешалось ни говорить на своем языке, ни иметь своих школ. Они поставляли в родительский дом малороссийские оперы, вышитые цветными узорами рубахи, смушковые шапки, суконные шаровары, в которых отплясывали гопаки, мелкий тощий скот Белоруссии и осину для спичечных фабрик.

Революция преобразила этот западный край. Протягивались шоссе, мостились проселки. Туманы Полесья покидали насиженные гнездовища легенд. Непроходимые топи осушались, и на их месте вырастала пшеница. Выгоревшие в войну, разбитые погромами, обезлюдившие местечки становились городами. В городах возводили дома. Это были библиотеки, клубы, здания институтов и фабричные корпуса. Знавшие десятилетия бесправия, люди могли говорить на своем языке, писать на этом языке книги и изучать свое прошлое. Но слишком близко лежали эти освобожденные земли у той пограничной черты, за которую ушли столетние шляхи. Как всегда в пограничной полосе, сложная сплетена была сеть поведения людей. Некоторые семьи были разделены границей. Из родственных связей образовывались иногда более сложные отношения. Тени недавних дислокаций, артиллерийских высот, стратегических шоссе лежали над этими бесснежными полями. Извилистая линия обозначала границу. Маленькая пограничная станция была глуха и безлюдна. Не было на ней ни обычных толп пассажиров, ни вокзального оживления. В трех десятках шагов от перрона восьмиугольная арка отделяла невидимую ту и неотличную от окружающего чахлого суглинка черту, которая называлась границей. Два полосатых пограничных столба стояли друг против друга. Да еще поодаль часовой в тулупе. И только выложенная белым битым камнем обочина означала некое отличие этой иной, запуганной земли. Два раза в день разменивала станция пассажирские поезда. В обмен на спальные дубовые ва-

гоны прямого сообщения приходили графитно-серые вагоны с эмалированными дощечками по бокам. Дощечки пространственно, как на карте, обозначали Париж, Брюссель, Лондон, Манчжурию. Суровость границы смягчалась шумом деревьев и западной ранней весной. сторожевые овчарки линяли и щурились коричневые умные глаза на солнце. Люди, ехавшие транзитом в Манчжурию, видели возврат зимы, стальные реки Урала, снежную Сибирь — просторы великой страны...

Белоруссия, Север, Урал — в своеобразии непохожей работы лежали эти пройденные пространства его, Трегубова, жизни. Он знал цели страны, но знал и цели, направленные против страны. Вредительство, скверная дрянная работа; равнодушие к задачам и планам; прямые диверсии; организуемые силы за рубежом; враг пристроившийся, изменивший лицо, а в поганенькой сердцевине — мелкая служилая агентура для тех, кто широкими планами будущего наступления покрывал Белоруссию и Украину, изменяя географию ссылками на историю и восстановлением карт минувших эпох.

Только шестнадцать лет назад молодой и неопытный слесарь Трегубов впервые стал узнавать суровую и поучительную практику революции. Как был он тогда молод и как неопытен! Оставались еще какие-то надежды на человеческое великодушие врага. Опыт борьбы научил жесткому пониманию истины. Человек выходил на эту борьбу, не украшенный человеческими добродетелями, великодушием и любовью к ближним. Он начал с того, что жег живьем продовольственные отряды, переделывал припрятанные ружья на обрезы, убивал селькоров и председателей сельских советов и кончил широкими планами интервенции. Этого врага научился Трегубов узнавать. Но он умел узнавать также и тех, кто еще наощупь, еще неумело шел к революции. На опыте ежедневной работы он видел этих сырых, неопытных парней, которые становились сыновьями страны. Он видел переделку людей на Севере. В боевой переключке проходили ночные штур-

мы, битвы и поражения. Прорывы походили на сопротивление подготовленных сил. Тогда новые армии бросались на штурм, и на месте вчерашних боев вырастали мосты, плотины и шлюзы. Это были памятники героизму людей. На левой стороне гимнастерок появлялись значки ударников. Пустые степи прорезались каналами, и вода орошала местности, вымиравшие от зноя и засухи. Грандиозные работы по мелиорации осушали вековые болота, и на топях начинала расти пшеница. Тысячелетние скалы ледниковой поры взрывались динамитом и аммоналом, и моря простирали друг к другу свои длинные руки, как братское рукопожатие, которое должно изменить мировую географию. В северных пустынных деревнях начинало гореть электричество. Канал прорезал деревню, и посредине нее, между домов, в огнях проходил паромод. Это были дела истории. История двигалась людьми. Люди меняли свой облик. Они приходили с мужицкой хитроватостью, сырые и необделанные глыбы. Опыт за опытом, пример за примером, обтачивались эти начальные наметки будущих строителей. Личные цели подчинялись одной общей цели. Отединенный независимый труд — чувство общего труда. Главное было — в переделке сознания. Десятилетия собственности определяли их понимание жизни. Опыт совместной работы переделывал их труд, но дома они были деспотичны и грубы. Женщина продолжала выполнять для них подсобную, второстепенную роль. Они шли на штурмы и давали лучшие показатели работы. Боевые значки ударников по справедливости украшали их выгоревшие гимнастерки. Но день спустя они могли драться на ножах из-за женщины, они называли ее мерзким и унижительным словом. Это было наследие мешанских слободок с разухабистой воскресной гульбой, пьяных песен, похабной ругани, темных вечеров с разбойничьим посвистом, — но больше всего стойкого векового равнодушия к человеку. Было это свойством не только тех, кого привело в лагеря преступление. Трегубов знал это и как качество многих семейств той же мотовилихской ра-

бочей слободки. Это было российское мешанство, которое, как обильный сорняк, заращивало зачастую и жилища сезонников на новостройках, и отстроенные дома рабочих поселков.

Однажды в лагере появился приказ, охраняющий честь и независимость женщины. Из этого начального приказа возникла целая система ее защиты. Женщина не была уже тем низшим доступным существом, которое могло стать лишь предметом распрей и вождедения. Уголовное прошлое не уничтожало ее права на личность. Женские ударные бригады соперничали с мужскими. Уменьшительные клички сменились обращениями по имени-отчеству. Это впервые заставило многих задуматься над новыми отношениями между людьми. Человек привык к глухому ходу своих чувств. Ему была нужна женщина, и он добивался ее. Она могла ему достаться за лишние полкилограмма сахара, за ухарство или по праву насилия. Но сахар уже никого не прельщал, и за насилием следовало возмездие. Человек узнавал труд, его счастливую и жесткую правду. Он научался уважать человека.

Вернувшись с работы на Севере, Трегубов увидел, что в городском столичном быту многое еще осталось по-старому. Тюлевые занавесочки на окнах продолжали прикрывать старые семейственные отношения, похожие на пыльную мебель, которой загромождали до потолка коридоры общих квартир. Это был внутренний фронт. Фронт сопротивлялся упрямо и длительно. Он мстил новой жизни скептическим к ней недоверием, равнодушием к лучшим целям и презрением к молодости... Но было не все благополучно и среди этих молодых участников жизни. Культура и знание казались многим из них наследием отживающих классов; отеческие дома — оборищем упраздненных понятий и чувств; родители — выходцами из прошлого века, которых нужно стесняться; сами чувства — ненужным идеалистическим придатком, только мешающим человеку. Старая этика упразднялась, но новая не была еще найдена. Деревца росли криво, и нужен был разумный

за ними уход, чтобы эти посадки не захирели.

Автомобиль шел проселком. Грубые колени встряхивали и кренили машину. Пыль ржаво стлалась позади. Со взгорий открывались поля с белесыми далами и зимней синевой горизонта. Позади перелесков и болотистых впадин шумели леса Польши. В последний раз возвращался он в этот город. Знакомые черепичные крыши домов, красный флажок на церковной верхушке; затем базарная площадь, мостки. Дом как обычное его пристанище за эти годы. Штабное обилие проводов, жалкий палисадник с голыми клумбами, дежурный у входа. Кабинетишко, занятый наполовину столом; два эриксоновских телефона, клеенчатый диван у стены да портрет человека в полоборота, по имени которого назван этот город. Электричество в городе горело тускло, станция пошаливала. В штабе держали наготове лампы и свечи. Керосиновая провинциальная лампа напоминала о боевой временности жилища. Собаки надрывались во дворах. Ветер ухал и перекатывался над пограничной ночью. Ее темнота приучала к бодрствованию надежных сил. Первые подступы к стране, на которых стояли ее часовые.

Он прощался теперь с этими глухими пограничными ночами, с людьми, которые в комсомольских заставах выросли за эти годы, с проселками Полесья, со своим убогим кабинетиком и керосиновой лампой, освещающей его ночные часы. Новая работа ждала его в Ленинграде. Еще глава жизни. Здесь не было пограничных застав и темных полесских ночек с их шорохами. Благонадежно стояли большие дома. В домах жили люди. Но тюлевые занавески прикрывали зачастую ход сил, столь же враждебных революции, как и те силы, с которыми до этой поры привык бороться... Три недели спустя он вернулся в Ленинград. Была уже зима. Снег принесло раз поутру, и Балтика так же щедро разукрасила город, как разоряла его в наводнения. Необычное веснушчатое существо, похожее на подростка, посетило его вскоре по его возвращении.

— Я Катя Васильева... вы мое имя слышали? — Серые детские, с коричневыми крапинами, глаза. Он подивился.

— Слышал.

— Я к вам давно хотела притти, но стеснялась.

— Чего же вы стеснялись?

— Не знаю.

Он улыбнулся.

— Садитесь.

Она села на кончик стула.

— Я ведь, собственно, лично хотела вас видеть... но я сейчас с поручением.

— С каким поручением?

— Ну, как бы это сразу сказать...

Я все-таки здорово волновалась, когда шла сюда к вам. — Теперь она тоже улыбнулась. — Поручение у меня от нашего актива... и, именно к вам. Речь идет о Лашилине. Мы, в консерватории, наш комсомольский актив, сознаем свою вину перед ним. Мы ему в свое время не помогли. Проморгали это дело, скрывать тут нечего. Но четыре года назад мы были моложе...

— Сколько вам сейчас лет? — спросил он вдруг.

— Двадцать два. Это много, конечно. Теперь мы постановили: в смысле учебы взять его на буксир. Но тут остаются личные дела... Здесь помощь, конечно, нужна посерьезнее.

Ему захотелось взять ее за чистый детский подбородочек. Курносенькое лицо было деловито. Волосы, которые движением оратора откидывала она назад, по-цыплячь пушились на затылке. Маленькая боевая общественница! Он знал о ней раньше и с любопытством разглядывал ее теперь. Она решала жизненные проблемы и семейные отношения, пятая дочка сельского учителя. Она бодро жила на стипендию и даже ухитрялась посылать сестренкам кое-что из ширпотреба, «который дьявольский расширяется в Ленинграде и который во второй пятилетке полностью удовлетворит потребителя». Родители читали боевые письма дочери, где наряду с советами младшим сестрам следовало изложение политических новостей и экономических достижений.

— Так вот, сейчас самое главное, чтобы у него была эта помощь, — за-

ключила она. — Об этом я и пришла говорить. Он вашей поддержкой очень дорожит... и вот если вы ему в ней не отказываете...

— Нет, в помощи я ему не отказываю. Я только за эти годы несколько потерял его из виду. Но я сейчас в Ленинграде, и если будет что-нибудь нужно...

— Так я буду держать с вами связь. Конечно, если это нибудь важное.. зря не приду. Значит, ребятам я могу передать, что вы его тоже поддержите?

— Разве об этом нужно сообщать?

— Конечно. Мы хотим быть уверены.

— Ну, что же, сообщите. — Она поднялась. — Это всё?

— Это всё.

Маленькая детская рука целиком поместилась в его широкую ладони.

— Так вот какая вы... Катя Васильева, — сказал он и по-товарищески тряхнул эту руку. — Я о вас слышал раньше. И много у вас таких ребят?

— Каких?

— Таких вот, как вы.

— А что же я, особенная, что ли?

— Может быть, и не особенная, а с пониманием вещей. Главное, сберечь человека. Это очень важно, Катя Васильева. Здесь вы, молодежь, должны стоять в первом ряду. Осудить, если виноват, но и помочь, если нуждается в помощи. Так приходите, если для чего-нибудь я буду вам нужен... я время найду.

— Приду. А все-таки это здорово... — И серые глаза уже безбоязненно посмотрели в его глаза. — Что вы такой вот... не страшный...

Сумерки еще не отодвинулись огнями. Легкое перламутровое мреяние инея за окном. Некое счастливое тепло оставило в нем это веснушчатое существо. Та же молодость, которая умела забывать свои личные цели, которую привык он видеть впереди всех на боевых местах. Армия двигалась, и рушились старые заставы косности, сопротивления, непонимания целей и недооценки значения человеческой высшей культуры. «Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием запасов знания, которое человечество выработало под

гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества...» Он был комсомольцем, делегатом на съезде, когда произносил это Ленин. Он обращался к юношам, уходившим на гражданскую войну, в голодном и израненном двадцатом году. Был октябрь, серый дождливый город, эшелоны, направлявшиеся на Польский фронт, на юг. Они сидели в бывшем купеческом нетопленном здании, блистающем своими колоннами и хрустальными люстрами, небритые голодные юноши, в ржавых гимнастерках, уже узнавших страду войны, с голодным блеском глаз, которые видели будущее. Невысокий, желтый от бессонниц Ленин ходил по эстраде. Его картавый голос звучал до последних рядов притихнувшего громадного зала. В череполосицу боев, черных месяцев тифа, колючих горбушек непропеченного хлеба, поражений и побед, железных обхватов противника, отторжения Крыма, Украины, Сибири — бросались эти слова о культуре. Это могло показаться в ту пору несвоевременным. Культура возникала в далекой перспективе будущего. А пока шла жесткая практика боев, фронтовых передвижений, эпидемий тифа, временных поражений, удач. И то, что именно в эту пору были произнесены слова о культуре, приближало цели и разъясняло борьбу. Сопротивление классов прикрывалось неповторимостью прошлой культуры и неопровержимостью ее ценностей. Класс, пришедший на смену, должен был на слово верить нравственным законам идеализма и цитатам из классиков. Но уже в ту начальную пору были брошены слова о новой культуре. Годы доказали неизбежность этого хода истории. Не все классики уцелели, не все цитаты оказались бесспорными. Закон новой нравственности создавался в борьбе. Трегубов вспоминал весь путь своей молодости. Молодость нового поколения не знала этого опыта жизни. Она пришла, когда на полях миновавших сражений уже воздвигались новые здания. Но она хотела в этих зданиях жить, и веснушчатое курносенькое существо уверенно поднималось по их ступеням.

С чувством этого тепла и некоего сожаления о юности, с которой давно было кончено, остался Трегубов один. Голубоватое окно было обращено к домам большого города. Они сберегали наследственные надежды семейств, традиции умирающих классов, обиды отцов и счастливые поколения детей.

### XIII

Необычайный автобус пересекал в этот утренний час туманные площади Ленинграда. Тщетно очереди на остановках угадывали издавдала его номер. Номера автобус не имел. Он шел к Нарвской заставе, неположённым рейсом, и необычные его пассажиры везли скрипичные футляры и громоздкие ящики, сберегавшие контрабасы и виолончели.

Давно уже музыка покинула привычные свои убежища. Состовами целых оркестров переключивалась она на заводы окраин, в клубы, поселки и для концертов рабочего полдня. Тысячи новых ценителей пополняли недавние тощие кадры любителей музыки. Они приходили из цехов, с руками, влажными от неотмытого масла, в рабочих блузах и комбинезонах, и тут же под сводами одного из цехов впервые начинался концерт. Оркестры двигались на Урал и в Донбасс, они давали концерты в домах культуры, в цехах, в красных уголках и в рабочих общежитиях. И новый слушатель отвечал им восторженным гулом, признательностью первых ценителей и отзывами с именами пленивших его композиторов. Концертам сопутствовало радио. Робкие одноламповые приемники, провинциальные детекторные установки, сконструированные аппараты любителей, хриловатые громкоговорители, иссякающие от бездействия батарей и разрядившихся аккумуляторов, в жилищах шахтеров, избах и клубах — все это жадно ловило, поглощало и передавало музыку. Сотни отзывов горняков, шахтеров Донбасса, рабочих металлургических заводов Урала, заводов машиностроительных, автомобильных и тракторных, текстильных и резиновых фабрик выдвигали на первое место Чайков-

ского. За Чайковским шел Бетховен. За Бетховеном — Глинка. Сложный музыкальный ключ композиторов расширявали эти первые ценители музыки. Римский-Корсаков нравился им больше Шопена, Шопен — больше Бизе, Моцарт — больше Шуберта. Это были не капризы изысканных вкусов. Имена назывались вослед за звучанием. Музыка шла к тем, для кого была создана и для кого столько времени была недоступна.

Каждый день комитеты по радио получали заказы и письма. В них требовали «Эгмонта» Бетховена, Оффенбаха, чтобы отметить рождение сына у кондуктора железной дороги, скрипичные концерты и вальсы Штрауса, необходимые при открытии клуба. И радио отвечало «Эгмонтом», Оффенбахом, прославившим на всю страну семейное событие кондуктора, скрипичными концертами, которые любили работницы шлифовального цеха Стеклозавода, и Штраусом для танцевального вечера в клубе. Хриплые провинциальные радиоприемники ловили эти ответы и отклики. Затерянная деревушка в полях была украшена кривыми антеннами. Антенны выстраивались на крышах рабочих поселков, бараках для сезонников и на студенческих общежитиях. Здесь возникали музыкальные кружки, первые неопытные ансамбли и робкие оркестрики при фабзавучах. Они приходили в музыкальные техникумы, вечерние рабочие консерватории, школы — первые исполнители мелодий, провинциальные радиолюбители и музыкальные дети, в которых дремали источники сил. Так пополнялось музыкальное поколение страны.

Не первым рейсом совершал Абессаломов этот путь через утренний город. Все чаще становились заявки заводов. Все сложнее было передвигать эти громоздкие оркестры, подыскивать подходящие по акустике цехи и собирать музыкантов. Из первых опытов разрасталось движение. Музыка заполняла не только досуг. К ней привыкали в перерывы работы, в часы рабочего полдня, и предназначенные концертные залы становились тесны. Абессаломов

торжествующе возглавлял это шествие. Его знали в клубах, на заводах, в домах культуры и в музыкальных кружках. Звонки телефона врываются к нему после полуночи и в зимние тугие рассветы, когда начинали гудеть Нарвский, Володарский, Васильеостровский районы. Его карманный календарик исписан был записями, часами концертов, номерами телефонов исполнителей и деловыми незатейливыми фамилиями членов заводских комитетов, культкомиссий и культурно-просветительных троек. Это был новый, сложный и боевой мир. Из ежедневных усилий создавались годовые итоги. Десятки выездных концертов, пачки отзывов и пожеланий, движение вкусов и чувств, определившиеся симпатии, начальное музыкальное развитие, которое пополаняло новыми студентами музыкальные техникумы и рабфаки при консерваториях...

Оркестр разместили в паровозном цехе. На стеклянной закопченной крыше лежало будничное серое небо. Рабочие устраивались на поручнях, на вагонетках, на полуразобранных паровозах и тендерах. Отставшие торопились, обтирая на-ходу руки ветошью. Это было музыкальное вторжение в рабочий полдень. Некоторые дожевывали на-ходу пищу. Внезапно всё шумно встрепенулось. Сухой плеск ладоней. Дирижер вышел вперед. Это был английский дирижер. Он оглядывал непривычное собрание, гигантское вместилище концертного зала со слушателями, облепившими паровозы. На нем был впервые не фрак, а обычный костюм. Это была странная затея — вторгаться в распорядок рабочего дня, перевозить на окраину целый оркестр, заказывать специальный автобус. Он знал обычные вечерние толпы и клерикальную чинность людей, медленно заполняющих концертные залы. Здесь было все необычно и не так, как везде, и он подчинялся. Он только не мог отказать себе в строгости черного костюма, ибо это было все же выступление. Ему аплодировали истоиво, с рвением, заранее благодаря. Он кланялся, и оживали паровозы, люди держались на сгибах локтей за поручни и хлопали ему. Легкая краска

коснулась невозмутимого обычно лица. Он был тронут необычностью приема этой необыкновенной концертной толпы. Улыбка шевельнула сухие, строгие губы. Новые аплодисменты — улыбка, чужестранному человеку, прибывшему из Англии в цех, оркестрантам, доставившим свои промоздкие и певучие инструменты. Дирижер повернулся спиной и поднял палочку. Начинаясь Бетховен.

Торжественно и нелюдимо пропели трубы вступление. Как бы издалека на этих медных триумфально-приподнятых крыльях приближалась музыка. Трубам сдержанно ответил глухой струнный взрыв. Опять медное и одинокое, как на берегу моря, восклицание труб. Трубы как бы пробуждали спящий лагерь бойцов. Они еще глухо ворочались — бормотанием барабана, невнятные первыми переговорами скрипок. Затем началось пробуждение. Лагерь просыпался. Запели виолончели, как старшее поколение скрипичной юности. Скрипки были еще наивны и простодушны. Они самоотверженно изводились в сладчайшем самозабвенном напеве. Их сдерживала медлительная мудрость виолончелей. Они не были говорливы, как скрипки. Они шли негромким строем сдержанных голосов. И снова в разбуженные струнные шумы вторгались одинокие стенания труб. Стенания были не натрасны. Они обнаруживали замысел вещи. Из первоначального накопления звуков рождалась мысль. Тугой слух, привыкший к грохотам по металлу, к стуку клепальщиков, к шипению автосварки, впервые распознавал нарочитость как бы случайных восклицаний, скрипичных перекликаний и звонкого дребезга литавров.

Старый слесарь стоял ближе всех. Его туговатое ухо было оттопырено щитком ладони. Он слушал. Серебряные очки были сломаны. Веревочная петелька заменяла боковую оглобельку. В его слесарской юности не привозили оркестры на заводы. Музыка звучала голосами шарманок с розовым пыльным какаду, сидевшим на плече у шарманщика, или голосами загулявших гармоник. Шарманщик забредал на улицы

окраин, за ним следовали дети, и одеская шарманка начинала лениво пережевывать свои валы. На гармониках играли по вечерам и в воскресные дни. Они сопровождали побоища и окраинное пыльное гуляние по вытоптанным буграм. Он присматривался недоверчиво к этим новшествам, которые могли нарушить порядок рабочего дня. К английскому дирижеру, махавшему палочкой, отнесся он сначала неодобрительно. Потом он поправил очки. Палочка пробуждала инструменты. В движениях человека был точный смысл. Виноватая улыбочка тронула вдруг недоверчивые губы. Это был не загулявший баян. Музыка шествовала, он чувствовал ее поступь. Он стал забывать о дирижере. Надо было сначала понять, что означают переходы и внезапные вторжения молчавших инструментов. Перелистываемые ноты обозначали чей-то кропотливый труд. Из замысла, начертанного слепыми крючочками, разрастался концерт.

Он незаметно для себя вышел на два шага и оказался впереди всех. Подслеповатые глаза под очками мигали. Из оркестра шла свежесть, как сквозь открытое окно. Парнишка сидел на подюжке паровоза. Его лицо поросло рыжеватым пухом. Он сначала улыбался и сплевывал. Потом он присмирел. Правая рука недоуменно поскребла под картузом. Картуз сдвинулся набок. Так он и остался сидеть в картузе набоку. Музыка впервые проникала в его сознание. Мощь звучания покоряла. С такой песней комсомольская бригада могла бы перекрыть встречный план. И он облокотился в душевной развалке о плечо соседа. Сосед был щекаст, головаст, бывший беспризорный, ныне слесарь ударной бригады. Его толстое лицо только недавно стало озабоченным. До этих пор он знал озорство, побеги из детдома, надежды на веселую жизнь. Его отправили в коммуноу, в коммуноу он научился слесарному мастерству. Он и здесь, по веселой памяти, готовился подсвистать оркестру. Но потом это так развернулось, что он позабыл. Локоть соседа бесцеремонно давил ему плечо. Он дважды его смахнул, но затем забыл и привык.

На паровозе стоял бригадир. Руки его были засунуты в карманы брюк, голова с льяным столбом волос непокрыта. Так он и стоял в некоей привычной позе вызова. Мог вызвать он на сореэнование и этого поджарого дирижера в лиджачишке, и всех его оркестрантов. Потом ухарство его позы постепенно укротилось. Некого было вызывать, музыка сама походила на штурм. Ноги стали затекать, он сел на площадке паровоза. Картузы, черные и рыжие вихры непокрытых голов, измятые кепки, надетые козырьком назад, — всё в необычной неподвижности разместилось внизу, до самых ворот паровозного цеха. Они двигались как бы на приступ, эти большие глыбы музыки, — нашествием, от которого восторженно и озадаченно хотелось чесать в голове. Бетховен пришел в это хмурое утро и сделал его праздничным. Белая палочка в руке дирижера становилась магической. За ней следили и начинали понимать, какой отзыв исторгает ее очередное движение. Снова струнные взрывы. Опять стенания труб. Разбуженный лагерь начинал успокаиваться. Тревога прошла. Лениво пробегал еще грохот барабана. Скрипки волновались и не могли успокоиться. Это были женственные впечатлительные существа. Трепет, как пламя заглушаемого костра, пробегал по их струнам. Неторопливые трубы опять призывали к спокойствию. И на смену им пришла скрипка. Это была одинокая скрипка. Она запела одна во всем этом хоре, и только низкие возгласы виолончелей и альтов подчеркивали по временам ее одиночество. Лагерь затихал, все стихало. Скрипка, как одинокая птица, еще не нашедшая для себя ночного пристанища, носилась над ним. Наконец, стала затихать и она. Последний всплеск труб, дружный и торжественный смычковый удар по струнам.

Сухой дирижер поворачивается. Платочек в его правой руке стирает со лба пот. Мгновенный отклик всего этого огромного цеха. Паровозы одеваются рукоплесканиями, как белыми флажками. Подслеповатый слесарь стоит впереди всех и бьет в ладоши. Он торже-

ствующе оглядывает соседей, как будто и его доля участия есть в этом необычайном событии. Вид его столь победоносен, что это удесетеряет рвение остальных. «Браво!» — кричит с паровоза бригадир. «Даешь еще!» — отзывается щекастый голован, на котором расположился уже обоими локтями рыжеватый парнишка. Он смахивает его, но через минуту тот располагается снова. «Рапсодию Листа!» — восклицает чей-то голос знатока. «Чайковского!» На них шикают. Дирижер улыбается. Его сухое, строгое лицо изменилось. Он не ожидал такого приема. Он не предполагал, что в этом цехе найдутся ценители Листа. И с необычайной живостью он поворачивается снова к оркестру. Его движение передается музыкантам. Скрипки, опущенные на колена, мгновенно поднимаются к подбородкам. Смычки вырастают, как побеги. Их белое цветение похоже на ковыль. И ветер звучания заставляет их снова клониться.

Гудок означает конец рабочего полдня. Ворота цеха распахиваются. За ними — будничные день. Но день украшен необычно и походит на праздничный. Сверляльные и фрезерные станки как бы сберегают в себе ритмические отголоски музыки. Шум автогенных горелок закономерно вторгается в их голоса. Зеленый автобус увозит оркестр. Скрипичные футляры и квадратные ящики для контрабасов сберегают мелодии. Рабочие улыбаются и машут кепками вслед.

— Приезжайте еще, очень понравилось! — кричит подслеповатенький слесарь. Он оглядывается и ищет поддержки. Его поддерживает бригадир. Он поднимает большой палец руки в знак

молчаливого своего согласия. Автобус проходит мимо цехов. Рабочий день продолжается.

Опять дома окраины, заборы, подездные пути. Оркестранты со своими инструментами покачиваются на толчках. Абессаломов сидит впереди. Галстучишко, как обычно, сполз набок. Зимний город несется навстречу. Триумфальная арка Нарвских ворот. Ее войны и кони посыпаны снегом. Старое клетчатое пальтишко с поднятым воротником распахнуто на груди. Абессаломов вспоминает аплодисменты, напутственные голоса и прощание. Довольство ползет по его лицу. Книжечка календаря сберегает распорядок дел. Вечером концерт в клубе завода «Красный гвоздильщик», завтра — концерт рабочего полдня на заводе имени Марти, затем выездные концерты — в Ладогу и на строительство электрической станции... Надо обеспечить вагон, дать телеграмму, предупредить исполнителей. Он поворачивается к горбоносому музыканту — первой скрипке оркестра. Тот сидит, запрятав острый свой нос в поднятый воротник пальто.

— Вы знаете, сколько на музыкальную фабрику поступило заявок от рабочих на пианино? — спрашивает Абессаломов вдруг. Автобус делает поворот, и он заваливается в угол. — Шестьсот сорок шесть! — кричит он оттуда. — Ровно в три раза больше, чем может фабрика дать.

Из тумана надвигаются Нева, мост лейтенанта Шмидта. Абессаломов покидает автобус еще на пути. Записи его дел требуют дополнительной беготни. Автобус движется дальше. Он возвращает музыкантов в покинутое здание филармонии.

*(Продолжение следует)*

## Два стихотворения

Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ



Мечта должна в металл отлиться,  
Эпоха, мастерам твоим.  
... Лишь к утопистам и «провидцам»  
Огонь чудес слетал жар-птицей,  
Как в сказке, с клювом золотым...  
Мы — мастера! И с этой песней —  
О счастье, жизни и борьбе —  
Мой современник и ровесник,  
Мы обращаемся к тебе.  
И на простор аэродрома,  
На площадь, иль на стадион —  
С мечтой веков «на ты» знакомы, —  
Вступаем твердо и легко мы,

И каждый словно окрылен!  
И с высоты глядим без дрожи,  
Руль управления смело взяв.  
... Во все столетия мы вхожи!  
И с нами род людской молодежи,  
И слаще мед струится с трав...  
Взгляни: какая даль открылась  
Над блеском солнечных долин.  
Здесь все — твое!  
Ты не один:  
Мечта народов воплотилась  
В тебе, Советов Гражданин!

## ЭСТАФЕТА

Я знаю: мы храним с любовью  
До самой поздней седины,  
Как ясный ум,  
Свое здоровье.  
По жилам нашим жаркой кровью  
Струится молодость страны.  
Пусть на-лету, ошибся ветер,  
Порывистые бегуны  
Передадут, как эстафету,

Стремленье,  
Силу,  
Ловкость эту —  
Во все края родной страны!  
Страна глядит с улыбкой мудрой  
На дочерей и на сынов.  
... И я рукоплескать готов  
И девушкам золотокудрым,  
И седине профессоров.

Июль, 1935.  
Москва.

---

# Мастера

Роман

Г. НИКИФОРОВ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## XIV

Единственно, о чем можно было только мечтать, наполовину уже сбылось. Судьба Карпа Полуденова современным становилась все снисходительней и добрее к своему любимцу, и к тридцати трем годам его она привела Полуденова к чудесному такому мостику, который был перекинут на берег сытости и довольства.

— Господи, настави и благослови! — вслух произнес он, истово перекрестившись, и тотчас же отправился к другу своему и советчику, Епимаху Киндееву. Высокомудрый муж этот на пятидесятом году жизни не растратил еще бодрости своей и живости мысли. Винные пары вследствие длительной работы утеряли, видимо, первоначальную разрушающую силу и служили теперь на манер целебной росы, освежающей мозги огненными искрами. Обычно в трезвом состоянии своем зрил Епимах жизнь, как некую отошавшую долину, которую необходимо было вспрыскивать веселым дождем пьяного воображения, чтобы цвела она молодо и розово. Уверенный в своем превосходстве над людьми, он не отказывал им в помощи. Если нужно было совершить сугубо дерзкую подлость, Епимах оживлялся и ликовал, будучи убежден, что подлость в житейском обиходе играет главенствующую роль,

как становая жила, к примеру, и потому является первоисточником во всех человеческих побуждениях, хотя бы и прикрытых наспех дрянной словесной ветшоью о любви и милосердии к ближнему.

Завидев Полуденова, Епимах простер к нему руки, пытаясь изобразить на лице своем умиление и радость; гусачья шея крючкотворца, как бы не выдержав тяжести многодумной головы, свесилась к левому плечу, глаза ушли под лоб, и соскочили с переносицы очки.

— Ну, ты чего больно растрожилась? — охладил его Карп. — Я к тебе по делу, а ты разомлел вдруг. — Отвел легонько выброшенные Епимахом руки: — Брось кобениться, целоваться потом будем. Гляди сюда!

Полуденов встал у окна, и знойное июньское солнце свалилось ему на грудь. Одет был Полуденов в новый, нежно шелестящий сатиновой подкладкой сюртук, у шеи был подвязан размашистый, бантом, галстук, оттеняя белизну пикейного жилета с перламутровыми пуговицами величиной в пятак старой чеканки, на ногах красовались длинноносые штилеты, как бы завершая модные (в дудку) клетчатые брюки.

— Что означает сие чудесное превращение? — подивился Епимах. — К чему роскошное вооружение твое, Карп Серафимович? И кого ныне собираешься ты атаковать?

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. кн. 6, 7 и 8 с. г.

— Угадал, бес тебя задави, — призывался Полуменов, — будто в воду глядел! Предполагаю приступить к заветной крепости в нынешний праздник святые троицы и прошу оказать в предприятии этом посильную помощь, Епимах Лазаревич, об чем слезно прошу и умоляю. Будь отцом родным и не пожелай гибели страждущей души.

— Неужели опять Алевтина?

— Умный ты человек, а дурак, — обиделся Полуменов. — Стану ли я вводить себя в подобный изъяс (указал на щегольской костюм свой) попустому? Бери прицел дальше и соразмеряй по моему положению.

Епимах задумался, переложив голову на другое плечо. Так стоял он, подобно ищейке, которой изменило чутье, стоял довольно долго, как бы наблюдая за таинственными скачками мыслей своего друга.

— Не ведаю и не могу постигнуть вашего дерзновения, — вздохнул он, огорченно разводя руками, обращаясь к Полуменову на «вы», актерски подчеркивая свое почтительное отношение к нему.

— Ага, хе-хе! «Не ведаю», говоришь? То-то! А еще, говоришь, познал верушки мысли человек. На Алевтину указал, чудак! Алевтина нынче к Чемерицыну перекинулась, ее настоящие люди за версту обходят, она теперь вроде постоялого двора: кто хошь, остановиться может.

— Насчет постоялого двора ты, Карпушенька, не произноси, — предупредил Епимах. — Чемерицын — постоялец сурезный, сокрушить может.

— Знаю и обхожу сторонкой, хотя и не страшусь, — надтреснуто произнес Полуменов, подталкивая Епимаха к широкому окну конторы. — Крепость моя вот она! — указал он в исковерканное оконным стеклом пространство, где виднелся, будто приподнятый над землей, обширный трактир Халявина. — Зришь?

— Зрю, — прошептал ошеломленный Епимах и, определив цель, намеченную Полуменовым, спросил, не веря еще в собственную догадку: — Так неужели Степаниду Сидоровну облюбовал, Кар-

пушенька, велелетнюю дочь трактирщика?

— Пава! — с умилением произнес Полуменов. — Одобряешь ли?

— Пава, — согласился Епимах. — Только ведомо мне, пава сия с изъясцем: на хвост падает и, помимо всего прочего, кривобока...

— Не твоего рассудка дело, Епимах Лазаревич! И, окромя того, прими во внимание: ко хвосту павы кошель привязан, и в нем немалая сумма, — удостоверил Полуменов, — то-есть приличный капитал, а с капиталом бок этот самый не суть важен. Я и одним боком, при моем характере, довольствоваться могу.

— Действительно, ежели рассудить, с капиталом другой бок всегда отыскать можно, — подтвердил Епимах. — Но (указательный палец крючкотворца угрожающе устремился к потолку), воньми гласу моления моего, Карпушенька, — Стеша, дочь Халявина, емь женщина, сиречь существо! Как же ты поступить полагаешь, когда потребует она достойного внимания к себе одинаково, как и к человеку?

— Внимание с моей стороны будет отпущено согласно положенному родителями Стеши приданому, — не задумываясь, ответил Полуменов. Поиграл скользкой улыбкой своей. — Я так полагаю, Епимах Лазаревич: женщина есть довесок, который к любому грузу прикинуть можно. А насчет внимания — мы с нашим расположением завсегда внушение дать сумеем и женин разум на место водворить, как водится по положению. Об этом не изволь тревожиться, все пописанному выйдет, что в законе указано, и опять же я по существу приданого.

— А много? — ощерился Епимах. — Может, мне и хлопотать корысти нет, да и тебе тоже.

— Хм!..

— Сторговался ли?

Полуменов, хмыкнув, отступил в затененный от солнца уголок и оттуда, скрывая лицо (не стыда ради, — быть разгаданным боялся), сказал:

— Ты не сомневайся, Епимах Лазаревич, я против тебя на обман не пойду, прямо уведомляю. Ежели все хорошо,

тогда пятак с рубля получишь, как перед Богом говорю. Ты одевайся, чтобы по форме было, к Халявину пойдем, — чай, понимаешь?..

И пошли...

Встретила друзей жена Халявина, Соломонида Евстафьевна.

Епимах вошел первым в обширную горницу.

Полы сплошь застланы пестрыми полами. Чадил в углу, перед раскопными глазами какого-то «божьего угодника», лампада. Кресла и диваны, обитые малиновым трипом, строжайше оберегали тишину. Пахло топленным молоком и шалфеём.

Епимах поклонился широкому креслу, в котором спала хозяйка.

— Ну, что же? — спросил Карпуха.

— Ничего, изволят почивать.

— Тогда обождем-с, — зашептал Полуденов. — Они завсегда так-с: пригласят на разговор, а себя преодолеть не могут. Располагайся, Епимах Лазаревич.

Ждали долго, и самих стала одолевать дремота. Широкий зевок проснувшейся хозяйки заставил их встрепенуться.

— О-о, господи! — зевала Соломонида. — Чистое сокрушение! Шла по дому, споткнулась о кресло, — дай, думаю, отдохну. Живешь, будто в котле кипишь.

— Жизнь человека тягостна от рождения, — почтительно удостоверил Епимах, — особенно ваша, Соломонида Евстафьевна, при таком хозяйстве и вообще... — Кашлянув в горстку, он продолжал, все время думая о том, как ловчее перейти к деловому разговору. — Вот вы изволили, достоуважаемая Соломонида Евстафьевна, про кипение в котле упомянуть. Истина глаголет вашими устами. Возьмем, к примеру, молодого, но уже солидного и с положением человека, который, скажем так-с, обуян страстями и обретается в чад любви. (Епимах бесстыдно щеголял начитанностью). И вот человек сей, сокром покамест имя его в тайне, тщетно вопиет к предмету любви своей, ибо она есть прохлада и душистый эфемер.

— Чего-то, батюшка мой, не дослышу я. Кого это называешь ты? Или намек вроде намекаешь? Ежели насчет Степаниды нашей, так уж больно чудно получается. Девка она кбрмленная, шире лежанки, жар от нее — подойти нельзя. Я уж ей внушаю: «Что это, говорю, Стеша, несёт тебя так? Хотя бы ты в еде малость сбавила». Какая уж там, прости господи, прохлада!

— Между тем, Соломонида Евстафьевна, дочь ваша в сердце обожателя вонзилась, подобно тончайшей игле, и, значит, нарушает безмятежный покой души сего страдальца, каковой страдалец слезно припадает к ногам вашим.

Епимах, вскочив, пырнул в бок Полуденова. Вытянувшись перед купчихой, они сделали глубокий поклон и сразу, точно по команде, опустились на колени. Карпуха брякнулся в ноги, уткнувшись лбом в полвик. Епимах, прижав правую руку к сердцу, левую картинно отбросил в сторону, косо выгнув шею.

— Ах ты, мои матушки! — всполошилась козьяка. — Который же это будет страдалец? Ну и Стеша, прокурат девка! Неужли обоих захоронили?

— Милостивейшая государыня, Соломонида Евстафьевна, — поднимаясь, произнес торжественно Епимах, — возраст мой еще не внушает подозрения, но больное сердце не выдерживает уже любовных тревожений, тем более, что на плечах моих лежит тяжелая обязанность управляющего конторой безызвестного вам завода Ланге, а потому и на основании законов природы уступаю, хотя и с глубокой скорбью, дорогу к сердцу вашей дочери Карпу Серафимовичу Полуденову.

— Значит, Карпуша, выходит, страдалец-то? — счастливо догадалась Соломонида Евстафьевна. — Встань, оглашенный, встань! — нагнулась она к Полуденову. — Ишь ты, ведь разомаля как... К самому пойдй, к Сидор Семёнычу. Ежели он прикажет, тогда владей, Фаддей. Да уж ладно тебе, ладно! — отбивалась купчиха от неистовых объятий Карпухи. — По мне, хоть и завтра под венец. Девка-то, признаться, давно уж бунтует, прямо сладу нет...

— Мамаша! — вопиал Карпуха. — Превосходная и бесценная мамаша, ручку, ручку вашу дозвольте облобызаты!.. На веки-вечные, до самого существа живота... Сдохнуть-помереть!..

Полуденов присосался к мясистой руке хозяйки и уже не мог оторваться.

— Чувства-с и пламень сердца, многоценная Соломонида Евстафьевна, или вроде бы благородный порыв, — бормотал в сторонке Епимах, — припадок души...

Неожиданно поперхнувшись, Киндеев замолчал; длинная его шея рванулась к потолку, вспотели очки, и дрогнули колени. В двери на растопыренных ногах возвышался живот трактирщика Халявина.

— Отлипни ты ради истинного Христа-бога! — всколыхнулась Соломонида Евстафьевна, вырываясь из цепких карпухиных лап. — Всю руку обсосал!

— Ничего, мать, ничего, — загудел Халявин, протискиваясь в узкую дверь.

Подшагнул к Полуденову, взял за вихры, долго глядел в плутовские карпухины глаза.

— Ну что, козырь, в свадьбу сыграть пришел? Стешка выиграть пришел?.. Слышал, слышал, козырь, как ты старуху мою улещал.

— Влечение чувств, Сидор Семеныч, не дайте погибнуть... — залопотал Карпуха. — Трепещу при одной мысли о разбитом счастье...

— Влечение чувств? — посмеивался Халявин. — Ну, что же тут поделаешь? Придется, видно, уважить парня... Ты чего сопишь, мать? — обратился трактирщик к жене. — Уступим Степаниду, аль нет?

— Твоя воля, Сидор Семеныч, как ты, так и я, значит, мне бог велел. Где ж, по женскому положению, этакое дело решить? Ты властен...

— Вот спасибо, что говоришь так! — порадовался Халявин. — Хорошая жена — лучший советчик. Кланяйся, Карпуша, Соломониде Евстафьевне в ноги, добрая у меня старуха, высоко может любовь понимать...

Халявин пропустил Полуденова в соседнюю комнату, в деловую свою полочину; за Карпухой прошмыгнул бочком

и Епимах Киндеев, мудрый устроитель человеческой судьбы.

## XV

Юбилейный вечер начался речью директора Якова Ланге (дядя Фридрих уполномочил). Племянник приготовил краткое, но вполне исчерпывающее слово. Сказано было всё, что сказать полагалось: отмечены «честный» труд основателей завода, процветание отечественной промышленности, усердие мастеров, прискорбное нерадение рабочих, их непонимание задач государства и равнодушие к неусыпным заботам начальства.

Яков Генрихович Ланге в этот вечер показал себя и оправдал доверие дяди.

— Я знаю, я кое-что видел, — говорил он, — побывал в Европе, учился там...

Улыбнулся благодарной улыбкой юбилярам.

Женщины глядели увлажненными глазами в улыбающийся рот оратора.

Поднял высоко бокал свой молодой инженер и, уже низко изогнув спину, поклонившись в сторону Фридриха Ивановича, продолжал:

— ... Однако все знания мои, приобретенные за границей, отступают перед жизненным опытом юбиляров, справляющих ныне двадцатилетие существования механического завода братьев Ланге.

Задержал дыхание — и через короткую паузу, совершенно отчетливо, улучив момент всеобщего затишья гостей:

— Нет, что бы там ни говорили, жить все-таки нужно уметь!

Литейный мастер, Мямлин Никодим, порадовался мысли своей, выраженной вслух Яковом Ланге.

«Уменье жить. Господи, помилуй!» Мямлин перекрестил жилетку, оставил пирующих гостей (благо, находился в дальнем конце стола, около порога), вышел на улицу.

Немощная луна стояла в небе; необычайной бледности свет, казалось, стекал с крыш домов, домиков и домишек. Чувствуя легкую истому, игру сердца и веселый разброд мыслей, Мямлин

принялся мурлыкать песенку о красной девице, которая рассказывала, как «вечор поздно из лесочка я коров домой гнала»... Все было хорошо, и в груди весело, и в голове светло, но, подходя к заводу, Мямлин обился на тропарь «Взбранной воеводе победительная»

В мыслях тонкоумного мастера не было ничего такого, что относит человека от обычной размеренной жизни или поднимает над жизнью; просто захотелось возблагодарить создателя за благополучие свое и за процветание владельцев завода. В двери литейной прошел тихо, как в храм. В этом храме («Опять, и опять, слава создателю!») отлито за один только прошлый год пятьсот с лишним станин для токарных, строгальных и других станков, а мелочи и не считать.

В мастерской жарко, ожидается вторая очередь литья. Около формовок при свете коптилок и керосиновых ламп копошатся литейщики. По углам — груды опок и моделей, у стены — целые отвалы просеянной земли.

Мямлин задержался, помолвившись на пузатую вагранку. Чуткое ухо его уловило разговор:

— У нас, браток, в прочие разные времена было так: работали на заводе Тюха-Матюха да Подпирай-Гордюха, и все из разных деревень. Проще было: по зубам да в харю, по шеям да в баню. А теперь новый фасон жизни, — расписанием закона доехать хотят... Вот я тебе сейчас малую грамотку прочту. Сам Яков Генрихович собственноручно развесил по цехам. В расписании каждое слово впритирку пригнано. Насчет, скажем, рабочего дня так пропечатано, будто двенадцать часов. Забудь думать, один отвод глаз! Вроде — ха-ха, не плачь, Матрена! Нам Леонтий Чемерицын разъяснял: потому, говорит, работаем в одну смену, сто оборотов в минуту, на манер — дуй, бей, давай углей! Все выходит, как есть, просто...

— Законники, грамотеи, сволочи, чтоб вас разорвало! — шепчет Мямлин. — Я вам покажу двенадцать часов!..

— Это уж ни к чему, господин Мямлин.

— Как вашей милости будет угодно-с. Смирненно улыбаясь, Мямлин почтиительно отходит в сторонку, пропуская директора вперед. Вездесущность Якова Ланге умиляет мастера: «Далеко пойдет человек! Он и речь сумел сказать, и деловитость показать».

— Очень хорошо, если рабочий будет в меру грамотен, — утверждает молодой инженер.

Мастер насмешливо молчит. Пускай уж кто-нибудь возражает начальству, Мямлин этому не обучен, не российская это наука. Так рассуждая, следовал он, хоронясь за спиной Якова Ланге, угадывая каждое движение его, направление взыскательного взгляда и, может быть, направление самой мысли.

Спина властелина была надежна и казалась непоколебимой; в дверях соседнего цеха она заслонила тощий февральский рассвет и малокровный лик луны.

Длинная тень переползла через порог и угрожающе двинулась в механическую. Мямлин, проследив ее путь, направился в свою цеховую конторку. Здесь, усложив свою совесть молитвенным размышлением, он принялся составлять секретные рецепты предстоящего литья. Вышел с распоряжениями к людям, которые толпились теперь у вагранок, как древний алхимик, с лицом почти одухотворенным и таинственным, постучал по кожуху вагранок, точно по самоварам, куском литника, определил сразу:

— Погодить, ребятушки, нужно, — навару в чугуна маловато.

— Поди-ка, не уха, Никодим Варфоломеевич, — посмеялся кто-то. — И опять же, мы тоже головой думаем.

Мямлин поглядел строго, сказал внушительно:

— Потому и повременить надо, что не уха... Кто это говорит со мной? Ты Викул?

— Я, Никодим Варфоломеевич, — отозвался литейщик Лепихин.

— Когда это ты разговаривать научился? Хе! Семь лет не баял, на восьмой, мамка курва...

Посмеявшись собственной, насторожившей всех шутке, Мямлин тут же и сообщил, что по случаю торжества двадцатилетия завода определена хозяйством

ваграда всему цеху: четвертная на пропой и прославление братьев Ланге.

Где-то скрежетал оторванный лист железа и подвывала собака. Ветер хлестал в каменные стены заводских корпусов, трепал пламя вагранок, бился грудью в широкие ворота литейной. Тусклое утро сочилось в мелкие переплеты окон.

Еще раз постучал Мямлин по кожуху вагранок и, постучав, велел пробивать лётку первой вагранки. В такую ответственную минуту, произнеся вслух витиеватую ругань, как складную молитву, мастер обмяк сердцем и, проходя мимо Викула, пригласил и его на юбилейную пирушку в сокрушительный халявинский трактир.

В это февральское утро работали вольготно, как будто по литейной разносили в ковшах весеннее солнце, оттого и прояснели глаза, посвежели разговоры.

— Расскажи, дядя Мирон, как ты женился.

— Карпуху Полуденова спрости, — он женился, кабатчикову дочь подцепил, теперь к нему на козе не под'едешь.

— Кому счастье, кому счастьеще. Девка прямо без отказу...

— Ходи веселей, шевели ногой! — поощрял Мямлин рабочих. — Без отказу да не оразу, — подхватил он рассыпчатый разговор, одобряя словесную удачу.

Искристая пыль гуляла по цеху; взбитая и вихрастая, она плясала, как пляшет в груди безысходная злоба, раз'едающая сердце.

— Остыньте покудова, ребятушки, — сказал Мямлин, когда последний ковш чугуна слили в формовку. — Остыньте и ополоснитесь. Пойдем славословить хозяйскую честь.

Уходил Мямлин, подобно полководцу, который только-что выиграл сражение. Черной копоти боя еще не отмыли войны, и грязный, подобно мелкой измороси, пот покрывал их лица.

На улице лежал серый снег, припудренный пеплом заводских труб; обессилевший ветер путался в ногах; над большаком шевелилась предвесенняя синева.

В халявинском трактире собрались избранные, достойные милости начальства. Восседал на красном месте Киндеев Епимах, как олицетворение живого разума, призванного понижать буйные порывы невоздержанных. Епимаховы очки сияли на этот раз трезвым и потому несколько грустным сиянием. Рядом поместился Карп Полуденов, великолепный удачник жизни, наблюдатель людского беспутства и неразумения.

— Тебе, Карпуха, поручаю наблюдение за поведением рабочих, — сказал однажды Фридрих Ланге в минуту своего расположения к питомцу. — Слушай и отмечай, народ теперь пошел упругий.

С той поры Полуденов подвергал всех словесному испытанию и сомневался в каждой живой душе.

— Вонмем! — прокричал Епимах, определив, что все уже званые собрались и жаждут возлияния. — Не будем произносить ни застольных речей, ни спичей, — предупредил он, готовясь развести очередную ересь, — ибо что такое есть речь, как не громогласный вопль недоумения, свидетельствующий о неустройстве жизни? Не лучше ли замкнуть уста наши, дабы сам господь-бог, созерцая лиц выражение, мог утешиться благостной мыслью, будто счастливы мы непомерно и в сердцах наших живет трепетная радость пребывания на земле. Однако, коснувшись радости, дерзаю советовать таковой во всеуслышание не изливать, чтобы не огорчать творца вселенной глупостью. Но к сему должен я присовокупить, что именуемая глупость и есть единственное доказательство бытия чистой радости. Подымем же чаши с вином и оросим в сердцах наших радость и глупость, как еди ноутробных близнецов.

Карп Полуденов, сидя каменным идолом, участия в возлиянии не принимал, полагая, что не следует человеку семейному омрачать разум винными парами, дабы не совершить случаем промаха, способного изменить течение благополучной жизни. (Тут следует сказать, что молодая жена его, Стеша, нуждалась в трезвом и бдительном надзоре.) Полуденов созерцал и слушал. Вскорости

он заметил, что друг его и советчик Епимах стал стремительно погружаться как бы в нирвану и уже никаких мыслей не выражал, принимая с совершеннейшим спокойствием словесную суету пирующих. Таким состоянием «философа» не преминул воспользоваться литейный мастер Никодим Мямлин. Тихий, ласковый и удовлетворенный ходом жизни, находясь в легком подпитии, он поучал приближенных своих. Сознание, что же совершил он за долгие годы пребывания своего на земле ни одной положенной каждому человеку безрассудной глупости, наполняло сердце мастера высокой гордостью превосходства над окружающими. Жил человек с особым аппетитным хрустом, но в таинства этого секрета посвящал других только отчасти и крайне малыми порциями, чем и отличался от того же Епимаха, канцеляриста по убеждению, черпающего вдохновение из обиходных нелепостей.

— Да-с, хе-хе! — посмеивался Мямлин. — Человеку, который с рассуждением, в жизни, будто в легкой лодочке, камень или, скажем, губительную мель за версту обогнуть можно. Обогнул — и плыви себе без тревоги краешком, на середину не лезь, понимающему совсем ни к чему это.

Сделал минутную выдержку, раздумывая, должно быть, над неразумной канителью жизни, потом улыбнулся, но уже не смиренной, а торжествующей улыбкой, и повернул разговор на другое, не менее поучительное:

— К примеру сказать, к начальству тоже подходить, чтобы очень близко, не следует, потому иное начальство, как жаркое солнце, сразу крылышки опалит. Да опять же и беспокойно около начальства: а вдруг начальство померкнет (все под богом ходим), — тогда, значит, неразумному подходимцу холодная смерть на веки-веков...

Чтобы остудить высокое напряжение мысли учителя, пополняли рюмки, первая же рюмка — мастеру Мямлину.

— Откушайте, Никсдим Варфоломеевич... Все, как есть, истинная правда. Слов нет, темнота наша и одно прискорбие.

После выпивки Мямлин светлеет, и в душу его проникал высший государственный разум.

— Россия наша — на манер станины покорности и смирения, — заключал он поучение, — а во главе сам царь-государь вроде передней бабки, и от этой бабки невидимый приводной ремень прямо к небесной трансмиссии. Божье сооружение. Ему поклонись и не суй голову в перебор по глупому дерзновению ничтожного таракана.

Почтительное молчание слушателей длится до той самой минуты, покуда не убедятся все, что артист кончил.

Были среди гостей люди понятливые и непонятливые. Первые признавали мудрость мастера Мямлина и не совали голову «в перебор»; вторые, работая по пятнадцати часов, утешались воображаемым своеволием.

— Степа, ходи, друг, веселей! — кричали своевольные. — Главное, не того, носа не вешай: везде все едино, одна каторга. Так или нет? Ну, то-то!

Были еще другие, мрачневшие с каждой повторно выпитой стопкой:

— Э-эх, хорошо бы морду растворить!

— Эт-та чью же морду?

— А хоть бы нашего кровососа Мямлина. У-ух, и натешился бы: на стерва! на, подлипало!

— Помолчи, Викул, не нашими руками морды править...

Гнев истлевал в разговорах, во взаимной ругани, в драках.

Возвращались с юбилейного пиришества вразброд, поздней ночью. В глухой тишине сонных улиц хлестала в закрытые ставни присмиривших лачуг бессмысленно-дикая песнь:

И-ах, тпруська, тпруська бычок,  
Мо-олодая ты говядинка-а-а...

И опять сначала:

... А-а-ах, тпруська, тпруська бычок...

Так проходили улицу из конца в конец, заставляя пугливых обывателей творить молитву, а постовых полицейских отходить к сторонке.

Братья Ланге многозначительно переглядывались. Фридрих замечал кратко: — Гуляют...

— Значит, радуются нашей радостью, — объяснял Павел.

— Веселие Руси есть пити, — заключал Яков, — мудрость народа непоколебима.

— Видишь вот? — подмигивал Фридрих племяннику. — Так что ты с Европой повремени, Яшенька. Им ни к чему, да и нам спокойней.

## XVI

Яков Ланге ходит по цехам. Так вот ходил когда-то отец его, Генрих. Этот человек умер, исчез, стерся, на его место пришел сын, пришел, уверенный в своей силе, с новыми замыслами, как бы исхитриться на выносливую шею мужичка-русачка надвинуть заграничный хомут.

Яков видел покорные глаза, слышал разгульные песни, месил древнюю российскую грязь.

Он думал:

«Европа, Россия, Европа... Нет, нет!.. Дядя Фридрих, человек с обемистым лбом и большими глазами, прав. Не для нашей лошади немецкая упряжь. Кость у лошади широкая, стать иная».

Двое рабочих прошли и не поклонились (Яков, привыкнув к поклонам, ждал их); рабочие прошли в механическую.

«Чорт с ними!»

Заметил в стороне Полуденова, сделал едва уловимое движение.

— Слышу-с, — подбежал догадливый Карпуха.

— Ты зачем? — подивился Яков Ланге и, спохватившись тотчас же, распорядился: — Назови их фамилии. Ну, чего же ты стоишь?

Веселый вечер пуст, морозной пузырячатой слюной тронуты ветви деревьев, озорной ветер тревожит печальное их оцепенение.

Леонтий Чемерицын задержался у входа в механическую; отсюда шел равномерный, никогда не прекращающийся рокот станков.

«Чортова музыка! — Чемерицын звякнул резцами. — Чужая музыка».

Викулу Лепихину, простецкому другу своему, сказал:

— Будет попозднее, забегай в модельную. Нынче в ночь работаем, ребята соберутся, Семка Рорбах притти обещал. Слышал такого?.. Нет? Ну, услышишь. Чего ты глаза-то таращишь? Парень пробойный, держит голову по-военному, в подвысь, и никого не боится.

— А ежели он заметил нас? — Викул мотнул головой на одинокую фигуру Якова Ланге. — Очень уж он пронзительно глядит, почище Фридриха будет, глаза так и рыщут, а лицо блеклое, будто с иконы...

Разошлись.

«Тайный человек Леонтий, — решает Викул, — все к студентам льнет». Поразмыслив, вернулся, отозвал токаря в сторонку, чтобы Турурок не слышал.

— Ну, ты чего, голова, трусу празднуешь? — безобидно посмеялся Чемерицын. — Вид у тебя сокрушенный очень.

— Насчет бога думаю, — смущенно потупился Викул. — Ты поперек начальства идешь, Леонтий, а бог как?

Чемерицын досадливо крякнул, Митька, услышав, безрассудно хохотнул.

— Молчи! — освирепел Викул. — По сопатке смажу! Я на своей голове шапку ношу, вот какое дело, существенную формовку жизни определить хочу. Говори, Леонтий: на которой стороне бог стоит?

— На нашей стороне встречать не приходилось, Викул, прямо тебе говорю, — признался Чемерицын.

Помолчал, опасаясь произнести сокрушающее слово.

Викул подшагнул ближе, раздумчиво теребя у локтя блузы косо пришитую заплаточку (старая Ниловна сослепу пристебала).

— Значит, как же? — спросил он, и голос его заиграл по верхам. — Значит, лю нашей улице богу пути нет? — Оторвал заплаточку. — Так, что ли, говорю я?

— Так, — согласился Чемерицын. — Иди. Видишь, вон Карпуха прибли-

жается. Да шапку-то перемени, чудака, в голове свежее будет...

Кричали предутренние петухи, ветер перестал озоровать. Пропела в модельной дисковая пила, вгрызаясь в сосновый брус, и, перехватив его пахучее тело, смолкла.

Ученик слесарного цеха Васька Наживин, шугаевского набора жертва, прикусывая губы, глядел в темный угол модельной. Чахлый огонек керосиновой лампы сочился через решетчатые штабеля брусьев и заготовок, тонкие стрелки света лежали в лапчатых узорах дафнишной побелки.

Назови мне такую обитель,  
Я такого угла не видал,  
Где бы сеятель твой и хранитель,  
Где бы русский мужик не стонал.

Васька Наживин наблюдал за размашистыми руками студента Рорбаха и все удивлялся, как это могли уместиться во впалой рорбаховой груди такие высокие переливы:

Стонет он по полям, по дорогам,  
Стонет он по тюрьмам, по острогам,  
В рудниках, на железной цепи...

Потерявший веселую улыбочку, сидел в уголке Чемерицын. Тербил истасканную шапчонку свою Лепихин Викул: вытащит клочок грязной ваты, покрутит в проворных пальцах и опять замрет в недвижимом внимании к чтецу, как будто молитву слушает, которая обещает исцеление.

Митька Турурок стоит в дозоре, на лестнице; левый глаз он заводит так, чтобы видеть Рорбаха, правый косит в пролет, и кажется — глаз этот, вопреки законам естества, прислушивается.

В тени за верстаком Степан Побыткин; он выпил и одолевает Ваську Наживина разговорами.

— Ты чего понимать можешь? Тут дело мозговитое, а ты что — неосознанный сверчок.

— Я, Степан Веденеч, книжки читал, в которых говорится... — почти тельным шопотком отвечает Наживин.

— А что говорится? Ну-ка?

— Про всю несогласную жизнь говорится, Степан Веденеч.

— Так-с, хорошо... — насмешливо мыгчит Побыткин. — Теперь скажи: почему ты такой заглотишь, живешь и не растешь?

Васька Наживин отодвигается. Он следит за блуждающей стрелкой света. Заря ползла подобно студенистой плесени. Васька видел на стене широкую гриву леса. Он весь трепещет, этот лес, весело сбегая в овраг. В овраге заблудился светлый-пресветлый ручеек, и, как длинные ресницы, у ручья камышинки.

Прекрасна и печальна васькина родина.

... Выдь на Волгу, чей стон раздается  
Над великою русской рекой...

Васька не выдержал рорбаховой декламации, он сбегает в механическую. Передаточные ремни шипят, точно подползающие змеи, бешено крутятся под самым потолком блестящие шкивы, урчат огромные шестерни, и гул, немолчный, высокий и дробный, падая на слабую васькину голову, мутит сознание. Ученик за шесть месяцев пребывания на заводе все еще не привык к механизмам; он обходит станки, опасаясь зубчатых шестерен, сверкающих маховиков машин. Штоки, цилиндры, кривошипы, казалось, только и ждали того случая, когда Васька зазевается, чтобы схватить его неокрепшее тело, подбросить к потолку или шваркнуть о стену.

Мастер Наживину угодил злой (или так с непривычки было), встретил насмешливо:

— Ты чего рот-то опять распялил? Потерял что, или воровьев ловишь? — Поглядел искоса, сунул в руки зубило. — Поди, закали. Учить нужно тебя, губошлепа!

В раздумчивый час этот (чтение Рорбаха и робкое приближение утра) Васька ничего не видел и, пожалуй, не замечал; он принял из рук мастера ехидную пробу, свинцовое зубило, и был горд, что ему старый слесарь поручает закалку инструмента.

Опытные ученики за соседними тискарами таинственно переглядывались, слесаря многозначительно дули в усы. Привыкшие к машинам, они брали и челове-

ка наизнос: «Ежели обтерпится, значит, крепко парень. Не обтерпится — каюк ему», — рассуждали мастеровые и совсем не любопытствовали насчет ребячьей души.

Где-то хохотнули неудержимо высоко, и прозвучал отчетливый шлепок, будто ударила кто по шиберной плите.

Васька сунул зубило в горни.

«Когда я был слободный мальчик...» — мурлыкал в отдалении сверловщик Семеныч.

«Белика штука — закалить зубило! — думает Наживин, расшвыривая клещами жар углей. — Если без отпуску, тогда, значит, сразу окунул в воду, и готово».

Зубила нет, оно исчезло. Васька оглядывается. Неудержимый гогот учеников и слесарей заставили его покраснеть. Несмышлёная голова не может сообразить.

— Хм! — сердито ухмыляется подошедший слесарь. — Куды же ты, к матери в штаны, годишься? И что мне с таким учеником делать, ума не приложу! — Угрожающая воркотня эта предвещала неведомую, но зловещую (как и предчувствовал Васька) развязку. Слесарь усиленно крутил усы, вызывая огорчение на лицо свое. — Ну, значит, так: закалил и запалил, выходит дело? (Голос забавника приобретал глубокие и необычайно нежные тона.) Пойди-ка ты, Вася, к Семенычу, попроси волосяную дрель.

«Слава тебе, царица небесная, сошло!» — вспорхнула радостная васькина мысль.

Старый сверловщик был туговат на уши или притворялся глухим; он тряс бородой, переспрашивал каждое слово по многу раз. Лицо у Семеныча далекое, глаза тихие.

— Ты чего, скворчик? А? Как ты говоришь?

— Дрель, Семеныч.

— Не слышу, подь поближе...

— Дрель волосяную! — зевал Васька в склоненное стариково ухо.

— А-а... Сейчас, сейчас...

Семеныч раздумчиво теребил бороду, припоминал, куда могла запропасться «волосяная» дрель, заглянул в ин-

струментальный ящик, обошел раза два станок свой.

Старик играл, как подлинный актер, он сутился, вздыхал и охал, — он отлично знал, что в эту «игровую» минуту за ним следят глаза многочисленных зрителей, и Семеныч старался во-всю, чтобы позабавить приятелей.

Томясь, Васька ходил за ним по пятам. Игра достигла высшего напряжения, игру надо было кончать. Семеныч хлопнул по лысой голове своей.

— Ах ты, память моя курячья! Я дрель ишу, а дрель вон она, меня ищет.

Семеныч указывал под верстак, тыкая пальцем в невидимый для Наживина предмет.

— Ты нагнись, — советовал старик, — нагнись, вон она, вон...

Васька встал на карачки, пытаясь разглядеть проклятую «волосяную дрель».

Семеныч налетел ястребом, удивительны были его ловкость и стремительность; он схватил ученика за волосы, около затылка, перекрутив, тянул жертву из-под верстака рывками...

Воркотливо бормотали шестерни стайков, «надрывали животики» зрители. Большая, в богатом окладе, икона, приобретенная на средства самих рабочих, тупо глядела со стены в мастерскую; длинный язычок неугасимой лампы пошевеливал тонким жалом своим.

У Васьки Наживина есть свое прошлое, совсем коротенькое, огромное только в мечтаниях, когда недолгие годы казались еще не отзвучавшей песней, которую хотелось пропеть любимому незаржавевшему сердцу.

Счет мелкий осенний дождь, носится оголтелый ветер, оплакивая небо и нищую к осени природу.

Мимо Хапиловских прудов, обходяширокотые лужи, идет женщина, а за ней, зябко передергивая плечами, шагает сын.

— Ты, Васютка, не пужайся больно, — говорит женщина, — поди-ка, не сядят нас. Попросим, как надо, поклонимся, — глядишь, бог поможет, все и обойдется. Только ты уж смотри, соблюдай себя: которые постарше, смир-

нее себя перед ними держи. Покорную голову не секут, не рубят...

Она припоминает к случаю созданные временем пословицы и поговорки. И страна, и правители, и столетия уложились в них: «С сильным не борись, с богатым не судись», «Ласковое теляти двух маток сосет», «Будь тише воды, ниже травы».

К воротам завода Ланге пришли чуть свет, долго стояли под неприветливой крышей проходной, откуда не явился, коронный установленному правилу, Карп Полуденов. Оглядел парня, глазам не поверил, попытал на-ощупь.

— Заморыш, — определил он, прочел записочку мастера Мямлина, умиловивился. — Проходи, — сказал, — у нас тут любого образуют.

Всклинула мать за дверью проходной, скуксилася Васька, и короткое прошлое разочарованно отошло, уступив место настоящему.

Мурлычет сверловщик Семеньч песенку, как будто никакого «представленья» и не было вовсе. Стучат молотки слесарей, и повизгивают напильники. Перед иконой, управляя лампаду, стоит все тот же Карп Полуденов.

## XVII

Самым примечательным и памятным в жизни Митьки Турурка было свадебное событие, когда развеселый токарь Чемерицын, не посвятив ученика в тайное свое намерение, вылез однажды из коморки прямо через окно и направился к флигельку птицелова Алфея, прихватив с собой гитару и корзиночку с закуской и выпивкой, приготовленной для пиршества загодя.

В сенях флигелька беседовал с птицами Алфей. Шли по земле солнцеглазые майские дни, был самый ход соловьям и малиновкам, по этому случаю Алфей находился в высоком вдохновенном настроении, и пустяки будничной жизни не омрачали возвышенной души птицелова. Митька видел, с какой небрежной щедростью расточал этот человек свои праздничные улыбки и, не принимая в эти дни хмельного (нежная птица

не переносит водочного перегара), был пьян единственно от птичьих разговоров.

— Ты чего это, — встретил он Чемерицына, — вроде в разгульный поход собрался?

— Так точно, — признался токарь, — в длительный поход с приключениями. — Прижал гриф гитары к сердцу, откинул голову. — Пришел к тебе, многоважаемый Алфей Петрович, за благословением.

Шутливо-торжественный тон Чемерицына был рассчитан на то, чтобы скрыть свое женитьбенное смущение. В последний момент он еще раздумывал: а не лучше ли написать Алевтине обо всем, и о любви своей и о Карпuxe, который все еще жил в сознании Чемерицына, как некий призрак прошедших оговочений.

Письмо после длительного труда было оставлено. Любовь росла, не подчиняясь рассудку, и часто ослепляла, точно жгучая слеза, оброненная утренним солнцем. Тонкое письменное сочинение любой своей строкой забегало в несуразное славословие, приняжавшее любовь.

— Благословить я могу, отчего не благословить? — веселился Алфей. — Накни голову, благословлю оватым кулаком по окаянной шее.

Чемерицын тряхнул корзиночкой, хранились в ней все выдумки предстоящего пиршества и наивные подарки взросло-го своей возлюбленной: коробка мармеладу, прынелевые туфли и печатка духовитого мыла.

— Я по серьезному делу, Алфей, — сказал Чемерицын, роняя гитару, которая неуместным звоном своим мешала разговорному излианию.

— Ну, ежели по сурьезному, тогда пойдем с тобой в тень природы, — предложил Алфей, направляясь под сухорукий тополек.

Расположившись под тополем, Чемерицын нечаянно приоткрыл корзинку, Алфей, заметив веселоголовые бутылки, тотчас же засуетился, вызвал Алевтину. И сразу же, после двух выпитых рюмок, объяснилось жениховское настроение токаря. Но лишь только появилась

Алевтина, беседа изменилась, и Чемерицын, ни к селу ни к городу, начал рассказывать о русско-турецкой войне, о книжечке «Хитрая механика» и еще о чем-то, чего сам объяснить не пытался даже, чувствуя непреодолимое желание как можно дольше скрыть свое намерение.

— И вот, с одной стороны, в самом небе торчат снеговые Кавказские горы, — рассказывал Чемерицын, изображая рукой над кривоногим столом горы, с другой — опнедышащие равнины, и по этим равнинам, — ты пойми, Алфей, — движется войско, русские мужички-лапотники. Свищут пули, и льется кровь... Чья кровь, Алфей Петрович? Наша кровь, ты пойми: наша собственная кровь!

— Напев жизни, — определил Алфей, извлекая прунелевые туфли из корзинки. — Это что же? — спросил он. — Для похода или для дому?

— Для Алевтины! — выпалил Митька Турурок, наблюдавший из окна за сценой чемерицына сватовства. — Вся корзинка для Алевтины.

— Ты чего это вдруг зажмурился? — обидчиво обратился Алфей к смущенному токарю.

Зажваченный врасплох, Чемерицын откинулся к стене флигелька, обычная его характеру решимость была подвержена сейчас почти детской застенчивости; он позабыл рассердиться на Митьку за неуместное вмешательство и действительно зажмурился, опасаясь того, что кто-то непременно будет смеяться над отчетливой его нежностью к Алевтине. Будучи храбрым по натуре человеком, он робел от одной только мысли, что невинная алфеева душа окупится в студеную яму недоверия.

Алфей тем временем успел уже потрошить корзиночку, загроздив стол неожиданными для птицелова предметами. Около туфля лежал теперь отрез батиста невиннейшего оттенка («для подарка невесте» — так и в магазине спрошено было), коробка с искусственными цветами и печатка мыла красовались тут же, в середине развала подарочных забав, и, как бы защищая роскошное это приобретение выстроилась под рукой

Алфея линия бутылок и свертков с закусками. Корзиночка оказалась довольно объемистой и почти целиком вмещала в утробе своей свадебные замыслы Чемерицына.

Перекинулись в клетках алфеевой охоты малиновки, настороженно вытянулся у окна Митька Турурок, солнечные зайчики, продравшись сквозь ветви тополя, прыгали по стене. Алевтина шла от крыльца к столу неуверенно, как ходят только годовалые дети; так она встретила на пути своем согнутую спину отца.

Алфей учуял и обернулся.

— Как же, Тиночка, это он что же? — кивнул на Чемерицына. — А ежели он в игру играет, над судьбой твоей посмеяться хочет?

Чемерицын дернулся, отчетливые глаза его побелели.

— Скажи, Алевтина, сама скажи ему, — сипло выговорил, еще не уверенный в защите.

— Нет, он совсем другой, — тихо обронила Алевтина. — Я тебе правду говорю, отец.

— Сначала, Тиночка, каждое сердце у человека правдой живет, — напомнил птицелов, — потом сморщится, и конец, будто дымком любовь ту из сердца выкурил кто, очень уж много видимых соблазнов произрастает вокруг... тогда начинает человек озираться по сторонам и себя неподобными словами поносить за сердечную свою поспешность.

Теперь глядел Алфей как-то по-особому, вкось, будто удивляясь пойманной случайно мысли, которая была способна объяснить все происходящее в жизни и открыть тайный источник, определяющий поведение человека. Когда-то Карпуха Полуденов пленил алфеево сердце сиротливостью своей и смирением, и хотя впоследствии обманул его, но все-таки был понятнее Чемерицына.

— А ведь ты, Алфей, опустошился очень, — заметил осмелевший вдруг токарь, — твой мир, кажется мне, мошенниками заселен.

— По писанию так и выходит, — напомнил птицелов. — По мошенству змия и на землю все угодили. Читал, поди-ка, про змия? Человек завсегда

обмануться может. Алевтину я, может, без спора тебе вручу, только спервоначалу мы должны с тобой выпить за слияние безобманного приятельства. — Налил рюмки вином, пододвинул самую крохотную дочери своей. — Выпей и ты, Алевтина, за судьбу свою, авось, она и посветлеет, судьба твоя...

Покинутое лицо женщины подернулось румянцем, когда Чемерицын поднял рюмку и, подойдя к Алевтине, сказал совсем уже окрепшим голосом:

— Выпьем за судьбу.

Кивнул Митке:

— Ходи сюда, Турурок, выпей красенького со мной. Покличь Викула со Степаном, сбегай за Рорбахом, — будем нынче пить за нашу судьбу...

И часу не прошло, как уже сидели за столом неразлучимые друзья, и больше всех радовался пиршеству злой слесарек Побыткин.

— Люблю, — шумел он, — люблю неприкосновенную любовь! Почему ты молчишь, Алевтина? Я все мои слова в расход пустил, твоей любви не добился.

— Я тебя люблю, Степа, — отозвалась Алевтина, и глаза ее широким разливом своим захватили слесарька, точно щепку, брошенную ветром на широкогрудое озеро. — Люблю, — повторила Алевтина, — за то, что ты любил меня.

— Между прочим, должен я сказать, — вмешался Рорбах, — на свете и любовь, и зло существуют по закону самой природы.

— Понёс! — снисходительно заметил Чемерицын. — У тебя душа на все луговицы расстогнута, Сема, — ты всякую всячину признаешь на законном основании.

Рорбах растерянно улыбнулся. Перед ним стояла Алевтина, во всей, чуть тронутой суровым дуновением ветра, красоте, буйной, если бы не тишина глаз этой женщины, если бы не легкость ее движений, почти надземных. Рорбах принимал Алевтину как некое видение, которое непременно должно исчезнуть при первом громко произнесенном слове. Он позабыл ответить Чемерицыну. Брошенная только на плечи студенческая его тужурка сползла сама собой и

упала у ног Алевтины. Рорбах очутился в одной широкой русской рубашке. Узкоплечий и размашистый, он как будто намеревался взлететь над столом, чтобы сверху грянуть торжественной речью в честь возлюбленных; и, действительно, слова его были неудержимы.

— Природа часто соединяет сильное и слабое воедино для создания нового бида, — заговорил он, попирая распластанную на земле тужурку. — Так легкая пыльца оплодотворяет бесплодную яблоню. Тут все закономерно, и действует естественный подбор, и совсем глупо смеяться, Викул. Я благословляю тот счастливый случай, который свел Леонтия Чемерицына и Алевтину.

— Подыми тужурку, чудак, — смеялся Викул, — и сядь, сделай милость. Чего ты размахался? Выпить надо. Слова не вино, пьяным не будешь.

— Выпить? — удивился Рорбах. — То-есть, я, по-твоему, должен выпить за Алевтину? Ха, ты сам чудак, Викул. У меня, заметь себе, совсем худая грудь, я не могу выпить, я могу сказать хорошее слово.

— Помолчи, добрый человек, — вмешался Алфей, — это я должен сказать хорошее слово. Ты, действительно, сядь и не мельтеши. Я тут отец, и, значит, мое должно быть благословение или вроде поученье, потому как единородную дочь мою Тиночку от сердца отрываю навечно.

— Ты будешь рассказывать? — догадался Побыткин.

— Да, я хочу рассказывать, — сказал Алфей, — у меня своих слов нет. Только вы не бойтесь, все будет как есть правильно. Сядь, Тиночка, рядом с Леонтием, ежели твоя судьба с ним, может, от вас всякое добро по земле пойдет. И ты, Викул, обожди пить. Что вы думаете насчет сказынья? Все к жизни налажено, будто зубья у шестерен, вот я и верю.

— Между прочим, интересно, — не удержался Рорбах, — и прежде всего интересно самое сражение, бой за существование.

— Я об другом, — предупредил Алфей. — Жили два брата на самом краю света, жили, как бог послал, у самых

высоких гор, которые небо подпирают. Травка растет — братья травку сѣдят, жолудь упадет — и тот скушают. Вот один раз вошли они на самую высокую гору, поверх которой только одна правда живет, и увидели братья с той высоты большой город. Стоял город за широкими степями, за непроходимыми болотами...

Алфей остановился.

— Теперь налейте мне немножко вина, — попросил он. — Может, так и не было, как я рассказываю, а может, очень просто, и было... Помануло братьев в город этот, поглядели они друг на друга и отправились в путь-дорогу в обольстительный вертоград. Долго шли они, за дорогу чего только не было: и лютый зверь нападал, и гнус поедом ел, и в болотах вязли, и от страстей всяких отбивались, ну все-таки достигнули, когда город перед ними в яве очутился. Солнце проглянуло, осветило городские высокие хоромы, каких братья от роду не видывали. Вдруг идет на них непутящая девка одна, нос пипочкой, глаза вразбег. Братья никогда женского полу не видели, вот старшой и говорит: «Ах, какая распрекрасная красавица!» А другой брат совсем обомлел, слова пододящего выговорить не может, остановил глаза, будто истукан, руки у груди держит, сердца унять не может от великой радости. Тут, значит, подхватили братья девицу под белы ее руки и повели в город с великой славой и ликованием. А как вошли они в просторные улицы, начали оглядываться и увидели ангельского подобия девиц, с глазами, нечистью душевной не испорченными. Разгневались тогда братья: кого, дескать, привели с собой, кого прославляли? Стали они отбиваться от курноски своей, младшего даже с души своротило, — до того ему тошно стало. Отбиваются они этак-то, только видят вдруг: подхватил курноску городской люд, стал на руках качать, стал славить и перевозносить, будто и в сам-деле какую красавицу. Диву дались братья. «Что же это, — спрашивают, — такое? Как случиться могло?..» Много лет прошло, обжились братья в городе, богатеть стали не по дням, а по часам. И все бы

хорошо было, только одно горе у них: так и не могли они вовек от курноски, непутящей девки, отбиться.

Викул смеялся, клокоча одним прокопченным горлом и почти не раскрывая рта. Лязгнув напоследок зубами, сказал сумрачно, обращаясь почему-то к Рорбаху:

— Слышал, господин студент, ушиб ведь Алфей Леонтия-то. Что скажешь, куда пойдешь? Вот и думай, какой тут умысел.

— Ты погоди, Викул, — погрозился Алфей, — погоди раз'яснение высказывать. Придет время, суть сама об'явится.

— Суть эту я давно об'яснил и к себе приблизил, ты не беспокойся, Алфей Петрович, — заговорил Чемерицын, привлекая Алевтину и усаживая рядом. — Сказкой не пугай. Я с Алевтиной далеко пойду, до конца земного путешествия. — Взглянул на Рорбаха. — Об чем размышляешь, Сема?

— Замечательная природа! — восторгнулся Рорбах. — Отец мой, Лев Соломонович, крымской кампании солдат, тоже любит рассказы рассказывать. «Семен, — говорит он, — почему ты сидишь, как сидень, и читаешь книжки, когда нужно работать головой, чтобы хорошо жить? Ты знаешь, Семен, когда Моисей взошел на гору Синай, так он совсем-таки не знал грамоте и все же большую должность имел у бога и даже написал заповеди...»

Рорбах выпил молча и в полном одиночестве.

— А еще отказывался: «Не могу выпить!» — удивился Викул.

— Это я по забывчивости, — улыбнулся Рорбах.

— Ну, и что же, как ты ответил своему папаше? — полюбопытствовал Чемерицын. — Ты о природе говорил. Чем замечательна твоя природа, Сема?

— Я ответил, — продолжал Рорбах: — «Оставь, папаша, заповеди Моисея, теперь нужны совсем другие». — «Какие другие? — закричал отец. — Что ты там задумываешь, резиновая голова!» Тогда я подхожу ближе, наклоняюсь и кричу в папашино ухо: «Да здравствует братство и равенство!»

— Здорово! Молодец, Семен! — похвалил Рорбах Побыткин. — Хо-хо! Да здравствует братство и равенство!

— Тише ты! — прикрикнул Чемерицын.

— Моя природа замечательна тем, — заключил Рорбах, — что новое поколение родит новые мысли. — Улыбнулся птицелову. — Вы, может, думаете, Алфей Петрович, ваша сказка закон? Устарела ваша сказка.

## XVIII

Митька Турурок вышел на свою линию и, выйдя, оглянулся. Кораблик на той картинке, что купил когда-то брат Викул, потерял паруса, море вылиняло, и качалось судно в беспредельном болоте, которое не имело игры. Отрезвев, Митька подсчитал мечтательные годы свои. Лицо, тронутое ржавчиной и печалью, ничего не сохранило, и колкие глаза остановились. «Господи, скоро ли наступит праздник?»

В кузнице (здесь заправлял Митька резцы) ослепительно брызжет нагретое до взвара железо, жарко дышат духовые печи (сколько лет!). Главный инженер, Яков Генрихович Ланге, поставил ногу на широкий пень под наковальней, на колено положил записную книжку. Здесь перечислено все в строгом порядке: «Долбежные станки, горизонтально-сверлильные, фрезерные, лесопильные рамы, деревообделочные станки, насосы поршневые и приводные».

Вещественное доказательство величия и славы. И да здравствует оставшиеся в живых заводчики, братья Ланге!

Главному инженеру, Якову Ланге, было чем гордиться, и первый человек, который разделял с ним эту гордость, как ни странно, отстоял далеко от заводских интересов, но именно этому человеку Яков Ланге рассказывал обо всем, что относилось к заводу, к доходам и расходам производства, все соображения насчет будущего, и, возможно, рассказывал также и о рабочих, и Митька Турурок был упомянут им, и мало ли о чем передавал он, лишь бы занять внимание, выставить себя героем, а может, мучеником, и уж во всяком случае необыкновенным среди обыкновенных.

В пору вечерней тишины, когда ложились в перекошенные улочки окраины отсыревшие тени, Яков Ланге, пользуясь случайно выпавшим на его долю праздным часом, мчался на лихаче к женщине, в присутствии которой вдруг приседала его актерская гордость и теплели глаза человеческим вниманием.

Лидия Вячеславовна — единственная, чьи руки играли его еще не изношенной бородой, чьи капризы приводили ученого инженера в несвойственное ему состояние растерянности, а легкие ласки ее заставляли болтать мальчишеский вздор, казавшийся изысканным остроумием. В небольшой квартирке (любовь Якова Ланге пугалась простора), совершенно скрытой, с ковриками на полу и расшитыми подушечками на диванах, любил гордый инженер поливать чай с коньяком и, хмеля, слушать еле уловимый шелест ночи.

Лидия Вячеславовна в наивной распахенке была рядом и, конечно же, лепетала что-нибудь такое, что создавало настроение и побуждало сердце к щедрости. Любовь может быть очень хлопотливой или спокойной, как бы исцеляющей душевные раны, очень дорогой или дешевой. Яков Генрихович целовал не тронутые работой руки своей любовницы, он болтал несусветную чепуху о любви своей, о добром сердце и даже упоминал о правде и справедливости.

Лидия Вячеславовна звонко смеялась, и смех ее не оскорблял слуха; она подбирала для гостя ласковые прозвища, называя строгого инженера «Дурашкой» и «Чижом».

Чиж, Яков Ланге, продолжал счастливо болтать (чижи, по алфеевым рассказам, самая болтливая птица), Дурашка вгтаскивал туго набитый кредитками бумажник...

В записной книжке Якова Ланге перечислено все в строгом порядке, и расходы на любовь имеют свою особую графу житейского счастья: «Месяц август. Л. В. 200 руб.»

Шел день, с лицом, уже стертым предосенним дыханием ветров, и не оттого ли еще покорнее гнулись тяжелые спины рабочих, как бы ощущая тяжесть предстоящей безработицы?

Жмурясь на яростный огонь духовых печей, Яков Ланге, уходя, думает о том, что расход на любовь будет полностью покрыт одними сварщиками. Удовлетворенный неиссякаемым источником личного благополучия, он, выйдя за ворота кузницы, улыбается задернутому облаками небу и совсем не слышит разговора.

— Будет конец существу, Мирон Иванович, или не будет?

— Беспременно будет, — утверждал сварщик Мирон-Кулявый, — потому терпеть больше могуты нет. Я всего-то на моей жизни, ежели сосчитать, тридцать лет спину ломаю, ну, а все-таки надеюсь...

— Ага, значит, все-таки будет. Ну, тогда уеду я куда-нибудь подальше от завода, пропадай он пропадом! Обязательно уеду, буду жить в поле. У меня, Иваныч, душа в копоти закоптилась, я, Иваныч, может, со слезой работаю...

Митька Турурок заправлял фасонные резцы; он переходил от горна к горну, и везде встречали его нелюдимые в работе кузнецы, и гуляла по цеху торжествующая перебранка, удачно заменявшая обычную человеческую речь.

— Эй, храпоидолы, аляры сволочи, кто взял гладилку? Сознавайся, морду расшибу!

— Х-хо! У кого мишкина гладилка?

— Отдайте мишкину гладилку!

— Трешницу за мишкину гладилку!

— Сыпь пятишну!

— Кто больше? Эй, Долдон, эй, Миша, — вон она, твоя гладилка!

Неожиданно матерщинная переключка замирала, в кузнице появлялся Карпуха Полуденов. Подвигался он крадучись, как будто бы ощупывал ногами землю, оберегая живот выброшенными вперед руками; так, не глядя под ноги, наткался Полуденос на Мишку Долдона. Разлихой этот кузнец, довольный тем, что возвратили ему пропавшую гладилку, наваривал восьмигранные головки к дюймовым болтам.

Бей, Акютка, с левака  
У царева кабака...

— Карпу Серафимычу! Трете-мнете, как живете?

— Опять выпил? — спрашивал Полуденов. — Весьма прискорбно и, увы, неразумно, Михаил Веденеч. Предупреждаю и печалюсь за вашу судьбу...

Он остановился, следя за проворными руками кузнеца.

— Дозвольте узнать, Михаил Веденеч, порыв чувств сердца вашего, по какой причине куете вы восемь граней, когда положено шесть?

— Тебя уважаю, Карп Серафимыч, для твоей милости две грани прибавил. Жалко мне, что ли, для хорошего человека!

Мишка Долдон перекошил рот, — так хотел он выразить доверенному братьев Ланге свою ехидную почтительность.

— Значит, так? — спрашивает Полуденов. — Из уважения, значит?

— Значит, этак, — отвечает Мишка Долдон.

— Не даром ты Долдон, — говорит Полуденов.

— А ты хозяйский подгузник, — отвечает кузнец.

— Мы своим положением довольны, — кичится Полуденов.

— Зато мы недовольны, — режет кузнец.

— Тогда на основании изложенного закона мы с превеликим удовольствием можем даровать вам освобождение, господин хороший! — грозит Карпуха. — Написанные правила читали-с?

— Отлипни ты, христа ради!

— Отлипну. Однако и между тем сообщить обязан вышестоящему начальству.

Придерживая начинающий полнеть живот, Карпуха проследовал дальше, внимательно оглядывая лица рабочих, отмечая каждое их движение.

— Ну и вот, друг мой перепелесовый, каюк компания мне! — пожаловался Долдон подошедшему Митьке Лепихину. — Болты я для сборочной готовлю. Теперь наш глаз-ватерпас, хозяйский шептун Карпуха, в сборочную отправился. Уж я чувствую, Бузун в пузырь ползет.

— Уходи, Миша, — посоветовал Турурок. — Бузун раз'ярится, беда будет.

— Ни черта! — храбрится Долдон. — Пошумит и остынет. — Кузнец избра-

зил молотком трель по блестящей лысине наковальни. — «Эх, сапожки мои, лаком крытые, я на лапти променял на разбитые!..» Приходи, Митя, к Халявину, партийку сгоняем. А Бузун что, — воздушный страх, и больше ничего. И притом, ежели я ему, чорту, святцы прочитаю, он у меня сразу дух выпустит. Я не боюсь, что у него руки длинные. — Долдон храбрился, покуда Митька Турурок заправлял резцы, и вдруг сразу ослабел, когда в воротах кузницы, оглаживая сивую свою бороду, показался мастер сборочной, Тарас Бузун. Шел он рассеянной походкой, как будто человек, не имея определенной цели, случайно забрел в шумливый этот цех; тонкие глаза его выражали молитвенную скорбь и тихое недоумение.

Митька Турурок предупреждающе свистнул, метнувшись к воротам.

«А может, и ничего, и все пройдет?»

Митька видит тусклое небо. Казалось, лохматые облака никогда не вытирали его до настоящей светлоты, оттого и не водились на земле веселые праздники, Митька не помнит их. Восемь лет ходит он на завод братьев Ланге. Сначала была гордость, что вот он уже настоящий, взрослый человек, и ему чудилось, будто на него все глядят и удивляются: «Ах, какой замечательный парень, — приходи, кума, любоваться!» Потом первоначальная гордость захлебнулась в тяжелой усталости. По утрам голосили гудки, холодная, пропитанная грязью и керосином, блуза лоснилась, Митька натягивал ее, точно короб из прокаленного морозом кровельного железа. Каждую неделю он отсчитывал дни, дожидаясь субботы, когда можно было пойти в баню и потом спать до помрачения ума. «Ох уж, нет уж, наказал меня господь, — плакалась Праксovia Ниловна, — из пушек пали, — не разбудишь». Мать соблазняла Митьку кухонными ухищрениями, жареной в говяжьей сале картошкой, пирожками с ливерком и настоящим, по случаю воскресного дня, чаем. Митька спал, безучастный ко всему. Снилось ему давно позабытые, заброшенные сказки, в которых легкокрылые корабли заходили в полноводную будто бы Язу.

Ну, хорошо (или нехорошо?), теперь ничего этого уже нет. Митька Турурок поднимается во-время и в будни, и в праздник, то-есть в пятом часу утра, все стало обычным, и митькины глаза, точно кухонные оконца, тусклы. Проснувшись, он жует пирожки «с собачьей радостью» (с ливерком) и уж не осуждает брата Викула, выпивающего очередную козушку водки.

«Без иерусалимской слезы, Митюха, наша пицца в горле застревает...»

Турурок останавливается среди двора. В котельной дробно стучат молотки, жарко дышит «компаунд» в машинном отделении, и трубы, как черные свечи, оплывают жирной копотью. На крыше механической сидит шершавая и давно уж равнодушная ко всему ворона. Августовский вечер прикрыл тусклый лим свой пропыленными облаками, и сильный заводский гудок сопровождает его почти незамедлительный уход.

Митька Турурок встретил Долдона в бильярдной халявинского трактира. Бильярдные любители и артисты из халявинского «кильдима» были все налицо. Сюда заглядывали московские жучки, здесь чаще всего встречались неципаные фрайеры, изредка приезжали «знаменитости» пошуршать легкой деньгой, повелчаться.

Почетным гостем бывал тут Савоська Варган, в дни пиршества своего Севастьян Корнеевич, ухверт (держи, а то вырвись!). Славен был Савоська несоответственным видом своим и поведением. С выглаженной как бы физиономией, в густом окладе аккуратно подстриженной бороды, поскрипывая козловыми сапожками, распахнув суконную свою поддевочку, Савоська Варган, отмахивая платочком табачный дым, проходил на свое, облюбованное у окна место. Убежденный чистоплюй и лодырь, он отличался насмешливым умом своим.

— Работничкам наше уважение, — приветствовал он знакомых мастеровых, — с любовью низкий поклон! Трудитесь?

— Трудимся, Севастьян Корнееч.

— Ну, трудитесь, бог труды любит.

Подзывал полового:

— Подойди, вьюноша, погляди на меня, — чего я хочу, по-твоему?

— Стерлядочку разварную, Севастьян Корнейч.

— Хорошо, — соглашался Варган. — Угадывай дальше.

— Рябиновой-с?

— Смекалист, вьюноша, — одобрял гость. — Теперь спрошу: могу ли я угощаться в единственном числе?

— Никак нет, не можете-с.

— То-то же!

Варган откидывался к спинке стула, выбрасывал перед собой руки.

— Веди меня, вьюноша, в таком разе в залу, к добрым друзьям, божьим труженикам.

И его вели под лучами восхищенных и доброжелательных улыбок посетителей гостеприимного халявинского трактира. Варган садился во главе стола, подобно хозяину, который решил наградить своей милостью ближних и дальних, друзей и знакомых.

Из кухни неслись раздражающие ароматы горячих закусок, «порхали» полные. Перед Варганом блистательным строем устанавливались бутылки с вином (водкой Варган никогда не угощал, выдерживая «благородную линию»). Пригубив раза два рябиновой, он хмелел единственно от веселой суеты и дружелюбных разговоров. Войдя «в градус», увлажнял глаза свои слезами высоких чувств.

— Други мои милые, пчелки медоносные, — обращался он к пирующим, — давайте споем для слияния душ! Ну, кто начинает? — спрашивал Варган и, не дожидаясь заводицы, зачинал сам.

Голос у бильярдного жучка был высокий, с чувствительной хрипотцой.

Ты воспой-воспой, жаворбничек,  
На крутой горе, на проталинке.  
Ты утешь-ка, утешь меня, молодец,  
Меня, молодец, во неволушке,  
Во неволушке, в тюрьме каменной,  
За теми дверьми за дубовыми,  
За теми цепьми за железными.  
Напишу письмо к своему батюшке,  
К своему батюшке, к своему отцу,  
Не пером напишу, не чернилами.  
Напишу письмо горячми слезми.  
Отец с матерью отступились:  
«Как у нас в роду воров не было,  
Ни воров у нас, ни разбойников...»

Песнь эта сопровождалась тонким звоном рюмок и отчетливым щелканьем шаров в бильярдной. Тогда Варган оставлял пируество, он уходил в бильярдную. Шел теперь не степенный Севастьян Корнейч, шел лихой бильярдист Савоська Варган. Выбросив на зеленый стол красненькую, Варган объявлял:

— Двадцать играных любому. Кто желает проверить свое счастье, выходи!

Взлетала щегольская поддевочка игрока и падала на руки расторопного маркера.

Выходил Мишка Долдон.

— Давай проверим счастье, Варган.

— Кто такой?

— Кузнец от роду.

— Прибавляю на кузнецово счастье еще пять очков, пользуйся моей добротой.

— Не хочу пользоваться, — отвечал кузнец.

— А-а! — удивленно произносил Варган. — Была бы честь предложена.

И вот они начинали игру.

Савоська Варган весел непомерно, он играет с некоторой щегольской небрежностью.

— Почет игроку! — насмешливо говорит Варган, тщательно натирая кий мелком.

— Не подгадь, Миша, — шепчет Митька Турурок.

Кузнец торопливо сует Митьке рублевку:

— Закажи кошушку...

Сильным ударом разбивает шары.

— Эх, была не была, повидалась...

Биток прорезает пирамидку и, прорезав, плотно прижимается к борту.

«Гляжу я с тоскою на чернуюшаль» — напевает Варган, следя за партнером.

— Ты со мной не озоруй, пчелка трудовая, — предупреждает он, — в игре я никому спуску не даю: ни матери, ни отцу, ни доброму молодцу.

Обойдя стол, Варган озирает шары. Говорит тихо и почти ласково:

— Спервоначалу для игры попробую взять дуплетиком десяточку.

Бьет Варган нежно, каким-то особым, напльывающим ударом. В бильярдной устанавливается чуткая тишина.

— Ярости у Варгаши нет, — шепчет кто-то, когда биток, ударив по намеченной десятке, возвращается в исходное положение.

— Играю шара в середину, — мрачно объявляет Мишка Долдон, и не сыгранная Савоськой десятка с удивительной на «строгом» бильярде точностью падает в лузу.

«... И хладную душу терзает печаль» — допевает Варган.

— Други мои милые, на кого же это я напоролся? — тонко хвалит бильярдист отчетливый удар партнера.

Игра продолжается. Мишка Долдон набрал уже шестьдесят очков. Шопот в бильярдной растет, откровенное хихиканье, насмешливые замечания усиливаются.

— Налетел, Савоська, с ковшом на брагу!

— Прижимай его, Миша!

Разгоряченный кузнец выпивает стопку водки. Варган надтреснуто поет, кружа около бильярда; он попрежнему спокоен и весел. Мишка Долдон усиленно гоняется за партионным шаром.

— Бывало, мы в Турецкую кампанию играли так, — говорит, наконец, Варган и совсем легонько, ленивым ударом кладет в угол шара. — А когда у меня жива была покойница мамаша, мы делали этак! — уже издевается Варган, срезав второго «невозможного» шара в середину. Улыбнулся в настороженные лица зрителей. — И, конечно дело, когда, к примеру, партнеру нашему трудно, тогда мы, с нашим почтением, ему помогаем докладывать, — насмешничал Варган, вгоняя последний шар от двух бортов в угол.

Положив кий, он вымыл руки, неспеша оделся и, уходя, все еще продолжал петь:

Я в пустыню удалюсь, от прекрасных  
здешних мест.

Обшарканная бильярдная опустела тотчас же, как только удался Варган. В гостиной кое-кто допивал остатки рябиновой и початые бутылки пива.

Лихой бильярдист Мишка Долдон бросил кий.

— Не за то отец сына бил, что играл, а зачем отыгрывался, — сказал он, припадая к лафитнику. — Не смажь я двенадцатого, другой был бы поворот.

— Варган своего держит здорово, — заметил Турурок, — а у тебя расстройство чувств, опять же ты переложил малость.

— Переложил? — воскликнул кузнец. — Мне переложил! — наподдал стул ногой. — Гляди сюда!

Ощерив рот, Долдон ткнул заскоружлым пальцем в выломанный зуб.

Поздней ночью, обнявшись, приятели брели домой.

— Судьба наша — планида, Маланья-Степанида, — пьяно бормотал Мишка Долдон. — Бац в зубы железным болтом, и ваших нет! Ты пойми, Турурок, прямо при всех. Я кричу: «Не касайся, Бузун!», а руки не мог отвести. Думаю: сестренка такая вот (поднял руку на аршин от земли), мать в чахотке....

Полусонный в улицах вздыхал иногда ветерок, и бог знает, в какой пустоте перекликались петухи, и еще в неподвижности этой, такой миролюбивой и ласковой, жаловались кому-то удивительной чистоты и нежности гармонные голоса. То упражнялся на закоряченных ладах души своей мастер сборочной, Бузун Тарас Ильич, неистовый зубодробитель и мордобой. Вернулся он в тот вечер после всенощного бдения в церкви Спаса-преображения и, раздумавшись о жизни, взял любимую утешительницу свою, рояльного строя гармонь. Выйдя во двор, где доспевали кусты малины, Бузун развел гармонь и, запрокинув голову, чтобы видеть необъятное небо, заиграл вальс, сочиненный им самим для исцеления душевного своего недуга. Гармонь в его руках лепетала о счастье, которое бывает так велико, что познается только в страдании. Гармонь плакала, и плач этот был великим ликованием сердца, омытого кровью. Если прислушаться как следует к игре, так выйдет, пожалуй, будто мастер сб-

рочной преисполнен высокой добродетели, и не то, что человека, мухи не обидит.

... Нет, нет, — выговаривает гармонь, — это не он в угоду хозяевам бьет учеников, бьет с истинным наслаждением, как будто бы долгие годы ждал сладкого часа расправы. Нет, нет, — надрывается гармонь, — это не Бузун, молитвенный человек, дробит зубы рабочим за нерадение их... — Наконец, гармонь начинает молить о пощаде, о жалости к нему, мастеру сборочной, и так убедительно выпевает гармонь, что вот уже и музыкант, растрогавшись, заливается слезами. Слезы, вначале скучные, осыпаются теперь на сивую бороду мастера, подобно исцеляющему дождю.

А биллиардист Мишка Долдон все еще рассказывает:

— Я тоже хотел размахнуться... эх, думаю, сине море-кольбель! Чуешь, Митя? Чилинц — и яйца всмятку! А руки так и не мог отвести. Сестренка у меня такая вот...

В небе появлялись синие прожилки предзорья. Разговор обрывался за первым углом. Медленно потухали звезды.

## XIX

В августе приезжали к рабочим их жены, чаще все с грудными детьми. «Осчастливленные» рабочие завода Ланге тотчас же отправлялись с женами и младенцами в халявинский «кильдым».

— Эх, ежели бы нам к старости какой-никакой угол утеплить, — вздыхали рабочие. — на своем, значит, на существенном месте, в деревне.

— А и то бы, — кудачтали бабы, развешивая по двору пахучие пеленки. — Завод не овой дом, — оттрубил, да и вон... И-их ты, господи!

Расточительный разговор этот быстро угасал. В переулках терялись слова, глохли молитвы, и случалось как-то так, что все дерзостные мечтания увядали, богатые мысли становились нищими, и лишь изредка, орошенные водкой, они вспыхивали и, вспыхнув, бились о стену, и кричали, и поднимались к вершинам стенов, и вот еще мгновение — и ло-

жились они у сырого ее основания. Блеклая трава в тени, полусонный звон на колокольне церкви Спаса-преображения, мертвая улица. Порядок, спокойствие, тишина, неизвестность. На перекрестке двух улиц — мощная фигура городского с бородой пылающего цвета (по бороде в пору хотя бы и губернаторствовать).

Лигейщик завода братьев Ланге, Лепихин Викул, оглядывает улицу, оглядывает в последний раз, чтобы уже не возвращаться сюда. По досужей мечте его выходило так, будто в иной стороне, где поднимается солнце, цветет кудрявая жизнь. Одинокий, в простоте своей, он верил в бесхитрое земное существование. Тридцать пять лет прожил Викул в дряхлеющем городе, наивно ожидая его воскресения. Бог знает как это было давно! Город окостенел в своем музейном величии на все века, и неведомо Викулу, когда же, наконец, пойдут в пляс мертвые улицы и всколыхнется земля.

«На святой Руси петухи кричат...» Хотел припомнить, откуда эти слова, и не мог. Любопытно было услышать другие, в которых бьет крыльями свежий ветер. И все ждал Викул, когда умолкнут колокола, пропадет городской, всколыхнутся улицы и раскроется небо.

«Или все, что читал мне Леонтий, — сказка, или все, что вижу я, — сон?»

Улыбнулся совсем невеселой улыбкой. «Неужели есть еще другие какие государства, кроме России? Может, они так только в книгах прописаны, для отвода глаз, или досужие люди рассказывают, вроде, к примеру, Семки Рорбаха? Чудно как-то думать, будто отсюда, из этих улиц, из города этого можно выехать...»

Миновал корпуса завода, вздохнул глубоко и радостно, оттого что ему, Викулу Лепихину, можно уже не ходить туда. Что сегодня он — обыкновенный человек, который может ехать, куда хочется.

Может или не может?

Викул остановился, в черных глазах его (жили они на дне темной пропасти) промелькнул испуг, лицо неожиданно потускнело.

Вон там, на перекрестке двух улиц непоколебимым идиолом стоит городской. Стоит на земле, предназначенной для посприяния даже и мерзейшими из существ, оттого и шелушится земля, покрываясь пылью, древней, как проказа; и пыль эта овеивает полусонный город, и думы живущих здесь идут из желудка; проникнув же в голову, они питаются исключительно звериной хитростью.

«Нет, уехать, убежать от этого невозможно», — заключает Викул.

Извозчик, появившийся в улице, порадовал его, как бы обещая, что с отъездом из города жизнь обернется другой стороной. Об этой стороне жизни, такой заманчивой (без единой шероховатости), говорили прочитанные Викулом книги. Сначала, по причине хмельных причуд только, брал книги у Чемерицына: о чем, дескать, дотошные люди написать могут? Потом, удивившись смелой откровенности написанного, попросил еще, и чтобы обязательно про жизнь с умыслом. Умысел стал понятен через год, при содействии студента Семена Рорбаха, который по определению Викула, все знал и на сажень оквозь землю видеть мог.

Литейщик уселся в пролетку, извозчицья кляча, безучастная ко всему, взмахнула хвостом, сообщая тем самым доверчивому седоку об отправлении. Затарахтели колеса по «безбожной» мостовой, древняя пыль подняла слепую свою голову.

Позади осталась мертвая улица, в ней порядок, установленный по разумению городского с пылающей бородой, и тишина, и спокойствие, и темнотика неизвестности. Ко всему, будто по рорбахову предсказанию о единстве природы и человека, пел в улицах хор соборных певчих, торжественно и вместе с тем уныло:

Свя-а-тый боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас .

Высоко несет Яков Ланге окаменевшее лицо свое, лишь дергается голова, выдавая волнение.

— А-ах, как убивается!..

— Еще бы тебе, поди-ка, не кто-нибудь — родной дядя помер.

Около завода похоронная процессия останавливается (так уж по обряду положено). В мертвой бороде Павла копошится солнце, лицо иссиня-белое. Оно недоуменное, это лицо, и если бы покойник поднялся, то первыми и непременно были бы слова его:

«Ну, чего же вы остановились? Очень мне нужно теперь, дымится или не дымится трубы завода! Это вам нужно, в особенности брату моему Фридриху Поглядите-ка, он бодр и весел, грудь его будто буферный упор, голые глаза не меркнут даже перед солнцем. То, чего не успел сделать при жизни я, делает он. Тащите же меня скорее, освободите дорогу брату моему Фридриху...»

— Эх, народу, — всю улицу загродили!

— Хе! Миллионщика хоронят, Пал Иваныча Ланге. Вот оно какое дело! Смерть — она, брат, всех достанет. За вод с обеда приостановили. А ежели ты к примею, Семеныч, скворчинешься, станка, и то не остановят. Не тот у тебя чин. Понял?

— Из чего бы это умирать такому богатю?

— Кишки надорвал, говорят. Двадцать блюд, говорят, с'ел, а на двадцать первом ему и попритчилось, пища в жилы вдарила.

— Ты меня не хорони, — обиженно бурчит сверловщик Семеныч, — я еще, скворчик, поживу. Я не такой дурак, чтобы помирать, я погожу, — может, еще при мне жизнь вскроется.

— Смотри, не запоздай, Семеныч, тебя, поди-ка, давно уж в аду на продовольтствие зачислили.

— Кто тебе, скворчик, баял?

— Кобель в позапрошлую пятницу лаял.

Позади процессии идут ученики. Они совсем не рассуждают о происшедшем событии, смерть одного из хозяев их не волнует и, пожалуй, не интересует. Воспользовавшись суматохой и растерянным состоянием начальства, сперли ребята пяток медных подшипников, продали по гривеннику за фунт и теперь соображают, где и как лучше прожить вырчку.

После похорон предстоят пьяные поминки (тоже по стародавнему обычаю). Васька Наживин, прошедший школу «волосяных дрелей», тянется к старым мастерам; он с удовольствием хлебнет водочки по случаю неожиданного праздника; его веселит унылый перезвон колоколов, встречающий похоронную процессию. День тепел и ясен, и легки еще за плечами Наживина его восемнадцать лет. Васька косится на Фридриха Ланге, которому не удастся скорбное лицо, обегает на всякий случай мастера сборочной, Тараса Ильича, улыбается своему человеку, Леонтию Чемерицыну.

Остановились около кладбищенской ограды, сбились в кучу. Веселые разговоры вразнобой, как будто бы похоронили всех на свете хозяев.

— Радоваться теперь или горевать?

— Горевать что же... Хе! Была бы, как говорится, шея, а хомут завсегда найдется.

... Ве-э-эчная память...

— Эх, и голоса в нашем соборе! Слышь, как заносят?

— Перед выпивкой, не иначе.

— Ты-ы, перед выпивкой! — подмигивает Степан Побыткин. — Пятнадцать лет работаю, никогда такого веселого праздника не было.

— Это правильно, хозяева редко помирают, — смеется Митька Турурок.

— Эх, ребята, ребята, не живите богато, живите весело, — предлагает Побыткин. — Гм, да... Кто это прет? Никак Карп Серафимович с супругой.

— Карпу Серафимовичу, крем-брюле с мармеладом, чихать да здравствовать!

— Молчи шибче, Турурок, — видал, кто с ним шествует?

— Наш новый участковый надзиратель Василь Тимофеич Руденко, — сообщает Семеныч. — Голова — капустный вилок! Около Степаниды Сидоровны увивается, ну только обмишулится: Карпуха ее под семи замками держит.

— Спой, Семеныч, как мы под туркою стояли.

... Ве-э-эчная память, ве-э-эчная память...

— Кончал базар! Катай-валяй, ребяташки, к Халявину за утешением! Семеныч, костыляй за нами.

Старый сверловщик рад стараться. Ворчит он снисходительно-добродушно:

— Пообождали бы, галманы, черти!

Он пытается быть вежливым, как бы это дорого ни стоило, но не выдерживает наигранного самоиспытания.

— Ну-к что ж, ежели угощение с вашей стороны, тогда могём, и даже беспрёменно.

И для Семеныча завод мрачен, как тюрьма. Много переплавил завод человеческих сердец. Веселилась в сердце любовь когда-то — и вдруг пригорюнилась, билась ненависть — да крылья обломала, жили надежды — и зачахли. А главное, никого и ничем не разжалобишь.

Ребята уселись за столы, что скворцы: все черные, со смуглыми от копоти лицами. Конечно же, они поскорее хотели быть взрослыми, залихватски ругались, отчаянно дымили дешевыми папиросами, еще отчаяннее пили водку. Жесты небрежные, разговоры вольные.

Семеныч оглядывал молодые лица. Он улыбался им, и самый искренний, самый задушевный смешок осыпался на его седую бороду.

— Пошли, ребяташки, по первой за упокой души всех на свете хозяев! Чтобы, значит, ни нам, ни им, а все боженьке.

— Клоуй, Семеныч, и мы за тобой!

Клюнули.

— Погоди, Семеныч, сейчас я тебе пыжа приготовлю.

Васька Наживин умокнул в горчицу кусок рубца.

— Держи, Семеныч! Давай долбанем за науку.

— Моя наука неплохая.

Вспомнил Васька горькое свое ученичество.

— А хошь, «рождество» изуродую?

— Отойди, Вася, рюмку опрокинешь.

Семеныч с совершеннейшим спокойствием отодвигает Наживина. Рука сверловщика — точно железное творило. Васька плюхнулся на стул, заплакал

пьяными слезами навсегда обиженного человека.

— Сволочи вы! — всхлипывает Васька. — Сволочи, и больше ничего!

— А еще бы тебе, скворушка, — охотно соглашается Семеныч, — самая правда-истина. Главная вещь, Вася, три к носу, — все пройдет. А сволочи — это что же... Одни напрасные слова. Вся наша судьба под таким начальством на беспутную дорогу сехала, вот как разговаривать надобно...

Старик загнулся, вывел на крышке стола замысловатый вензелек заскоружлым пальцем своим, как будто хотел объяснить сложные линии жизни, сказал голосом задушевым и чуточку просительным:

— Ты не обижайся на меня, скворушка. Нас так учили, мы — тебя, и ты тем способом других учить будешь, вот мы на этой круговой и сквитаемся.

— Эх, как я загордился тогда!.. Помнишь, Семеныч, в позапрошлом году? — расслабленно лепечет Васька. — И вот он, стерва такая, дал мне закалить свинцовое зубило, а я думал — мне такое доверие, будто я уж настоящий мастер. Ей-богу, не вру!.. Ты чего, старый хрен, зубы скалишь? Ты пойми: вся мастерская глазела на меня. Хм... Ну, и ладно, так мне и нужно!

Васька Наживин выпивает совсем уж непосильную для его головы рюмку.

Шум в трактире усиливается, пивные пробки чмокают, как будто бы под окнами трактира целуются лошади. Поминальное веселье в самом разгаре, исполосованные прожилками копоты лица покрываются испариной, сердца нараспашку, разговоры впереплет.

— ...И зачинает она мне такую модель: «Ты есть ничтожный слесаришка, и друзья у тебя голь-шмоль и компания. И есть у меня на предмете отдых сердца, хотя и младший деловод на заводе Гужона, но с прочими деликатными чувствами...»

Рассказчик тычет пальцем в лужицу пролитого по столу пива и минуту смотрит в неясные лица друзей.

Кто-то говорит еще:

— Уехать бы куда ни на есть, чтобы не видеть ничего, не слышать...

— Куда ни поезжай, все едино: ты уедешь, а тебя доедут, это уж к бабушке не ходи.

— ...Тогда я и говорю ей полным голосом: «Валая к своему деловоду, я поперек твоей судьбы не встану», а душа у меня заплакала горькими слезами. Эх, думаю, идите вы все к чорту в овчинную душу, но уж мы судьбу свою когда-нибудь достигнем на самой верхней полке нашей жизни!..

— Слышь, Семеныч, — поднимает Васька осоловелые глаза свои: — на самой верхней полке жизни! И я на тебя не сержусь, Семеныч (Наживин был молод и великодушен). Ты не достиг, а вот я достигну. И приду на твою могилу, будь я проклят, обязательно приду! Ну, тогда я скажу: «Бога не боюсь, врага не страшусь», — и повалю на твоей могиле крест.

— Болтай!

— Может так быть или не может?

— Сперли пять штук подшивников, — сообщает чей-то ликующий и еще не совсем окрепший голос, — и между прочим ничего, потому как все мастера рьдают нынче на хозяйской смерти Павла. Ну, раз такой кувырлык, и раз они доподлинную душу у нас очистили до самого дна, тут растабаривать нечего...

— Могу я подшибить хозяйскую судьбу, Семеныч, — допрашивает Наживин старика, — или, скажем, вроде срубить заклепки нашей жизни?

Мутную свою голову Семеныч держит за оттопыренную бороду, как уже стертую вывеску над опустошенным магазином.

— Что есть которая жизнь? — говорит он, схлебывая затаенную горечь своего старчества. — Просверленный котел: парит во все стороны, машину не двигает, — вот что есть которая жизнь, скворушка!

Обронив первоначальную мысль, Семеныч тупо глядит в опорожненную рюмку, и в стеклянном ее донышке видит он чью-то перекошенную улыбку. Старик закрывает рюмку шершавой ладонью.

Мимо трактирных окон проходил, как утомленный часовой, очередной день, и вслед ему все тот же, еще не окрепший голос читал:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,

Кто б ты ни был, не падай душой.  
Пусть неправда и зло полновластно царят  
Над омытой слезами землей..

Семеныч, шаркая ногами, пробирается к выходу.

— Хе! «Друг мой!» — расслабленно смеется он. — Сказки-побаски и прочее которое...

В дверях он уткнулся в несоразмерную прудь Леонтия Чемерицына и голос услышал повелительный, с низкими перекатами:

— Эй, вы, брюхочесы-дьяволы, кто там ноет? Убирайтесь к чортовой матери!

## XX

Молодой участковый надзиратель, Руденко Василий Тимофеевич, человек предусмотренной жизни и как бы разграфленного поведения, был, в сущности, натурой нежной, склонной к мечтательности. Непоколебимый сторонник душевного порядка, он распределял дни свои, как выздоравливающий больной, распределяет чудодейственные пилюли, в коих заключены весенняя бодрость и утроенная порция радости пребывания на земле. Именно поэтому предстоящие надзирателю удовольствия шли в порядке строгого учета и бесперебойной очереди. В приходе-расходном журнале дальновидного Василия Тимофеевича по черному фантастическим, с замысловатыми ответвлениями и завитушками (свидетельство несомненной изощренности мысли) были записаны с исчерпывающей добросовестностью и полнотой все заранее предположенные события, назначенные предупреждать надзирателя о восприятии радости: 1. Января 10-го дня. Единственно из чувств благородных и пламенной любви моей к человеку в день, обозначенный мной выше, намекнуть аптекарю моего участка, Льву Самуиловичу Рорбаху, о пре-

досудительной связи сына одного аптекаря, Семена, с рабочими завода Ланге.

Дебет: 25 руб. и флакон духов «Мечта».

2. Января 15-го дня. Уже от счастья сердце замирает, как вижу я духовным своим взором прелестнейшую Стешу Полуденову, с богоданным на руках младенцем, увы, не мне принадлежащим, но счастье быть восприемником обязан я ее, пока сокрытой, любви ко мне...

Кредит: флакон духов «Мечта».

Благополучие, защищенное великолепной «мудростью», было похоже на хорошо ошинованную колесницу, которая, надо было надеяться, счастливо прибудет к своей станции, не потревожив избалованных телес путешественника.

Именно десятого января и ровно в двенадцать часов дня шагом размеренным, почти математическим, проследовал надзиратель Руденко в аптеку Льва Самуиловича Рорбаха с заранее заготовленным «намерком», оцененным, как указано в приходе-расходной книге жизненных удовольствий, в двадцать пять рублей и один флакон духов.

— Что вы говорите? — качаясь от охватившей его душевной печали, произнес потрясенный Лев Самуилович, услышав сообщение надзирателя. — Ах, нынешние дети, боже мой, какие дети!.. Прощу вас сюда, вот в это кресло, Василий Тимофеевич... Вы не знаете, что это за дети! Ай, ай, ай! Я служил престолу и нашему дорогому отечеству, я же имею медаль, Василий Тимофеевич.

Рорбах метнулся к письменному столу.

— Вот вы можете читать, я совсем не скрываю этого: «На т'я господи уповахом да не постыдимся веки». Так после того меня убивает родной сын! Скажите, есть у наших детей бог или нет бога?

Расположительно поигрывая пышными усами, Руденко начисто отверг бога у подрастающего поколения, но тотчас же утешил старика Рорбаха, получив предусмотренные двадцать пять рублей и флакон духов.

— Уважаемый Лев Самуилович, — проникновенно выговорил надзиратель, — заверяю вас благородным словом моим

и честью офицера, я не хотел огорчать вас, но не теряйте бодрости духа, пламенной веры в бога и надежды на людей, сочувствующих вам искренно и бескорыстно. До свиданья, Лев Самуилович, и будьте здоровы!

— Что вы скажете? — вздыхал аптекарь, провожая надзирателя. — Я-таки думаю, может быть, дети совсем не будут знать нашего бога?

Скорбя и ужасаясь, старик долго наблюдал за тем, как, уходя, шагал надзиратель Руденко, направляясь к следующему магазину. Морозный ветерок бросал под ноги надзирателя радостные снежинки, не замечая, однако, следов его.

— Сема, пойдн ко мне, я имею до тебя разговор, — позвал старый Рорбах сына, и голос его, надломившись, стал осыпаться мелко и неуверенно. — Скажи, как ты хочешь жить, Сема?

— Хочу жить по совести, — старательно и почти бездумно ответил сын. — Почему ты меня спрашиваешь?

— Хе! Он мне говорит: «Хочу жить по совести»! Боже мой, что только может навывдумывать легкая голова! — старик испуганно взметнул руками. — Значит, ты уже хочешь взять суму и бежать по улице, как самый последний нищий? Ты мне скажешь — нет?

— Почему ты волнуешься так? — Дернув плечом, Семен засмеялся просто-сердечно и с полным пренебрежением к вопросу. — Я тебе скажу: нет, ты не угадал, отец. Мы хотим быть миллионерами, это уже решено, так что ты можешь успокоиться.

— Вы хотите быть миллионерами! Мне уже совсем весело, Семен. Ты слышишь, как я смеюсь?

В эту минуту взаимного непонимания старик еще пытался доказать свое житейское превосходство. Петушась и подпрыгивая, носился он по аптеке, домовито заглядывая во все углы, и каждый пузырек в руке его звонко возвещал о мудрости отца и глупости сына.

— Кто «мы»? — выкрикивал старик. — Ай, боже ты мой, может быть, торговая компания, Семен? Ты мне когда-нибудь скажешь, да?

Седой, уже потерявший надежду даже на молодое свое воспоминание (горькое, к тому же, было воспоминание), Рорбах непременно хотел видеть сына лучшим из лучших, и высоким счастьем почитал он толкового наследника, который примет из дряхлеющих рук его великим унижением добытое пузырьковое состояние.

— Кто «мы»? — переспросил Семен. — Ну, если я объясню тебе, ты уже не будешь смеяться.

По сости, ему жаль было ворошить налаженную жизнь отца. При всей любви своей к нему Семен сознавал полную отцову бесполезность в устройстве и завоевании той жизни, о которой мечтал сам. Только предательская робость, нетленный остаток младенческих времен еще шевелилась в сердце Семена, как взрослая мышь, дерзнувшая выгнать из норы. И вот дерзость эта вдруг заявила о себе вольно, и, может быть, необдуманно.

— Мы, — сказал Семен, — партия «Народной воли»!

Почему в первую очередь хотелось убедить именно отца, Семен сказать не сумел бы, но в этом был какой-то, разрушающий верования отошавших пророков, замысел. Потомственные пророки, неусыпно оберегавшие свое величие и власть, пугали Семена в детстве своей несокрушимостью, и как будто судейское их око колошилось в его сердце. Нынче, с не израсходованной еще энергией, он ожесточенно нападал на них, мстя за темную власть, за осквернение души своей, которой готов был пожертвовать (жертвенность открыто лелеял Семен), полагая, что его душа будет служить как бы основной начинкой во взрывчатом снаряде, предназначенном для разрушения древнего храма, где чахли под стражей пророков лучшие замыслы и мечтания человечества. Все земные расстояния, казавшиеся в детстве далекими, буднично приближались теперь и вызывали острое чувство обиды за учиненный пророками обман.

Старый Рорбах, ошарашенный словами сына, поднял над головой руки. Часто приседая, он искал опоры.

— Партия «Народной воли», партия «Народной воли»... — лепетал старик. — Что это будет стоить, Семен?.. Почему ты молчишь и нехорошо дышишь? Ой, лучше убейте меня за такое горе на мои седые волосы!

Всё приседая и смешно пятясь задом по неширокой площади аптеки, старик очутился около двери, за стеклами которой еще кружились искристые в морозном солнце снежинки.

Широкое полотно двери хлобыстнуло в спину старого Рорбаха в тот момент, когда рорбахово смятение достигло как раз наивысшего предела и готово было выплеснуться неистовой бранью или бессильными слезами. Старик отлетел в сторону с воплями и причитаниями, до того пронзительными, что вся наличная посуда в аптеке издала угрожающий перезвон.

Через порог аптеки перешагнул Леонтий Чемерицын; он степенно пошаркал ногами, обутыми в валенки, отряхнул их шапкой.

— Что за шум, а драки нет? — весело спугнул он нарастающую ссору. — Фу, дьявольщина, какие у вас нестерпимые ароматы! Льву Самуиловичу глубокий поклон и лучшие пожелания! Чего вы так накусили, что за печаль такая в вашем сердце?

Чемерицын подшагнул к Рорбаху с рукой, протянутой для пожатия. Старик испуганно дернулся, что-то сердито проокрипел и тут же нырнул за прилавок, клочка невнятных словами.

— Домашнее представление, — объяснил Семен, ухарски подмигивая на прилавок. — Проходи, Леонтий... Разыграна была одноактная трагикомедия, а может быть, побей меня бог, и настоящая драма, под названием: «Родительская власть, или погибшие надежды». Я ни черта в этом не понимаю! И вообще тут, если ты хочешь знать, действует безапелляционный приговор природы. Ты можешь смеяться, сколько хочешь, но уже момент наступил, старое дерево гибнет, а его плоды пустили самостоятельные корни и буйствуют. Что? Или я не так говорю, по-твоему?

— Так ли, не так ли, а перетакивать не будем, — заключил Чемерицын, под-

талкивая Семена в его комнату. — Шел к тебе, садовая голова, и вдруг, прямо с разгона, столкнулся лоб в лоб с нашим участковым надзирателем. Притворился пьяным. «Здравствуйте, — говорю, — ваше благородие, желаю вам благоденствия и процветания на многая лета». Последние слова нараспев хватил. Засмеялся. «Проходите, — отвечает, — почтеннейший».

— «Почтеннейший»? — подивился Семен. — Это, знаешь, совсем подозрительно, то-есть такая полицейская вежливость.

— А чорт его разберет! Может быть, и подозрительно, — согласился Чемерицын. — Нет ли у тебя чего-нибудь освежительного, Сема, мозги вспрыснуть? Канитель у меня в голове случилась, вот и пришел к тебе, и думаю сейчас, что не во-время. Ты чего это с отцом шумел? Исповедывал он тебя?

— Хуже, — качнулся Семен. — Надзиратель Руденко получил откупного двадцать пять рублей за мою связь с рабочими завода Ланге. Ха, если бы знали о моей связи с другими заводами, отцу пришлось бы заплатить и целую тысячу!

— Уходить надо, Семен.

— Э, куда уходить?

— Викул вот придумал, куда. Ушел и не простился.

— Ах, Викул... Еще что?

— И еще была встреча. Знаешь, есть такой Севастьян Варган? Так с ним. Идет этак на меня, руки вразброс, вижу — обниматься лезет. Приглашал выпить с ним.

— Ну? — насторожился Семен.

— Между прочим, не понимаю замысла этого человека, в ласковость его не могу проникнуть.

— Где ты его повстречал? — допрашивал Семен, с беспокойством поглядывая в окно. — Любопытно очень, где именно?

— Ты чего заворшился, Сема?... Тут вот, по соседству и встретил... Здорово все-таки исповедывал тебя папаша твой! — по-своему объяснил рорбахову настороженность Чемерицын. — Ничего, Сема, еще поживем! Чем рискуем мы? Арбузной коркой. (Чемерицын неуклю-

же играл в бесшабашность.) Ты слышал, что происходит на фабрике Бровкина? Ну, и вот, — подтяни струны, рабочие собираются играть всерьез.

— Рабочие, рабочие, рабочие! — завоуновался Рорбах. — Когда ты похерил крестьян, Леонтий?

— Зачем херить при нашей рабочей бедности? Только, кум ты мой милый, гость дорогой, нас ведь немножко пораньше «окрестили», зубки-то, слава богу, давно уж прорезались, — как ни быют, а выбить не могут, ты проникнись...

Чемерицын, разойдясь, не знал удержу; он размахнулся было прочитать другу своему всю историю рабочего движения, но отдаленное поскрипывание и горестное причитание семенова родителя послужило тормозом в налаженном помыслах неунывающего токаря; он счастливо вспомнил о цели своего прихода.

— ... Ну тебя к бесу! Я об другом собирався говорить с тобой, — продолжал он. — Рабочих гонят, и, между прочим, с нашего завода тоже. Тут бы нам и развернуться по-настоящему. Ты, брат, напрасно ляпнул родителю своему насчет «Народной воли», ножки да рожки остались от «Народной воли». Давай, заправляй резцы на другой фасон, на рабочий.

Почти яростное чемерицынское кипение пугало и радовало Семена Рорбаха. Книжная его рассудочность не выдерживала напора, а мечтательность в резвом полете своем роняла крылья. Взволнованно суетясь, Семен выпил шалитый для Леонтия и тотчас же позабытый стакан воды с вишневым сиропом. Как бы отрезвев, он перебрал пуговицы своей, наглухо застегнутой студенческой тужурки.

— Ты предлагаешь, я уже чувствую, Леонтий, — заторопился Рорбах, — предлагаешь воспользоваться положением безработных. Кстати, я до тебя знал о безработице, заметь и не гордись, пожалуйста. Только как же это образуется? Ведь они голодны, люди эти, — или ты уже не понимаешь?

Рорбах снова перебрал пуговицы, пальцы его в смятении растегнули их до самого ворота. Семен подбежал к приоткрытой фортке, хлебнул малую струйку освежающего морозца, и оттого, может быть, мысли его отрезвели (к тому же услышал он откровенный леонтьев хохоток); тут во-время подбежала практическая мысль, что безработица скоро может кончиться; именно этой мысли и улыбнулся Семен.

— Да, ну да, Леонтий, ты прав, и я признаюсь. Ты иди, мне нужно подумать.

Провожая друга, он легонько похлопывал его в неподатливую спину.

— Если безработица — значит нужда, а если нужда — значит недовольство. Слышишь, как я думаю, Леонтий? Я уже по-твоему думаю...

Рорбах закрыл дверь и длинный толстый крюк набросил, точно боялся, что в тень прихожей могут еще проникнуть, далекие теперь, страхи детства. В комнате постоял у окна. Во двор ложился согнанный сюда ветром, сухой снег, но издали светило солнце; лучик его, переломившись на соседней крыше, толкался в темный угол.

К вечеру того дня, сделав обычный обход свой по участку, надзиратель Руденко приписал в приходе-расходном журнале (в ведомости благополучия жизни) с левой стороны:

«О, если бы не странная судьба людей и, как я дерзаю полагать, целых поколений, тогда умозаключаю так: живущему мне причин к ликованию не было бы.

Сего, по милости всевышнего, удачливого дня сообщено мне Севастьяном Варганом о посещении рабочим заводом Ланге, Чемерицыным, аптеки Л. С. Рорбаха. Указанный посетитель пробыл в доме Рорбахов четыре часа. Намекнуть о недопустимости.

Дебет — по соглашению».

Конец первой части

# Недра

Роман

П. НИЗОВОИ

(Продолжение <sup>1</sup>)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ — ДЕЛА И ЛЮДИ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

По широкой зеленой улице свердловского втуз-городка идут две девушки: Люба Буглай и ее новая знакомая, студентка-химичка Оля Овсянникова. Познакомились они всего несколько дней назад на студенческом вечере и сговорились быть сегодня вместе на докладе любиного отца. Афиша у входа угольного института оповещает, что ученый Буглай читает о своих последних геологических работах.

Девушки в светлых легких платьях, по-весеннему жизнерадостные, в особенности младшая из них, Оля Овсянникова, без-умолку трещат, то-и-дело брызгая звонким смехом. Оля рассказывает о матери, об отце, только что приехавшем из какой-то командировки с Дальнего Востока, и о своей жизни в Москве:

— Я уж два года здесь, но никак не могу привыкнуть, все тянет Москва. Там у меня тетя есть. Хотелось бы там и учиться, но отец не отпускает, говорит: Уралу принадлежит самое широкое будущее. Для работы, говорит, здесь лучше, чем где бы то ни было. — Она сверкнула лучистым взглядом, печально улыбнулась. — Что ж, приходится со-

глашаться. Но через год я обязательно удеру. Буду жить самостоятельно.

Девушки входят в вестибюль. По широкой мраморной лестнице, опережая друг друга, взбегают студенты, торопясь занять места поближе к кафедре: лектор пользуется большой популярностью, и тема интересна.

А к другому подъезду, с тыльной стороны здания, в это время неспеша приближается маститый ученый, Аристарх Маркелович Буглай. Какая-то юная студентка, догнав его возле входа, хотела было сунуть ему в руку только-что купленный на бульваре букетик ландышей, но, испугавшись хмурой профессорской сосредоточенности, проходит в смущении мимо, повертев букетик в руке.

Ученый, не поняв намерения девушки, инстинктивно сторонится и тут же, не глядя, нажимает плечом тяжелую дубовую дверь.

Поднявшись на кафедру, Буглай привычным взглядом окидывает знакомую аудиторию. На лектора смотрят сотни пар молодых глаз. Он раскрывает папку с материалами и начинает протирать очки. В зале настроенное ожидание.

Аристарх Маркелович замечает сидящую в середине аудитории дочь Любу. Все это обычно. Но с кем она разговаривает? Что-то знакомое в улыбающемся лице, в пышных светлорусых волосах. Он хорошо знает эту девушку,

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. кн. 7 и 8 с. г.

только сейчас захлестнуло память. «Кто же это такое?»

И вдруг вспоминает. Лицо делается темным. Скулы дрогнули. Он не может отвести от нее пронизывающего взгляда, как бы спрашивая: «Зачем ты здесь? Давно ли ты познакомилась с моей дочерью и для каких целей? А где сейчас твой отец? этот... этот...».

Ученый все трет носовым платком свои очки. Рука уже соскользнула и двигается помимо стекла. По аудитории плывет сдержанный смехок.

Люба, видя устремленный на них тревожно-пристальный взгляд отца, недоумевает. Осматривает себя и подругу — все ли у них в порядке. Может быть, что-нибудь в одежде... Смущена и Оля, не понимающая, в чем дело. Ученого Буглая она видит, как ей кажется, в первый раз. Почему же он так пронизывает ее взглядом?

Наконец, Аристарх Маркелович овладевает собой. Очки водворены, куда следует. Бумаги лежат перед глазами, и доклад начинается. Голос ученого уже спокоен, и его мысль занята только вопросами, отмеченными в конспекте...

По окончании доклада Буглай ищет дочь. Обвел взглядом аудиторию и следит за потоком выходящей молодежи. Потом направляется в коридор, заглядывает в пустующие помещения.

«Странно! Куда они могли так быстро исчезнуть? Очевидно, во время доклада... Гм. Где Люба могла познакомиться с нею? А может быть, он ошибся: это не она? Может быть... А где теперь ее отец? Где мать?...»

Аристарх Маркелович припоминает первую встречу в поезде, когда он, два года назад, возвращался с разведки на Казачьей горе. «Эти золотистые волосы, как у матери»... Он сразу тогда обратил внимание... «Красивая девушка. Вся в мать... Гм! Ксения Васильевна. Когда-то он ухаживал за нею. Пожалуй, любил... А отец, Сергей Веденечка...» — Ученый нервно вздрагивает, припоминая гнусную сцену предложения денег... «Хотел меня купить... Меня, Буглая!.. Ха!.. А может быть, это шутка с его стороны? Глупая шутка? Нет!.. Нет!.. Все это серьезно...»

Идя домой, старый ученый по укоренившейся привычке жестикулировал:

— Нет! Буглай не про-дается!.. Не туда попали... Не-ет! Не-ет!..

На бульваре со скамейки поднялась сырая, потрепанная фигура.

— Аристарх Маркелович!

Ученый от неожиданности вздрогнул и остановился. Поднятая для жеста правая рука бесцельно опустилась. Глаза смотрели с недоумением.

— Аристарх Маркелович, здравствуйте!.. Не узнаете?

— А!.. Александр Васильевич! — наконец проговорил Буглай, зачем-то снимая очки и по привычке начиная их протирать. Перед ним стоял плановик Зарницын, служащий в одном с ним учреждении — в Облплане.

— Прогуляться вышли? Погода сегодня замечательная. Я вот тоже вышел подышать свежим воздухом да и засиделся.

Буглай еще раз посмотрел на говорившего и в упор спросил:

— Вы знаете Овсянникова?

Глаза Зарницына тихо засмеялись.

— Овсянникова? А кто он такой? Где живет?

— Ну, кто!.. Ну, кто!.. Овсянников!.. Жил в Москве, жил в Свердловске, кажется, в Хабаровске... и вообще — везде он жил!

Взгляд Зарницына опять заструился тихим смешком.

— Такого не знаю... Впрочем, возможно, и встречал когда-нибудь. Разве упомнишь?

«Знает. Знает. Только не хочет говорить» — убеждает себя Буглай и указывает приметы:

— Средний рост, крутой квадратный лоб, на щеке бородавка или родимое пятно, не знаю, что там...

Зарницын играет ответом. Пальцы раздражающе пляшут по борту пиджака. Физиономия — нагло довольная.

— А на какой щеке бородавка, на правой или на левой?

— А чорт его знает! — не выдерживает Буглай и, махнув рукой, повертывает прочь.

... Аристарх Маркелович сидит в учреждении, у себя в рабочем кабинете.

На стенах висят карты, планы и диаграммы залежей полезных ископаемых в крае. В стеклянных шкафах, на полках и прямо на полу покоятся образцы всевозможных пород — богатство Урала: золото, платина, изумруд, мрамор, железо, медь, цинк и прочее и прочее.

Как древний алхимик, сидит в их окружении ученый Буглай. Эти сокровища извлечены на свет им и его предшественниками. Язык минералов, язык недр ему так же знаком и понятен, как и свой родной, человеческий язык. Каждый лежащий здесь камень поведал ему тайну своего происхождения, и потому геолог Буглай на это собрание представителей горного царства смотрит любовными глазами близкого, своего человека.

Сейчас он занят другим. На столе перед ним развернуты чертежи, схемы, пластаются исписанные листы бумаги. Он недавно вернулся с новой разведки и систематизирует собранный материал. Результаты разведок превзошли ожидания: обнаружены новые месторождения меди с таким запасом, что хватит на десять лет разработок.

Буглай — романтик, поэт. Куски медной руды, лежащие сейчас перед ним на столе, и полсотня скважин, сделанных его сотрудниками в горе, родили перед ним колонки цифр. Эти цифры оформились в образы рудников, машин, заводских корпусов с потоками золотисто-оранжевой меди, с горячими сверкающими плитками.

На месте разведок простирается тайга: сосна, пихта, ель, береза, непролазные колючие кустарники, площади пожарами с черными култышками пней и длиннейших, прямых, голых, как свечи, стволов. Это — жилище дикого зверя. Редко ступает здесь человеческая нога.

И Буглай, когда думал о богатстве медных залежей, то не видел этого леса. Тайга на десятки километров казалась ему снесенной. К месту подведены железнодорожные и шоссейные пути. Площадь покрыта заводскими сооружениями. Тянутся ряды домов рабочего поселка. Дымят трубы, грохочут машины, все кипит человеческим муравейником.

Старый ученый мечтал, как юноша, и мечты его строго укладывались в спокойные ряды цифровых знаков, в деловые убедительные сроки. Он имел полное право так мечтать, потому что мечты его всегда претворялись в явь. Еще недавно, всего два года назад, он так же мечтал о Казачьей горе, где не было ни жилья, ни железных дорог, простиралась голая, мертвая степь. А теперь там вырос мировой гигант. Семьдесят тысяч людей и сотни машин день и ночь довершают начатое дело. Где была пустота, там возник город. Скоро задымят заводские трубы, польется горячая лава чугуна и стали, побегут в разные концы Советского Союза груженные поезда с готовыми изделиями...

## II

— Товарищ ученый! Можно к вам? — В дверь протиснулась грузная фигура Кирсанова. Позади него была видна парчевая тубетейка на чьей-то бритой голове. — Мы к вам на несколько минут. Как наш немец, уважаемый гер Жюльц, говорит: «На нискель минуитен...»

Широкое, лоснящееся лицо Кирсанова сияло благодушием. Из-за его спины вытолкнулся энергичный Василий Славичев.

— Уж если вошли, то что с вами поделаешь? Гнать я не умею, — серьезно улыбнулся Буглай, иначе он улыбаться не мог. — Садитесь и говорите, чем могу вам служить?

— Вы очень серьезны, Аристарх Маркелович. Когда я к вам вхожу, у меня всегда поджилки трясутся, честное слово, — шутиливо заявил член правления и тяжело опустился на стул. — Ну, и жарится! Лето еще не наступило, а из меня уже начинает сало вытапливаться.

— Это не плохо. Легче ходить будешь, — засмеялся Славичев, принимаясь по привычке бегать глазами по образцам минералов, хотя они им все давно были осмотрены и изучены.

Но оказывается, что он все-таки нашел кое-что, еще им невиданное.

— Аристарх Маркелович! У вас новые образцы появились? Что это такое? Откуда?

Буглай, не спеша, повернул голову к шкафу.

— А-а! Да-да! Новые, — оживился он. — Это мне на прошлой неделе с Вайгача прислали. Ванадий и молибден. Замечательные вещи. Надо ставить разведки. Вот, поднимайте перед центром вопрос, находите денег и давайте приступать, — обратился он к Кирсанову. — Нельзя допускать, чтобы богатства валялись под ногами. Это преступно!

— А вот мы насчет этого к вам и пришли, — ответил тот. — Пришли поговорить сначала просто, так сказать, в частном порядке. Мы ведь патриоты своего отечества, болеем всеми его болезнями и радуемся каждой, поднятой под ногами находке. А кроме того, еще и хозяйственники, — Кирсанов вытащил из кармана брюк носовой платок и стал тыкать им в потную шею. — Купчишки наши были дурачье! Богатство попирали ногами! Занимались только пьянством да самодурством. — Кирсанов вдруг весело, по-мальчишески рассмеялся. — У нас в Екатеринбурге был один золото-промышленник, так черт его знает, что придумывал для потехи. Бывало, во время дождя соберет извозчиков со всей главной улицы, сунет им по рублю и за город им — катитесь, миленькие, впусую. А сам в болотных сапогах, с широким зонтом разгуливает по улице и любит, как инженерские и чиновничьи барыньки надсаживают свои легкие: «Извозчик! Извозчик!» А извозчиков и след простыл. Ну, и шагают, задрав шелковые юбки, по лужам и по грязи. Потеха!..

— Изобретатель! — засмеялся Славичев. — Собственный кинематограф придумал.

— Аристарх Маркелович! А что вы скажете о георазведках профессора Степанова? Судя по газетам, им открыт новый Донбасс, площадью в пятьсот квадратных километров, с залежами каменного угля до двух миллиардов тонн. Как вы на это смотрите? — неожиданно спросил уже серьезно Кирсанов.

— Газеты сообщают правильно. Я раньше слышал об этом, — ухватился Буглай. — Некоторые ученые утверждали, что, дескать, залежей каменного угля

в России всего-навсего двести сорок миллиардов тонн. Это ими, будто бы, точно подсчитано. А потому нам угольными богатствами особенно кичиться, дескать, не следует: они уже не так велики. Но эти ученые чуть-чуть просчитались. Оказывается, у нас есть Печорский бассейн с запасом до четырехсот миллиардов тонн, кроме него теперь открыты богатейшие месторождения в Канском и Чулымо-Енисейском районах, целый ряд месторождений найден в центральных областях, на Урале, в Сибири, в Казахстане. А за всем этим встает громадная подземная страна Тунгусского бассейна в миллион с четвертью квадратных километров.

Аристарх Маркелович торопливо отпил несколько глотков давно остывшего чая, поставил недопитый стакан и снова пустился по бурлящему потоку своей мысли.

— Но этого мало. Надо осмотреть, ощупать всю нашу страну. Недра свои мы знаем плохо. Чуть ли не каждый месяц у нас происходят новые открытия. Совсем недавно мы наткнулись на медные богатства Казахстана, имеющие мировое значение. За последние годы сделаны также открытия в области калиевых солей, апатита, нефелина. Перед нами открываются совершенно новые технико-экономические возможности: полиметаллические богатства Вайгача, ртутно-сурьмяная база в Фергане, мышьяковая — в Сванетии, мировые запасы лития в Забайкалье, оловянные руды Акши. На наших глазах начинает вырастать один из самых замечательных горно-химических районов Союза: Караганда — Акмолинск. Или совершенно неожиданно выплывает Кольский полуостров с его разнообразнейшими ценными ископаемыми. Я уже не говорю о нашем Южном Урале. Существующие подсчеты запасов его железных руд представляют грандиозную картину. Наша главная задача — организованно поставить разведки, которые должны вестись по определенному плану. Нужно знать, что ищешь. В этом секрет успеха...

В дверь раздался осторожный стук, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошел человек в дорожном кожаном пальто, с

аккуратно подстриженной, не в меру черной бородкой.

При первом взгляде Буглай не узнал его и посмотрел вопросительно, но тут же лицо его вспыхнуло. Сдерживая себя, он повернулся к стоявшему рядом Славичеву и, как будто ничего не произошло, продолжал начатый разговор. Вошедший, вежливо поклонившись, молча сел в отдалении.

— Так я говорю, перед нами стоят сейчас большие и важные задачи, — продолжал Буглай, стараясь сохранить прежний тон. Но в голосе звучали уже другие нотки. — Мы Урал должны взять под лупу... под микроскоп...

Кирсанов, бросив взгляд в сторону вошедшего, неожиданно заторопился:

— Ну, Вася, нам надо ехать... Вы извините, Аристарх Маркелович! Мы к вам как-нибудь в другой раз нагрянем. Вы тогда нам уже целый доклад, так сказать, неофициальный. А сейчас некогда, на комбинат едем. До свиданья!..

После их ухода Буглай направил тяжелый взгляд на сидящего человека.

— Что вам, господин Овсянников, от меня надо?

Тот быстро встал и придвинул стул ближе.

— Я думаю, Аристарх Маркелович, вы сначала, как полагается, поздоровайтесь...

Буглай стоял против него, заложив за спину руки, и на его замечание не сделал никакого движения.

— Я целых полгода раз'езжал по Восточной Сибири. Ну, батенька мой, что там делается! — Овсянников сел. — Большевики весь восток подняли на дыбы! Куда ни взглянешь, всюду кишат люди. Закладывают шахты, строят заводы, создают совхозы, колхозы, и чего-чего только ни делается!..

— А зачем вы пришли сюда? Ко мне? Что вам от меня надо?

— От вас? Ну, конечно, ничего не надо! Вы напрасно пугаетесь. Просто мне хотелось повидать старого друга.

— Я вам теперь не друг! — Буглай опустил в кресло и отвернулся к столу. — Прошу вас оставить меня и никогда больше не являться!.. Убедительно прошу.

— Дорогой Аристарх Маркелович! Ну, зачем же так? Времена меняются... Мы еще можем друг другу пригодиться... Я здесь предполагаю пробыть около месяца, затем подамся в Ленинград. Дочь, конечно, остается здесь...

Буглай резко повернулся:

— Я еще раз прошу... заявляю, что не желаю с вами разговаривать!.. Наконец, я не ручаюсь за себя! — последние слова ученый почти выкрикнул.

Овсянников скривил в усмешке губы и с полминуты сидел молча, барабанив пальцами по крышке маленького столика.

— Как все в жизни странно складывается, — снова заговорил он тихим, печальным голосом. — Мечешься, крутишься, что-то пытаешься сделать, хочешь взлететь, а в результате — все топчешься в болотной тине, в грязи. Даже старые друзья отвертываются от тебя... — Он опять помолчал, посмотрел в затылок сидящего перед ним ученого. — Аристарх Маркелович!

Буглай вздрогнул. Повернул голову. Лицо его было взволнованно. Он примиренным голосом сказал:

— Если вы хоть сколько-нибудь уважаете меня... ну, хоть во имя бывшей дружбы, что ли, то еще раз повторяю... Уйдите, ради бога!

Овсянников поднялся, сделал несколько шагов по комнате, подошел к большому шкафу с образцами минералов и воскликнул с деланным удивлением:

— Какой замечательный экземпляр! Что это — медный колчедан?

Буглай молчал.

— А это самородок золота? Не секрет — не на Миасских приисках найден?

Буглай не отвечал, сидя со склоненной головой у своего рабочего стола.

— Чорт знает, как богатеет страна! Почему же раньше-то наша бездарная буржуазия не смогла нащупать этих богатств? Чванились своим задором, избретательством, широкой натурой, а на деле ничего не выходило. Помните, Аристарх Маркелович, нашего хозяина?..

Буглай молча встал и, не глядя на посетителя, неровной, вялой походкой направился к двери.

Через минуту в кабинет вошел служитель:

— Аристарх Маркелович велели сказать, что больше сюда не вернутся, уехали по делу...

Служитель, стоя у выхода, ждал, когда посетитель уйдет. Посмотрев ему подозрительно вслед, он плотно притворил дверь и дважды повернул ключ...

В то время, как ученый геолог, морально разбитый, лежал у себя в комнате на диване, устало закрыв глаза, плановик Зарницын в плохоньком кафе возле рынка поджидал своего приятеля Овсянникова.

Они долго сидели за стаканами жидкого фруктового чая, о чем-то вполголоса беседуя...

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Над площадкой Механического пробежал первый весенний гром, дробно рассыпав невидимые тяжести в незаконченных корпусах, в ажуре железных ферм, в сутолоке снующих автомашин и затонов, и закончил стихающий грохот над соседним сосновым бором. Вновь блеснувшее солнце казалось вымытым, празднично веселым и душистым.

Железнодорожный сторож старательно копает заступом землю, а жена его бросает в свежую борозду картошку. Тут же, почти рядом, лязгает цепью экскаватор. И земля на заступе у сторожа и в ковше землечерпалки — влажная и дымитса прозрачными белесыми струйками.

Легкомысленно протарахтели две груженные тесом пятитонки, не подняв за собой пыли. Звончее льется дробь пневматиков, звон металла, людские голоса.

Антип Игнатич Зворыкин, свертывая карманную рулетку, которой только что вымерял толщину бетонных столбов, поворачивает голову к пустырю, расширяя ноздри. Оттуда — пряный дух от каких-то трав. А может быть, запах идет из соснового бора, зеленоющего вымытой хвойной стеной, отовсюду он льется, весенний, возбуждающий. Стройка, раскинувшаяся на многие километры шири

и вдале, живет десятками тысяч рабочих организмов, людских и механических, роющих землю, склепывающих железо, делающих бетон, распиливающих дерево, переносящих и перевозящих тяжести. И все это в весеннем прозрачном воздухе, вымытом грозovým дождем, не похоже на вчерашнее, пропыленное, тусклое и скучное.

Инженер Зворыкин приветливо помахал рукой приятелю технику, что-то крикнувшему с прогромыхавшего автокара, и опять вытягивает стальную ленточку. Настроение превосходное. Ощущается упругость мышц и легкость всего тела. Вообще, жизнь — неплохая штука...

Мимходом проносится девушка в синей спецовке, студентка-стажер.

— Товарищ Зворыкин! Какой денек-то! А?.. Хорошо бы теперь в лес, досыта надышаться этим воздухом.

— Да, замечательно! А вы знаете, я еду!.. Через полчаса я буду... — Обрывает, не досказав, что через полчаса поедет на машине во втуз-городок, куда дорога идет сплошным сосновым бором: девушка уже далеко, не услышит в плывущем грохоте и звоне. Он, все еще не гоняя с лица улыбки, переходит к другому столбу.

«Если к пятому не окончим, то срок сдачи может сорваться: затянется дело со стропилами, запоздает перекрытие... Во что бы то ни стало надо закончить!.. — Мелькает тревожно и расплывается. — А воздух, действительно, замечательный... А какое ясное, радостное небо!..»

— Товарищи рабкоры! Вы что тут шныряете?

— Да вот, смену свою отбыли, теперь по газетным делам... Как у вас доставка материалов, товарищ Зворыкин? Все задерживают? Мы статью насчет транспорта и поставщиков хотим тиснуть. Возмутительное положение!

— Верно. Возмутительное. Чорт знает, что творится!

Молодой инженер хочет зажечься, мобилизовать гнев, но только повышает голос, а тон самый мирный, и где-то, в глубине, поет ликующая струна. Забывая о рабкорах и о вопиющих фактах,

он весело приветствует поднятой кепкой показавшуюся в дверях завкома Зюю Славичеву. Девушка обрадованно кричит:

— Товарищ, товарищ! Подождите! Очень хорошо, что я вас увидела!

Зоя ловко перебралась через кучи раскиданных на пути досок и подняла на инженера беспокойный взгляд.

— Вот в чем дело, товарищ Зворыкин, — она сунула ему руку, сразу потонувшую в его широкой, корявой ладони. — Ребята хотят с вами потолковать. Вы как, — по вечерам бываете свободны?

Инженер пожал плечами, на минуту сделавшись серьезным.

— Очень мало.

— Ну, ничего. Можете выкроить часок. Дело весьма важное. Зоя оглянулась по сторонам. — Дородного на «Пятилетке» всю зиму травили. А старик ни в чем не виновен... Хвост за ним тащится из самой Москвы. Кто-то отсюда о нем написал, ну и взяли человека в оборот... — Она снова осмотрелась вокруг и полушопотом добавила: — Есть, сказать вам, кое-что и посерьезнее... До свиданья!.. Завтра или послезавтра по окончании работы в ячейке...

Повернувшись, Зоя Славичева засеменила ногами к керамиковому заводу, где работала. Зворыкин проводил ее недоумевающим взглядом. «Какие такие у ней важные дела? Да еще секретные, которые можно передавать только на ухо? Странно!..»

В проходе между штабелями белого кирпича сталкиваются два помощника главного инженера — Зворыкин и Шушаев. Один идет, заряженный силой и творческой дерзостью, готовый опрокинуть любые препятствия. Другой несет в себе яд разложения, сосущую тоску. Инженеры обменялись несколькими фразами и разошлись в противоположные стороны, каждый унося свое настроение.

Шушаев направляется в кузнечно-прессовый цех. Задумчив, сосредоточен, на минуту забыл об окружающем.

— Эй! Анатолий Викторович! Беритесь!.. Эй!..

Стальной хобот гусеничного крана, скрипя, проплывает с семитонной ста-

ниной почти рядом. Техник Дубанец, взмахнув руками, облегченно вздыхает.

— Прямо вы лезете под кран. Честное слово, перепугался за вас до смерти.

Шушаев недовольно морщится, хочет пройти дальше и попадает в лужу... «Противная погода, чорт бы ее побрал!..» Дубанец, насторожив бородку, заботливо высказывает:

— Очень кстати вы пришли, Анатолий Викторович. Консультанта нет, а прораб не хочет его дожидаться... Установка, знаете, — это самое важное... Теперь мы будем под вашу ответственность.

Шушаев, как бы не замечая техника, обращается к молодому прорабу:

— Что такое у вас случилось? В чем дело? — И когда слушает его, то нетерпеливо подгоняет. — Так. Так. Дальше что?.. Ага! Хорошо! Так и делайте! — Он повертывает к выходу.

«Как же все это надоело. И всему этому не видится конца...»

— Анатолий Викторович! Я хотел вас спросить... — Сбоку опять этот ненавистный и ужасный Дубанец, с которым судьба связала его роковым образом.

— Ну? — со скрытой злобой поднимает голову Шушаев.

— Я хочу просить у вас совета... — Взгляд техника робко заискивающ. — Я хочу подать заявление... У меня жена на сносях... Ходит последние дни... Собственно, не ходит, но лежит в постели. тяжело больна...

— Ничего не понимаю. — Инженер делает гримасу. — Ведь я же не доктор, и причем тут заявление? И почему «на сносях»? Что это такое?

— Она беременна... И я хочу просить на несколько дней отпуск... Прошу вас поддержать мое ходатайство, — уже твердо заканчивает Дубанец, смотря на него в упор.

Шушаев неожиданно меняет тон:

— Конечно, конечно, подавайте! Я скажу... Очень жаль, что у вас так случилось! Обязательно скажу! — Он испытывает какую-то неловкость. И когда вновь направляется к воротам, то с удивлением раздумывает: «Оказывается, у него есть жена и дети. Может быть, он отличный муж, хороший отец, и дети

уверены, что лучше его нет никого на свете... Как все неожиданно и странно!..»

Анатолий Викторович ощущает где-то в углке сердца зародившуюся искорку теплого чувства к ненавистному до сего времени человеку. В эту минуту он вспоминает и о Дородном:

«Обидел я старика. Не следовало так поступать... Надо непременно написать письмо... Так, дружеское... Пусть не думает обо мне плохо...»

После отъезда Степана Гавриловича на «Пятилетку» Шухаев облегченно вздохнул: наконец-то одна тяжесть, и самая неприятная, самая опасная, свалилась с его плеч. Не нужно теперь каждодневно ходить по канату, балансируя над пропастью. Если один еще остался, то одна беда все легче двух... А может быть, и эта скоро изживется...

Некоторые дни Шухаев чувствовал себя совсем хорошо, был весел и остроумен, к жене относился даже нежно, как уже давно не бывало. И в семье устанавливалась ясная атмосфера, горизонт светлел. Но таких дней было не много...

На этот раз он пришел домой в тяжелом настроении. А тут еще попала на глаза крикливо озаглавленная газетная заметка: «Очередная победа на «Пятилетке». В заметке говорилось о досрочном окончании флютбета, и среди особенно отличившихся строителей ее называлось имя Дородного, как исключительно самоотверженного и честного работника.

Не дочитав статейку до конца, Шухаев раздраженно отшвырнул газету в сторону. В столовой жена сообщила, что недавно звонил Зарницын, спрашивал, будет ли он сегодня вечером свободен.

— Зачем я ему понадобился? Что у меня с ним общего?.. Если опять будет звонить, скажи, что уехал на заседание. Не хочу я с этой мордой встречаться.

Анатолий Викторович тяжело опустился на стул.

С Зарницыным связывалось у него представление всяких сплетен, движичных рассуждений, пошлых и неприличных анекдотов. Шухаеву это всегда было органически чуждо, а теперь в особенности не хотелось и слышать о нем.

Он поднес к губам налитый стакан и сейчас же с раздражением поставил его.

— Не кофе, а какое-то телячье пойло!.. Налей чаю!

— Маша! Поддай чай, я заварю, — попросила Вера Александровна.

— Чаю нет: весь вышел. Только фруктовый напиток остался, — заявила домработница.

— Чорт знает что такое! — возмутился Шухаев. — Где же вы были раньше? Вдвоем с хозяйкой купить не сообразили!..

— Анатолий! Я не понимаю тебя: из-за пустяков ты хочешь создать целую историю. Ну, завтра сходим на рынок, может быть, там найдем... Где же теперь взять? — сдержанно ответила жена.

— Хороши пустяки! Одного нет, другого нет, и так почти каждый день. Из этих пустяков создается жизнь. Они определяют наше поведение.

— Да, это твое поведение как нельзя лучше подтверждает мои слова, — кольнула Шухаева.

Анатолий Викторович вспыхнул:

— Условия для этого создаешь ты! Ты совершенно не считаешься ни с моим настроением, ни с моей утомленностью... И вообще совершенно не желаешь считаться со мной, с мужем, с отцом семейства...

Вера Александровна медленно поднялась, гордая, гневная. Опершись рукой о спинку стула, она пренебрежительно посмотрела на мужа.

— Ха-а! Муж!.. Отец семейства!.. Много вы дали мне, дорогой муж? Ради вас я погубила свою молодость... А дети... Сколько вы им уделяете внимания?.. Они вас не любят, не уважают. Только боятся.

— Неправда! — выкрикнул Анатолий Викторович. — Они тебя не любят, но не меня! Как они могут любить мать, которая по десять часов в сутки тратит на массаж лица, на всякие притирания и косметики, у которой для одних глаз имеется семнадцать баночек и пузырьков!..

— Это уже слишком! — с озлобленным жестом взвизгнула Шухаева. — Вы все сделали, чтобы отравить и смять

мою молодость. Вы радуетесь каждой моей морщинке, каждому моему седому волосу, потому что вы с ума сходите от ревности...

— Хо-хо! Я с ума схожу от ревности! — искренно расхохотался Шухаев. — Да если уж на то пошло, то я с громадным наслаждением сам открою тебе двери: пожалуйста, на все четыре стороны, к кому угодно. Баба с воза — кобыле легче!

Вера Александровна упала в обморок. Муж, кинув в ее сторону презрительную усмешку, спокойно отправился к себе в кабинет, думая: «Хорошо, что нет тещи с ребятами — была бы целая кутерьма».

В кабинете на него навалилась обычная щемящая тоска. Лежа на диване, он безнадежно размышлял: «Ни к чему эта гнусная сцена не поведет. Все останется попрежнему. Жена никуда не уйдет от него. Она на вечные времена тяжелой гирей будет висеть на его ногах. Все его беды, все несчастья — от нее, и выхода нигде нет...»

## II

Вера Александровна, оскорбленная до крайнего предела, с непрошедшей головной болью, пошла освежиться на воздухе. Походила по улицам, немного посидела на сквере, хотела было пойти в кино, но раздумала и повернула на тихую Тургеневскую улицу.

Шум людских потоков, трамвайные звонки и раздражающий свет магазинных витрин остался позади.

По булыжной мостовой выстукивала ленивую дробь одинокая извозищья лошаденка с задремавшим хозяином. Перспектива тихих и сонных домов уныло уходила в вечернюю даль, заканчиваясь темным пятном. Дальше идти было страшно.

Вера Александровна повернула направо и, пройдя два квартала, неожиданно очутилась у чистенького деревянного домика со старинным крыльцом.

Взглянув на крыльцо, она с недоумением остановилась: как могла сюда попасть? Почему именно в этот переулочек потянуло ее? Она улыбнулась в ответ

мелькнувшей мысли и протянула руку к звонку.

Антип Игнатьевич, отворивший дверь, выразил на лице приятное изумление.

— Очень рад! Очень рад! Как вы великолепно сделали, что пришли...

Заперев дверь, он большими прыжками догнал ее в передней и успел вовремя подхватить и бережно повесить меховое пальто.

— Я не спрашиваю, кто вам внушил эту прекрасную мысль, — я просто счастлив. Давайте, проходите скорее в комнату, вероятно, озябли, — сегодня ветрено.

Он жил один в двух небольших комнатах, вполне изолированных от соседней.

— Вот — диван, располагайтесь, как вам удобнее, и займитесь альбомом, а я приготовлю чай. У меня это — живо.

— Антип Игнатьич, не надо никакого чая. Я ведь всего на несколько минут, поговорить, посоветоваться с вами.

— Если поговорить да еще посоветоваться, то обязательно должен быть чай. Без чая никаких разговоров не бывает, — засмеялся хозяин и, не слушая больше возражений, убежал в переднюю разводиться примус.

Вера Александровна, сбросив туфли, — они были новые и жали пальцы, — разместила с поджатыми ногами на диване так удобно, что почувствовала себя, как дома. С интересом стала перелистывать альбом.

Неожиданному приходу Шухаевой Антип Игнатьич несколько не удивился, хотя она у него была до этого всего один раз вместе с мужем. Он был уверен, что рано или поздно она непременно придет. Ждал этого и боялся: все-таки с Анатолием Викторовичем у него были дружеские отношения. Как потом глядеть ему в глаза? Разжигая примус, он успокоил себя: «Попьем чаю, поговорим о деле, посоветую ей, и она спокойно уйдет. Все кончится по-дружески...»

Угощая ее чаем с красным вином, оставшимся после недавней вечеринки с заводской молодежью, Антип Игнатьич мельком подумал о Шухаеве и о его жалобах на незадачливую семейную жизнь.

А Вера Александровна, отпив несколько глотков вина и отказавшись от

остального угощения, начала высказывать свою обиду на мужа:

— Антип Игнатьич, я одиннадцать лет замужем. Страшно подумать. Нормально, это почти половина супружеской жизни. И самая лучшая половина. То есть, должна быть лучшей. А у меня... Хм... Мне не о чем вспомнить. Все одиннадцать — серые и тусклые. Каждый новый день почти не отличался от прошедшего... Говорят, что была красивой. А для чего, для кого это?.. Лучше бы мне родиться уродом, тогда было бы спокойнее...

Вера Александровна отвернулась, губы дрогнули, красивые тонкие ноздри напряглись.

— Разве о такой жизни я думала, когда выходила замуж? Ну, скажите, почему... почему у других складывается все иначе? У какого бога они вымаливают себе лучшую долю? — Она поднесла к глазам кружевной платочек. — Особенно возмущаться мужем я, конечно, не могу: он не виноват в том, что такой... Но мне-то разве от этого легче?

— Вера Александровна, успокойтесь. — Зворыкин взял ее руку, положил в свою широкую ладонь и дружно прикрыл, тепло, участвовав улыбуясь, точно перед ним была девочка-подросток. — Честное слово, мне кажется, что вы все-таки преувеличиваете. Я думаю, что не так уж все страшно...

— Нет, нет! Вы не знаете! — решительно перебила Шухаева. — Это внешне у нас все, как будто, хорошо. Только внешне. Но мужа я не люблю и не уважаю, а он ко мне всегда относится враждебно. У нас в доме гнусная атмосфера. Мне стыдно своей матери и детей. Они уже понимают...

— Вера Александровна, все это временное. Изменится, — пытался успокоить Зворыкин разволновавшуюся женщину. — Анатолия я отлично знаю. Он последнее время чем-то расстроен. Конечно, переутомление, частые неприятности в работе, — все это сказывается. Вот, построим завод, сдадим его в эксплуатацию, и сразу все поднимем головы, расцветем...

Антип Игнатьич засмелся и почтиительно поднес к губам руку гостьи, но сейчас же отстранился, принял серьезный вид: на столе зазвонил телефон.

— Я слушаю! Да! да!.. Анатолий Викторович! Могу притти только часа через полтора — два. Сейчас занят, а кроме того, нужно еще повидаться с одним человеком.

Вера Александровна, узнав, что звонит муж, неприязненно поморщилась.

Антип Игнатьич с неожиданной резкостью положил трубку.

— Совсем не пойду... Пускай ждет...

— Почему? — подняла на него взгляд Шухаева.

— Так... Он высказывает недовольство... Я зачем-то нужен ему. А я просто не пойду!.. Не желаю!.. — Зворыкин вплотную придвинулся к женщине. — Я хочу сидеть рядом с его женой... Хочу ухаживать за нею...

Он с многозначительной улыбкой посмотрел ей в глаза и потянулся губами к голой руке, чувствуя в это время, как его неприязнь к Шухаеву все увеличивалась.

«Так вот же тебе! Я целую твою жену и еще буду целовать... Еще!..»

— Вы чему так жестко улыбнулись? — спросила Вера Александровна, слегка отстраняясь.

— Подумал о вашем муже, — вызывающе ответил молодой инженер и, щуря глаза, улыбаясь зовущей, чувственной улыбкой, он медленно протянул к ней руки...

Спустя два часа женщина, поцеловав его в последний раз, направилась к выходу. Он посмотрел на ее затылок в шелковистых завитках и равнодушно, с утомлением подумал о ее муже:

«А завтра я спокойно пожму ему руку...»

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### I

В комнату входят поздние сумерки. В раскрытое окно течет запах тополей и какой-то сильно пахучей травы. Шухаев повертывает голову к окну и, сдвинув на лбу складки, сильно вытягивает ноздри.

«Мята, что ли, или дикая конопля?.. Растет тут всякая гадость!» Он, хлопнув окно, начинает взволнованно ходить по комнате. От тяжелых шагов слегка позванивает на столе лампа с хрустальными подвесками. Зорко глядит со стены портрет Ленина.

Шухаев вынимает из кармана часы.

«Пора бы уже прйтти... Вероятно, запоздает... И противная эта личность — Зарницын. Если бы не крайнее, не безвыходное положение, конечно, не стал бы и минуты разговаривать с ним об этом...»

Шухаев припоминает вчерашнюю встречу. Сначала Зарницын позвонил к нему по телефону, потом вечером они сошлись на бульваре. Зарницын объяснил, что просто хотелось поговорить, давно не виделись. Будто, собирается уехать куда-то. Этот климат действует на него вредно. Он, Шухаев, в свою очередь тоже пожаловался: скучно здесь, и все дорого — на мало-мальски приличную жизнь нехватает жалованья. А тут у него еще случился финансовый прорыв: в расчете получить за сделанный сверхурочно проект жена в прошлом месяце израсходовала больше нормы. Проект же до сих пор еще не принят... Зарницын на это охотно отозвался: у него есть какие-то деньги, может их одолжить.

Шухаев тогда подумал: «Проект все-таки сделан, деньги за него он получит и уплатит... А какие у Зарницына деньги, не все ли равно...»

Сейчас, взволнованно шагая по комнате, Анатолий Викторович рассуждал:

«Откуда могли у Зарницына появиться деньги? Может быть, они... Чорт его знает, человек он подозрительный... Вдруг он предложит их не взаймы, а... что-то нужно сделать за них. Ну, не-ет! Ни на какую аферу Шухаев не пойдет. Выгонит его, не будет разговаривать... Да-а. Деньги нужны дозарезу... А какое к нему, Шухаеву, отношение со стороны высшей администрации? Нечего сказать — хороша оценка активнейшего работника! Какого-нибудь лентяя, бездарность всячески отмечают, а его держат в черном теле...»

Анатолий Викторович резко оборвал эту мысль: «Глупо думать о том, чего нет и не будет!..»

Он снова открыл окно. Опять заструился запах тополей и незнакомой травы. Чирикнула какая-то птичка, гулко крикнул автомобиль, сразу вспугнувший птичку. Шухаев тотчас же узнал гудок: «Исполкомовский. Вероятно, едет председатель...» Взглянул дальше и увидел весенне-чистое, чуть потемневшее небо, и мысль сейчас же перескочила:

«Хорошо бы теперь на юг, к морю!..»

Спустя четверть часа в кресле у окна, спокойно развалившись, сидел плановик Зарницын. Длинные руки у него были вытянуты по локотникам кресла, ссутулившись широкие плечи выгнуты, и на них напряженно торчала, прямо без шеи, маленькая птичья голова. Шухаев, сдвинув брови и заложив за спину руки, редкими покачивающимися шагами мерила комнату.

— Последнее время я стал страдать бессонницей. Иногда мучают кошмары, снятся какие-то звероподобные чудидца. Бежишь от них, а они за тобой. Просыпаешься в холодном поту, конечности дрожат... Окончательно переутомился, — жаловался Шухаев, не прекращая хождения.

— Ничего. Потомки оценят. В историю, наверно, попадете. — Зарницын достал из кармана портсигар, постучал концом папироски по крышке. — Ради этой вечной памяти стоит потрудиться.

— На юг бы, к морю, — мечтал вслух Шухаев, не обратив внимания на издевку ученого плановика. — Конечно, два месяца было бы лучше, но можно ограничиться и одним. Купанье очень хорошо действует на нервы... Слушайте, Александр Васильевич, я вам через три месяца верну. У меня к этому времени деньги будут.

По птичьему лицу Зарницына проплывала жесткая усмешка. Не двинув ни одним членом, он спокойно сказал:

— Я же вам сам предложил. О чем рассуждать? — Он затянулся еще раз и так же спокойно выпустил дым прямой струей, вытянув губы в трубку. — Сколько вам нужно?

Шухаев смущенно посмотрел на плавноика и с нерешительностью произнес:  
— Тысячи полторы меня устроили бы...

— Мало. Не хватит, — сказал отрывисто Зарницын.

— Да, разумеется, две лучше бы, — улыбнулся Анатолий Викторович. — Но трудно будет расплачиваться.

— Об этом меньше всего думайте...

— Как меньше всего думать? — насторожился Шухаев.

— Ну да, пока об этом не думайте. Мы — старые приятели. Деньги у меня лишние, а если по правде сказать, то они и не мои.

— Не ваши?

— Да. Так лежат... без пользы... Могу ими свободно распоряжаться... Временно, конечно.

— Та-ак... Не свои... — задумчиво проговорил Шухаев и сделал еще два конца по комнате. Потом решительно остановился против гостя. — Может быть, эти деньги... даны вам с целью... — Он не договорил.

Зарницын поднялся с кресла, с улыбкой похлопал инженера по плечу и цинично просто сказал:

— Вы угадали. Эти деньги даны специально для вас. Кем? Это не так уж важно... Так вот в чем дело...

Шухаев резко отстранил руку гостя. Лицо его покрылось красными пятнами. Он почти выкрикнул:

— Вы хотите, чтобы я для вас...

— Не горячитесь. И кричать об этом вообще не стоит, — остановил его Зарницын. — А делать вы будете, конечно, не для меня. Да и делать-то вообще ничего не придется. Вы получите пять тысяч... так... ни за что.

Шухаев нервно расхохотался.

— Получаю пять тысяч ни за что... Ха-ха!.. Больше об этом ни слова! Слышите? Ни слова! Никаких ваших денег мне не нужно! Поняли?

Зарницын на птичье лицо натянул саркастическую гримасу.

— Как не понять? Все понятно. Даже больше, чем вы думаете, понимаю. Честность — уж не такой маленький предрассудок, чтобы можно было легко ее отбросить. С детства прививали... —

Он вдруг сделал тон голоса ласково-фамильярным: — Голу-убчик! Все относительно. Вы сегодня, например, на час раньше ушли с работы, — значит, погрешили против честности. Вы переутомлены, вам нужно отдыхать, лечиться, а вас не отпускают... Разве это честно? Или вот, ваш коллега, инженер, сделал какой-нибудь технический промах, причинивший строительству материальный ущерб, и вы, зная об этом, не заявили в управлении, — как, по-вашему, — это честно будет? А если вы заявили об этом, и вашего коллегу по-настоящему взгреют, то, по отношению к нему, тоже будет нечестный поступок. Ведь у него только ошибка...

— Довольно! Я понимаю!.. Не маленький! — прервал его инженер. — Больше об этом не будем говорить.

— Что ж, можно и не говорить об этом. А других вопросов у нас как будто сегодня на повестке нет.

Зарницын подошел к окну, где у него лежал портфель, вынул из него какой-то пакет, осмотрел его с обеих сторон и молча положил на стол. Наблюдавший за ним Шухаев спросил:

— Зачем вы его оставляете? Возьмите с собой.

Зарницын опять согласился:

— Могу и взять. Но я думаю, что все-таки лучше оставить, ну, хотя бы до завтрашнего дня: вы подумаете и вернете его мне. Никаких ссор, никаких сцен ни сегодня, ни завтра делать мы не будем. Мы люди взрослые и хорошо друг друга знаем. Здесь пять тысяч. От вас абсолютно ничего не требуется. Это для того, чтобы вы были... ну, как вам сказать... свой... И больше ничего...

— Возьмите! Я не хочу! — выдал из себя с болью Шухаев.

Зарницын поднял руку, останавливая его:

— Вы можете завтра позвонить ко мне: я приеду и заберу. И всё... Если не будете звонить, то я не приеду... И тоже всё... До свиданья!

— Слушайте. Зарницын! Не могу! — крикнул к двери Шухаев. Но дверь уже захлопнулась.

Шухаев медленно опустился на диван и сжал ладонями виски.

В окно попрежнему вливался весенний запах растений и пела какая-то птичка.

Через несколько минут Шухаев быстро поднялся, швырнул пакет с деньгами в стол и вышел в другую комнату. Вера Александровна, уложив детей, сидела за столом, вышивала гладью какую-то дорожку. Взглянув на жену и на ее работу, Анатолий Викторович кисло усмехнулся, мысленно отметив: «Новая. Тысяча первая работа... Каждый забавляется, чем может...»

— А я думала, ты спишь, с чаем не торопилась, — проговорила жена, поднимая на него взгляд и тут же отдавая приказание к двери: — Маша! Давай, приготавливай чай!

Анатолия Викторовича подмывало сказать: «Вот, можешь теперь и к своей московской тете поехать. Можешь каждый день ходить там в театр и на концерты, переслушать всех знаменитостей, которые тебе не дают спать. Ну, а мужа... ха... может быть... в подвал ПТУ... Тебе какое дело до этого?..»

Но он молча протянул руку за газетой. Некоторое время читал, плохо усваивая прочитанное; мысль скакала с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь. Из-за газеты он искоса взглянул на жену, сосредоточенно склонившуюся над вышивкой. Нежно розвели аккуратно, сердечком, обрезанные и подчищенные ее ногти, вокруг глаз лежали темноватые бархатные круги, придающие взгляду томное выражение и вообще делающие глаза красивее, чем они на самом деле есть. Шухаев знал, что в спальне, на туалетном столике, в особой шкатулке у жены имеется семнадцать предметов: карандашей, растушевок, помад, красок и капель для того, чтобы, по ее выражению, «одеть глазки» и придать девическую свежесть лицу.

Анатолий Викторович, смотря холодным взглядом в лицо жены, спросил:

— Собственно, почему тебя так интересует поездка в Москву теперь, весной? Театральный сезон кончается. Начинается жара, духота, пыль...

Жена подняла на него томные, в бархатном окружении, красивые глаза.

— Конечно, лучше ехать в конце зимы или осенью. Но до осени ведь пять месяцев, — сказала она нерешительно.

— Гм. Пять месяцев... Из Москвы сейчас все раз'езжаются по дачным местам. — Едут также на юг... Если ехать на Кавказ или в Крым — это я понимаю. Это имеет смысл...

Вера Александровна смотрела на мужа недоумевающе — почему он начал разговор, с которым уже все покончено? Да еще заговорил о юге? Она тем же неуверенным тоном ответила:

— Ну, о юге не время теперь говорить... В Москве я повидаюсь с родными и сделаю кое-какие дела.

— Почему не время говорить? — вызывающе возразил Шухаев. Он едва сдерживался — хотелось сказать: «Вот тебе полторы тысячи — поезжай, жарься на солнце и купайся в море...»

«Можно, пожалуй, две дать... И на целых два месяца с глаз долой... Хорошо бы, если вовсе не вернулась. Какой-нибудь дурак влюбился бы...» — Анатолий Викторович, пытаясь своим словам придать особую вескость, появился:

— Насчет денег у меня, вероятно, на днях выяснится... Я полагаю, будут лишние...

— Деньги на поездку в Крым? — Жена скептически улыбнулась. — В лотерею выиграешь, что ли?

— Может быть, в лотерею выиграю. — Он чуть не крикнул: «Я уже выиграл и еще выиграю». Но эти слова застряли в горле. Он закончил почти равнодушно:

— Проект мой на днях получает одобрение... А впрочем, может быть, и ничего не выйдет. Никаких денег не получу. Вероятно, так и случится...

Шухаев тяжело поднялся и медленно пошел в свою комнату. Автоматически, неторопливым движением он выдвинул ящик письменного стола, достал зарницинский пакет и уставился на него тупым взглядом. Снова хотел бросить на прежнее место, но вдруг решительно сунул его в карман, сорвал со стены кепку и шатнулся к двери...

## II

В маленьком садике Славичевых, на малолудной Тверитинской улице, по настоящему пахнет весной. Распустилась кудрявая сирень, шелестит клейкими, еще не крупными и желтоватыми листочками береза и пестреют синими, желтыми, темнолиловыми радостными брызгами анютины глазки. Над березой, в своем деревянном домике, любовно сделанном младшим Славичевым, распекает вечернюю песенку скворец. Всюду, изо всех углов глядит весна.

Зоя за столиком, настроенная также по-весеннему, строчит длиннейшее письмо своему приятелю, Кореневу:

«Дорогой Андрей.

Приветствую тебя от всего горячего сердца, а вместе с тем и ругаю. Ты порядочная свинья и лентяй — не можешь выбрать полчаса, чтобы написать несколько строк своим друзьям...».

Зоя, обмакнув перо, задумчиво хмурит лоб. Как бы покрасивее выразить мысль? Скворец, отыскав в траве гусеницу, вспорхнул к нею на ветку, дернул головкой, проглатывая добычу, и тут же весело зачирикал.

«Как хороша весна! — подумала Зоя, снова обмакивая перо в чернильницу. — В выходной надо поехать куда-нибудь за город, в лес... Завтра об этом скажу ребятам...»

«... А у нас сейчас на заводе идет самая горячка, — продолжает она. — Тяжело, но и весело, честное слово. Не работаешь, а горишь. Я ведь, как тебе известно, в ударной сквозной бригаде. Ребята подобрались, что надо. Мы работаем главным образом по прорывам. Немного поизмотались, но ничего. Скоро кончим, тогда отдохнем...»

Над головой с шумом пролетел майский жук, заставив девушку испуганно вздрогнуть и замахать руками. А жук, точно нарочно, опять к ней. И ну кружиться над головой, устрашающе жужжать. А потом — шлеп прямо ей на бумагу и застыл. Зоя дунула на него и засмеялась, видя, как он снова сумасбродно понесся по воздуху.

Как хороша весна!..

«... На прошлой неделе у нас был очень несчастливый день, — снова пишет Зоя. — Случились сразу две аварии: в теплоцентралке и на шамотном. А огнеупоры сейчас вот как нужны... Впрочем, такие дни бывают нередко. Но это ничего. В общем все идет отлично. Передай привет Дородному. Мы его ценим и любим...»

Зоя повертывает голову в сторону улицы, прислушивается: почудились какие-то странные звуки. Опять пишет. Внезапно кошачье мяуканье и залихватый собачий лай взрывают вечернюю тишину. Над забором показывается стриженная голова. Фыркнув, она тотчас же скрывается. И опять те же голоса. Потом высоко поднимается на палке чья-то серая кепка.

Зоя вскакивает и весело кричит к забору:

— Узнала! Узнала! Хмара и Катюша Воронкова!

Заскрипел ржавый блок, и в жалитку со смехом протиснулись два парня и девушка. Это были, действительно, редактор многотиражки Хмара и Катя Воронкова. Третьим оказался Шилов. Он держал себя, не в пример товарищам, как всегда, серьезно. Молодежь направлялась прямо в сад, где находилась Зоя. С крыльца громко приветствовал их старик Славичев, расправляя смявшуюся бороду, — он только-что поднялся с постели.

— Ну-у! Гостей бог дает! Это хорошо-о! Люблю молодежь, честное слово. При ней сам молодеешь. Хозяйка! Сообрази-ка нам чаепитие. Надо покалякать с молодежью. — Он подошел к гостям, поздоровался и сел неподалеку от стола на обрубок дерева. — Что у вас, друзья-приятели, нового? Скоро пускаете завод-то?

— Скоро, Федор Петрович. К осени задымит. Основные цеха все будут пущены, — откликнулся Хмара. — Вот только теперь тяжелое время, никак из прорывов не вылезем, но этот месяц у нас переломный, потом пойдет, как по маслу.

— Каждый месяц у нас переломный... Вот кончим стройку, тогда будет и легче, — серьезно вставил Шилов и сейчас

же задал вопрос: — Да и что значит легче? Каждое большое дело требует большого напряжения. Это неизбежно.

— Я говорю о прорывах, о явном и скрытом вредительстве, о нашем головерстве, которые срывают планомерность, — вот о чем. А раз с этим будет покончено, то и дело пойдет быстрее, и работать будет легче, — горячо заговорил темпераментный редактор многотиражки. — Я каждый день получаю по нескольку десятков рабкорских заметок о всяких вредительских актах. Мы ведем жесточайшую борьбу со всем этим, — повернулся он к Славичеву. — Мы залезаем в каждую щель. Мы вытаскиваем на свет всяких жуков. Если это просто советский губошлеп или зарвавшийся демагог, мы его прибаваем к позорному столбу: смотрите и помните!.. А если что посерьезнее, то... другие меры... В прошлом месяце восемь таких выудили! Правда, рыбешка не из крупных, больше верхоплавающая, но не упустим и настоящих щук, если попадутся.

— Это хорошо, хорошо, — подтвердил Славичев. — Очистить атмосферу — неплохо, а то никакая работа немислима. — Это — обязательно..

— Надо усилить культурную работу среди основной массы наших производителей, — сказал Шилов. — Где она хорошо ведется, как, например, среди бетонщиков, там дело обстоит лучше. А у плотников, у землекопов, или на кирпичном — постоянно отставание и прорывы.

Шилов говорил всегда спокойно и уверенно, среди товарищей пользовался он большим авторитетом.

— Полтора года тому назад, — продолжал Шилов, — когда я приехал на площадку, на ней еще сводили лес, столетние сосны. Работали вятские. Вы посмотрели бы, как они работали. Так... Шалый-валяй. Гнули через пень колоду... А первые партии землекопов и владимирских плотников: лодырь на лодыре! Хозяева не доставляли вовремя материалов, инструментов и спецодежды. Кооператив морил голодом, транспортники же заявляли, что нет вагонов, нет угля, нехватает паровозов!..

Вот такая картина была в начале строительства. А потом оказалось, что можно и продовольствие достать, и транспорт наладить, и работать без митингов.

— Что ж, ты этим значение прессы не отрицаешь, а только подтверждаешь, — пожал плечами Хмара.

— А кто тебе сказал, что я отрицаю? Не будь заводской прессы, не было бы у нас тех трех сотен рабкоров, очеркистов и поэтов, которые сейчас имеются. Я хочу другое подчеркнуть...

— Товарищи! Будет вам свои дискуссии вести! Это скучно и вовсе даже не к стати. Мы шли сюда не за этим, — решительно оборвала их Катя. — Ну, давайте петь! Федор Петрович! Начините!

Славичев встрепенулся, тряхнув бородой.

— О-о! Спеть — это хорошо. Это по сезону. Только что же вам начать? Сразу не придумаю.

— Что-нибудь настоящее. Вы знаете.

Федор Петрович откашлялся, провел рукой по широкой бороде, охорашивая ее, и запел высоким тенором старинную уральскую песню. Пел он легко, юношески, с большим воодушевлением, слегка откинув голову. Блестевший взгляд, казалось, видел только те картины и образы, которые рисовала песня.

Когда кончил, слушатели начали было аплодировать и неожиданно остановились: от калитки шел, принужденно улыбаясь, всем знакомый человек — Анатолий Викторович Шухаев.

— Простите! Помешал... Замечательная песня! Ни разу не слышал такой. А поете вы, Федор Петрович, артистически. Честное слово, превосходно. — Шухаев, начиная с хозяина, пожал всем руки и еще раз извинился. — Вы уж меня не ругайте. Я шел к Василию Федоровичу. А тут такое пение... Я и заслушался... Дома, что ли, Василий Федорович?

— Ну, его с гончими не съешь! — засмеялся Славичев, обласкивая широкую бороду, довольный похвалой такого большого лица. — Да вы садитесь, Анатолий Викторович! Место, небось, не просидите, а нам такое общество приятно.

— Конечно, конечно, оставайтесь, — засуетилась Зоя. — Отец еще что-нибудь споет. А может быть, скоро придет и брат, — вам ведь с нами скучно.

— Нет, напротив, — улыбнулся Шухаев. — Но вы понимаете — я ворвался незванный, непрошенный в вашу среду. Мне просто неловко.

Шилов, не скрывая своего недовольства, хмуро молчал. Он не любил помощника главного инженера, относясь к нему подозрительно, сам не зная почему.

Старика упросили снова спеть. Анатолий Викторович, слушая его, думал совершенно о другом. В боковом кармане пиджака у него лежал объемистый пакет кредиток и жег грудь, хотелось выбросить его и растоптать, перед всеми признаться в своем позоре. Он пришел сюда к Василию Славичеву затем, чтобы выложить перед ним взятые деньги и рассказать о своем поступке. Молодой Славичев, его приятель, поймет его и научит, как поступить. Звонить же непосредственно Зарницыну — у Анатолия Викторовича не хватало мужества. А к тому же он знал, что снова спасует перед ним. «Как все это противно, гнусно и он совершенно бесслен без посторонней помощи вырваться из заколдованного круга» — безнадежно думал Шухаев, сидя с поникшей головой.

Пение закончено. Инженер пришел в себя. Осмотрелся. Вокруг него сидели чужие и, казалось, враждебные ему люди.

— А Василий Федорович не пришел еще? Может быть, он совсем не придет? — Шухаев поднялся. — Как он мне нужен, страшно нужен.

Старик развел руками.

— Василий Федорович у нас, как молодой месяц, мелькнет на минуту, и опять нет его... Кто ж его знает, — может, и до полночи проболтается.

Зоя, посмотрев на инженера, с печальной улыбкой сказала:

— Вам, повидимому, скучно с нами, и вы, кажется, не совсем здоровы. Вид у вас такой...

— Да. Я сегодня плохо себя чувствую. Нездоров... Совсем болен...

Шухаев, ни с кем не попрощавшись, ни на кого не глядя, устало зашагал к выходу.

### III

Зворькин выходил с партсовета, происходившего в кабинете начальника.

«... Строительство на многих участках позорно отстает. Директива центра о сроках должна во что бы то ни стало быть выполнена... Никаких ссылок на объективные условия, никаких оправданий... Ежедекадная проверка... За каждый срыв плана заведующий участком отвечает перед судом... Не посмотрим ни на заслуги, ни на положение...»

Тяжелые и грубые, точно отлитые из чугуна, слова начальника строительства крепко засели в сознании молодого инженера.

«... Сталелитейный цех по квартальному плану отстал на семнадцать дней. Теплоцентральный — на двадцать один. В чугунолитейном монтажные работы граничат с вредительством...»

Антип Игнатьич все еще видел перед собой раскрасневшееся лицо комсомольца-инженера, помощника завуча чугунолитейного цеха, растерянно приводившего в свое оправдание различные доводы. Видел секретаря ячейки теплоцентрали — пожилого рабочего, который просто и решительно сказал: «Да, я виноват. Я во-время не повел с этим решительную борьбу, не мобилизовал партийный актив. В этом моя вина...»

Зворькин, как второй помощник главного инженера, теперь также чувствовал на себе тяжесть ответственности за все участки. Правда, он помощником стал лишь месяц назад и во многом еще не успел ориентироваться, — но это мало оправдывало. В будущем же с него спросят больше, чем с беспартийного Шухаева.

Антип Игнатьич проходил длиннейшим коридором управления. Слышалось стрекотанье пишущих машин, сухой стук счетных костяшек и деловые, сдержанные голоса. Управленческая фабрика работала, как всегда, методично и четко всем своим сложным живым механизмом.

Инженер Зворыкин шел, не интересуясь окружающим, занятый анализом причин почти систематических прорывов.

По лестнице навстречу поднимался Шухаев. Помощники главинженера остановились друг против друга. Шухаев был бледен, с запавшими глазами. В поданной руке чувствовалась вялость. Он спросил:

— С совещания?

— Да.

— Горячо было?

— Ничего. Всем досталось... И по заслугам... Сегодня узнаете.

Зворыкин хотел было итти, но Шухаев остановил:

— Антип Игнатич! Подождите! — На бледных до желтизны щеках появились лиловатые тени, глаза горели возбуждением. Он жестко улыбнулся: — Значит, обстрел по всем?

— Да, кто заслужил.

— Так... — Шухаев снова растянул лицо в улыбку. Теперь она была многозначительной и чуть издевающейся и — Зворыкин почувствовал — относилась лично к нему. — Та-ак... А я вчера целый вечер был дома и ждал вас. Думал, придете. Я хотел...

Говоря это, Шухаев играл взглядом и мысленно задавал ему вопрос: «Вот, узнай — вредитель я или нет?.. Ха!.. В столе у меня лежат пять тысяч рублей, а ты с почтением жмешь мне руку. Что ж, жми! Уважай!.. А я сам себя не уважаю...»

— Впрочем, идите, еще увидимся, — махнул он рукой и стал подниматься. Но, сделав несколько шагов, снова обернулся. Безумно хотелось крикнуть в спину уходящему: «Я сейчас же могу свезти их Зарницыну, и я свезу, обязательно свезу! Швырну ему в лицо: «На! Инженера Шухаева нельзя купить!..»

Но он не крикнул. Снова стал преодолевать ступени, казалось, бесконечной лестницы...

В кабинете начальника строительства, где находился и главный инженер, Шухаев спокойно давал объяснения по некоторым объектам. Говорил уверенно, в своем обычном тоне, ни на секунду не теряя самообладания. В иные минуты даже мысленно отмечал с удовлетво-

нием: «Как превосходно веду роль. Может быть, попробовать на сцену?.. Ведь это же талантливейшая игра. Могу стать крупнейшим артистом...»

Шухаев идет на площадку: нужно побывать на теплоцентрали, куда с утра брошены дополнительно люди и машины, чтобы подогнать отстающий участок.

Звон железа, скрип дерева, стук и ляг механизмов поднимают у него настроение. Вчера они наводили скуку, действовали на нервы утомляюще, а сегодня возбуждают...

«В самом деле, почему он до сих пор не попробовал себя на сцене? Куда интереснее инженерской работы. А главное — можно достигнуть славы...»

С лесов, на высоте двадцати шести метров, люди внизу кажутся игрушечными, вроде оловянных солдатиков, а шныряющие взад и вперед грузовики напоминают хлопотливых жуков-навозников. И все цеха с бесчисленными постройками развернулись с картинной наглядностью, точно музейная модель ча огромном столе.

Разговаривая с инженерами и рабочими, Шухаев выражает крайнее недовольство медлительностью работ, возмущается техническими ошибками отдельных прорабов и с негодованием громит чуждых вредителей. Внизу он сталкивается с техником Дубенец.

— Анатолий Викторович! С материалом опять заминка, — заявляет техник, задорно вскинув белесую бородку, поющую на детскую лопаточку. — Трактор порт жалит нас, как восточная фаланга. Угробят, помяните мое честное слово!

— У вас рабочая сила неправильно распределена, — не слушая его, говорит инженер. — Бригаду Шаградинова нужно было поставить на балластный, а Федорову дать боковую выемку... Вообще работа ведется недостаточно продуманно. Показатели — из рук вон плохие.

— Анатолий Викторович! Это несправедливо с вашей стороны...

— Я говорю — плохо! Нечестно! — перебивает его Шухаев, возвысив голос. — Вы не оправдываете оказываемо-

го вам доверия! Я делаю вам строжайшее замечание. Поняли?

Дубенец нагло смотрит на инженера.

— Товарищ начальник! Вы напрасно на меня поклеп взводите. Я работаю самым честнейшим образом. Если я получаю деньги, то считаю себя обязанным заработать их!..

При слове «деньги» Шухаев вздрагивает, впивается острым взглядом в лицо техника. Мысль сверлит мозг: «Неужели ему это известно?» А техник, смеясь нахальными глазами, продолжает:

— Я человек больших принципов и очень бы хотел, чтобы и другие были такими же.

Он делает ужимку и цинично добавляет:

— Вам, товарищ начальник, особенно следует это помнить.

На губах у техника саркастическая ужимка.

Инженер Шухаев стискивает зубы и, подавляя возмущение, молча отходит. В мозгу снова сверлит: «Узнал, собака!.. Все известно!..»

Не заходя в управление, Шухаев садится на машину и едет домой. Чувствует себя совсем разбитым; ноет под сердцем и стучит в висках.

Дома он затворяется у себя в кабинете и, желая заглушить боль и бесильную злобу на всё и на всех, пьет чайным стаканом водку. Пьет так, как никогда раньше не пил. Пьет и не чувствует опьянения..

Поздно вечером беспокоившаяся жена вошла в кабинет и увидела мужа, разметавшимся посреди пола в отвратительном пьяном сне...

*(Продолжение следует)*

---

## Два стихотворения

МАРК ШЕХТЕР

КОНЕЦ ЕКАТЕРИНОСЛАВА

Тараканий, замшелый город,  
Лыком шит твой поганый ворот,  
Два столетя, полуживые,  
Над тобою склоняли выи,  
Над одною сплошной заплатой —  
Серой, глиняной и дощатой.  
А виною всему перины,  
Хмель великий Екатерины,  
Некрасивой и оголтелой,  
Мокрогубой царицы тело,  
И болотных ночей потемки,  
И светлейший князек Потемкин.  
За ночные утехы князя,  
За больные его подглазья,  
Поднесла ему в дар царица  
Карту темной Руси сторицей:  
— Что понравится, мол, на память  
Все пожалуй, с потрохами.  
Ткнул светлейший в ту карту пальцем.  
Поклонился, заулыбался,  
Стукнул ó пол бесценной тростью:  
— Город выстрою — будешь гостьей;  
— Пусть он ветра быстрее встанет,  
Лучшей чество твоею станет!..  
Вот и встал ты, губернский город,  
Что был пропит, забыт и порот  
Всяких гильдий бородачами,  
Воротилами, лихачами  
Да казацкой проклятой плетью, —  
Тлеть в веках да в музеях тлеть ей!  
Чем отмечен ты был?! — Мошною,  
Ватной стеганой тишиною,  
Славным людом бесславных фабрик,  
Гулом стачек и мукой храбрых,  
Крестным ходом, глухой кутузкой  
Да жандарма башкою узкой.  
Восемь церквочек да соборов

Ублажали твой дикий нороз;  
Вдоль по улице Петроградской  
Шлялся крепкий дымок кабацкий,  
С матершиной, с кулачным боем,  
С тонкой девичьею мольбою.  
Только слава твоя бежала  
Длинной улицей слез и жалоб,  
Мимо бедствий еврейских, мимо  
Чердаков, нищетой томимых,  
Рыбаковою балкой, рынком  
Христарадничать под сурдинку,  
А на Ломаной, на Железной,  
На Грошевой, глухой и тесной,  
В переулках кривых старея,  
Коротали печаль евреи —  
Балагулы, швеи, портные,  
Молчаливые и больные.  
Город, город, какая сила  
Эту быть, как репье, скосила?!  
Год семнадцатый... Год двадцатый...  
Гимнастерки. Ремни. Бушлаты.  
Как схватили тебя за ворот,  
Как встряхнули, губернский город!  
Ну, а мы, сорванцы босые,  
Что мы знали о мгле России?  
Мы в под'ездах сражались в бабки,  
Мастерили футбол из шапки,  
Укрываясь в сыром подвале,  
Вместе с взрослыми бедовали.  
Если вобла была, мы ели,  
Если не было воблы, пели.  
В летний зной, в непогоду, в слякоть  
Разучились младенцы плакать  
И сжимали под гул орудий  
Бледных женщин пустые груди...  
Город, имя твое истлело,  
Пулей тронута твое тело,



# Пятая армия

Книга первая

МОСКВА 1918 ГОДА

Роман

РАИСА АЗАРХ

(Продолжение<sup>1</sup>)

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дом Шляпниковых лихорадило. Если после боев на московских улицах, — а в этих уличных драках участие приняли, казалось бы, все недруги советской власти, — если после такого грохота снарядов над Кремлем большевики все же удержались, то чего же ждать в ближайшие дни? Одна надежда на чехословаков, беда — идут они недостаточно быстро. Уныние наполняло комнаты, тенями просачивалось в коридоры и оседало на кухне сдержанными, но торжествующими улыбками прислуги. Говорить в доме стали громче, кланяться жильцам ниже, обращение дворни с хозяевами стало менее почтительным.

Первой от родителей — как весенняя сосулька от крыши — оторвалась молодежь. Что Коля! Даже Шура, младшая из дочерей, быстро сыскала себе новые знакомства и, — кто бы подумал! — стала работать в ВСНХ, что означало — в ее снисходительном переводе родителям — Высший совет народного хозяйства. Шура не получала от службы никаких особенных выгод, но там было весело, множество народу толкалось в коридорах, канцеляриях, писали какие-

то бумажки, кому-то звонили, куда-то спешили, что-то передавали друг другу. Было ново, занятно, интересно, а главное, постоянно в людской толчее.

Шуру устроил туда один из товарищей, а с ним она познакомилась у Аси Линовой, жившей у Марины в маленькой комнатухе. Ася недавно эвакуировалась из Ростова. В Москве у нее ни родни, ни знакомых. Девушка заболела, и Лерс взяла ее к себе. С Шляпниковыми Ася была сдержанно-деликатна, с дочерьми дружна.

Из купеческого, застойного особняка Шура сразу попала в атмосферу как бы свежих воздушных течений, постоянно рвущихся навстречу друг другу, бодро свистящих в ушах, в атмосферу всегда возбужденных докладов, резких звонков, веселой видимости работы и, по существу, возможности занять тысячи людей каким-нибудь делом. Шура из них не была худшей. Порой она искренно желала работать и гордилась званием служащей.

Сначала незаметно, исподтишка, а потом и открыто, она стала приносить домой папки с какими-то бумагами. Бумаги были официальные, и это рождало у Шляпниковых к Шуре почтительное отношение. Кроме того, в ВСНХ

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. кн. 5, 6, 7 и 8 с. г.

Шуру кормили обедом, и случилось, «в супе даже крупа попадалась», как докладывала она родителям.

Сегодня Шура пришла домой смущенной. На пухлом, добродушном ее лице, с чуть выпяченными вперед губами, видно было непривычное для нее усилие мысли, и трудно было понять, что переживает она — радость или печаль. Шура и сама не знала, хорошо или плохо у нее на сердце от новости, которая осторожно прошла сегодня по всем этажам, залезала в оборные, в темные уголки коридора, а потом встала перед всеми открыто, как будто совершившийся факт. Мало ли что говорят! Вместе со всем домом Шура уже не раз узнавала о падениях, крушениях новых властителей, а на проверку всегда вышло, что это обман.

Она силится определить свое отношение к случившемуся — и не могла. «Как папаша с мамой, Борис, Нина, зять...» — подумала она и решила ничего не рассказывать. Ася, ее шеф, советовала ей никаких слухов в дом не носить, потому что она, Шура, на государственной службе. Шура это понимала и особо уважала слово «государственной», хотя в исходящих и входящих, которыми она занималась, на заготовке значилось «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика». «Это и есть «государственное» — успокаивала она себя. Сначала Шура собиралась было рассказать новость Асе, но потом передумала, — стоит ли с Асей теперь особо дружбу водить?

Она прошла через гостиную, где сидели домашние, с независимым видом.

Мать удивленно посмотрела ей вслед.

— Что с Шурой? — обратилась она ко всем: — Не обидел ли кто? Девочка молодая, впечатлительная, за ней нужен глаз да глаз. Пойди к ней, Борис. Ты ведь старший брат. Расспроси так, издали, осторожноенько.

Шура сидела у окна. Борис дружески устроился подле:

— Ну, как дела, сестренка, долго еще продержитесь? — шуточно спросил он.

— Тебе, Борис, все шуточки да смешки, а мне-то каково. — Шура не-

ожиданно всхлинула. — Восемь часов сидишь, не разгибая спины...

— Ну, ну, — успокоил ее Борис. — Знаю, как работаете. Все ахи да охи. Пуховой по носику да духами вокруг... Все же, поди, веселей, чем дома в четырех стенах.

— Борис, — несколько торжественно начала Шура. — Борис, — на мгновение остановилась на полуслове, — Алексея немцы убили или австрийцы?

— Это все равно, Шура, убили наши враги, враги царя, родины и веры...

— Брось! — Эта тройчатка давно навязла у нее в зубах. — Ты скажи, ты скажи — немцы или австрийцы?

— Не знаю, — сознался брат. — А что? Почему ты именно сейчас об этом спрашиваешь?

— Борис, — она огляделась вокруг, — только поклянись на образ десять раз, что никому, ничего, никогда не скажешь! — и она строго указала на угол, где в ките теплилась вечная лампада.

Борис закрестился часто-часто двумя перстами, как это принято у староверов.

— Еще, еще...

Борис опять перекрестился.

— Немцы в Москву едут, — сказала она таинственным шепотом.

— Ну и пусть себе едут. Эка невидаль, их тут целое посольство на Денежном переулке. Нового посла вместо Мирбаха давно ждут.

Брат щеголял своей осведомленностью и равнодушием.

— Нет, не посол, не консульство, а вооруженная немецкая армия, — несколько торжественно проговорила Шура.

— Как, как? — Борис вскочил, прошелся по комнате, поправил ремень на рубахе.

— Немцы шлют свои войска. Ну, понимаешь, армию. — Она видела, что брат не верит, и силится говорить убедительней: — К границе целые эшелоны подают.

— Что? Как? Зачем? — Задыхаясь, Борис сам не знал, радоваться или печалиться ему.

— Неизвестно... Кто говорит, чтобы большевиков охранять, кто — чтобы против чехословаков выступить. А не-

которые так утверждают, что советскую власть они-то и прогонят.

— Стой, стой, не так быстро грохочи. Кто тебе это говорил? Рассказывай по порядку, что знаешь наверняка. Слухи после...

Шура и сама теперь уже не могла вспомнить первоисточник волнующих слухов. Старшая делопроизводительница слышала от секретарши президиума, которая неожиданно зашла сегодня утром в кабинет заместителя председателя и слышала отрывок разговора по телефону, видела взволнованное лицо тов. Комова, который мгновенно замолчал, как только она вошла. Секретарше обычно доверяли, и такое поведение ее удивило. Она тогда решила дослушать разговор из-за двери. «Немецкие войска... вооруженные, в форме... в Москву», — вот что донеслось до нее. Комов отложил прием, крикнул представителю табачного треста, что вагоны сейчас нужны для армии! Понятно, для какой. А сам немедленно отправился на заседание ВЦИК, он бежал по лестнице так, что перешагивал сразу через пять ступенек.

— Не говори родителям, не стоит их заранее пугать...

Бориса охватило нетерпение. Было ясно, что больше сестра ничего не знает. Надо бежать к Зиминным... И он быстро ушел к себе, чтобы взять со стены фуражку.

По лестнице навстречу ему спускался Сокол, аккуратный, спокойный, подтянутый и степенный. Сокол не был знаком со Шляпниковым, но Борис остановил его:

— Можно вас просить ко мне на минуточку?

Сокол учтиво отказался.

— Страшно важное сообщение, — многозначительно оглянувшись по сторонам, настаивал Борис. Сдержанность начальника пулеметной команды бесила его. У него вспыхнули глаза, сжались кулаки. Сокол удивился, заметно приподнял правую бровь, ждал.

— Вы офицер русской армии! — едва сдерживая крик, бросил ему Борис.

— Да, раньше был офицером, а теперь — командир родной армии. А вы кто?

— Вы дрались против кайзера, против немцев, против разрушителей Лувена, против поджигателей Бельгии, против порабитителей культуры, — не отвечая на вопрос, захлебываясь, продолжал Борис.

— Дрался в то время, когда ты, щенок, за мамашину юбку прятался. Ранен три раза, имею «Георгия» всех степеней и офицерскую шашку.

— Можете свои «Георгии» немцам при встрече преподнести и георгиевскую шашку к ногам положить в придачу, они рады будут. Может, и помилют...

— Ты чего мелешь? — Соколу хотелось схватить Бориса за шиворот.

Не замечая, они оба кричали громко. Из комнаты Лерс выглянула Аннушка с ребенком на руках.

— Ты о чем это, барчук, раскудалтался? — покровительственно поинтересовалась она.

Сокол отстранял Бориса. Но тот, не помня себя, бросил ему вызывающе и визгливо в лицо:

— Наймит немецкой армии! В Москву немцев на помощь пригласили? На ладан дышите?.. Они вам покажут. Да и мы не спустим...

Сокол, тяжело дыша, подошел вплотную к Шляпникову:

— Что ты сказал, что ты сказал? Повтори...

Рука Сокола опустилась на кобуру нагана. Борис опешил. Полминуты растерянно молчал. Потом, видя, что опасность не так уж велика, заикаясь, начал.

— И повторю. Что страшаете? Повторю! Меня не запугаете.

Как бы ища защиты, посмотрел на няньку. Потом заискивающе повернулся к Соколу:

— Разве не известно вам, что большевики призвали в Москву вооруженные регулярные части немцев и что навстречу им выехали члены правительства? — Борис сочинял напропалую.

— Клеветник! Я тебя, как мокрицу, раздавлю. — Сокол провел подошвой сапога по паркету.

— Зачем волнуетесь? Я ведь по-дружески вам... Сведения у меня самые достоверные, — заикался Борис.

— У тебя все достоверное. И про че-

хияков тоже было верное? — вступилась строго Аннушка.

— Что говорил, то и вышло. Чехословаки всю Волгу заняли, сюда идут. Потому и немцев вызвали. Шура своими ушами слышала, как Ленин всех вызывал... на совещание... Рыкова и других... Эшелоны приготовить велел...

Сокол знал, что одна из дочерей Шляпникова работает в ВСНХ.

— Эшелоны это для нас готовят, наднях на фронт отправляемся, — сердясь на то, что он ввязывается все-таки в разговор, возразил Сокол.

— Говорю же вам, что для немецкой армии. Германия предложила, Ленин согласился, даже обрадовался.

— Ложь, не поверю... А тебе голову сверну, — как бы в раздумьи сказал Сокол.

— Голову надо сворачивать тому, кто предает Россию, — окончательно расхрабрился Борис.

— А може, с немцами и пленные придут, мой где-то у них! — неожиданно заголосила Аннушка. — Возьму я тебя к себе, заживем в доме своем, — стала она причитать над ребенком. Ребенок глядел на нее серьезно, словно у него было свое понимание происходящего.

Сокол, услыша причитанье Аннушки, спохватился и пошел, досадуя на себя.

«Неужто правда? Как могут большевики впустить в Москву немецкие части? Ведь это равносильно немецкой оккупации. Положение советов тяжелое, допустим... Может быть, Ленин решил-ся на это, чтобы сообща с Германией бороться против чехословаков, против белогвардейщины. Нет, нет, это невозможно, невысказанно, неслыханно. Это же значит отдать власть».

Сокол не видел ничего вокруг себя.

«А я... Что будет со мной теперь? Не класть же к ногам немцев боевое оружие, полученное в боях против них, дарованное за пролитие крови, за защиту родины. С немцами надо бороться. Но как? Не итти же мне к белым, отдающим родную землю союзникам. Их-то я хорошо знаю».

Он вспомнил весь позор красновской операции, предательство генерала, свой уход.

«Куда теперь итти? С кем? Нет, нет, надо все тщательно проверить, продумать... Ленин пошел на такой маневр, чтобы сообща с немцами разбить чехов. Может быть, это в самом деле ловкий ход? А потом и с немцами справимся» — пытался он успокоить себя. «На какой бы маневр большевики ни пошли, офицеру русской армии, честному борцу за Россию, за родину, с немцами не по дороге» — решил он вдруг твердо.

Сокол машинально шел к Крутицким казармам, где находились его команды. Здесь же стоял и 38-й полк. Командир полка, старший по чину, был и комендантом. Он шел к Моисееву и думал честно, откровенно рассказать ему обо всем. Редкие прохожие с удивлением оглядывались на стройного командира, взволнованно разговаривающего с самим собой.

Часовой у входа отдал ему честь. По двору толпились мобилизованные по призыву инженерных и артиллерийских частей.

«Почему они не задержали мобилизации? К чему теперь все это?» — глотая подкатившийся к горлу ком, думал Сокол.

Перед кабинетом коменданта он немного постоял, подумал и постучал. Никто сначала не ответил. Дверь была заперта изнутри.

— Кто? — раздался, наконец, глухой, знакомый голос.

— По весьма срочному вопросу, товарищ комендант.

— Андрей Леонидович, подождите... У нас партийное заседание. Если можно, минут через тридцать.

— Нет, прошу немедленно, сейчас, — не в силах сдержать волнения, громко сказал Сокол.

Удивленный Моисеев открыл дверь. В накуренной комнате сидело человек шесть.

«Совещаются, — подумал Сокол. — Смущены, значит, правда...» Первая, кого он узнал, была Марина. Отчаяние, горе, боль поднялись в нем с неудержимой силой. После отъезда Марины из его сотни сколько он передумал, сколько пережил! Как горячо он принял Февраль, солдатские комитеты, Октябрь, выбор-

ное командование, работу с большевиками, формирование пулеметных частей. И все это для того, чтобы увидеть в России, в Москве, немецкие войска? И большевики сами призвали их на помощь...

Соколу вдруг захотелось сейчас выказать все это в лицо Марине. Захотелось прокричать ей и о своей молчаливой любви, рассказать о бессонных ночах и болях, о муках и счастье, надеждах и огорчениях. Ей и ее товарищам бросить в лицо свое отчаяние и горькое разочарование в них, в ней, в новой власти. В волнении он застегивал и расстегивал кобур нагана.

— Что с вами? — участливо спросил Моисеев.

— Ты же болен, товарищ, — подошел к нему единственный коммунист пулеметной команды.

— Вы хотите вынуть оружие? — спросила его Марина.

— Я пришел, чтобы сдать оружие, — сказал Сокол горько и неожиданно для себя.

Все переглянулись.

— Считаете себя недостойным его носить? — спокойно и строго проговорил Лерс.

— Да, оно мне больше не нужно. Направить его против вас я не хочу, не могу, не умею, — выкрикнул он истерически и, покраснев, замолчал.

— Как хотите, вам виднее, — сказала Марина.

Сокол пытался вынуть наган, но пальцы не слушались его.

— А вы, — он только сейчас разглядел Амнова, бывшего поручика Двинского полка, с которым был знаком еще по фронту. — Вы тоже пойдете служить немцам?.. Станете под их знамена?.. Оденете чужеземное ярмо?

Сокол боялся зарыдать. Ему хотелось сейчас забраться, как ребенку, в темный угол и там, на свободе, буйствовать.

Амнов встал, поправил на себе маузер и спокойно спросил:

— Ты, что, товарищ, режнул что ли? О каких немцах, кому под ярмо?

— Большевики же немцев в Москву

пригласили, — со злобой закричал Сокол.

Марина быстро подошла к нему, взяла его за руку, заглянула в глаза и, тихо, понимающе, как старшая, сказала:

— Мы — все вместе, а он один. Конечно, тяжело, товарищи... Это так понятно...

— Мне не нужно ваше участие...

— Сядьте, — попросила она серьезно. — Не хотите, ну, стойте. Но без истерик. Вы наш друг, командир, которому мы доверяем. Правда, товарищи? — обратилась она к остальным.

Сокол невольно оглянулся и увидел ясные, открытые лица, серьезно и участливо к нему обращенные.

Моисеев держал в руке лист мелко исписанной бумаги.

— На недостаток кризисов и быстрых политических изменений, как сказал сегодня Ленин, мы пожаловаться не можем. Вы не застали начала информации, я повторю и зачитаю конец обращения, — сказал он, повернувшись к Соколу: — «Вчера в 11 ч. вечера к народному комиссару по иностранным делам явился доктор Рицлер, исполняющий должность германского дипломатического представителя, и сообщил ему содержание только-что полученной им из Берлина телеграммы, в которой германское правительство поручает ему просить о согласии русского правительства на допущение батальона германских солдат в военной форме для охраны германского посольства и о скорейшей доставке этих солдат в Москву».

Сокол сжался и опустил голову.

«Значит, этот щенок оказался прав. Но только батальон. Батальон, чтобы потом корпуса?» — Он оглядел всех присутствующих. Глаза у всех были строги и серьезны.

— «При этом прибавлено, что всякие оккупационные цели далеки от германского правительства».

— И вы поверили? — с горечью и болью сказал Сокол.

— «Народный комиссар по иностранным делам по соглашению с председателем Совета народных комиссаров ответил, что народные массы России желают мира, что русское правительство готово

дать германскому посольству, консульству и комиссии вполне достаточную и надежную охрану из своих собственных войск, но что оно не может ни в коем случае согласиться на допущение в Москву иностранной военной части...»

— Не может согласиться? — вскрикнул Сокол.

— Да, да.

Моисеев пропустил несколько строк.

— Я зачитываю обращение с того места, где мы остановились, чтобы не повторять... «Но точнейшим образом выполняя брестские условия и охраняя волю рабочих и крестьян иметь мир, правительство Советской республики никогда не упускало из виду, что есть предел, за которым даже самые миролюбивые трудящиеся массы будут вынуждены встать, — Моисеев глубоко вдохнул в себя и твердо читал, — и встанут, как один человек, на защиту своей страны вооруженной рукой».

Сокол почувствовал, как затуманились его глаза. Он склонился к столу, будто рассматривал газету...

Моисеев читал дальше:

— «На такой шаг мы вынуждены были бы ответить, как отвечаем на мятеж чехословаков, на военные действия англичан на Севере, именно: усиленной мобилизацией, призывом поголовно всех рабочих и крестьян...»

Сокол почувствовал, как с него сваливается тяжесть и как все существо его светлеет.

— «...к вооруженному сопротивлению и к уничтожению, в случае временной необходимости отступления, всех и всяческих без изъятия, путем сожжения складов, и в особенности продовольственных, чтобы они не могли попасться в руки неприятеля».

— Сожжем, а потом быстро восстановим, — уверял наивно Сокол, словно боялся, чтобы товарищи не передумали. — Именно так, и такими особенными словами надо говорить с немецким правительством...

— «Война стала бы для нас тогда роковой, но безусловной и безоговорочной необходимостью. И эту революционную

войну рабочие и крестьяне России поведут рука об руку с советской властью до последнего издыхания...»

— До последнего издыхания, — как слова молитвы, повторял Сокол, став во фронт. Встали и все присутствующие. В комнатах повисла звучная тишина.

Моисеев снова нарушил молчание:

— «Если война, вопреки всем нашим усилиям, станет фактом, мы не сможем иметь ни тени доверия к шайке лево-эсеровских предателей, способных срывать волю Советов, идти на военную измену и тому подобное. Мы почерпнем новые силы для войны и беспощадного подавления как безумно авантюристических лево-эсеровских, так и сознательно классовых, помещичьих, капиталистических кулацких деятелей контрреволюции. К рабочим, крестьянам всей России обращаемся мы: «Тройная бдительность, осторожность и выдержка, товарищи! Все должны быть на посту. Все должны отдать жизнь, если понадобится, для защиты советской власти, для защиты интересов трудящихся, бедных, для защиты социализма».

— Будет оглашено в печати? — спросил кто-то Амнова. Он только-что приехал с заседания ВЦИК и привез это обращение.

— Нет, ведь это куда еще крайне деликатное предложение и, по словам Владимира Ильича, «мы имеем еще полное основание надеяться, что этот неожиданный инцидент удастся разрешить благополучно».

Сокол смущенно и радостно, точно он встретил единственных, давно ожидаемых своих друзей, сказал, обращаясь сразу ко всем:

— Как бы ни разрешился теперь этот инцидент, но он показал одно: только большевики способны защитить Российскую землю, любимую нашу родину, только советы есть и будут настоящее патриотическое правительство. Каждый честный русский, к какой бы партии он ни принадлежал, в каком бы классе ни родился, должен беззаветно служить этому правительству.

Ему ответила Марина:

— Шаткая же у вас вера в свое пра-

вительство, Андрей Леонидович, если вы при одном слухе, вероятно, преподнесенном в нашем «замечательном» доме, — не иначе, как туда на хвосте какая-нибудь белая сорока принесла, — если при одном слухе, при одной сплетне сразу падаете духом, собираетесь сдавать оружие.

Она протянула руку к его кобуре.

— Оружие сейчас, как никогда, должно быть отточено, взято на придел, на боевой взвод. Родина, отечество... Наше отечество называется иначе «социалистическое отечество». И нам ли не любить его, нам ли не драться за него? Впервые миллионы трудящихся получили свое настоящее отечество, впервые за существование классового общества миллионы завоевали свою родину, чудесную землю, которая теперь будет рожать для своих настоящих хозяев. Впервые миллионы имеют свой воздух, свои реки, свои леса, свои озера... И вы полагали, вы могли подумать, что так просто все это народные массы отдадут обратно? Малый у вас счет, плохой у вас глаз, товарищ командир!

— Каюсь. Я признаю...

— Раскайные нам не нужно. Нам нужно понимание. Будьте крепки, стойки, верьте...

— ... партии большевиков, — докончил Сокол.

— Если можете...

— Не только могу, но должен, всегда, «до последнего издыхания», — повторил он слова обращения.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На Спасском рынке появилась свежая картошка. Кожуховская крестьянка продавала мисочку, чуть побольше ладошки, за пятьдесят рублей, а картофелины были величиной с голубиное яйцо. Все же это развеселило Лерс. Она ехала, внимательно вглядываясь в мелькающие по рынку лица и радовалась картошке потому, что это была первая весточка нового урожая: скоро поспеют овощи, созреют хлеба.

Сколько раз на митингах, на собраниях, на беседах по цехам, ма-

стерским, у станков она повторяла слова вождя: «продержаться до нового урожая». И вот, наконец. Идет он, долгожданный «товарищ урожай». Было от чего радоваться. «Сейчас задача иная — не только продержаться, но и удержать урожай, собрать его, свезти в города» — думала она и тут же возвращалась к мысли о том, как лучше, яснее и четче сделать доклад на партийном собрании, куда она ехала.

Собрались в комнатах нижнего этажа, где была управа, где в Октябре находился боевой штаб, а до этого общежитие милиционеров.

— Может быть, бюро соберем, наскоро, на-ходу, — предложила Марина Лидаку. Симоновка была партийным подрайоном, и Лидак работал здесь секретарем. Латыш удивился.

— Разве есть какие-либо особые сообщения?

— Хорошо бы прикинуть, кого мы сумеем отпустить тотчас же... Кажется, в сборе все бюро, — сказала она, оглядывая хорошо знакомые лица. — Падение Казани, напряженное положение после муравьевского предательства на Волге, кулацкие восстания, десант англичан на Севере, остервенелые попытки донской контрреволюции прорваться к Волге, захватить Царицын. Жизнь, будущее рабочего класса, всей революции решается на этих фронтах. Таково сегодняшнее сообщение. Народ у нас в боях побывавший, пороку понохавший. Как вы думаете, послушаем, поговорим и разойдемся?

— А разве есть решение о партийной мобилизации? — спросил Марину Ластенко с Электрического.

— Мы можем просить партию, чтобы нас до объявления мобилизации послали добровольцами, — ответил ему Ефимцев, не очень уверенный в боевом настроении Ластенко. — Как вы думаете, Семен Потапович? — обратился он уважительно к Смирнову, который еще не успел снять всех своих повязок.

Смирнов внимательно, с хитрецей слушал спокойное сообщение Марины.

«В райкоме у нее не вышло, так она к нам за помощью. Правильно делает. Только, чтобы не получилось, как с оружием, — он поправил с'ехавшую перевязку. — Да никто в том и виноват не был. Не хотелось мне оружие в центр везти. Трудно решить, как было бы лучше».

Ефимцеву Семен Потапович ответил неопределенно:

— В нужный момент партия сама позовет, а ежели товарищи сами потребуют послышки на фронт, отговаривать мы не можем; и уж ссылаться на отсутствие приказа о мобилизации совсем неудобно...

Лерс поняла Семена Потаповича, улыбнулась ему и сказала:

— Я так и думаю. А сейчас давайте пробежим списки ячеек, чтобы быть наготове.

— Зачем же, как говорят украинцы: «раньше батька в пекло лезть»? — не унимался Ластенко. — Зачем обсуждать неизвестные кандидатуры и призрачные желания.

— Товарищ Ластенко! Ты все с прибаутками. Какая неизвестность? Совершенно ясно желание каждого большевика быть сейчас на фронте, — не выдержал Лидак. — Пусть каждый себя спросит, легко ли ему здесь сидеть, когда на фронте стойкие люди так нужны.

Ластенко работал на Электрическом, знал хорошо заводское хозяйство, но дальше завода ничего не видел. Ему казалось, что все эти разговоры про фронты, про опасности — голая агитация. Настоящее же живое дело только у него на заводе, только на самом производстве. «На АМО им делать нечего, вот они себе работу и ищут» — думал он сейчас.

Марина не совсем уверенно сказала:

— Надо решить, кого мы предложим отпустить из членов райкома, если наберется группа добровольцев.

Смирнов поспешно обернулся к ней. Она сидела, подложив под себя правую ногу. «Значит, к чему-то готовится, и будет упрямо своего добиваться, — решил он. — Неужто сама ехать хочет? Да в своем ли она уме? При

семимесячном ребенке? Ни за что не пустим...»

— Кого из членов райкома? Ясное дело, меня, — торжественно сказал он и встал со стула.

— О тебе, Семен Потапович, вопрос решили. К нему больше возвращаться не будем. Кто среди нас еще член райкома?

— Я! — гордо отозвался Лидак.

— Нет, товарищ Лидак, ты кандидат... Неудобно, надо члена райкома... Придется мне.

Марина говорила внешне спокойно, крепко сжав руки, чтобы не выдать своего волнения.

Все растерялись. «Как можно отвести Лерс? Но и послать невозможно». Многие поглядывали вопросительно на Лидака. А он сам, взволнованный не меньше Марины, затворил медленно, подбирая осторожно слова:

— Конечно вы, товарищ Лерс, и на фронте нужны. Но все же вы человек не военный, это не уличные бои, не баррикадное сражение. — Он помолчал. — В районе вы больше нужны, да и ребенок у вас еще мал.

— Гляди, как загорелась, — шопотом сказал Ластенко своему соседу.

Лерс поднялась, но тотчас спокойно села и, улыбаясь, сказала:

— Ну чего вы горячитесь, товарищ Лидак. Уж если ребятишек считать, у тебя не меньше. Что это за новый «детский» признак отбора? Сейчас с этим считаться не приходится. Мы — руководство, и сами должны во всем пример показывать.

— Думаю, что вы неправы, товарищ Лерс, — задушевно и мягко сказал Семен Потапович. — Недавно я слушал Ильича. Он рассказывал о военной опасности, необходимости напрячь все силы, бросить лучших на фронт. По-вашему, выходит, что ему первому и надлежаю винтовку в руки взять. Да кто его пустит?.. Задачи руководства совсем иные.

— Руководство мировой революцией и руководство подрайоном — вещи качественно различные. В низовой организации личный пример отлично дисциплинирует и воспитывает массы. Показы-

вая пример каждому члену партии, мы учим его быть образцом для всей рабочей массы. За партийной мобилизацией начнется мобилизация лучших пролетариев. Что же! Агитируя среди беспартийных рабочих, большевики будут оставаться в цехах? Нет, мы должны сами пойти впереди, увлечь сомневающихся.

Марина говорила медленно, словно убеждала не только других, но и себя...

— Все же предлагаю товарища Лерс в первую группу добровольцев не пускать, как необходимую в районе.

— Как же ты, товарищ Лидак, можешь не пускать, когда и группы еще нет, — засмеялась Лерс.—А насколько я необходима в районе, это райком решит.

И она по-детски просительно глядела на Лидака.

— Задерживаете собрание, давайте начинать, — сказал Кузьмичев, просовываясь в дверь.

— Сейчас, сейчас.

И за Лидаком все двинулись в соседнюю комнату.

Марина выходила последняя, разговаривая с Кузьмичевым:

— Обсуждали, как быть если найдутся желающие добровольно ехать на фронт, решали, кого можно пустить, кому необходимо остаться.

— Меня отпустите. — И сероватые глаза юноши блеснули вопросительно и моляще.

— Посмотрим, посмотрим, может быть, ты сам и не назовешься.

— Обязательно присмирю или на домашние обстоятельства сошлюсь, — сострил Кузьмичев.

— А вот мне по домашним обстоятельствам предлагают остаться.

Кузьмичев остановился:

— Товарищ Лерс, а я уж решил к вам пришвартоваться. Мы даже такую группу составили.

Собрание прошло взволнованно и сдержанно.

— ... Наша революция — первый раскат мировой грозы, рабочие всего мира идут к своему Октябрю. Потому буржуазные правительства в бешенстве шлют свои десанты, чтобы до начала, у себя дома задушить нас. Чехословаки, их на-

емные войска, собирают вокруг себя белогвардейцев всех мастей. Левые эсеры — группа мелкой буржуазии — в тяжелую минуту метнулись к нашим врагам. Скатертью дорога! Силы ясны, трудящиеся видят их расстановку.

— ... На Восточном фронте, под Казанью, враг задержан. Этого мало. Надо его разбить, надо перейти в наступление, освободить рабочих и крестьян края от белогвардейцев, очистить Волгу, дать Москве и Питеру хлеб, который в захваченных губерниях имеется в изобилие.

— ... Борьба с кулачеством нашим, заграничным, мировым, — вот чем является гражданская война. Чтобы дать отпор, нужна крепкая, стойкая Красная армия. Объявлен призыв унтер-офицеров, артиллерийских и инженерных частей. Настоящую социалистическую армию может создать только наша партия. Большевики будут тем костяком, который быстро обрстет здоровым, крепким телом. Это будут верные рабочие, надежные крестьяне. Предполагается мобилизовать 25 процентов всего партийного состава. Таким образом, на фронт будет брошено несколько десятков тысяч человек, — политическое руководство, лучший боевой материал.

— Рабочие массы должны все знать, чтобы враги и паникеры не могли сеять сплетен, клевет, наветов. Будут пущены в ход разговоры и о бегстве, и о предстоящем падении, и о несметных силах врагов. Хладнокровие, выдержка, личный пример, — вот чем мы встретим контрреволюцию!

Марина говорила горячо и просто, чувствуя, что это — ее прощание с близкими.

Обсуждений не было. Тотчас за Лерс выступил с предложением Кузьмичев:

— Мы предлагаем не ждать объявления партийной мобилизации; на фронте нужны политические организаторы, проверенные в боях, имеющие опыт. За нами пойдут другие. Просим послать нас на фронт.

И Кузьмичев зачитал список, в котором Лерс была пятой.

Легкая грусть пробежала у многих по

лицам. По-особенному относились к Марине даже жены членов партии; симоновские мещанки, повыходившие замуж за квалифицированных рабочих, деревенские девушки, приведенные с родины, они часто ходили слушать ее сильный, сочный голос; и тогда реже и глуше громыхали чашки по столу от пустых щей. И тогда меньше было тяжелых, нудных разговоров...

— Добавить надо, мало, мало, — понеслось с мест. Называли и себя, и других.

— Ластенко, — вставил Кузьмичев. Ластенко живо обернулся, да так быстро, что вызвал смех соседей.

— Может, не хочешь? — усмехнулся Николай.

— Как так не хочу? Не могу... На мне завод. Это ты, — он начинал сердиться, — из молодых, да ранний...

— Мы слышали, ты что-то про пекло говорил: «В пекле, говоришь, каштаны жарятся, горяченькие, отливные...» Это кто-то из молодежи допекал Ластенко.

— Потихе, товарищи, — попросил Лидак. — Отказываться и отводить будем при голосовании.

Обсуждение пошло быстро.

— Андронов — молод, пусть подрастет, ума наберется: в Октябре из окопов ушел без смены. Чистова видели пьяным. Гольцев стар и плохо стреляет. Ефимцев нужен на заводе, пусть вместе со Смирновым хозяйствует. Ластенко, пожалуйста, говори прямо, чего там бормочешь?

После слова обиженного Гольцева, доказывавшего, что лет ему всего пятьдесят, а стреляет он плохо только без очков, а с очками — куда как горазд, слова Ластенко заставили многих смущенно потупиться.

— Я не отказываюсь ехать, если партия объявит мобилизацию, я первый поеду, — с напускным равнодушием говорил он.

— Не поедешь, отсидишься, — не выдержал Кузьмичев.

— Хорошо, если тебе сидеть негде, вот ты себе и место ищешь, — огрызнулся Ластенко.

— За начальническое местечко держишься, — крикнул другой голос.

— Товарищи, я такого позора для нашего завода вынести не могу. Прошу меня обязательно записать. Никогда не уходил из окопов, в щелях не отступал, и на фронте выдержу. — Это к столу подошел старый рабочий Сергеев и нервно тыкал пальцем в список.

— Подожди, не о тебе речь. Ты уже проголосован.

— Прошу отголосовать, — настаивал Барканов.

— Переголосуйте, — попросила Марина, — я поддерживаю.

— Так, значит, ты, Ластенко, отказываешься? — спросил Лидак. Все головы повернулись в его сторону. Но видно было, что он смущался менее других.

— Не отказываюсь, а не принимаю. Сам не вызываюсь, а назвавшему меня объясню, что еще не время, на заводе я больше нужен, мобилизовать же меня может только МК.

— Ой, как далеко хватаешь, нельзя ли поближе, — напирала молодежь.

— Не нужно его, — поднялся Кузьмичев. — Мы его все равно с собой не возьмем, а назвал я его для того, чтобы прощупать... Знаем «ероя»...

В шуме Лидак забыл отвести Лерс. «Да забыл ли? — исподтишка спросил себя хитроумный латыш. — Еще меня ребята засмеют. Пусть уже лучше ее в райкоме отводят».

— Давайте уговоримся, — говорила Марина окружившим ее добровольцам. — Все останутся на прежней работе, никакой суматохи, каждый ждет. Когда нужно, известим... Знаю вас, — она засмеялась. — Придете за неделю и райком тормозить будете...

— А вы поторопите, кого следует, — просили товарищи.

Николай Кузьмичев решил сбегать к матери, дать ей сейчас же задания насчет бельишка и носков. Он был чистоплотен и аккуратен, к себе так же внимателен, как к своему станку, на котором тщательно обтачивал детали. Как хороший токарь, он мечтал попасть в артиллерию или в инженерные войска, но так, чтобы от своих не отрываться.



Утром Латышев горькой усмешкой встретил Марину.

Он жил в слободе, и многие с собрания зашли к нему, часов около двенадцати ночи, известили обо всем.

— Значит, едете, Марина Михайловна? Так, так, так. Даже короткой разлуки вынести не в силах?

Латышев смутился под ясным вопрошающим взглядом Марины, но, уже сердясь на себя и проклиная свою бестактность, он, как упрямый бык, бодал препятствие.

— Ехать, говорю, решили, партийную директиву предвосхищаете?..

Марина молчала. Горячая кровь приливала к вискам: она блеснула глазами, но подавила вспышку.

— О чем вы говорите?

— Вернее, о ком. Кудрявцев ведь на фронте?

— На каком?

— Не знаю.

— А знать бы не мешало. Он на Северном, а мы едем на Восточный.

— Где-нибудь встретитесь.

— Безусловно, можем встретиться. Ну, раз вы полагаете, что еду к нему, зачем же вы меня задерживаете? Концы с концами не сводите.

Латышев видел, что обидел ее глупо и незаслуженно. Он понимал, что не то, в чем упрекал он ее, руководило Мариной, ее решением ехать на фронт, он отлично знал, что отношения ее с Сергеевым совсем особенные, какие, ему было неясно, но незаметно для себя он следил за ними, не отдавая себе отчета, зачем он это делал.

«Теперь-то она уедет обязательно, а я сплетником и завистником остаюсь в ее глазах» — мрачно решил он.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

### 1

Сборы были недолги. Партийное собрание в Симоновке не явилось исключением; на всех крупных фабриках и заводах вызывались итти добровольцами

в Красную армию сотни большевиков, и потому Московский комитет в день объявления партийной мобилизации мог быстро выставить хороших, проверенных людей.

Добровольцев принимал секретарь МК Ефремов, беседовал с каждым: «Что умеете, какую работу хотите получить на фронте, кого оставляете дома?». И все ответы он тщательно записывал себе в книжечку.

Пробегая наскоро анкету Лерс, Ефремов недоуменно потер переносицу, поднял глаза на встревоженное лицо женщины и опять уткнулся в бумагу. Лерс краешком глаза увидела, какой пункт в анкете его особо смутил, и улыбнулась. Год рождения, год вступления в партию. Не легче стало, когда он перешел на профессию и семейное положение. Арифметика была проста. Ефремов, считавший ее гораздо старше, был очень удивлен.

«Неужели начнет говорить о сыне?» — подумала Лерс.

Ефремов еще раз внимательно прочел документ, сделал на нем в углу крупный росчерк и, узнав, что симоновцы хотят под Казань и немедленно всей группой, сказал, что вряд ли это удастся, но что он будет об этом просить военных руководителей.



В воскресенье в сад имени Прямыкова на проводы пришли несколько тысяч рабочих. Людской поток наполнил районный парк, где так недавно отдыхали и чаевали господа Телятниковы, в беседе с амурами, над которой теперь была сколочена деревянная трибуна.

Первыми пришли заводы «Динамо», «Амо», «Бари». Пришел и весь «Гужон» проводить Семена Иванова. Многие явились раньше назначенного времени. Каждому хотелось побеседовать со своими, что-то наказать, что-то посоветовать, от чего-то предостеречь.

По отдельным группам шли оживленные беседы, слышались смех, прибаутки. Добровольцы были именинниками, их личной семьей являлся теперь весь район, вся Москва, вся страна, все здесь собравшиеся и все оставшиеся там, в хи-

барках окраин, в заселенных особняках, на далеких степях Донбасса, захваченных немецкими оккупантами.

Николай Кузьмичев был смущен приходом матери. «Еще вздумает заплакать старая» — сердился он. Его младший брат Борис еще с весны ушел с отрядом под Курск. Передавали, что в каких-то червонных казаках ходит, и это было не совсем понятно. Но Николай твердо знал, что казаки эти особенные, большевистские.

## 2

Отъезд был назначен на понедельник 1 августа.

«Тяжелый день» — причитала Аннушка горестно. Она уже исчерпала все аргументы, грозилась уйти, хотела даже объявить больным ребенка, но побоялась приметы, что от обмана и в самом деле может прилепиться к нему хворь. Лерс урезонивала ее всяческими подарками, словами. Весь тощий гардероб Марины перекочевал в нянькин необъятный сундук. Лерс отдала и теплое обмундирование, которое, рассчитывала она, ей самой не понадобится, так как все надеялись вернуться затепло. Она знала, что по-мужицки жадная к вещам Аннушка будет нежна и самоотверженна с ребенком.

Отъезд Марины и озадачил, и обрадовал шляпниковский дом.

— Если уж женщины едут защищать власть, значит... — многозначительно перешептывались обитатели особняка.

— Все-таки большевики разные бывают, — сказала Евдокия Степановна, разливая по чашкам какую-то жидкость вместо чая и опуская туда по несколько капель сахара.

— Конечно, мамаша, разные, бывают среди них и «идейные», — ответила Шура.

— И очень милые, — вырвалось невзначай у Коли.

— Милые — это ты, Коля, о нашей говоришь? Послушал бы ты ее на митинге. Сколько в ней ненависти к тем, кого они называют буржуями, то-есть, к нам, к людям образованным.

— Это ты образованная? — усмехнулся Коля.

Шура не кончила пятого класса гимназии, оставленная в нем на третий год, после чего Шляпниковы решили ее пустить по дому.

— Марина Михайловна с высшим образованием и в свободную минуту все читает. Она мне и книгу показала. Называется «Листья травы», поэт такой в шляпе с бородкой...

— Наверное, большевик какой-нибудь.

— Нет, она говорит, американец.

— Что же, в Америке большевиков, думаешь, нет, — всюду они теперь водятся...

— На-днях она по телефону с Кудрявцевым говорила, это ее поклонник, — перебила отца Шура, — я даже записала: «Муза, беги из Эллады, покинь Ионию». Должно быть, о бегстве усаживались.

Коля усмехнулся.

— Да это из той же книжки, и дальше будет так: «Ибо новое царство, вольнее и шире, ожидает, как владыку, тебя».

Евдокия Степановна всполошилась:

— Не смей такие слова повторять, они неприличны.

Наверху, куда поднялся выставленный из-за стола взволнованный Коля, из-за двери донесся крестьянский говор и спокойный голос Лерс. Он прислушался.

— Живи спокойно, береги ребенка. Домой скоро вернусь. Чехов прогоним, как прогнали буржуев в Октябре, эсеров летом, чехи — это вроде восстания в июле. Соберем силы, они и разбегутся.

— А врала мне тогда, что маневры.

— Маневры и были, мы свои силы проверили, а буржуйские подхалимы только руками размахивали. С хозяевами держись вежливо, с Колей дружи, он — мальчик жалкий.

У Коли похолодели кончики пальцев, а больная нога вдруг сделалась длинной, длинной и уперлась в пол, потом холодок потянулся к спине: «Что значит жалкий, меня жалко или я так плох?»

— Не сквальжничай, делись с ним, тебе он пригодится, — когда с малышом посидит. Он надежней всех их, холуев.

— Ласковый такой, все нашего по ручкам гладит.

И вдруг волна нежности плеснулась в детском колином сердце.

«Покажу ей, какой я есть. Стану Мише цветы носить, он их не рвет, гладит ручкой. Поспеют яблоки в саду, стяну, попрошу няньку тайком сварить. А что, если ее на фронте убьют, а здесь большевики падут?» Коле стало очень жаль большевиков, которые падут, и больше всего — Марину.

«Что тогда будет с ребенком. — Он слышал, как Борис говорил, что надо уничтожить большевиков и всех их детей, чтобы и семени их не осталось на земле. — Как что-нибудь замечу, побегу к няньке, бежим, скажу, и куда-нибудь спрячемся. Куда только? К их тетке? Нельзя. Тоже большевики, у них родня все такая. Разве к бабушке на Калитники? Нельзя, духовные, мамаша говорит, все богу молятся за падение большевиков. К няньке в деревню вместе уедем... Скажу Марине Михайловне, чтобы ехала и не беспокоилась, на нас обоих положила, — так великодушно решил мальчик и решительно пошел на голоса. Но у двери смущенно остановился. — А что если она догадается, что я подслушивал. Нет, ничего не скажу, а просто все сделаю».

Дверь неожиданно открылась перед ним, Коля увидел няньку, за нею шла Марина с ребенком на руках.

У входной двери Аннушка остановилась, поправила серенькую шапочку на голове Лерс, разгладила поясok на ее платье, и Коля видел, что она с трудом сдерживает слезы. Марина передала ей сына, поцеловала ему руку. Малыш прислушивался ко всему, что творилось вокруг, и казалось по его серьезному лицу, что он выбирает момент, когда и ему необходимо заплакать. Колю Лерс заметила не сразу, — в коридоре было полутемно.

— Счастливым путем, — сказал мальчик, — возвращайтесь скорее. — Он хо-

тел сказать еще что-то, но боялся, что не выдержит и разревется.

Марина неожиданно обняла и его. В эту минуту она чувствовала, что все ее существо заполнено миром, само небо становится ей близким. Таких, как она, тысячи, миллионы, и их силы беспредельны, и они все вместе вышлавят, наконец, иную жизнь на земле, — жизнь новых форм, чудесного строения. И в этом мире будет расти этот мальчик, потому что он обижен, потому что он слабенький, потому что он истинно ищет своего места у гигантских очагов, где пылают огромные солнца, где хватает тепла на всех людей, на целый мир. Лерс не смогла бы более простыми словами пересказать свое состояние, она как бы высоко плыла над всем мелким, бледным и ничтожным, что таилось в этажах этого дома, во всех мягких креслах, диванах, тумбочках, пуфиках, непроветренных комнатах с паутиной по углам, над всем тем, откуда вышел этот мальчик.

— Спасибо. Скоро вернусь, а ты к сыну в гости ходи...

— Я его не брошу, а если чего... — У Коли пересохло в горле. — Если... — и снова заплулся. Он боялся ее испугать предположениями о падении советской власти.

Марина поняла его и улыбнулась. Она знала об эвакуации золота, о возможном перемещении линии обороны на восток, на Урал, но всё это было только предосторожности. Не может пасть то, чему только одному и принадлежит будущее.

— Не бойся, Коля, врагам когти обрубим, пусть ползут по своим берлогам, а охотники — свои рабочие — их там давно с дубьем поджидают. Вернемся к своим детишкам... До скорого свиданья. Не спускайтесь вниз, я одна.

Ей не хотелось перед Шляпниковыми показать свое волнение, а скрыть его было так трудно...

— Грудь береги, бинтуй потуже и молоко спускай, ведь сегодня только отлучила, — всхлипывая, сказала Аннушка.

Ребенок засопел носиком. Марина тронула тыльной стороной руки глазенки

и лобик сына, провела ею по щечкам, закончила движение у подбородка, помахала, прощаясь рукой, и быстро сбегала вниз.

## 3

Бюро военных комиссаров на Пречистенке, куда явились добровольцы, находилось в бывшем помещении Московского военного округа. К приходу симоновской группы небольшой двор с садом был переполнен. Люди ходили в военном платье самых причудливых размеров, в огромных сапожищах, в фуражках, или закрывающих уши, или сидящих на макушке. Многие были смешны в неприличном одеянии.

Люди безостановочно вливались в старинное павловское здание, за все свои годы не видавшее толпы разнородней. В Октябре дом испытал на себе меткость красногвардейской стрельбы, и стены его во многих местах были испещрены пулями.

К Марине тотчас же подошло несколько знакомых. Женщин было мало, они застенчиво жались отдельными группами.

— Орешек, ты куда? — окликнула Марина.

— То-есть, как куда? — обиделся Андрей Орехов. Он был мал ростом и всегда боялся, что кто-нибудь может усомниться в его боевых качествах.

— На какой фронт, спрашиваю.

— На Северный. А ты?

— Мы под Казань...

— А говорили, что симоновцы едут в Вологду, и что Кудрявцев уже уехал.

Лерс сначала насторожилась, а затем, поняв, что Орехов ничего дурного не думает, просила сказать Кудрявцеву при встрече, что вся их группа, после того, как чехи будут отбиты, подымется по Каме к Северной Двине, навстречу англичанам.

— В Москве к годовщине все встретится!

На большой террасе за столиком сидел дежурный. Он отбирал анкеты. Иванов, Лерс, Кузьмичев и Данилов просили направить их всех вместе под Казань.

— Вряд ли удастся, на одном фронте нужда в одной категории, на другом — в другой. Вас, товарищ, — обратился он к Лерс, — надо в политотдел, а эти товарищи могут пойти в боевую часть.

Уполномоченный взял ее анкету и, дойдя до графы «врач», ахнул от удовольствия.

— Врач, член партии, да вы мне нужны дозарезу! — И он немедленно убежал к дежурному военному комиссару.

Через несколько минут уполномоченный вернулся и торжественно протянул Лерс путевку:

— Вы назначены врачом в поезд главкома. Заканчивается срочное формирование, на-днях выедете на фронт.

Марина вспыхнула, у нее задрожали руки, но никто этого не заметил. Она не взяла путевки и только спросила:

— Кто подписывал назначение?

— Товарищ Васильев.

— Пойдите и скажите ему, что я врачом в поезд не пойду. Меня послали для боевой работы. Хотите опорочить меня перед рабочими, перед всей организацией?..

Уполномоченный строго сказал:

— Товарищ! Вы в армии и обязаны выполнять боевой приказ.

— Я еще не в армии. Где бы ни была, неправильных приказов выполнять не стану. Для поезда найдете врачей. Руководители из добровольных групп целого района понадобятся в другом месте. Шутить извольте. Передайте Васильеву, что меня могут направить только в боевую часть.

— И мы без товарища Лерс не поедем, в Московском комитете нам обещали, что поедем вместе... Не для того мы первые добровольцы, чтобы с нами так, — заволновались Кузьмичев и Данилов. — Так не годится... Нас пошлют вместе...

— Давайте не волноваться. Видимо, товарищи посмотрели — женщина, ну, и решили, куда бы побезопасней... А мы объясним. И военные комиссары согласятся, — уже более спокойно сказала Марина. — Мы просим изменить назначение и послать в действующую часть.

Уполномоченный тоскливо покосился на завитушки очередей. До сих пор все шло гладко, никто ему не перечил. Но, если появятся женщины, да еще с целыми группами, тут и в два дня не справишься.

— Подождите, пойду докладывать о новой партии, скажу и о вас.

С террасы был виден цветник. Хмурые клумбы поросли травой. В конце сада стояла беседка, похожая на шляпниковскую, и Лерс подумала о сыне. «Он гуляет под вечер в саду, вот хлопнет калитка, ребенок быстро обернется на стук, потянется к матери, а это будут чужие...»

Симоновцев скоро выкликнули:

— Отменять назначение товарища Лерс военный комиссар отказался. Остальные товарищи направляются на Казанский фронт, в распоряжение штаба 5-й армии...

— Хорошо, — спокойно ответила Лерс, — прошу приема у военного комиссара.

Путевок опять никто не взял.

К ним вышел Васильев. Лерс выслушала внимательно о преимуществах, которые дает названный поезд, о его роли и о его важном значении.

Васильев был уверен, что он убедил Лерс. Но она заговорила уверенно и твердо:

— К сожалению, это не для меня. Знаете ли вы, что такое доверие масс? Вы хотите, чтобы мы, партийные руководители, низовые работники звали массы в бой, а сами устраивались в специальных поездах, в штабах, в тылу...

— Значит, мы, оставаясь здесь, в штабе, не выполняем воли нас посланных?

— Это другое дело. Вы — военные специалисты, вы поставлены партией руководить всей борьбой. Мы посланы ее непосредственно вести и должны эту волю выполнять.

Комиссар прервал Марину уж не совсем уверенно:

— Хорошо, мы посоветуемся. Если вы не хотите разбивать группы, мы можем всех включить в команду поезда.

Симоновцы переглянулись и в один голос заявили, что все хотят только на Казанский фронт.

На землю спускался вечер. Прозрачный воздух, сгущаясь, синел. Поезд на восток уходил в 8 ч. 45 м., а до этого надо было еще на вокзале явиться к коменданту, оформить проездные документы и найти свое место.

К крыльцу под'ехал грузовик.

— Последний рейс! — кричал шофер. — Кто казанцы? Заканчивайте скорее...

Кузьмичев уже успел познакомиться с шофером и дружески объяснил ему, что они ждут документов и сейчас будут готовы.

К группе друзей подошел уполномоченный.

— Я бы на вашем месте, товарищ Лерс, рад был назначению в поезд, не потому, что это спокойно и безопасно, — против этого вы законно негодуете, — а потому, что там можно развернуть большое дело. Поезд будет на фронтах. Вы человек образованный, сумеете поставить пропагандистскую работу, ведь придется об'езжать все фронты.

Но друзья стояли на своем. Уполномоченному они явно нравились. В конце концов упорство его было сломлено. Он сам просил Васильева послать их под Казань.

— Вы предлагаете подчиниться женскому капризу? — возражал тот.

— Женскому капризу? — переспросил вошедший Аралов, член бюро военных комиссаров... Тут же Аралов быстро ознакомился со всем материалом. — Надо послать всех вместе в боевую часть, — решил он.

Аралов был большим другом Кудрявцева, они знали друг друга по военной организации пятого года, встретились вновь после Октября, когда прапорщик Аралов вернулся с фронта, где провел всю империалистическую войну.

После эсеровского восстания на совещании в Московском военном округе Аралов впервые увидел Лерс. Аралов

сидел тогда с Кудрявцевым у раскрытых дверей бывшего кабинета командующего, и они вспоминали прошлое, — предутреннюю дымку трудового социалистического дня, когда еще не просыпались тысячи и в тумане видны были только небольшие отряды застрельщиков боя, будущие вожаки, командиры...

Вдруг Кудрявцев поспешно приподнялся, сделал движение вперед и тотчас же уселся опять, покраснев до зорня волос. Взгляд его был настойчиво направлен к дверям.

Аралов глянул туда же. Быстрыми шагами вдоль длинного вестибюля шла небольшого роста молодая женщина. Голова ее была открыта, и чуть волнистые волосы сбегали вниз вдоль открытого мягкого украинского лица. Она неприужденно шла прямо к ним.

Аралов покосился на друга.

— Кто это?

— Лерс, работник Симоновского района, боевой товарищ, блестящий оратор.

— Блеск ее кой-кому глаза слепит?

Москва — Шови  
1932 — 1935 гг.

— Нет, освещает радостью путь, — серьезно, как бы отвечая самому себе, сказал Кудрявцев.

Беседа была деловой. Кудрявцев и Аралов были так предупредительно-почтительны к Лерс, что она решила: для центра очень важен их район, скоро от него что-нибудь срочно потребуют. Аралов расспрашивал об эсеровском восстании, и Лерс охотно рассказала все, вплоть до мелочей.

\*\*\*

... Вот получены документы, загромычал грузовик, на ходу друзьям совали хлеб и продукты, Кузьмичев хозяйственно завертывал в бумагу сахар, кусочек колбасы. Вот — вокзал и суетливый комендант, полные ненависти глаза толстого оберга, две скамейки в последнем вагоне третьего класса, шипение уже расположенных пассажиров, светлая августовская ночь, пригороды, дачные места, стоянки у причудливых лесов. Все это возникало и летело как бы в легком сне...

Конец первой книги.

# Гремит барабан

Роман

Ш. ГЕРГЕЛЬ

(Продолжение <sup>1</sup>)

9

**Н**ебо прояснилось. Горы тумана еще громоздились у горизонта, но солнечные лучи все дальше оттесняли их. Казалось, что тысячи трубок дымят все слабее и слабее. Поля уже купались в блеске солнца. Дым из труб столбом стремился ввысь. Воробьи жизнерадостно носились по воздуху. Голые влажные ветви деревьев тянулись к солнцу.

Люди уже появились на улице без верхней одежды. Маленькими кучками собирались они перед домами, таинственно подзывали к себе прохожих. Каждый из пришедших пристальным взглядом осматривал стены или ворота. Всюду красовались маленькие афиши, красные и зеленые бумажки. Подходили жильцы соседних переулков и сообщали, что у них то же...

Со стен и ворот долгожданные слова звали батраков, поденщиков, бедняков покончить с нечеловеческим угнетением, требовали пособия безработным, общественных работ, аннулирования налоговой задолженности, описей имущества и распродажи с молотка. Листовки требовали работы, хлеба, земли, свободы, массовых революционных организаций, боевых комитетов, призывали на борьбу против крупного землевладения, фабрик, банков, попов и кулаков.

День начался солнечным утром. Скорбные лица раздумянились, улыбались. Из рук в руки переходили туго набитые табаком кисеты, весело дымили трубки. Выпятив грудь и сложив руки за спиной, люди расхаживали взад и вперед, останавливались перед листовками и по многу раз читали их по складам.

«Коммунистическая партия Венгрии», — люди читали эту подпись на листовках вслух, улыбались друг другу и потом взволнованно оглядывались. Подходили женщины, дети. Шум, суматоха все шире развивались по блестящей от солнца грязной улице. Прихрамывая, опираясь на посох, приковылял древний старик, Матэ Кираль. Он ощупью пробирался вперед. Вот уже двадцать пять лет, как он ослеп. В тюрьме, куда он попал вместе с сыном за то, что избил до полусмерти соседнего помещика, он и ослеп. В ту пору работники, убиравшие урожай, забастовали, и помещик нанял других косцов. Забастовщики бросились с косами на штрейкбрехеров. Битва произошла в поле. Матэ Кираль бился вместе с сыном. И вдруг он крикнул:

— Не этих несчастных нужно бить, а... — Матэ отбросил сверкающую косу и помчался к шоссе. Там как-раз в это время помещик садился в экипаж. Отец и сын стащили его вниз и ткнули носом в землю. После этого Киралья взяли в работу жандармы: посадили его в кар-

<sup>1</sup>) См. «Новый мир», кн. 8 с. г.

цер. Два месяца спустя в соседней камере умер его сын, оставивший внука Андраша, шестилетнего мальчика. Через полгода Матэ ослеп. То ли невыплаканные слезы, то ли опухоль от лобоев, то ли сырые стены камеры выжгли глаза, но не прошло и полгода, как даже серый тюремный мир навсегда стал для него темным. Сейчас Матэ Кираль ощупью плелся по улице, а впереди него, как гонцы, пробивая дорогу, бежали с громкими криками ребятишки. Толпа затихла.

— Брат Лиханий, ты здесь? — спросил старик, остановившись.

— Я здесь.

— Так прочитай-ка мне этот приказ, — попросил Матэ Кираль. Массивное тело его прижалось к стене, широко открытые незрячие глаза словно окостенели в напряженном внимании. Толпа окружила его тесным кольцом. Не слышно было ни звука. Только Лиханий, запинаясь, громко произносил одно слово за другим. Слепой старик подставлял свое слегка одутловатое красное лицо мелкому дождю слов. Когда же чтец подошел к концу, Матэ Кираль широко набрал воздуха в легкие.

— Ура! — заревел он вдруг. — Ура!

— Тише, — остановил его Лиханий, — в тюрьму попадешь.

— Я уже в ней насиделся, брат, — ответил слепой, — да и сейчас там сижу.

Послышался благовест. Колокол звонил к обеду.

Вокруг села разбросано было несколько хуторов. Они принадлежали помещикам. По воскресным утрам женщины с этих хуторов шли в село к обеду. Мужчины ходили в лавки и корчмы. Пьяные встречались теперь реже, чем раньше. У кого теперь найдутся деньги на трактир? Чтобы напиться допьяна, пэнго нехватит. Несколько человек остановились у деревянной церковной ограды, на которой красовалась маленькая летучка. Она гласила, что бедняк, безземельный, батрак не должны платить налогов, предлагала, чтобы крестьянин не допустил распродажи своего скота, что налоги идут на пушки и оружие. Господа вооружаются для новой

войны, для войны против Советского Союза, потому что там рабочий и крестьянин живут свободно, там они сами себе хозяева. А в самом низу, на последней строке, было написано: «Комитет единения трудящегося крестьянства».

Такая же листовка висела на поповском доме, на воротах корчмы. Многие считали, что эти листовки недействительны, потому что никем не подписаны. Ведь «Комитет единения» не есть партия. Может, его вообще не существует. Другие полагали, что все это — дело рук социалистов... Но это мнение вызвало горячий отпор. Так социалист не поступает. Он не станет ходить по запретной дороге.

Ференц Йойарт был уже тут как тут. Худощавое лицо его покраснело, длинные усы растрепались.

— Это только одни коммунисты могли сделать, — сказал он, — они, только они говорят так о русских. «Советский Союз» — так говорят только они, мы говорим «Россия».

— Если они так говорят, то это правильно, — заметил Фило, — а когда они говорят, что, мол, платить не нужно, то и тут правда.

— Иначе надо это, — объяснял Йойарт, — совсем по-другому...

— А как иначе? Как же? Ну, здесь, на улице, этого не объяснишь. Митинги не разрешаются.

Появились жандармы. Они прикладами расчистили себе путь и штыками стали соскабливать со стен листовки. Перед домом священника стояла в задумчивости жена Мештера. Черные глаза ее впелись в бумагу. Шевеля губами, она читала и перечитывала воззвание чуть ли не сотый раз.

— Марш отсюда! — заорал жандарм, отталкивая ее прикладом.

Народ разбежался. В маленьких деревенских домиках всюду подробно рассуждали о листовках, разбирали их содержание, спорили, сколько было расклеено этих афиш и кто это сделал. Вряд ли деревенские... Кто то приехал из города, облетел стены бумагами, а сам смылся. Может, он на велосипеде приехал?.. Да нет, какого чорта, не мог

он на велосипеде приехать по обледенелым дорогам. Должно быть, на автомобиле. И пожалуй, что на автомобиле... Может, этот человек на машине за ночь всю страну вдоль и поперек обехал...

Крестьяне умолкали, ворчали себе что-то под нос, тайком ходили друг к другу, обсуждали событие. Рассказывали, что прошлой осенью в соседних деревнях были расклеены такие же листовки. И виновник исчез бесследно. Это плохо кончится. Плохо для господ. Потому что все, что в бумаге сказано, все правильно. Так должно быть. Платить не нужно. И кто бы ни предлагал, тот прав. В первый раз открыто советуют крестьянам перестать платить! Пишут же газеты, что правительство само не платит англичанам, французам. Почему же должен платить крестьянин правительству? Ну его к чорту!

На главной — еврейской — улице тоже красовались летучки. Красные и зеленые, еще более крупные, чем у церкви, они висели на дверях лавочек, высоко на стенах, а парикмахерская была покрыта ими сплошь.

В этих листовках речь шла о судебном исполнителе, о том, что его надо выгнать из деревни. А если господа хотят получить деньги, пусть поищут у помещика, попа, сельского начальника, богатого кулака: у них не счесть сколько. А те только в пустых карманах батраков, поденщиков, неимущих рыщут хищными руками. С этим надо покончить раз и навсегда. К этому призывает коммунистическая партия Венгрии!

Евреи бросались к листовкам с мокрыми тряпками. Боже великий! Еврейский дом обклеить такими прокламациями... Общинный служитель тоже с усердием очищал стены от афиш.

Вскоре прискакала из города конница. Около церкви всадники остановились и, обменявшись несколькими словами с жандармами, ринулись к зданию сельского правления. Но и там они пробыли недолго, галопом они полетели к замку, к управляющему. Что же теперь будет? На листовках остались, предположим, отпечатки пальцев виновника. Как оты-

щет «петуший хвост»<sup>1)</sup> преступника? Никак не найдет... Крестьяне стояли возле своих ворот. На базарной площади, перед помещением социал-демократической партии, тоже скопилось много народу. Ференц Йойарт заявил, что он сегодня же напишет обо всем партийному секретарю. Прежде, чем расклеивать листовки, надо было спросить разрешения... Не разрешают? Это потому, что коммунистическая партия запрещена. Правительство право, хватит одних социалистов, они и то застряли в горле. Будь эти красные умнее, они все вступили бы к социалистам, а тогда и расклеивать можно было бы.

Подлетел конный жандарм. Он осадил коня перед кучкой крестьян.

— Ференц Йойарт? — спросил он с седла.

— Это я, — откликнулся долговязый, выступая вперед.

— Идете в участок!

— Зачем, позвольте спросить?

— Иди, иди! — проревел жандарм.

Кучка рассеялась.

Йойарт тронулся в путь. Крестьяне зашептались. В подворотнях теснились люди. Потом жандарм провел Яноши Фило. Он тоже вожак социалистов. Маленький Фило шагал красный, как индюк, подняв крупный орлиный нос; глаза его блестели, косясь по сторонам.

С нижнего конца села к участку в сопровождении верхового шел землекоп Михаль Петраш.

На улицах раздался барабанный бой. Чтобы на улицах никого не было! Таков приказ господина сельского начальника, участкового и господина управляющего.

— Чтоб чорт побрал этого управляющего! Чего ему тут нужно? Он всюду сует свой нос, где кровью пахнет. Что за чудо, что жена его не пошла с ним? В двадцатых годах эта шлюха опоясывала себя гранатами и ходила вместе с офицерами на охоту за людьми.

Так толковали между собой люди, выглядывая из-за ворот. Дети забира-

<sup>1)</sup> Венгерские жандармы на своей каске в качестве украшения носят петушиные перья, поэтому их называют так.

лись на ворота и сверху перекликались друг с другом. Но постепенно все затихло. Крестьяне уходили домой погреться.

## 10

С самого утра они сидели вместе, курили, ели. Воздух в комнате был спертый. Густой дым стлался под потолком. До обеда пили водку, за бедом вино, и глаза у всех помутнели от хмеля. Шандор Бенце сидел на первом месте, курил и лишь изредка вставлял в разговор слово, направляя собрание больше глазами, чем голосом. От непривычно большой дозы алкоголя или от непрерывно льющегося, изредка вспенивающегося ругательствами людского говора мозги его словно оцепенели, и следить за разговором было трудно.

Рано утром он приехал в Боз. Люди уже ожидали его. Из Хэдькэ и Фюлеша было по двое крестьян, из Боза — четверо. Сообрались в горнице у Йожефа Раца. Сначала жаловались. Ругали правительство, толкнувшее их в такую нужду, проклинали бога, попа, сельского начальника, стучали по столу, призывали бога в свидетели, что получилось как-раз обратное тому, за что они боролись. Крестьяне остались бедны, бедней, чем когда-либо, банки опять захватили все в свои руки. За красными охотятся, как за зайцами. Газеты пишут, что вот теперь окончательно уничтожили красных, а через месяц, глядишь, их опять ловят. А крестьянин ищет помощи, но напрасно, господа только заняты умножением своих барышей. С крестьянина семь шкур дерут. Думают, что когда красные опять возьмут господ за глотку, им стоит только крикнуть: эй, мужик, ткажи им под нос кулаком, — и деревня по господскому приказу опять ринется на город. Но на этот раз они просчитаются. Если уж сводить счета, то по-настоящему бар надо прогнать к чортовой матери.

— А как будет с кулаками? — спросил Бенце.

— И их туда же, — сказал человек из Хэдькэ. Он так сильно ударил черным кулаком по столу, что казалось,

кто-то захлопнул ворота. — В деревне кулаки — те же господа. Долой их!

— Всех к дьяволу! Всех! — Хмель постепенно пригибал головы к столу. Собеседники подолгу молчали, сидели, подпершись локтями, смотрели друг на друга и плевали. Потом шум снова поднялся. Жаль, жаль Матэ Дула! Он уже седеет. Постоянно грустит. Отшельником стал. Людей избегает. Недоволен, когда кто-нибудь из народа разыскивает его с жалобами... Еще недавно целые вереницы телег окружали его дом. Теперь он отсылает людей прочь. Видно, трусить начинает. Дрожит за свою шкуру. Он тоже ждет жирного куска... А вожака бы нужно, потому что без вожака нет спасенья. Против кого деревне оружие поднять? Кто в деревне господские приспешники? Сельские начальники, управляющий имением, судебный исполнитель, жандармы, кулаки.

А кому борьбу начать? Разоренному крестьянину? Ему-то одному против всего света? Да и с какой целью? Против распродаж с молотка и налогов? Но если простят налоги, разве тут лучше будет? Не начнется ли опять все попрежнему — обвинение, задолженность? Нужно отменить долг за полученные по земельной реформе участки... Но и это все равно, все к чорту пойдет. Что будешь делать с пшеницей? За бесценнок продавать? А потом, разве все, что выгодно крестьянину, выгодно и батраку, у кого ничего не растет, кроме кучи детей? Такой ведь уж и теперь голодает, при дешевом-то хлебе. Или против процентов бороться? Против банка? Но вместо него будет другая напасть. Бороться против всех и каждого, против всего мира, против всего, что в мире делается. Сам чорт тут не разберется.

Так путанно шла у них беседа. Потом в комнате опять стало тихо. Мрачно, сурово глядели они друг на друга, словно ища помощи.

— Об'единимся с землекопами, — предложил крестьянин из Хэдькэ. Худое усатое лицо его покраснело. — Я говорю, вместе с ними надо за дело взяться.

— Они с нами не пойдут, — возразил хозяин, Иожеф Рац, моложавый круглолицый мужчина, — они нам двадцатого года никогда не простят.

— А может, все-таки простят? — с надеждой в голосе спросил крестьянин из Фюлеша. — Всякой вражде конец приходит.

— Не им искать с нами дружбы, а нам с ними, а это не одно и то же, — проворчал крестьянин из Хэдькэ, оглядывая присутствующих большими печальными глазами.

— Ну, — вздохнул мужик из Фюлеша, — давайте потолкуем с ними. Кто возьмется? Ведь у них и язык другой.

— Мы их очень скоро пойдем, — крестьянин из Хэдькэ встал и расправил усы, — я уже с одним говорил, и он мне вот что сказал. Дело очень простое. В газетах пишут, что англичане американцам не платят, немцы — англичанам, а венгры не платят никому. Господа, банки и правительства перестали платить свои долги. Ну, а если они никому не платят, так и нам не нужно платить, ни долгов, ни налогов. — Кончив свою речь, хэдьковский мужик уселся на свое место, как ученик, хорошо решивший задачу.

Крестьянам понравилась речь. Они смеялись, как будто щекотали их, и спросили:

— А кто ж такой этот мудрый?

— Один человек, керестурский парень... ну, спрашивать нечего! — Крестьянин из Хэдькэ рассердился. Откинувшись на стуле, он выкрикнул: — Этот человек просил меня не называть его имени.

— А почему не называть? Что он, девушка, что ли? Чего ему стыдиться? между своими-то, между мадьярами. Чорт бы его... — они стучали кулаками по столу, плевали, ругались, но Шандор Бенце постепенно перевел разговор на другую тему.

Близился вечер. Люди утомились, зевали, рыгали. Бенце опять заговорил о Матэ Дула. Он еще раз рассказал об обыске. Крестьяне смеялись над неудачей с этим обыском... Жаль, хороший был предводитель, он бы теперь очень понадобился. Вспомнили о словах крестья-

нина из Хэдькэ. Сказал бы уж, кто это был... Крестьянин не отвечал.

Хозяин ударил вдруг кулаком по столу, стаканы зазвенели.

— Кто мы такие? Старые бабы? Выкладывай, кто он такой?

— Не могу сказать!

— Почему же нет? — заорал Рац. — Подлец он, как видно, прячется. Трус. Бойтся. И с такой бандой нам вместе итти?! Ни за что!.. Нищий. — Он выскочил из-за стола и, кипя злобой, устремился в угол комнаты. — И с такими прохвостами, с трусами я начну общее дело, я? — Пена показалась у него на губах, он потрясал кулаками в бессильной злобе.

— Я ему обещал не называть его имени, — спокойно сказал худощавый крестьянин и оглянулся по сторонам. Глаза его долго не отрывались от налитых кровью глаз Раца, чтобы потом успокоиться на улыбающемся лице Бенце.

— Этих людей жандармы избивают, пытаются. Слышите вы? Их уже целых десять лет бьют! С тех пор, как мы ввели битье в обиход, их колотят, сажают в тюрьмы: мы начали их убивать.

— И не надо было прекращать битья, — проворчал Рац.

— Ну... ну... — остановил Бенце.

Постепенно все успокоились. Крестьянин из Хэдькэ взял слово. Тот парень, с которым он говорил, должно быть, коммунист. Он спрашивал об этом, но напрасно. На все остальные вопросы он получал обстоятельные ответы, только на один этот вопрос он ничего не сказал. С этим человеком нужно бы что-нибудь начать. Он наверно не один в округе. Разумный парень. Надо приступить к делу. Он должен быть центром всего дела. Как у военных. Каждая деревня — рота, четыре деревни — батальон. Такие люди всюду есть. А в Будапеште — генеральный штаб. Тот парень, с которым говорил, тощий, точно скелет. От голода да от честности. Назначим ему в адъютанты по два человека из каждой деревни. Ну да. А потом... хоть я об этом еще ни с кем не говорил... денег сколько-нибудь надо бы собрать. Иногда жожаку придется съездить в город, а то и в Будапешт.

Долго обсуждали. Наконец, один заявил, что он дал бы пятьдесят кило пшеницы, больше у него нет. Другой предложил поросенка. Йозеф Рац о последнем боченке водки говорил тихо... Одним словом, поговорить с этим парнем надо. Но кто с ним начнет? Крестьянин из Хэдькэ? Или Бенце?.. Нет, нет, надо еще хорошенько подумать. Собравшиеся нерешительно смотрели друг на друга. Нет, нет, с этим делом нельзя спешить. Надо всё как следует обмозговать.

Наконец, все распрощались. Сначала ушли жители Боза.

Бенце уехал вместе с крестьянином из Хэдькэ. Долго они смотрели на бежавших рысью лошадей. Сидели молча, курили.

— А мне скажешь? — тихо спросил Бенце. — Кто этот человек?

— Один парень из твоего села, — ответил спутник.

— Как его зовут?

Крестьянин из Хэдькэ смотрел на заходящее солнце. Вдруг он обернулся к Бенце и тихо произнес:

— Петраш.

Бенце кивнул головой. Довольный, он протянул руку соседу.

— Это хорошо. Петраш... Я так и думал.

Немного погодя крестьянин из Хэдькэ слез. Было уже почти темно.

Поздно вечером Бенце подехал к селу. Верховой жандарм загородил дорогу.

— Куда? — спросил он.

— Домой, — ответил Бенце.

— Ты что же, поздороваться не можешь, что ли? — Жандарм вплотную подехал к тележке и наклонился к лицу Бенце. — Не видишь, кто перед тобой?

— Вижу. — Бенце сдержал лошадей, встал и, глядя в упор на жандарма, спросил: — Ну, и что же?

Лица их почти соприкасались. Крестьянин немного откинулся назад, как бы желая хорошенько рассмотреть лицо жандарма. Верховой осадил лошадь. Нервно искал саблю.

— Если хочешь обо мне знать, ступай в общинное правление. Расспроси там о заседателе Шандоре Бенце.

Спокойно усевшись, Бенце дернул вожжами, усмехался. Этот жандарм похож на побитого пса, который хочет укусить и не смеет. Ну, погодите, сволочи, придет время, опять побросаете оружие, молить будете о милости, как в девятнадцатом году! Но на этот раз пощады не будет. На этот раз мы пойдем вместе с городом, мы, вернувшие вам брошенное вами оружие.

С изумлением заметил Бенце, что улицы пусты, словно вымерли. В воскресенье вечером. Видно, что-то случилось. Лошади сами остановились перед домом. Бенце прыгнул, вошел в калитку. Пес, радостно повизгивая, подбежал к нему.

В сених зашуршала накрахмаленная юбка.

— Вернулись? — с испугом в голосе спросила дочь Бенце.

— Да. Что с тобой? — Девушка молчала. — Что с тобой? — повторил он.

— Нынче листовки расклеили... Жандармов понаехало видимо-невидимо... Забрали Йойарта, Фило и Петраша...

— И Петраша? — воскликнул Бенце.

— В участке сейчас сельский начальник, управляющий и Имре Пензеш-Варга.

— Управляющий? — Он пошатнулся. — Управляющий?

Участок был в переулке за церковью. Перед дверью стоял жандарм. Сапоги Бенце стукнули по каменному полу. В прихожей сидели двое жандармов и ели сало. Бенце сказал им, что ему нужен начальник.

— Его сейчас нельзя, — ответили ему, подмигнув, — он сейчас занят.

— Но я желаю с ним поговорить, — крестьянин шагнул к открывавшейся внутрь двери.

— Куда? — жандармы вскочили и схватили его за руку.

На шум и перебранку кто-то открыл дверь.

— Что тут такое? — закричал с порога управляющий. Он вошел в прихожую. — Это ты? Что ты хочешь?

Бенце отстранил жандармов. Подошел вплотную к управляющему. Тот отступил назад. Посреди комнаты, спиной к двери, стоял на коленях жандармский унтер-офицер и брызгал водой в лицо

лежавшего в обмороке Михаля Петраша. Парень лежал на спине, залитый кровью. На полу, куда ни глянь, были кровавые пятна. Но где же остальные? Йойарт? Или его уже выпустили? А Фило? Только этого одного истазают? Так, значит, он и есть настоящий?..

— Что случилось? — выговорил Бенце. — Убили его?

Управляющий рассмеялся. Жандармский унтер смущенно улыбался.

— Упал, — сказал управляющий, — получил пару пощечин и уж с ног свалился. — Он подошел к Бенце и весело, словно поддразнивая, хлопнул его по широким плечам. — А ты все тот же, прежний. Говорили, что ты размяк. Неправда. Плечи по-старому крепки.

— Что вы с ним сделали? — отстранился Бенце.

— Дали ему пару оплеух. Бродяге этакому. Но что тебе до этого бездомного нищего?

— А зачем избиваете людей, мадяров? Или этим хотите вылечить народ? — Глаза у Бенца налились кровью.

— Пощечина — хорошее лекарство, — рассмеялся управляющий. — Не помнишь старины?

Лежавший у ног Бенце Петраш пришел в себя. Мертвенно-бледное лицо мало-помалу оживало. Он огляделся и встал.

— Ну, как себя чувствуешь? — крикнул ему управляющий. Парень не отвечал и, прищурив глаза, в упор смотрел на высокого, улыбающегося мужчину.

— Можешь итти, сын мой. — Но парень не двигался с места, словно не понимая; тогда управляющий подошел к нему, взял его за плечи и повернул.

— Ну убирайся же, наконец, к чорту, идиот!

Петраш, хромая, вышел. Вслед за ним ушел и жандармский унтер-офицер.

— Давно я тебя не видал, — начал управляющий, — где это ты пропадаешь?

— Где мне пропадать? — уклончиво ответил Бенце.

Управляющий сидел, небрежно развалившись на кресле. Он курил, внимательно глядя на крестьянина.

— Слышал, и у тебя описали имущество. Одну корову.

— Да, описали.

— И землю заложил?

— Так точно.

— Почему не приходил ко мне?

— Кому приятно звонить о своей нужде?

— Ну ко мне-то ты уж мог бы обратиться, — управляющий встал, — я для тебя ведь не то, что все остальные.

— Я не единственный. Сотни, многие сотни людей в таком положении.

— О чужой беде тебе нечего болеть.

— Но мне больно за них, — спокойно сказал Бенце, — мне еще в двадцатом году их жаль было.

Над бровями управляющего легла глубокая морщина.

— В двадцатом году все мы потому и взялись за оружие, что близко к сердцу принимали чужую нужду. Мы думали тогда, что только шомполы да кирка смогут нас вылечить.

— Эти средства вылечивают. Они и вылечили.

— Нет не вылечили. Нас они не вылечили.

— Не вылечили? — Дэнэш Бицо встал с кресла.

— Нет. Не могли они нас вылечить, потому что мы неправильно их применяли. Лекарство дали не тем, кому нужно было.

— Вот как-а? — сказал управляющий и неожиданно бросил свою сигару в пепельницу. — Вот как? Вот в чем дело? А ты знаешь, в кого ты превратился?

— Знаю, в нищего.

— В коммуниста. — Управляющий подскочил к крестьянину, схватил его за кисть руки. — Погляди на свои кулаки. Если голова твоя забыла о прошлом, так кулаки, наверное, не забыли.

— Голова моя тоже не забыла.

— А\*похоже, что не так.

— Господин управляющий, — лицо крестьянина посерело, густые черные усы дрожали, — в двадцатом году мы взялись за оружие, мы не просили вперед награды. А что из этого вышло? Рано или поздно судебный исполнитель стащит крышу над нашими головами.

— Покрой тогда свой дом новой крышей.

Крестьянин сверкнул глазами. Управляющий видел дикий блеск этих темных глаз. В комнате долгое время было тихо. Бенце стоял, как статуя.

— Вам больше нечего мне сказать? — Почти простонал он и пожалел, что произнес эти полные нищенской мольбы и надежды слова.

— А что мне говорить? — управляющий пожал плечами.

— Значит, вам нечего мне сказать? — уже более твердо прозвучал голос крестьянина.

— Скоро будет, о чем говорить, не придется долго ждать, — управляющий рассеянно перебирал бумаги и перья, потом снова встал. — Тебе не стыдно? Во что ты превратился? Как о прокаженном, говорят о тебе. Ты мутишь против духовенства, против господ, против правительства, богатых крестьян, — совсем как коммунист. Что ты думаешь? Как долго может так продолжаться? Безнаказанно это не пройдет. Уважение у нас остается к мадьяру, пока он истинный мадьяр. И не стыдно тебе? Какое тебе дело до этого землекопа? Ты прибежал спасать его? Что он тебе? Разыскивают того, кто расклеил эти листовки. Что тебе здесь нужно? Или, может быть, ты попал на след?

— Погибаем. Барабан судебного исполнителя беспрерывно бьет у нас на дворе.

— Когда-нибудь и умолянет.

— Да, но до тех пор банки сожрут нашу землю, а кулаки наши дома.

— Так чего же ты сейчас хочешь? Денег?

— Денег? — едва выговорил он. — Оружие дайте!..

Управляющий расхохотался во все горло. Он взглянул Бенце в глаза.

— Оружия тебе хочется... смотри ты...

Крестьянин повернулся и направился к выходу.

Очутьившись на улице, он успокоился. Около церкви его ждал Петраш. Они молча пошли рядом. Посреди базарной площади они остановились. Кругом было темно и пусто. Холодный ветер свистел в сучьях голых деревьев.

— Напрасно вы вступились за меня, — сказал Петраш.

— Я за тебя не вступался.

— А за кого же?

— За всех, — ответил Бенце.

— Все равно, когда вы вошли в комнату, я один ведь валялся в крови.

— Разве и других били?

— Других? — Петраш промолчал и только по настоянию Бенце ответил: — Там больше некого было бить.

— А Йойарт?

Нет, нет. Йойарта очень быстро отпустили. Его увели в другую комнату. Там с ним сидели Имре Пензеш-Варга и сельский начальник. Они разговаривали. О чем? Это уж пусть они сами скажут. Отпустив Йойарта, они позвали к себе Фило. Это было как-раз в тот момент, когда жандарм привел Петраша. Фило тоже оставался недолго. Петраш только слышал, как он сказал, вернее, выкрикнул: «Ничего я о нем не знаю, кроме того, что он порядочный человек!»

— Порядочный человек — это меня он так назвал, — продолжал Петраш, — а интересно, Йойарт того же мнения?

Бенце не ответил. Он стоял молча и боролся с собой. Он протянул парню руку, отдернул ее, потом снова протянул. В конце концов рука его очутилась на плече Петраша. Тот ждал, не говоря ни слова. Бенце молчал тоже. Рука его бессильно упала.

— Вы что-то спросить хотели?

Крестьянин вздрогнул. Он тяжело дышал.

— Ты... — он глубоко вдохнул, — ты коммунист?

Петраш не ответил. Они долго стояли рядом, не говоря ни слова. Наконец Бенце хрипло, тихо спросил, не зайдет ли к нему Петраш вечером поболтать немножко. Он ведь еще сегодня утром приглашал его. Так не соберется ли он? — Приду.

Люди уже целый час сидели у Йойарта, когда Фило вдруг пришло в голову, что к обсуждению надо бы привлечь Шандора Бенце. Йойарт одобрил это

предложение, остальные тоже не возражали. Янош Фило встал и ушел. На базарной площади он столкнулся с Бенце.

— Я за тобою иду.

Он рассказал Бенце, зачем его приглашают. Бенце замешкался, не зная, как быть, он устал, нынче уже полдня сидел за столом, а потом несколько часов трясся в телеге. Но маленький человек настойчиво уговаривал, и он согласился пойти. Фило рассказывал, что Йойарт сегодня говорил по телефону с партийным секретарем. Завтра утром приедет посланец от социал-демократов. Уж он хорошенько проберет здешних самодуров! Нельзя же безнаказанно пыгать людей.

— А тебя разве тоже били? — изумился Бенце.

— Меня? За что меня бить?

— А за листовки.

— Меня-то? Да я к листовкам ни малейшего отношения не имею.

— А Йойарт?

— Он тоже ни при чем. Это махания коммунистов.

— Тогда зачем нужен партийный секретарь? — недоумевал Бенце.

Маленький человек рассмеялся. Дело в том, что коммунисты здесь в селе слишком укрепились. — Сегодня они, возможно, только делали пробу; может быть, они теперь начнут агитировать во-всю. Пока виновников не поймают, неужели всех социал-демократов будут таскать в участок? Нет, так нельзя. Ведь этим «петухам» стоит только раскачаться и они способны... — он запнулся и только махнул руками, глядя в темноту.

Горница в доме Йойарта была темна. Люди собрались в задней комнате. В горнице хранились партийные книги, плакаты. Эта комната официально считалась помещением местной организации социал-демократов, и начальство могло бы счесть приятельскую беседу заседанием. Это отнюдь не собрание, просто непринужденная беседа. Вместо того, чтобы идти в трактир, люди идут к приятелю в гости. Совсем как порядочные люди. Йойарт с самого начала так именно и объяснил своим гостям.

Люди одобрительно шептались. Землекоп Габор Салмаш, расправляя густые усы, сказал громко, так, чтобы все слышали, что очень недурно было бы поставить на стол бутылку винца и кусочек сала с хлебом. Тогда действительно будет похоже на маленькую пирушку. В конце концов, может случиться, что какой-нибудь жандарм неожиданно сунет сюда свой нос. Он увидит тогда, что люди просто угощаются... Игнац Рошташ поддержал его.

Землекопов было еще трое. Они тоже надеялись на сало и вино и одобряюще подмигивали Салмашу и Рошташу. Но Йойарт сурово раз'яснил, что бояться нечего, жандармы сюда не покажутся. Зачем им сюда притти? Ведь им никто не доносил, что здесь устраивается собрание. Или может быть?.. Он блеснул глазами на присутствующих.

Ну нет, кто же тут способен на предательство? Иштван Мештер, жуя табак, моргал глазами; Янош Фило, поставив локти на стол, сосал свою пустую трубку, изредка поднимая глаза на крестьян, которые стесненно сидели тут, ожидая чего-то, словно они в первый раз попали сюда. А ведь они вот уже год, как вступили в социал-демократическую партию. Они во-время платят взносы. Не то, что землекопы. Те, бог знает, с каких времен уже ни гроша не вносят. Все только ворчат, а чтобы платить...

Салмаш, только-что вспомнивший о сале, рассуждал не так, как Йойарт. Чорт бы побрал этого Йойарта! Мог бы подать закусить что-нибудь для этих бедняков. Да нет, этот долговязый не станет беспокоиться. Вот уж он разглагольствует, что социал-демократы и так, мол, принесли крупные жертвы в борьбе против богатых. Он, мол, сам два года просидел. Пытали его.

Между тем все заговорили о разных разностях. Землекопы изливали свою душу. Сельский хозяин не может понять, что такое нужда. По три месяца жить на одной тыкве! Собачья жратва. Ну, а когда тыква кончилась... Люди позабыли вкус сала с красным перцем. Забыли, как оно и выглядит-то... Габор Салмаш, говоря это, смотрел в упор на

Йойарта. Землекопы одобрительно кивали. Человек с густыми усами сердито ворчал и прибавил, что народ пропщет. И с прокладкой дороги тоже не ладно. Подряд на эту работу должен был кто-нибудь другой взять, а не Йойарт. Кто поверит, что партия идет правильным путем, если один из вождей ее обдывает дела вместе с господами. Но...

— Вы социал-демократ? — спросил Йойарт, глядя в упор на говорившего.

— Конечно.

— Я потому и взял подряд, что мог добиться лучших условий, — он кашлянул и вскочил, — я два года страдал, мне... — он сел, вытащил из кармана носовой платок, но тотчас же сунул обратно.

Дверь открылась. Вошел Фило вместе с Бенце. Бенце в первый раз пришел сюда с тысяча девятысот двадцатого года. Йойарт крикнул:

— Советание наше... — начал он, но тотчас же прикусил язык и, краснея, постарался исправить ошибку. Такое неуместное вступление вырвалось у него только по привычке. — Никакого советания нет, а обыкновенная беседа, болтовня. Надлежит обсудить деревенские нужды. Речь идет о двух бедствиях. Крестьянская нужда выросла так, что страх берет, землекопы не могут больше терпеть голода. Это одна беда. Вторая — коммунисты опять зашевелились. Это большая беда, потому что как-раз теперь помещики, благодаря хлопотам настоящих народных заступников, хотят предоставить нам работу, а потом начнутся общественные работы, постройка железной дороги... И в такое-то время расклеиваются зажигательные листовки! Теперь нам угрожают распродажи с молотка, и вот истинные народные заступники, социал-демократы, бегают по Будапешту и по окружному городу, чтобы отвратить это божье наказание...

Ференц Йойарт говорил в лихорадочном возбуждении.

Он видел внимательные глаза слушателей и веселую усмешку Шандора Бенце. Крутя густые длинные усы, он повернулся к Бенце и дружески-ворчливо добавил: — Мы все это наладим, как

в хорошей армии; сначала хороший набор, потом — кадры, а тогда уже придет горнист и затрубит сигнал к атаке.

— «Эй, воин! Эй, воин!» — отчеканивая слоги, проревел Габор Салмаш солдатоковую песенку на мотив сигнала к атаке. Он вскочил и с хохотом стукнул кулаком по столу. — Литр вина сюда! К чорту всех господ!..

Все расхохотались, кроме Йойарта. Бенце вспомнил сегодняшнее совещание в Бозе и подумал, что Йойарт, кажется, высказал правильную мысль. Необходимо привести армию в порядок.

— Она уже есть, эта армия, — тихо начал он, и все насторожили уши, — вся округа ждет только сигнала.

— Он будет. Завтра придет сюда секретарь партийного комитета.

— Петраша я полумертвым вырвал из лап управляющего. С ним-то что будет?

Все уставились на Йойарта. Он отвернулся и так ответил на неуместный вопрос:

— Секретарь и с ним поговорит завтра.

Землекопы стали подниматься. Некоторые из крестьян, пожав на прощанье руки оставшимся, кряхтя, вышли из комнаты.

Бенце тоже собрался уходить.

— Так, значит, схватим господ за шиворот, а? — усмехаясь, спросил он, пожимая Йойарту руку.

— Завтра утром, не сейчас, я к тебе приведу секретаря.

— Ладно, приводи уж.

Фило тоже встал и собрался домой. Он зашагал по главной улице. Гордо, с задорным видом шествовал он мимо церкви. Насвистывая, прошел через ворота в свой двор, заглянул в хлев, где горела маленькая коптилка. При скудном свете, тесно прижавшись друг к другу, сидели сыны Фило и Андраш Кираль. Бритое лицо Андраша Киралья выдавало легкое смущение. Молодой Фило молчал, дергая себя за пушистые усики. В углу одинокая корова мирно размахивала хвостом и все вновь и вновь протягивала морду к пустой кормушке. Маленький человек, оглядывая

свое царство, поглаживал рукой свою описанную за долги скотину.

— Эта останется, никто ее отсюда не заберет, — задумчиво произнес он, обращаясь к сыну.

— Никто? Кто тебе это сказал? Или все налоги отменили? — недоверчиво спросил сын.

Отец рассердился на это недоверие, лицо его потемнело.

— А ты, пожалуй, обрадуешься, когда ее заберут? А?

— Какого чорта мне радоваться!.. А вы, папаша, сдаются, маленько выпили у Йойарта?

— Ни капли я не пил... Жалеет, сволочь, скупердяй...

— Он вас обещаниями напоил, — Михаль Фило вплотную подошел к ступу. Кираль стал сзади него. Маленький человек прислонился к корове и ждал атаки молодых. Но теперь ему было что ответить, и он ликовал, что на этот раз не поддастся им. Нет, он безусловно прав. Эти двое уже нередко его побеждали, но на этот раз они не правы. Слова Йойарта были ясны, как солнце, и кто не слеп, тот должен увидеть правду.

— Сначала примерь, потом отрежь, — весело сказал он, вспомнив слова долговогого. — А вы, задравши хвост, летите, чтоб ткнуться головой об стену.

— Вы? Так теперь вы уже говорите «вы»? — спросил Кираль. — Значит вы и «мы»? Значит, одного часа было достаточно? Один только час провели вы в жандармерии, волосы у вас не тронули, а уже всему конец? Ну, на хороших же вы дрожжах замешаны!

Фило в смущении водил рукой по корове и крутил ей хвост. Скотине быстро надоела эта пытка, она жалобно замычала. Маленький человек успокаивающе поглаживал прудь и спину животного.

— Йойарт вам, должно быть, опять напустил туману, — начал его сын.

— Он ничего не обещал. Только то, что он будет хлопотать за Петраша.

— С ним жандармы и без Йойарта справятся, — сказал Кираль.

— Завтра сюда секретарь из города придет.

— Ну, уж этот гость позаботится о том, чтобы Петраш опять попал в участок, — промолвил Кираль.

— Петрашу не впервой будет сидеть в тюрьме из-за господ секретарей.

— Не может этого быть.

— А вы спросите его самого.

— Они так не делают. Они за народ стоят.

— Они? — Кираль рассмеялся. — Они? А вы не социал-демократ?

— Конечно, за народ. Слышь ты, они всегда сначала все обдумывают. Их можно к ответу привлечь. Известно, где они живут, можно, значит, притянуть их к ответу, если они что не так сделали. Но этого еще ни разу не случилось, потому они все заранее хорошо обсуждают.

Андраш Кираль заботливо смочил цыгарку слюной и стал объяснять: власти еще ни разу по-настоящему не привлекали социалистов к ответу. А почему? Потому, что все они делают так, как господа требуют. Народ, рабочие и трудящиеся крестьяне знают, сколько зарбук у них на бирке. Знает ли Янош Фило, например, о пакте? А вот не знает. А о нем всем и каждому стоит рассказать. По этому пакту, который был заключен с правительством больше десяти лет тому назад, социалистические вожди обязались воздержаться от организации деревенской бедноты для борьбы с господами. Кое-кто из этих вождей получили депутатские мандаты и за это продали народ.

## 12

Пустай выбрался на хутор уже поздно вечером. Он рассказывал жене Кэрако, почему ему только сегодня удалось притти. Вчера, в субботу, у него набралось столько дела, что просто голова кругом шла. К тому же и спать уж очень хотелось. Ночная поездка совсем изморила его. Но парню, который мечтает в женихи, не годится итти к девушке сонным. Жена Кэрако смеялась. Кэрако, благодушно ворча, дымил трубкой. В трубке благоухал табак, пода-

рок Пустая. За столом сидели трое детей и взрослая девушка Маргит. Подперев подбородок руками, улыбаясь, она смотрела на курившего парня.

Беседовали долго. Дети ушли спать. Кэрако вспомнил о своем пребывании в сербском плену. Он рассказывал об одном длиннорылом турке, который говорил по-сербски, но молился по-турецки. Он был помещиком. У него-то Кэрако и жил полтора года. Длиннорылый турок был стар. Жена его, молоденькая такая, чахла у старика. И когда Кэрако попал к ним, она сразу почувствовала, что настал час избавления... Дойдя до этого места, рассказчик запылился, начал покашливать, улыбаться, и вокруг смеющихся глаз его легли веселые морщинки. Он смотрел в сторону.

— Ну, что же, вы не обманули ее надежд? — спросил Пустай.

Все засмеялись. Хозяйка с притворной досадой сказала, что хорошо бы, если бы Пустай почаще заходил к ним в гости, тогда, пожалуй, все тайные грехи Кэрако выйдут наружу. Маргит молчала. Она слегка приподняла голову, поглядела в темноту, обступившую слабое пламя коптилки, потом закрыла глаза, сжала улыбающиеся губы и снова опустила на руки свое смущенное, зардевшееся от ожидания лицо.

Сидящие за столом перебрасывались шутками. Потом Маргит унесла тарелки. Пустай поглядел ей вслед и вдруг отвернулся. В то же мгновение смеющиеся глаза жены Кэрако оторвались от смущенного лица мужа.

— Так вот что, — начал Пустай, рассматривая свои положенные на стол огромные руки, как будто изучая какой-то «осторонний» предмет, и, наконец, устремил взгляд на вернувшуюся в комнату девушку. — Речь идет о том, что я женился бы на Маргит.

Все растерянно поглядели друг на друга. Никто не знал, что делать. Кэрако вспомнил о своем собственном сватовстве. Как это все происходило тогда!.. Девушка только понаслышке знала о таких случаях... Наступило теловкое молчание. Все сидели с красными лицами.

— Ну, ладно, — произнес, наконец, Кэрако, снова зажигая трубку, — ну, ладно, я ничего не имею против.

Пустай, запинаясь, отрывисто говорил, что свататься надо, пожалуй, другим манером, не так, как он сейчас сделал, но он... да кто он такой.

— Я ведь сирота, — с трудом выговорил он, наконец.

Потом хозяйка сказала, что ведь завтра опять настанет день, так не лучше ли сейчас отправиться на боковую. Она вышла и долго не возвращалась. В комнате все молчали, глядя на слабое трепещущее пламя коптилки.

— Я тебе приготовила постель, — сказала жена Кэрако, вернувшись, — на полу, в комнате твоего хозяина.

Пустай вышел в темную кухню. Онсел у печки, Маргит подошла к нему. Молча сидели они, глядя на двигавшиеся за стеклянной завешанной дверью фигуры. Потом потушили коптилку... Покой и мрак заполнили кухню. Рука Пустая скользнула по плечу девушки. Он прижал мягко отстраняющуюся голову ее к своей груди.

— Вы еще ничего мне не сказали, — в голосе Маргит звучала нерешительность, легкий страх и смущение, — вы еще ни разу мне не сказали, любите вы меня или нет?

Пустай поцеловал ее торопливыми и жадными губами.

— Ах, боже ты мой... Люблю, да еще как!

Девушка заплакала и положила руку свою в горячую руку парня. Она протянула пылающие губы, в промежутках между поцелуями они трепетно произносили уверенья и обещания, порожденные радостной уверенностью в будущем. Потом девушка встала.

— Уже поздно, — сказала она, — я покажу вам вашу постель.

И взяла парня за руку. Провела его в запертую обычно хозяйскую комнату. Они осторожно пробирались в темноте.

— Вот, — произнесла Маргит, когда нога ее нащупала постель. Девушка вздрагивала.

— Ты, — голос Пустая звучал хрипло. Рука его зашевелилась на плече де-

вушки. — Ты, миленькая, останься здесь...

Маргит осталась.

Было еще совсем темно, когда Кэрако встал и вышел из дома поглядеть на усыпанное звездами небо. Да, пора вставать. Ему утром нужно пойти к Йойарту записаться на работу. Нельзя опоздать ни на минуту. Правильно сказала жена, что он первый имеет право на получение работы... Но как все это устроится? Петраш что-то затеял. Петраш не желает плохого беднякам. Такие люди сами попадают в беду, а других от нее спасают... Вчера вечером Пустай, как только пришел, коротко рассказал, как били Петраша. Ночью Кэрако без сна метался по постели. Он все думал о пакете, который через него, да, через него, Кэрако, попал к Андрашу Киралою. А Петраша истязали жандармы... Но ничего не случилось. Ведь, случись что-нибудь, эти петушьи хвосты еще ночью приперлись бы к нему. Кэрако вышел в кухню.

Маргит хлопотала в ней при тусклом свете ночника. Она отвернулась от отца. Печь была набита хворостом. На легком огне клекотала, шипела кастрюлька. Воздух наполнялся запахом сала. Его принес вчера Пустай. Сало и яйца. Девушка готовила яичницу.

Все собралось к завтраку. Кэрако во время еды бросал взгляд на дочь. Маргит опускала глаза. Потом подняла веки, в упор посмотрела на отца и смущенно засмеялась. Все встали. Пустай подал девушке руку. Они немножко постояли, не говоря ни слова.

— Ну, ну, все в порядке, — промолвил парень и пошел к двери. Кэрако последовал за ним.

Молча шагали они рядом. Наконец, парень нарушил молчание.

— А что говорил Андраш Кираль?

— Он сказал, что все в порядке.

Пустай вдруг разразился проклятиями. Чорт знает эту штуку... Но вот уже два дня, как эта мысль не дает ему покоя. Кто знает — случиться может и так и этак. Теперь он и сам не знает, годится ли женатому человеку совать свой нос в такие дела.

Кэрако ответил не сразу. Он стал тяжелее ступать, кряхтел, сплевывал. Эти трудные мысли, эта большая ответственность, этот первый отцовский задушевный разговор с мужем его дочери не должны заставить его, Кэрако, поступиться своими убеждениями. Он останавливался, потом опять трогался в путь.

— Хорошего табачку ты мне принес, — сказал он и снова замолчал. Он шел дальше. Ему было жарко, в волнении он сдвинул шапку на затылок и, наконец, выговорил: — Женатый человек тем более...

— Что тем более? — спросил Пустай.

— Нельзя же изменять своей жене и детям, — веско сказал Кэрако, сплюнув сквозь зубы.

Парень в смущении, запинаясь, бормотал что-то. С радостной гордостью начал Кэрако свои наставления. Эх, жалко, что жена его не слышит, а ведь, если ей рассказать, так она скажет, что он хвастается. Одним словом:

— Эти красные, слышь ты, хотят, чтобы дети, наши дети, стали господами. Чтоб они были сами себе хозяева. Так, значит, кто хочет постоять за себя, тот должен помогать красным.

Но тогда все в порядке. Если старик не против — чего же лучше. Старик тоже уважает красных. А что бы вышло, приди Кэрако вдруг к нему в один прекрасный день и заяви: «Ну, братец, я не отдам свою дочь человеку, который может попасть в тюрьму, нет и нет». Тогда ему одно только пришлось бы ответить: «Маргит хорошая девушка, женюсь на ней, но... чорт бы вас побрал... своим убеждениям я не изменю». Так лучше вышло. Пустай успокаивал себя. Лицо его горело, ему было стыдно, что правда, то правда, он на минутку заколебался, пошатнулся. И только сейчас он объясняет и прикрашивает это. Ну, ничего. Никто об этом не узнает, никто на свете.

— Я только хотел все выяснить, — пробормотал он.

— Я понимаю, — рассудительно ответил Кэрако.

Заговорили о девушке. Она хорошая девка, работающая. Отец хвалил ее. Но где же работа, за которую ей можно взяться? Над этим они долго ломали головы. Они со всех сторон обсуждали будущую жизнь и, наконец, решили, что Пустай может два раза в неделю приходить на хутор. Весной ему, может быть, удастся и совсем сюда переселиться, а летом уж наверное. Ведь Пензеш-Варга нанял его в пастухи, а не в батраки для домашних работ. При доме в селе останется старый батрак. Одним словом, как-нибудь все устроится.

Пройдя большую часть дороги, они вдруг услышали сзади себя шаги и голоса. Остановились и ждали, прислушиваясь. Вспыхнул слабый свет электрического карманного фонарика. К ним шли двое мужчин. Оказалось, что это Ференц Йойарт с каким-то господином, высоким, плотным, городского вида. Фонарик потух.

— А я иду к вам, — сказал после рукопожатия Кэрако Йойарту. — Хочу записаться.

— Теперь вы, наверное, не опоздаете, — ответил Йойарт, — а ты где шляешься, братец? — обратился он к парню.

Долговязый надменно уронил эти слова. Сапоги его как-то особенно гордо ступали по грязной дороге. Пустай втянул голову в плечи.

— Там, где вам уж нельзя шляться, вы уж стали стары для этого, — проворчал он.

Городской барин засмеялся. Расстегнув зимнее пальто, он предложил всем по сигаре. Кэрако, вдыхая чудесный дым, примирительно объяснил:

— Он ходит к моей дочери.

Теперь незнакомый господин стал задавать вопросы. Как идет жизнь в деревне? Как там живет народ? Велики ли налоги? Как переносят сельские рабочие безработицу? Заключили ли они договор на уборку урожая? Сколько задатку получили по этому договору?

Кэрако осторожно, уклончиво отвечал на эти вопросы. Ведь, неизвестно, к чему приведет этот допрос. С господами не стоит связываться, да еще с таким,

который, как видно, близко дружит с Йойартом. Кэрако все же сказал, что налоги так велики, что можно бы их и увеличить, все равно народ ни большевик, ни маленких налогов не платит. Платить то не из чего. Безработицу тоже переносят люди. Если б не так, то давно бы уже все перемерли. Но все-таки все это добром не кончится. Почему?.. Тут Кэрако промолчал.

Господин стал наседать на него. Кэрако смутился.

— Почему добром не кончится? — повторял незнакомец.

— То-есть, я думаю, что это очень хорошо кончится.

— Так, так? А как же это, значит, кончится? — В резком голосе городского барина звучало пренебрежение и насмешка. Незнакомец, разозлившись, возвысил голос: — Так что же вы мелете, если не знаете?

— Он знает, — сказал Пустай.

— Ну? — остановился незнакомец.

— Он только не говорит, — грубо расхохотался Пустай. — Задаром ничего не дают.

Потом господин начал интересоваться вчерашними событиями — коммунистическими листовками. Нет, об этом Кэрако, действительно, ничего не мог сказать. Да и откуда ему знать? Не станет же он из-за такой чепухи идти в село. К тому же он ни читать, ни писать не умеет.

— А ты, — спросил господин Пустая, — что ты слышал об этом?

Пустай высоко поднял голову. Какого чорта, что он за цаца такая, чтоб разговаривать с ним так свысока...

— Задаром ничего не дают, — проворчал парень.

— Он целый день сидел у моей дочери, — вмешался Кэрако.

— На это и ночи хватит, — резко сказал Йойарт.

— Вы уж постарели для этого, — отмахнулся от него Пустай. Все расхохотались.

У села они остановились. Господин пожал им руки и пошел вперед. Йойарт немного отстал. Он сказал, что запись на работу начнется только в девять часов. Потом зашептал:

— Этот вот, — он указал вперед, — он большой человек. Секретарь из города.

— Что за секретарь? — вздрогнул Кэрако.

— Социал-демократический...

— К чортовой матери его, — буркнул Пустай вслед заспешившему вперед долговязому.

Йойарт догнал гостя. Они пошли в село не по дороге, а через сады.

## 13

Дверь открылась. Бенце крикнул с порога жене:

— Пошли мне сюда Юльчу!

Смуглая круглолицая девушка вошла в кухню. Отец велел ей пойти к Петрашу, но так, чтоб никто этого не заметил, и сказать ему, что здесь сидят социал-демократический секретарь из города, Йойарт, Фило и Мештер. Пусть и Петраш придет, да поскорее. Юльча ушла. Бенце вернулся в горницу. Было уже почти светло. Секретарь сидел спиной к окну и перочинным ножом нарезал колбасу, накладывая кусочки себе на хлеб. Он грозил в два счета расправиться с коммунистами.

— Мы этих господ хорошенько взгреем, — жадно жуя, говорил секретарь.

Он опрокинул стаканчик и прищелкнул языком, глаза его заблестели.

— Самогонка, а? Замечательная! Мы за домашнее винокурение тоже заступимся. Оно этого заслуживает, не так ли?

— Еще бы! — Йойарт смущенно огляделся.

Крестьяне сидели угрюмые.

Было совсем тихо. Глаза тупо глядели в пространство. Руки потянулись к водке. Губы надолго прилипали к краям стаканов. Секретарь отодвинул от себя остатки еды.

— Слушайте, слушайте! Ваше слово, отец! — дружески побуждал он хозяина дома. — Такой запрос сделаем по поводу вашей деревни в парламенте, такую серию статей в «Нэпсава»<sup>1)</sup>, о-хо-хо!

<sup>1)</sup> «Нэпсава» («Слово народа») — Ц. О. венг. соц.-дем. партии. Социал-фашистская газета.

Бенце уронил на колени свои огромные руки. Потом поднял одну руку, поглядел на ладонь и почесал ее пальцами другой руки. Он вздернул голову вверх.

— Вопрос в том: что будет весной? — Голос его прервался. — Скажите господам в городе, что мы готовы. — Бенце вскочил. — Пусть только рабочие возьмутся за оружие, мы в деревне не отстанем от них. Мы его откапываем, оружие это самое. Ведь мы его в свое время припрятали. — Стоя, он подался назад и вцепился в спинку стула. Стул заплясал под его рукой... — Вопрос в том: начнем ли мы к весне революцию?

— Революцию? — переспросил горожанин. — Деревня еще не созрела для этого.

— Нет, созрела! — перебил Бенце. — Позвольте, господин...

— Вы этого не понимаете, — отмахнулся гость от хозяина. — И я уж, конечно, не для того сюда пришел, чтобы толковать о революции. Все это пустые слова. Таких слов и произносить не следовало бы!

Вошла Юльча. Бенце встал и шопотом поговорил с дочерью.

— Петраш не придет, — промолвил он.

— А вы велели ему сказать, что это я послал за ним? — спросил секретарь.

— Велел, — ответил Бенце с усмешкой.

Секретарь в смущении отвел глаза в сторону. Йойарт заявил, что не стоит связываться с такими людьми. Это просто пештский жулик, трусливый пёс. Получил тут парочку пощечин.

— Вот в том-то и дело! Бить не полагается, — перебил его секретарь, — насилие есть насилие. Насилие меньшинства над большинством. Насилие меньшинства порождает революцию. И если господа не образумятся, то мы, социал-демократы, станем защищаться. Против штыков — мотыги и косы. Но только для самозащиты!

— Тут у нас и винтовки найдутся, не одни только косы, — сказал Бенце.

— Винтовки? Но если их пустить в ход, это будет уже вооруженное восстание, — промолвил Йойарт.

— И потом, в это дело надо втянуть не только мелких хозяев, ведь землекоп еще больше. А они дошли до того, что у них уж и описывать нечего. А у кого нет ничего, тот легче направит свою кирку против жандармской головы... — Это говорил Фило. Расстроенный, он водил из стороны в сторону сверкающими глазами и стучал кулаком по столу.

Стаканы зазвенели.

Фило смотрел на помрачневшее лицо секретаря. Потом заметил насмешливый блеск в глазах Бенце. Все чувствовали какую-то неуверенность. Йойарт выпил рюмку водки, облизал висящие усы и собрался взять слово, но секретарь опередил его. Грубо, резко падали его слова. Не затем он сюда пришел, чтобы говорить о революции. Его позвали, чтобы положить конец злоупотреблениям властей и добиться возмездия за насилие. Но революция? Пусть присутствующие, пусть все в деревне зарубят себе на носу, что социал-демократия — злейший враг правительства, и что она борется с ним всеми возможными средствами, но только в рамках конституции. Топоры и косы? Еще чего захотели! Дубина — не социалистическое оружие, она годится только для кабацких драк. И откуда у них такие мысли взялись? Им нужно еще пройти длительную школу, пока они попадут в ту очищенную атмосферу, в которой живет сознательный рабочий. Не трудно разжевать факел мятежа. Но кто знает, где тогда остановится огонь? Где? Мы предотвращаем зло. Пусть деревня поймет, наконец, что революция — зло, болезнь, смертельная болезнь. Настоящая врачебная наука предупреждает хворь, предотвращает ее. Понимаете?

— Понимаю, — спокойно сказал Бенце, — я пойму, хотя бы господин и не так громко орал.

— Но, но, — предостерегающе вмешался Йойарт.

Бенце сидел, положив руки на стол. Большие, горящие черным огнем, глаза его впились в гостя.

Секретарь застегнул меховой воротник, надвинула на уши шапку.

— Пойдемте, — хрипло произнес он своим людям.

Бенце ходил взад и вперед по комнате. Постоял у окна. Поглядел на морозную улицу. Против дома его была бакалейная лавка. Неделю назад на вывеске еще стояло: Макс Вайс. Теперь же на ней написано: госпожа Вайс. Лавка продолжает торговать. Новая владелица не обязана платить старых долгов. Лавка Макса Вайса была продана с торгов и куплена его женой. И вот лавка продолжает существовать под фирмой госпожи Вайс. Владельцы снова пользуются кредитом и, со своей стороны, дают кредит и крестьянам. Потом, конечно, опять будет продажа с молотка, и тогда конец... Вывеску скинут. Макс Вайс с женой и детьми очутятся на улице, переедут в город.

Что там ожидает детей? Они станут рабочими. Коммунистам нетрудно будет привлечь их на свою сторону. В городе это происходит скорей, чем в деревне. Нужда быстро направит их к коммунистам. Могли бы ведь эти люди включиться в борьбу, пока нужда еще не схватила их за горло... А то, кто им теперь поверит, что они борются за бедноту? А вот этот парень, Петраш. Это другое дело. И остальные землекопы тоже. Они из другого дерева.

Шандор Бенце обернулся. В углу за столом Иштван Мештер мирно жевал табак.

— Я ухожу, — сказал Бенце.

— Куда же? — спросил Мештер.

В самом деле, куда он хотел идти? Никуда.

— А оружие когда вытаскивать?

— Скажу, когда нужно будет.

— Ружей и не требуется, — волосатый мужик громко расхохотался, поднимая вверх огромные кулаки, губы его вздрагивали. — Хватит и этих вот, а? — Мештер встал и, стыдливо кашлянув, выгасил изо рта жевательный табак, сунул его в карман, постоял немного, моргая глазами, и, наконец, спросил:

— Как, записаться к социалистам?

— Нет.

Бенце нахлобучил шапку на уши и вышел на улицу.

Он пошел на конную мельницу. Занял место у стены. Он видел, как двое медленно тянули привод. Видел, что у стен стояли, словно расставленные невидимой рукой, одни только бедняки, голь перекатная. Они приносили зерно для помола в маленьких мешочках. Тачек у них не было, мешки тащили на себе. Оборванные, нищие. Морщинистые лица. Изорванное тряпье. Неужели они перезимовали в этих лохмотьях? Вот так и живут... Как звери. И молчат. Дожнут с голоду, с голоду сами на себя руки накладывают, но голоса не подают. Олухи! Уж если им судьба подыкать, так по крайности взяли б с собой в могилу барина, лопата, графа. Но они предпочитают слушать господ секретарей... Куда же деваться, к кому прислониться?

Он думал об окрестных крестьянах. Стало грустно. Но ведь такая нужда, наверно, не только здесь, в этом уголке. Всюду, по всей Венгрии скрипит по бумаге перо судебного исполнителя, всюду готовы барабаны оповещать о продаже с торгов крестьянского добра... Надо бы предпринять что-нибудь, громко созвать всех этих измученных, попавших под колесо мужиков и повести их на Пешт, как несколько лет назад... Эх, к чорту все это! Ведь, в то время само правительство призвало мужиков. То самое правительство, которое позже обрело их на нужду и до сих пор держит их в черном теле. Так куда же, к кому обратиться?

Сейчас те двое, что тянули привод, показались из-за его спины. Лица их были красны, плечи гнулись. Выгнувшись во всю длину, упираясь пальцами ног в землю, двигался Андраш Кираль. Длинные темные кудри падали ему на лицо, глаза рассеянно скользили по лицам безмолвных людей. Игнац Рошташ грудью упирался в привод. Оба тяжело дышали и шатались. Но вот они стали, опустились на жернов. Мельник словно оцепенел.

Из безмолвного круга вышел дядя Лиханий.

— Кто еще пойдет? — крикнул он назад.

Поднялся легкий шум. Шесть человек сразу тронулись с места. Среди них были женщины.

Шандор Бенце поднял руку. Грудь его волновалась.

— Дядя Лиханий, идемте со мной. Я запрягу свою корову.

— Сюда?

— Сюда, — ответил Бенце.

— Жернова вертеть?

— Да.

— Это будет хорошо, — одобрил старик.

Бенце бегом выбежал из мельницы. Лиханий мчался вслед за ним. Люди скопились у дверей, они глядели на обоих бегущих мужчин. Мельник смотрел перед собой. Он не понимал причины суматохи. Молча, растерянно высыпали люди на улицу, смотрели вперед.

Там, вдали, под конвоем двух жандармов шел социал-демократический секретарь. Из-за ворот появлялись люди, многие снимали шапки. Секретарь пальцами прикасался к своей шапке, отдавал им честь. Направо и налево бросал дружеские взгляды. Он шел, как победитель, производящий смотр войскам.

## 14

Имре Пензеш-Варга стоял во дворе, присматривая за тяжелой работой Анталя Пустай. Сапоги его сияли, праздничное платье туго обтягивало крупную фигуру. Великан стоял у телеги неподвижно, только пышные рыжие усы его дрожали на ветру, да густые, темные брови двигались от волнения.

Пустай выносил из амбара мешки. Шестнадцать мешков пшеницы уже лежали на возу. Потом парень оправил кожаное сиденье, осмотрел украшенную медными бляхами сбрую штирийских тягеловозов, пригладил руками их висящие до земли хвосты. Из дома он вынес обтянутую кожей походную фляжку и обшитую бахромой сумку. Все это он сунул под сиденье:

— Готово, — доложил он козьяну.

Пензеш-Варга вошел в комнату и приступил к еде. Откусывая большие куски, он думал об отправляемой в го-

род подводе. Окупят ли эту трехчасовую поездку сорок пэнге барыша? Он отправлял в город тридцать центнеров пшеницы. Купил он по пяти с половиной пэнге за центнер. Вместо того, чтобы продать пшеницу казне, под квитанцию, крестьяне-бедняки продавали зерно ему. Правда, он покупал с оглядкой. У Яноша Фило он взял месяц назад около шестнадцати центнеров. У Ференца Йойарта осталось еще дома около десяти центнеров...

Покупаешь не у всех, да это и невозможно. Нехорошо, если мужики воображают, что легко найти покупателя на пшеницу. Крестьяне стремятся продавать хлеб не под квитанции. В городе казенный комиссионер, еврей, также соглашается покупать за наличные. Но, конечно, этот комиссионер тоже не с каждым станет связываться. С Пензешем Варгой, например, он заключает сделки за наличные. Платит по девяти пэнге. Квитанцию комиссионер оставляет себе. С ней он обдѣлывает свои делишки. Казенная квитанция стоит шесть пэнге, которые не выдаются на руки, но зачитываются в уплату налогов. Когда пшеницу продаешь государству по казенной цене, считается, что комиссионер платит тебе по двенадцати пэнге за центнер. Это в том случае, если он вообще соглашается на покупку. Из этих двенадцати он только шесть платит наличными, а другие шесть идут на уплату налогов. На них-то и выдается квитанция. Но можно целыми неделями зря стоять на базаре, ожидая, пока явится покупатель с квитанциями. А Пензеш-Варга дома, на месте, покупает пшеницу без всяких квитанций по пяти с половиной пэнге. Комиссионер же скупает у него весь запас: копит пшеницу и спекулирует ею. Квитанции, по которым засчитывается шесть пэнге в уплату налогов, он продает помещикам за четыре пэнге. Помещики этими бумажками платят налоги. Они тоже спекулируют на пшенице, придерживают ее до весны. Тогда цена будет более высокая. Да, помещики, комиссионеры, мельницы — вот кто снимает сливки с урожая.

— Посмотрим еще раз, — пересчитывает Варга. — За тринадцать центнеров

я отдал семьдесят один пэнге с половиной. За них я получу сто семнадцать. Остаток — сорок пять пэнге пятьдесят хэллеров. Да вот дьявольщина, деньги-то уж целых два месяца лежат в этой пшенице. Потом мешки, содержание склада, амбара. Да и провоз не даром достается. Отнимает пару лошадей на целый день, да еще парня. Если все это подсчитать, то... Нет, к черту! Настоящее дело. В амбаре лежат еще сто двадцать центнеров покупной пшеницы да четырехста — своего урожая. Оправдают ли они себя? А если цена еще понизится?

Он вспотел от подсчетов. Торопливо опрокидывал в себя водку. Большими шагами мерил комнату. Денежные операции куда выгоднее. Ведь надо же где-нибудь жить. Дома, под залог которых он давал деньги, теперь уже трещат под бременем процентов. Дом Ференца Йойарта, пожалуй, уже целиком принадлежит ему. У Фило тоже зреет для него урожай. А Шандор Бенце? Вот мерзавец! Этот прохвост предпочитает, чтоб с него шкуру содрали горожане. Каждый год банк половину йоха отрезает из его земельного участка. Пензеш выбежал во двор, заорал:

— Эй ты, буйвол. — Батрак равнодушно выглянул из хлева. — Нагрузика еще мешков десять; через час выедем. Я пойду к Бенце.

На улице он ударил ногой подвернувшуюся под ноги собаку, небрежно ответил на поклон знакомых, едва коснувшись указательным пальцем правой руки черной шляпы.

— Отец дома? — окликнул он на крыльце Юльчу.

Девушка, сидя на корточках у порога кухни, раздувала утюг. Она взглянула на ломящегося в дверь мужчину, глаза ее вспыхнули.

— Чего вам от него надо?

Кулак не ответил. Он прошел через веранду в сени. Оттуда к нему навстречу уже выходил хозяин. Бенце работал у соломорезки. Он опять стал за машину, повернул колесо и нажал ногой на педаль. Снова заработали с громким скрежетом ножи. Гость и хозяин стояли рядом, не говоря ни слова, ушедшие в

себя, и только тайком взглядывали друг на друга.

— Почему ты свою дочь не заставляешь работать у этой машины? — спросил Варга.

— У ней другие дела есть.

— Какие же это, интересно?

— У ней своя работа, — отрезал Бенце, обрывая разговор.

— Так, так... А может, она готовится к свадьбе?

— Это ее дело, — ответил Бенце.

— Ну, не совсем.

— Ее дело, — от кого хочет иметь ребенка, за того и выйдет.

Пензеш-Варга проглотил слюну.

— Ты, пожалуй, согласишься, чтобы внука твоего звали Моисеем!

Бенце оставил машину. За густыми черными усами его тайлась улыбка.

— Я ее об этом еще не спрашивал. А ты не свататься ли пришел?

— Но... какого дьявола.

— А если так, то я сообщу тебе то, что каждый, впрочем, уже знает, и ты в первую очередь. С дома моего уже штукатурка сыплется. Пусть и совсем искрошится. Из двадцати йохов земли только шестнадцать осталось моих. А если бог и правительство захотят, то к легу у меня останется только четырнадцать. Восемь из них получены по земельной реформе, долг не выплачен. Из двух моих коров одна скоро пойдет с молотка. Ее уже описали.

— Не похож ты на прежнего, — спокойно сказал Пензеш, — на все это смотришь спокойно. Разбазариваешь свое добро.

— Как это я? Ведь это банк делает государство. Они меня вынуждают. Банк дал мне ссуду под залог земли, — усмехнулся Бенце, — хоть и не просил об этом.

— Они перед этим, будь уверен, поглядели в кадастр.

— Еще бы, конечно, сельский начальник, наверное, показал им.

— Они под одной крышей живут, сельский начальник с банком-то вместе спекулируют, — сказал Пензеш-Варга.

— А с ними и кулаки, — спокойно добавил Бенце, взглянув Варге в глаза.

— Но ты, ведь, тоже не нищий!

— Скоро буду, как и многие другие. Узкий, продолговатый земельный участок был занят домом, двором, садом. В саду жена Бенце хлопотливо снимала высохшее белье с протянутых между фруктовыми деревьями веревок; дальний родственник, солдат, колоч дрова. Этим он развлекался от нечего делать в гостях у Бенце, двоюродного брата своего отца...

— Вернется еще то, что было в двадцатом году. В руках у людей будут топоры и винтовки, — говорил Бенце.

— Эти времена прошли, — отмахнулся Пензеш-Варга.

— Интересно, придут ли к нам тогда опять господа офицеры? — продолжал Бенце.

— Не будет в них нужды.

— Будет, не беспокойся, — Бенце покосился на гостя.

— Тогда и потолкуем об этом, — заключил Пензеш, выпячивая прудь.

Бенце рассмеялся. Пензеш изумился внезапной перемене в настроении этого всегда ворчливого, скупого на слова человека. Бенце стоял у притолки и смеялся так раскатисто, что из глаз у него текли слезы.

Пензеш подал руку и ушел. Он в раздумьи шел по главной улице. У себя во дворе, крича во всю глотку, велел снова убрать мешки в амбар. Потом пошел к общинному правлению. За домом стоял огромный хлев. Сельский начальник здорово разбогател. Когда он сюда приехал, все его имущество помещалось в коробке из-под сигар, а теперь он сидит перед полной миской, стал домовладельцем, приобрел этот прекрасный дом и сдает его в аренду общине. Замечательно обделал дельце: община платит ему арендную плату за то, что он живет в своем доме. И тут же поместил канцелярию. За погреб, и то берет с общины деньги. В нем теперь карцер.

— Где твой начальник? — заорал Пензеш в прихожей.

— Там, — старший общинный служитель указал на дверь.

— А кто там с ним?

— Меня здесь не было, когда он пришел туда.

Сельский начальник сидел, прижав к письменному столу живот, и читал какие-то бумаги.

— Как, уже вернулись из города? — спросил он Пензеша.

— Я там вовсе и не был, — ответил кулак и громко, с удовольствием рыгнул, — слушайте, покажите-ка мне кадастр Шандора Бенце.

Пензеш-Варга перелез через низкую деревянную решетку к закрывавшему всю стену огромному канцелярскому шкафу и выудил из расположенных в алфавитном порядке кадастровых копий листок Бенце. Потом спросил: — Слушайте, когда начнутся торги?

— Опись имущества только на-днях закончилась.

— Но когда же состоится распродажа?

Сельский начальник захрюкал. Двойной подбородок его колыхался. Пензеш-Варга начал яростно ругаться. Впрочем, ругательства имели смысл, если их слышал кто-нибудь другой, если можно было пошпынить сельского в присутствии посторонних. В таких случаях он живо смягчался. Но сельский начальник высматывал вон из канцелярии чужого человека.

— Сколько всего коров описано в округе? — спросил Варга.

Сельский начальник ничего не ответил на эти спокойные слова. Он начал что-то чертить. Полное лицо его внимательно склонилось над бумагой. Сельский начальник не любил крупных разговоров, споров. Он тосковал по уюту, по мирной жизни.

— Дело в том, дорогой мой, — мягким тоном промолвил Варга, положив большую, широкую руку на толстое плечо сельского начальника. — Дело в том, что я бы продал всю свою пшеницу. У меня дома лежат около пятисот центнеров. Я только жду, чтобы получить за них по девяти пэнге. На эти деньги хотел бы купить себе около тридцати коров.

— Коров? А, вы меня хотите подотрясть! — Сельский начальник снова затрясся, стул скрипел под его тяжестью. — Ладно. Значит, вы купите

тридцать коров. Одну из них поставите в мой хлев.

— Что, корову? — Пензеш вскочил и заревел. — Корову? Дерьма не хотите ли! Корову? — Он отпихнул от себя стул, но, заметив улыбку на лице сельского, опять уселся на стул. Оба они хорошо знали друг друга. Годы общих проделок крепко спаяли их.

Ну, ладно, торги начнутся в начале будущей недели. С этой волости тридцать коров продают под молоток. Их купит Пензеш-Варга. Сельский начальник уже присмотрел себе одну корову. Она принадлежит одному бедняку из Боза. Красивая, в рыжих пятнах. Так вот, эта корова бесплатно пойдет к нему в хлев. За это все тридцать коров перейдут в собственность Пензеша по одинаковой цене: тридцать хэллеров кило живого веса. Но для этого надо, чтобы перед распродажей люди не могли получить кредит, а также, чтобы ни один чужак, ни один барышник не появился на торгах.

Они понимающе смеялись. Пензеш-Варга взял со стола сигару. Он откусил кончик и зажег ее.

Потом он стал расспрашивать о прокладке дороги. Дорога пройдет мимо его хутора. Там можно поселить рабочих. Солому он даст даром, а больше ничего и не нужно. Одним словом, двадцать хэллеров в день с головы... Это надо уладить с помещиком. А сельский начальник должен включить в смету строительства дороги этот расход.

## 15

Оба жандарма, сопровождавшие секретаря, крепче сжали ремни винтовок. Подошли к селу. Лица жандармов стали еще суровее, взгляды то-и-дело встречались. Служить теперь стало тяжелее. Опять им приходится вести этого социалиста по селу. Кто его знает, что он там замышляет среди народа. Правда, он смахивает на барина. Душистая сигара ни на минуту не гаснет у него между зубами. К тому же он вел переговоры с господином управляющим. Теперь его ведут к сельскому начальнику. А то нищие совсем расхраблятся. При-

кладом бы его двинуть, а не водить взад и вперед. Сидел бы у себя в городе, там ему, как видно, легко заработать такую роскошную шубу...

Они шли в ногу. Секретарь, шагавший между ними, тоже старался приспособить свои шаги к ним. Он был в хорошем настроении. Этот конвой решительно его забавлял. Ему не вредно прогуляться по селу под конвоем жандармов. Хорошая даровая реклама. Она сейчас очень кстати. Управляющий свое дело знает. Что он хочет, потом видно будет, но он хочет чего-то и что-то знает. И потом... похоже, что не жандармерия, не законная власть, а именно он управляет всей округой. Витязь Денэш Бицо. Неужто это он своими руками задушил столько людей после свержения диктатуры?

Плетясь под охраной своих вооруженных спутников, секретарь в задумчивости покачивал головой. Потом встряхнулся, выпрямился. Глаза его оглядывали стоящих под воротами крестьян. Приказчики у потребительского общества, возчик у запряженной парой телеги... Смотри-ка: вот и Пали... Как, неужели он дома, этот большевик? Секретарь даже обернулся назад, не отводя глаз от смотрящего на него парня.

— Прошу итти вперед, — толкнул его в бок жандарм.

— Что вы себе позволяете? — возмутился секретарь, и, сунув руки в карман, остановился, глаза его бегали из стороны в сторону. — Не смейте меня...

— Идемте! — настаивал жандарм, — а если пререкаться будете, то надену вам наручники.

Секретарь побледнел.

Перед общинным правлением один жандарм пошел впереди секретаря, другой — позади. Так прошли они через ворота в прихожую, а потом в канцелярию.

Сельский начальник не двинулся с места. Пухлое лицо его возвышалось над столом, он мигнул вместо приветствия. Имре Пензеш с изумлением глядел на нового пришельца.

— Ну, как поживаете? — начал сельский начальник.

— Ничего, спасибо, — ответил секретарь.

Жандармы вышли. Секретарь прошел за низенькую деревянную решетку и сел к столу. Он с интересом поглядывал на пышные рыжие усы Пензеша.

— Господа знакомы друг с другом? — спросил сельский начальник.

Да, господа уже раньше имели честь... Пензеш-Варга надулся и стал смотреть в сторону. Неужели этот дурацкий писака вообразил, что он подает руку какому-то беглому арестанту, секретаришке? Суб'екту, от которого так и несет городским духом, чтоб его чорт побрал! Такую сволочь не то, что к столу подпускать, а палкой бы гнать отсюда. Чего они тут затевают? Приводят сюда бездельника под конвоем, сельский начальник с ним нежничает. Понимай, как хочешь. Варга встал.

— Ну, я пойду, — сказал он и открыл дверь.

На пороге стоял молодой агроном-практикант из поместья. Он был в зеленом охотничьем костюме, желтых сапогах и в шляпе с султанчиком из шерсти дикой козы. Он подал руку сельскому начальнику и секретарю. Пензеш-Варга на минуту задержался и вышел, со злобой захлопнув за собой дверь.

Сельский начальник встал, одуваясь. Он повел гостей в квартиру. Общинному служителю он сказал, что в течение часа никого принять не может. Вынув из буфета коньяк и стаканчик, поставил их на столик. Господа уселись и, не чокаясь, как будто кто-то торопил их, выпили по стаканчику. Сельский начальник задумчиво глядел перед собой. Секретарь рассеянно стучал ногтями по хрусталу, практикант нервно оглядывался. Чувствовалась какая-то неловкость, напряженность.

— Так вот, — нарушил молчание сельский начальник, — дело в том, что...

Но они опять потянулись к стаканчикам. Гости нервно вертели их в руках.

— Так вот, — начал опять сельский начальник, — я мадьяр, и я всегда прямо и открыто высказываю, что у меня на сердце лежит, — так вот, скажи-ка, ты кто?

— Я? У меня в роду все христиане... — секретарь облегченно вдохнул и пригладил свои черные английские усы, — прадед мой протестантом был.

— Ну, твое здоровье! — провозгласил сельский начальник.

Они беседовали, окутанные дымом тонких сигар «Медея». Секретарь говорил веско, сельский начальник — снисходительно. Практикант оставался молчаливым наблюдателем. Пили теперь кто когда хотел. Секретарь опять заговорил о господине управляющем и очень расхваливал его. Вот истинный, настоящий барин! Но он, секретарь, не может понять, почему перегруженный работой человек берет на себя столько лишнего бремени. Одним словом...

Сельский начальник ухмыльнулся. Он уже знал, что гость интересуется кругом деятельности управляющего. Утром, когда жандармы повели его в замок, он всё кипятился: кто этот управляющий, на, что он ему?.. а теперь ему уже хочется огрбить управляющего от переутомления! Ну что ж, отлично.

— Я хотел бы переговорить с вами о дальнейшем.

— О дальнейшем разговаривать нечего, — пожал плечами сельский начальник.

— Интересы власти требуют спокойствия, а народ волнуется. Собрание только нарушило бы спокойствие...

— Я гарантирую...

— ... нарушило бы спокойствие, не прими мы заранее соответствующих мер. — Сельский начальник умолк и благосклонно взглянул на испуганное лицо секретаря. — Жандармский конвой преследует ту же цель.

— Господа беспокоятся обо мне? — брякнул секретарь. — Народ знает, что социал-демократия...

— Никакой чорт о тебе не беспокоится. — И сельский начальник обернулся к юному практиканту. — А ты, удалец, хорошенько насторожи уши, сейчас кое-чему можешь научиться. Знаешь ли ты, что тут творится, знаете ли вы, знает ли, вообще, кто-нибудь в городе, что здесь происходит? Мы идем навстречу войне! Ты думаешь, они станут вас

ждать? Вас, социал-демократов? Они хотят взяться за оружие, за топоры! Они готовы господам глотки перегрызть! Ваша очередь настанет потом. Потому мы и вводим тебя под конвоем жандармов.

— Народ знает...

— Народ еще ничего не знает. Народ думает, что вы расчищаете путь к перевороту. Потому, что народ его хочет, да, именно его.

— Я протестую...

Наступила тишина. Сельский начальник сидел, развалившись в кресле. Практикант усердно наливал себе вина. Секретарь рассматривал картины, потом перевел глаза на окно. Он увидел, что, направляясь сюда через улицу, идет Шандор Бенце...

Ишь ты, малый все-таки попался на удочку! Он летает теперь, как бабочка вокруг пламени...

Бенце вошел в прихожую.

— Здравствуй.

— Здравствуй, — ответил Габор Шаш.

— Где начальник?

— Дома, у него гость.

— Я знаю. — секретарь. А где ж он?

— В квартире. В гостиной. Там же и практикант. Который из замка. Он велел, чтобы ему никто не мешал.

— А что они там делают?

— Пьют, — сказал Габор Шаш.

— Как? Что? Пьют?

— Ну да, коньяком надуваются, чтоб их черти взяли!

Бенце застыл на месте. Лицо его стало свинцово-бледным. Потом вспыхнуло.

— Пьянствуют, — простонал он, — с секретарем?

— Именно, — проворчал служитель. Пошатнувшись, Бенце вдруг шумно ринулся вон из прихожей. Служитель в изумлении пошел за ним. Черный мужик был уже на улице. Габор Шаш закрыл ворота и со смехом сплюнул. — Убирайся к дьяволу, пес завистливый! Небось, самому захотелось нализаться. — Он опять сплюнул, сел на свое место, закурил трубку и стал смотреть на дверь, в хозяйские комнаты.

Кэрако уже целый час слонялся около хутора, делая несколько шагов вправо, потом влево. Прильнул к стене и с осторожной опаской ступал по мягкой земле.

Он бросил взгляд на усыпанное звездами небо, потом вдаль на большую дорогу. Ничего вокруг не было видно, только непроглядная тьма и бодрствующие над этой тьмой звезды. Кэрако больше всего полагался на свой слух.

Но все было тихо на хуторе. Почтовая карета, отправленная на железнодорожную станцию, давно уже протарахтела по большой дороге; теперь ей, пожалуй, пора уже возвращаться. Она поедет назад между десятью и одиннадцатью часами вечера. Но к этому времени его служба, вероятно, уже придет к концу, и люди разойдутся по домам. Хорошо бы трубочку табачку! Андраш Кираль принес табак. Но дозволено ли курить? Надо было бы спросить об этом. Ведь это ничего общего не имеет с караульной службой на фронте. Там как-то раз один из господ офицеров вогнал одному пехотинцу зажженную папиросу в рот. Конечно, и Кираль, и Петраш не офицеры. Но тут фронт — есть такие, которых особо надо охранять. Вожаки бедности собрались на совет. По сравнению с ними Петраш и Кираль просто нули.

Хорошо бы на них поглядеть, на лучших из бедняков. Или хоть речи их послушать. Но это не удастся. «Смотрите в оба, а если кто подойдет, дайте знать». Вот что сказал ему Андраш Кираль, когда он вышел сюда. «Мы только совещаемся несколько часов, а потом исчезнем бесследно. И жене об этом нечего знать...» Потом они заперлись в хлев, а Кираль ушел. Через полчаса он вернулся с двумя мужчинами, потом привел еще двух, а через несколько минут мимо него прошел Петраш.

Он не сказал ни слова, не поклонился, но это был он, Кэрако узнал его по походке.

И теперь они сидели там внутри, заняты беседой.

Мог ли Кэрако ради такого случая отказать им в своей помощи? После обеда к нему на базарной площади подошел Андраш Кираль. Ну как, уже записались на работу? — спросил он. — И отошел в сторону. Кэрако пошел за ним и кивнул головой, что означало: да, записался... — Ладно, а не найдется ли у вас на хуторе места для нескольких человек? Они только хотят побеседовать друг с другом, больше ничего.

— Понимаю, — сказал Кэрако, хотя он во всем этом не больно много понимал.

— Одним словом, если призовут к ответу, вы скажите только, что несколько человек просились переночевать, и вы их пустили в хлев. Но об этом никому ни слова!

Такое предупреждение задело Кэрако. Не старая баба он, чтобы болтать! Он сердито отвернулся от парня, поглядел на свои рваные штаны, на худые заплатанные сапоги, сплюнул и сказал, наскнец:

— Ведь я о пакете ни с кем не говорил. Даже с самим собой.

Настала уже темная ночь, когда на дороге ему встретился Андраш Кираль.

— Какого чорта ты тут бродишь?

Молча пошел дальше. Потом парень промолвил:

— Ты, отец, славный, настоящий пролетарий.

За время караула эти слова, может быть, раз пять промелькнули в голове Кэрако. Он очень жалел, что не спросил у Кираля насчет куренья. Хорошо бы подыграть трубкою.

Он стоял, прислонившись к стене. Слушал все внимательнее, все напряженнее. Кто-то шел сюда от хлева... Известное дело, заботы выгоняют человека в ночь... Человек со своими тяжкими заботами — точно выброшенный на улицу пес... Такие доводы притотавливал, рассчитывая на любопытство и распросы приближающейся фигуры. Но он успокоился: подошел Петраш и шопотом сказал, что скоро все разойдутся. Но сначала, возможно, придет еще один человек. Пусть он покажет ему дорогу. Он,

Петраш, вышел сюда, чтобы сказать ему об этом. Они постояли рядом. С дороги раздался стук колес почтовой кареты.

— Почта едет обратно.

Кэрако стало легче от того, что произнес несколько слов.

Петраш не отвечал, он подождал еще минутку. Кэрако хотел было спросить его насчет трубки. Но парень уже отошел. Ну, ладно. Дойдя до хлева, Петраш оглянулся, потом осторожно открыл дверь и юркнул внутрь.

Это было большое, досками разгороженное на денники помещение. Сейчас в нем было пусто, холодно, темно и сыро. В одном углу, под кормушкой, светил карманный электрический фонарик, а вокруг него, на бревнах и соломе, сидели, поджав под себя ноги, люди. При появлении Петраша они подняли головы. Андраш Кираль сидел без шапки. Темные выющиеся волосы падали ему на лоб. Рядом с ним слабый свет озарял бледное, костлявое лицо крестьянина из Хэдкэ. Был тут еще один крестьянин, уроженец Фюлеша, худой, маленький, со сжатыми в карманах кулаками, с острым взглядом мужичок. Против него сидел на корточках Фило. Глаза его искрились из-за огромного носа и не отрывались от незнакомца.

Незнакомец был лет тридцати белокурый парень, с гладко выбритым, улыбающимся лицом. В одной большой руке он держал карандашик, в другой — записную книжку. Целый вечер он говорил и задавал вопросы и время от времени что-то царапал в своей записной книжке. Он не писал, — Фило это отлично видел, — только ставил какие-то знаки. Что бы это могло быть? Потом Фило догадался. Незнакомец заранее аккуратно переписал себе все вопросы и разъяснения, чтобы ничего не забыть. Он и не забыл ничего. Да кто же, чорт возьми, мог все это ему рассказать? Малый ни разу ведь раньше здесь не бывал, и уж обо всем отлично осведомлен! Обо всем. В записной книжке все написано. Бремя налогов, опись имущества, распродажи с молотка, крестьянская нужда, безденежье, участки, полученные по земельной реформе, все, все.

Да, этот уж знает, где сапог жмет! Так, значит, они все видят, эти горожане. Вот, хоть они здесь и не живут, а ведь они первые сообщают, что тут у нас не все в порядке. Этот Пали... чтоб его чорт... Что же он знает? О ком он знает?

Только Петрашимелс ним дело и кто-то еще. Но о тайне, как видно, знают только Петраш и этот горожанин. Но тогда Петрашу плохо придется, да и его товарищу тоже. А здорово они придумали. Послали два пакета Пали, пустые листы бумаги. Он их получил, но никому не сказал. Он даже отрицает, что получил их. Целые два дня бегал от Петраша, как от чумы. Зато все расхаживал с этим солдатиком. А тот городской товарищ, который хотел передать листовки посланцу из села, видел, как Янош Мештер увивался вокруг Матэ Дула. Он видел, как в тот вечер солдатик с какими-то другими типами болтался около мельницы. Ясно... Так, значит, Пали знает о трех лицах: о Петраше, о неизвестном товарище, и о том, кто привез ему из города чистую бумагу вместо листовок.

Фило расхохотался. Шутка с чистыми листами ему понравилась.

— Смеяться тут нечего, — сказал незнакомец. — Это шутка, а в нашем деле шутку шутить нельзя. Тому, кто это сделал, мы хорошенько ударили по пальцам.

— Почему же? — удивился Фило.

— Потому что было бы лучше, если бы посланец попросту сказал Пали, что ему никто ничего не принес.

Тут в дверь осторожно вошел дядя Лиханий. Он сначала огляделся, потом чуть не бегом подбежал к группе. Петраш отвел его немного в сторону. Они шопотом что-то говорили и вернулись к остальным.

— Дядя Лиханий рассказывает, что за домом его товарища, у которого мы сегодня хотели собраться, установлена слежка. Следят с улицы, и со стороны сада. Это дом того товарища, о котором, кроме меня, знает только Пали... Теперь ясно — либо он, либо я предатель... В этом больше нельзя сомневаться.

Все смотрели на горожанина, на его поникшее, задумавшееся лицо. Вдруг он откинул голову назад, лицо его дрогнуло.

— Да, это бесспорно. Пали — провокатор.

Ему ответил одобрителный гул. Все смотрели друг на друга. Фило оказал, что Пали надо бы убить дубиной, как бешеную собаку. Человек из Хэдькэ пониженным голосом, так, что вначале его даже не поняли, сказал, что убить мало. Очень важно, чтобы все узнали, какой он был подлец. Как это сделать? Надо устроить так, чтобы он ни днем ни ночью не знал покоя. Надо на доме его написать, что он подлый шпион, публично, на улице оплевать его, чтобы все перестали с ним общаться, чтобы никто не разговаривал с ним.

— Но как же это сделать? — пробормотал Фило.

— Да уж надо постараться, — ответил человек из Хэдькэ.

— Но если его убьют, то все равно с ним никто не сможет разговаривать.

Горожанин опять что-то отметил в своей книжечке. Сидел озябшие, втянув головы в плечи. Свет электрического фонарика падал на бледные, дрожащие губы. Люди потягивались, поднимали обутые в сапоги ноги, потирали руки, молчали. Крестьянин из Хэдькэ поднял большое костлявое лицо, опустил веки и тихо, как будто себе, начал говорить:

— Эта история, касаемая провокатора, уже всем ясна. Так не будем о ней больше разговаривать. Нам нужно обсудить другие важные вопросы, потому что у нас здесь тоже не все ладно. Тут у нас сейчас товарищ из города, пусть он передаст это тамошним товарищам. Мы тут в деревне, словно сироты, никто о нас не знает. Мы все только ругаемся да проклинаем, собираемся вместе, но из этого ничего не выходит. Никому до нас дела нет. У всех своя организация. У фабричных рабочих, у землекопов, у батраков, только у нас одних нет. Здешние деревенские товарищи давно уж могли бы организовать всю округу. Но они не желают. Только жмутся: мы — крестьяне, хозяева. Они не

понимают, что землекоп уже не крестьянин, Петраш не крестьянин, и товарищ Кираль тоже нет. Он даже и не землекоп теперь. Есть такие, кто раньше был рабочим, а теперь он безработный землекоп. Пали, опять-таки, был сначала землекопом, потом возчиком, а теперь кладовщик. Я да вон тот, — он показал на человека из Фюлеша, — крестьяне, но мы темные, ничего не знаем. Ведь мы тут давно собираемся, мы уже надоели друг другу, все только спрашиваем: так что ж теперь будет? Народ хочет взяться за оружие, откопать его и кинуться на господ. Народ не прочь бы пойти с коммунистами вместе, пусть бы только нашелся здесь подходящий человек, вожак, организацию наладил бы. Не умею я этого объяснить. Они вот ругают молодежь, что она в господской партии состоит. Ну да, наши дети состоят в этой партии, потому что их так воспитали. Мой сын — член «Левенте», он в церковь ходит, а я не могу его отговаривать, потому что я сам темный, неразвитой. Мы только видим, что господа через это воспитание забрали у нас наших детей. Землекопы и сельские рабочие нас сторонятся, и никто на свете не заботится о нас. Разве это порядок?

Крестьянин из Хэдькэ кончил и дрожащей рукой отер покрытое потом лицо. Внимательно осмотрел сморщенные от напряженных мыслей лица. Каждого в отдельности он брал на прицел. Взгляд его остановился на горожанине, упрямо, испытующе, проникновенно, требуя ответа...

Молодой рабочий-горожанин кивнул, морщины на лбу его разгладились.

Он стал говорить о том, что коммунисты в деревне, действительно, очень слабы. Допущенные ошибки велики, но их можно исправить. Теперь, когда партия вылечилась от многих органических своих недугов, теперь только и начинается настоящая работа. Конечно, коммунисты знают о повороте в настроении деревни. Партия видит путь, пройденный мелким и средним крестьянством. Конечно, крупная ошибка, допущенная диктатурой пролетариата в земельном вопросе, облегчила агитацию контрреволюции среди крестьян, и господам, с по-

мощью румынских штыков удалось снова добраться к власти. Пока эти господа нетвердо сидели в седле, они располагали к себе крестьян мелкими побрякками. Несколько крестьян, несколько кулаков, адвокаты, учителя, управляющие поместьями да попы забрали себе «плату», за которую деревня продала городских бедняков, своих единственных друзей, боровшихся не за себя только, но и за деревню. Но рабочие не могут вычеркнуть из своей памяти воспоминание о временах контрреволюционного разгрома. Наоборот, надо извлечь из этого соответствующие уроки. Те времена яснее ясного доказали, что поденщики, сельскохозяйственные рабочие, батраки и землекопы — вот кто действительно братья рабочих в деревне. Их-то в первую очередь и надо организовать. А крестьяне, карликовые, мелкие, средние хозяева? Конечно, и они уже начинают бунтовать под влиянием земельной реформы, «льготных ссуд», пособий на искусственное удобрение, «даровых усадеб», всяких других обманов и надувательств и ужасного экономического кризиса. Они ищут. Что? Кого? Кого-нибудь, кто вывел бы их из этого ужасного положения в землю обетованную. Оглядываются по сторонам, то направо, то налево. Мы только-что говорили, что Шандор Бенце стучался к Матэ Дула. Предлагал ему стать вождем. Что с мужиком делается? Куда его тянет и чего он хочет? Нынче он уже готов пойти за нами, чтобы уберечь свою потертую шкуру от господского кулака.

Нам надо убедить крестьян, что ни Матэ Дула, ни социал-демократическая партия не спасет их, что только революционная организация городской и деревенской бедноты, коммунистическая партия может повести всех трудящихся на классовую борьбу и что только с ними бедняки могут завоевать себе свое счастье. Мы сознаем свои ошибки и мы исправляем их, но в нашем переднем ряду в деревне стоит не крестьянин, а сельский батрак и землекоп. Когда деревенская беднота начинает борьбу, она, в конечном счете, борется и за трудящееся крестьянство. И вот что нам нужно хорошенько заметить: мы не заключаем

союз с вождями, нам не нужен договор с Шандором Бенце и другими о том, что они приведут нам столько-то своих сторонников. Пусть лучше Шандор Бенце с товарищами увидят, что те, кто до сих пор равнялись по ним, были их подголоски, что они постепенно самостоятельно приближаются к лагерю деревенской бедноты.

— Это очень жестокое слово о Бенце, — проворчал крестьянин из Хэдькэ.

— Действительно, слово жестокое, — сказал городской товарищ, — но разве не правда, что Бенце еще вчера хотел продать вас без остатка Матэ Дула?

Крестьянин из Хэдькэ склонился и подал руку горожанину.

Потом поднялись дядя Лиханий, Фнло и исчезли в темноте ночи. Кэрако, погруженный в свои мысли, прислушивался к их затихающим шагам. Он закрыл глаза. Стало опять тихо, потом к нему подошел Андраш Кираль и сказал, что совещание окончилось и что никогда не забудут его самоотверженности.

— Ну, брат, — начал Кэрако, ища слов, которые могли бы выразить, как он тронут. — Мне это большая честь, брат, что у меня... да.

Потом послышалось и тоже затихли шаги еще двух человек.

Тогда Кираль на цыпочках повел Кэрако за собой в хлев. Карманный фонарик стоял на земле, перед ним сидел Петраш. Кэрако сел рядом с безмолвным парнем и стал ждать. Кираль потушил фонарик. Хлев погрузился в непроглядную тьму. Еще двое ушли из хлева.

— Отец, — начал Петраш, — вы бы не съездили в город? Оттуда надо привезти кое-что.

— Что привезти? — спросил Кэрако.

— Такой же пакет, как в субботу утром. Вы знали, что было в том пакете? — Он следил за многозначительным покашливанием Кэрако. — Одним словом, в пакете будет то же, что и позавчера. Вы согласны привезти его?

— Почему же нет?

— Возможно, что меня в один из ближайших дней заберут жандармы, или я сам ненадолго исчезну из этой местности. Поэтому-то я и говорю вам об

этом уже сейчас. Поезжайте по железной дороге. В четверг ночью. На рассвете вы уже вернетесь утренним поездом. Рядом с вокзалом находится трактир «Роза». Там вас будет ждать один человек. Он вас узнает. Здесь только-что был человек, который хорошо вас рассмотрел. Затем мы вас и посадили перед фонариком.

— Я бы ему руку пожал, — с укором промолвил Кэрако. — Зачем ты мне не сказал?

— Дойдет время и до этого.

— Дойдет? Я этого уже заслужил.

— Заслужили, заслужили...—Петраш говорил с раздражением. — А если вы его жандармам хотели бы выдать?

— Что? Я? Выдать хотел бы? — вскипел Кэрако.

— Не хотите. Но если вас заставили бы, то не могли бы, раз не знаете его. Вот в чем дело-то.

Тишина.

— Я понимаю, — проговорил Кэрако.

— Ну, спокойной ночи.

На темном дворе некоторое время молча прислушивались к шуму ветра, пока Петраш не повторил опять:

— Спокойной ночи, отец. А если кто спросит, скажите, что я приходил к вашей дочери, вы меня не пустили. Выгнали меня из дома.

— Понимаю.

Шаги Петраша давно затихли. Ни одного звука не было слышно. Один лишь Кэрако обходил хутор. Потом он уселся на порог, кажется, даже заснул, и вдруг... Издалека донесся какой-то стук. То был топот конских копыт. Шатаясь, Кэрако побрел вперед мимо дома. Глаза его буравили темноту.

Топот приближался. Кэрако побежал вперед, остановился. За рядами деревьев, по дороге скользили силуэты всадников. Их было много, может быть, целый эскадрон.

Жандармы! Конные жандармы!

Ноги Кэрако словно вросли в землю. Потом он разразился необузданным потоком диких проклятий.

*(Продолжение следует)*

---

# Ленкорань

## Дорожные записи

### И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Ровно два года назад, впервые охотясь в местах птичьих зимовок, я не успел побывать в замечательных природою своею диких лесах горного Талыша и, уезжая, положил твердый зарок скоро вернуться. Это намерение мне удалось выполнить не скоро, но так бывает всегда: полюбившееся охотнику место особенно к себе манит, и увлеченный успехом охотник путь свой непременно прокладывает по кругу.

Тогда же, ночуя на берегу после охоты, запомнил я сказанное мне рыбаком-тюрком любезное слово. Наш невод был заброшен, в ожидании рыбы мы мирно сидели у костра в шалаше. Старый рыбак-тюрок — на суровое лицо рыбака хорошо падал отсвет огня — потчевал меня печеной на угольях рыбой-кутумом. Пахнувшую дымом сочную рыбу мы ели с большим аппетитом, и, поглядывая на меня с улыбкой, дружески говорил рыбак:

— Душа мой, вижу, ты простой и добрый человек. Мы тоже простые, хорошие люди, любим угостить нашего гостя. Пожалуйста, с нами откушай и хорошенько запомни нашу старинную поговорку: «Кто хоть раз покушал на Кумбаша кутума, тот непременно к нам вернется!...»

Слово старого рыбака сбылось. Нагруженный охотничьими припасами, я опять бреду по улице зеленого городка, знакомые признаю места. Женщина в белом ситцевом покрывале, споро шагая

маленькими босыми ногами, пересекает мне дорогу. За эти два года город по внешности изменился мало. Попрежнему на углах улицы горячим пахнет чуреком, в сколоченной из досок летней чайхане люди греются чаем. Носатый человек в фартуке, жонглируя налитыми стаканами, хлопчет у закоптелого самовара. Он ставит передо мной стакан крепкого чая, спрашивает скороговоркой:

— Накладкой или прикусой?

— Давай, милый друг, накладкой...

Руки человека движутся проворно. Я наливаю чай, греюсь, люблюсь на проходящих. Новая, сверкающая лаком, пронесится мимо машина. Два года назад в городе не было автомобилей. Я смотрю, вспоминаю, записываю слышанное и виденное в дороге.

\*\*\*

Ночью на палубе парохода темно, ясные горят в небе звезды. Освещенные скудным звездным светом, под мачтами жмутся, укладываясь спать, едущие в Ленкорань пассажиры.

Два года назад, в первое мое ленкоранское путешествие, плыл я на этом же пароходе. Тогда людей было больше. Они заполняли палубу, трюм. Ночью я вышел из набитой людьми душевной каюты.

Стоя на палубе, услышал я неведомо откуда доносившийся звук. Наклонившись над трюмом, увидел я си-

девших на дне трюма людей. Прикрепленная к потолку электрическая лампочка тускло освещала лица сидевших. Какой-то черный, очень худой и лохматый человек, в растрепанной грязной одежде, играл на зурне. Звук зурны дрожал, переливался, как бы извиваясь закручивавшейся в петли тонкой спиралью.

Люди, сидевшие в трюме, слушали завороченно. В мелодии песни, более походившей на вопль, было потрясающее первобытное. Иногда, точно не выдержав действия музыки, кто-нибудь из слушателей поднимал голову и начинал петь...

Потрясенный впечатлением, нескоро вернулся я в наполненную людьми каюту. Мой хлопотливый спутник заканчивал ужин. Глядя на его руки, на хозяйственно разостланную на столике салную бумагу, продолжал я думать: «Сколько веков рабства, отчаяния, страха, понадобилось людям, чтобы с такою силою чувства создать эту страстную песню!»

\*\*\*

В каюте со мною маленький, узкоплечий, очень проворный и деятельный человек. Он рассматривает меня испытующим взглядом. В его взгляде я читаю немой вопрос: инженер, служащий, директор? Взгляд его успокаивается. По какому-то ему понятному признаку он успел установить мою «благонадежность».

Мы знакомимся, усаживаемся на койках. Спутник оказывается разговорчивым. От нечего делать я также стараюсь угадать его профессию. Кто он: лесовод, рыбак, кооператор?..

— Еду налаживать подрывное дело в чайных совхозах, — сам объясняет мой спутник. — Не ладится, вызвали меня.

— Значит, вы подрывник-специалист?

— Есть и такая специальность...

Он вынимает из потертого чемодана колбасу, сыр. Подмигнув глазом, откупоривает флажку.

— Наша профессия особенная, опыт-

ных людей мало. Вот и гоняют меня то в Хибины, то в Закавказье. А все потому, что мы, подрывники, — теперь самые нужные люди.

Он выпивает, закусьивает, добродушно предлагает мне. У людей, проводящих свою жизнь в дороге, вырабатываются особенные приемы. С чужими они, как со своими.

Через час я знаю всю биографию моего спутника. Знаю его служебное положение, отношения с женой. Спутник рассказывает мне о своей работе, о невольных трудностях жизни:

— Так-то вот, дорогой товарищ, все мы теперь на-бегу живем. И знаете — привыкли. Разве я один? Лежебоков нынче в кулесткамере показывать можно.

\*\*\*

На палубе парохода новенькая машина — пассажирский автобус. Вокруг толкуются разношерстные люди. С большим любопытством оглядывают они машину, осторожно трогают пахнущие лаком широкие крылья:

— Ходить будет?

— Конечно, ходить будет. Ленкорань ходить будет, порт Ильича ходить будет.

Опытный человек в желтых крагах смеется. Бело блестят его зубы. Облокотившись на крыло машины, он объявляет что-то соседу.

Ленкоранские жители интересуются машиной. До сего времени «транспортный» вопрос был самым большой в Ленкорани. Осенью и зимой проваливались дороги. Колыхаясь, точно на зыби, тянулись запряженные быками первобытные деревянные телеги, прикрытые пологам. В телегах колотились друг о друга изнуренные малярией, похожие на мертвецов люди...

Теперь времена переменялись. Уже прокладываются новые дороги. В глушайшем уголке страны, где ни один коренной житель еще не слышал гудка паровоза, гудят моторами не боящиеся грязи и погоды машины...

Человек, приставленный к голубой машине, улыбается гордо:

— Первая у нас автобусная машина!



Проделав положенный круг, пароход останавливается в миле от ленкоранского нижнего берега. Мелкий тропический дождь непроницаемой пеленою закрывает город. Сквозь сетку дождя смутно проступают крыши. Ныряя на зыби, чадя керосиновым дымом, маленький моторный катер подводит на буксире пустые «киржимы».

Пароходный трап спущен. Неся на головах вещи, толкаясь и крича, в «киржимы» спускаются пассажиры. Увлекаемый шумным человеческим потоком, я прыгаю на мокрое дно «киржимы».

— Эка народ голосистый! — неодобрительно покачивая головою, говорит, стоя рядом со мною, строгий седой человек.

Два года назад «киржимы» шли к берегу на веслах. Это удлиняло время нагрузки, еще больше было крику и гаму.

Угостив нас вонючим дымом, катер подходит близко. Покачиваясь на волнах, направляется к берегу наполненная людьми «киржима». Точно на занавеси театра, скрывающего сцену, отчетливее выступает передо мною укрытый садами зеленый город.

### Зеленый город

Еще в недавние времена, перед войною, перевернувшей всю страну, редкий человек слышал об этом далеком, почти экзотическом уголке. Места было много, люди любили жить неподвижно, и редкий, уж самый отпетый и легкий на ногу, человек мог поинтересоваться природой дикого края. В кои-то веки наезжал в Ленкорань археолог-француз. Занимался француз изучением древних, погребенных временем и землею человеческих сооружений, возникших в забытые времена, когда по берегам моря, у подножия снежных гор, двигались с юга полчища обожженных горячим солнцем, облитых потом и кровью людей, искавших нового на земле места. На территории Талыша осталось немало памятников времен прошлых. Рас-

копками, изучением этих каменных памятников, свидетельствовавших о великом переселении народов, был занят прибывший из-за границы ученый.

Обеспокоенный появлением ученого иностранца, начальник уезда донес губернатору о работах хлопотливого француза. По докладу своего подчиненного, бакинский губернатор запретил гостю продолжать начатые раскопки. Напрасно пытался хлопотать французский ученый через свое посольство в Санкт-Петербурге. Ответ был прост, по-фельдфебельски краток:

— К раскопкам французика не допускать, управимся сами!..

Обиженный ученый уехал, не закончив своей работы, отчаянно проклиная непонятные ему порядки.

«Трудно представить дикость нравов, самоуправство и тупость власти, — писал в своем отчете разгневанный ученый. — установившей порядки этой, населенной глупцами и варварами, странами...»

Еще лет двадцать назад, в канун мировой войны, была Ленкорань одним из самых глухих уездных городов Российской империи, необъято раскинувшейся в своих неисхоженных и неизезженных диких пространствах. О природных богатствах Талыша знали мало. Своєю первобытною жизнью жили в горах пастухи-талыши. В маленьком городке сплошь заросшем садами, благополучно босседали в своих лавках купцы-торгаша. Единственный во всем крае помещик, потомок владетельных ханов, некогда из'явивших покорность царю, построил на городской площади кирпичный «дворец». Построенный на удивление жителей ханский «дворец» был похож на пригородную богатую дачу в пошлом стиле «модерн». Дикие пастухи-талыши нарочно спускались с гор, чтобы полюбоваться игрою электрических ламп, которыми был украшен фасад дворца. Только для личных своих нужд, для освещения своего «дворца» построил хан электрическую станцию — первую в городке...

В царские времена гражданская власть в городе и во всем Ленкоранском уезде, занимавшем территорию бывшего

Тальшинского ханства, полностью принадлежала начальнику уезда. Как во всех глухих уголках необъятной империи, обитали в городе представители государственной власти: лесничий, протопоп, лекарь... Давние старожилы города еще помнят эти, современному путешественнику кажущиеся допотопными, времена. Помнят старожилы, когда по вывезенной из российского захолустья неистребимой привычке, опочив от тяжелых дел, хаживало уездное начальство друг к другу в гостии, чтобы в свободный час перебраться в картишки, выпить и закусить. Ссорились, сплетничали осатаневшие от тоски начальнические жены. В те времена присылали в отдаленные, глухие углы заглаживать старые грехи проворовавшихся чиновников-самодуров, безнадежных оболтусов, которых было стыдно оставить на видном месте. О подвигах этих самодуров до сего времени ходят по городу рассказы. Помнят некоего пристава, бывшего гвардейского офицера. Был сей белобый офицер сослан за темные делишки и неукротимое самодурство. Самыми невероятными подвигами удивлял жителей ретивый начальник. Так, выйдя на базарную площадь, однажды прочли обитатели города исторический указ о... запрещении дверных и амбарных замков. «Ежели я начальствую, никакого воровства и грабежей в подчиненном мне районе быть не может, — объявлял в своем приказе грозный начальник. — Где же случится во вверенном мне уезде грабеж или покража, я отвечаю личным своим имуществом... Посему запрещается строго с сего числа городскому и сельскому населению вывешивать на дверях замки. Буде случится грабеж или воровство, арестовывать буду всех поголовно и, не учиняя долгого розыска, каждого десятого прикажу бить плетью...» Приказ, как оказалось, действие имел самое чудесное. Во избежание обещанных репрессий замки были сняты. Редкие и до того времени в городе грабежи, к полному торжеству пристава, прекратились. Угроза скорой расправой действовала верно...

Долго бы царили в уезде установленные мудрым начальником мир и тиши-

на. Негаданно разразившиеся грозные события, однако, обрушили мирное течение дней. Причиной сих событий был набег персидских разбойников, незаконно перешедших границу и причинивших много вреда горному населению Тальша. Разбойники разрушили и сожгли несколько пастушеских деревень, угнали на персидскую территорию принадлежавшие пастухам стада. Склонный к воинским подвигам доблестный пристав решил расправиться с разбойниками самолично, не затрудняя лишней перепиской высокого начальства: «Зачем беспокоить губернатора и Петербург, — объявил он своим подчиненным, — здесь я полновластный хозяин, за себя стою...» Мобилизовав полицейских стражников и подчиненных ему городовых, ленкоранский Суворов двинулся в трудный поход. Переход через горы был проделан успешно. Перейдя государственную границу, доблестный полководец бурею обрушился на ближайшее, ни в чем неповинное персидское село. Под звуки труб и крики «ура» не оказавшее сопротивления село было взято штурмом. Испуганное население бежало в горы, оставив на милость победителя мощных стариков, побросав имущество и скот. Захватив оставленное населением имущество, забрав мирно пасшиеся стада, вернулось победоносное войско в Ленкорань. Город торжественно встречал славного полководца. Блистательно праздновал начальник одержанную им победу. К сожалению, подвиг храброго патриота не был оценен по заслугам. От бакинского губернатора, узнавшего вскоре о боевых похождениях своего подчиненного, последовало приказание о снятии пристава с должности и передачи его суду. Между правительствами Персии и России возникла длительная дипломатическая переписка. За убытки, нанесенные мирному населению, пришлось рассчитываться звонкой монетой. В те времена правительство Российской империи мало считалось со своим слабым соседом, — инцидент был скоро забыт. Смещенный с должности, трогательно покидал свои бывшие владения доблестный пристав...

В годы интервенции и гражданской войны многое довелось выгтерпеть этому зеленому городку. Руководимые фанатиками-изуверами, белобандиты обрушились на город, на прибрежные русские села. Плохо в те дни пришлось населению города. Вооруженные английскими винтовками, бандиты численностью своею во много раз превышали население почти безоружного городка. Отвлеченная борьбою на важнейших участках, Красная армия не могла оказать помощи находившимся в смертельной опасности людям. Эта опасность заставила людей выказать чудеса храбрости и смекалки. Отступить было некуда, и люди, находившиеся в городе, сами организовали защиту. В их распоряжении была единственная пушка, пара не совсем исправных пулеметов. На защиту своей жизни выступило все население городка. Вернувшийся с фронта военный принял командование над защищавшими город «войсками». С поразительным мужеством защищались жители от окруживших их вооруженных отрядов. Белобандиты заняли базар, фронт проходил в городской черте. К счастью, бандиты плохо усвоили воинские приемы. Торжествуя близкую победу, они не приняли мер к охране тыла и скоро попались в ловушку. Ночью из города была сделана смелая вылазка; вооруженная пулеметом горстка людей, перейдя вброд речку, ударила разбойникам в тыл. Не ожидавшие нападения бандиты побросали оружие и в панике разбежались. Так, победою над белыми бандами в истории Ленкорани началась новая страница...

С тех пор много унесла мутной воды омывающая сады Ленкорани быстрая речка. О своих подвигах теперь с улыбкою рассказывают заезжему путешественнику хорошо помнящие недавнее прошлое ленкоранские старожилы. И, слушая их, в недоумении покачивает головами не выдавшая грозного прошлого, строящая новую шумную жизнь советская молодежь...



Там, где некогда хозяйничал доблестный пристав, — на городской площади,

обсаженной мокрыми от дождя деревьями, — высится «дворец» бывшего хана.

Старые времена минули. Нынче во дворце помещается окружной исполком, комитет партии. На украшенном флагами под'езде выведена надпись на двух языках — на тюркском и на русском.

Здесь некогда были солдатские казармы, одетые в кислые шинели, маршировали под команду усатых дядек пригнанные на охрану границ Российской империи бородатые русские мужики. Нынче на этой же площади обучаются строю и ружейным приемам стоящие в городе пограничные войска. Четко отстукивая, перебегают, держа винтовки в руках, стройные группы людей. Сквозь тоскливый сев дождя слышится бодрый звук песни:

Мы не сынки у маменьки  
В помещицьем дому,  
Мы родилися в пламени,  
В пороховом дыму...

Председателя исполкома нахожу на квартире. Он сломал ногу и лежит в постели. Морщась от боли, он поднимается встречю гостю, подает руку.

Я усаживаю, оглядываю комнату, широко одеяло и толстую обвернутую компрессами председательскую ногу. Мы беседуем. Глаза председателя разгораются. Забывши о боли, он с увлечением рассказывает о заложенных чайных совхозах, о коллективизации населения, о новых, проводимых в горах дорогах:

— Очень хорошо, дорогой товарищ, что опять к нам приехал. Посмотришь теперь сам, сколько за это время мы здесь наворошили...

## Базар

Утром отправляемся вместе с лесничим Шмидтом в горы. Мы проезжаем базаром, и запряженный парюю тощих одров извозчичий фаэтон едва плывет. Напрасно машет над костлявыми спинами лошадей наш суетливый возница. Одры равнодушны к ударам, к поливающему их спины холодному зимнему дождю. Мимо, разбрызгивая воду, точно на распластанных желтых крыльях,

проносится легковая машина. Под брезентовой мокрой крышкой в машине виднеются люди. Это возвращаются с чайных плантаций руководители округа.

Похожая на двенадцатилетнюю девочку, талышская женщина в белом ситцевом покрывале жметя к камышовому забору. Босые ноги женщины выше колен забрызганы грязью. На маленькой черноволосой голове она искусно держит тяжелую круглую корзину. Из ее черных глаз смотрит рабское прошлое, страх, детская, беспомощная покорность...

В самых глухих углах, на далеких окраинах нашей страны отчетливее выступает неотжитое прошлое, разительнее действуют контрасты. Эти контрасты путешественник видит в испуге маленькой женщины, отшатнувшейся от исполкомовской машины, в крошечных, уцелевших возле проложной, устланной камнем дороги, жалких базарных клетушках, в которых, поджав под жирный зад ноги, в минувшие времена невозмутимо восседал скупщик-купец. И, видя испуг маленькой женщины, путешественник отчетливо представляет недавнее отжитое...

Вот купец поднимает палец — и через залитую грязью дорогу с ловкостью канатоходца из соседней чайханы с подносом в руках к нему подбегает почтительнейший и проворный чайчи. Обогревая руки горячим стаканом, купец созерцает проходящее. Одетый в рваную бурку, в круглой бараньей шапке, мимо проходит спустившийся с гор талышанин-пастух. Голова его обмотана под шапкой ситцевым грязным платком, на ногах чупяки из буйволовой кожи. За ним, раскачивая горбами, по улице бредет стадо зебу. Глаза этих животных печальны. Горец-пастух с изумлением глядит на обступившее его городское «богатство». За плечами его в ковровой переметной суме, забрызганной грязью, немного шерсти и кусок соленого сыру. Он пришел, чтобы продать свое достояние, купить рису для свадебного плова. Ибо у самого бедного человека на свадьбе бывает плов.

Купец-скупщик смотрит спокойно. Спустившийся с гор пастух не может миновать его лавки. Под натертым лок-

тями прилавком купца остается принесенная пастухом шерсть и большой кусок сыру.

Так было в недавнем прошлом...

— Велик, велик аллах и пророк его Муххамед!..

Это по базарной площади, возле покосившихся лавчонок, увешанных всевозможным товаром, проходит почтенный седой человек. Он в опрятной длинной одежде, серебряная его борода подрублена аккуратно. Смуглое лицо человека недвижно, глаза молитвенно устремлены ввысь. Он как бы презирает окружающее его земное. Прохожие почтительно уступают смуглому человеку дорогу. Человек сей — потомок пророка, «сеид». В священном древлехранилище в Мекке хранятся его родословные. Грязный тяжелый труд оскорбляет высокое происхождение потомка. Руки сеида нежны, как у зажиточной женщины, никогда не ведавшей труда. Каждый правовеерный, встретивший на своем пути сеида, обязан ему помочь.

Из базарной чайханы, внутренность которой видна, как на хорошо нарисованной картинке, пахнет бараниной и чуреком. За столами, ножки которых вросли в земляной пол, пьют чай и беседуют люди. Точно ручей в горах, возрстая и затихая, катится мирная их беседа. У входа в чайхану высится большая, сложенная из красного кирпича печь. Сияя начищенной медью, краснеясь раскаленной решеткой, зазывно кипит двухведерный самовар. Другой самовар — запасный — греется рядом. Человек с черными, сросшимися над переносьем бровями разливает в стаканы чай. Он ополаскивает и наливает, одновременно держа в руке несколько стаканов. На плите в угольях и золе выстроились глиняные закоптелые горшки. В них преет, испуская пар, жирный «биты». Запах жирной бараньей полхлебки щекочет голодному пастуху ноздри.

Соблазненный теплом крепкого чая, пастух входит в чайхану. Так же, как купец в своей лавке, он поднимает вверх один закорузлый палец. Это значит, что он требует один стакан чая.

Пастух — имя его Демир Гая, что значит Железная Скала, — пьет чай вприкуску. В распухшие суставы пальцев идет живительное тепло. От горячего чая лучше развязывается язык. Конечно, хорошо бы выпить чаю побольше или потребовать порцию жирного «биты». Но Демир умеет сдерживать желания, а добрый разговор с соседом отлично помогает забыть о пустоте в желудке.

Наслаждаясь теплом выпитого чая, пастух рассказывает соседям о свадьбе своего сына Али... О, эта свадьба будет отпразднована достойно. Демир не пожалел зарезать двух лучших баранов. К плову будет курица с приправою из орехов. Лучшие дружки сына будут приглашены на свадьбу...

Пастух хотел бы рассказать еще многое о своем сыне. Рассказ его прерывается появлением нищенствующего сеида. Одетый в длинное платье, потомок пророка входит неспешно. Он тихо проходит среди замолкших людей. Так движутся по сцене изображающие трагических героев плохие актеры. По-театральному закачены под лоб его глаза, томительным плачем и гневной угрозой звучит его голос.

Корявыми пальцами пастух лезет за воротник своей рваной одежды, достает монету из повешенного на груди кожаного мешочка. Торжественно, как бы одаряя, принимает сеид монету.

— Велик, велик аллах и его милость!

Напившись чаю, пастух отправляется в обратную дорогу. Шагая по грязи, он проходит улицу, выходит за город. Низкие облака бегут над макушками мокрых деревьев. Над разлившейся на рукава рекою с криками падают птицы...

Пастух переходит вброд реку. Кругом рисовые поля — биджары. Над крышами селений висят роняющие капли вершины деревьев.

Чтобы сократить путь, пастух со всеми подробностями представляет в воображении близкую свадьбу сына. Он видит украшенный пловом свадебный стол. Дружески величают песнею жёниха.

И, шагая по грязи, эту заздравную песню повторяет пастух:

Хорошо, когда благоухает букет роз.  
Пусть ты будешь отцом двенадцати сыновей.  
Эй, бек, твоя свадьба будет памятна,  
Твон дружки пусть будут здоровы.

В море плавают разные рыбы,  
Ты не дружись с недостойными лицами.  
Эй, бек, твоя свадьба будет памятна,  
Твон дружки пусть будут здоровы...



Прошлые времена минули. Теперь на краю города, у забора, выложенного из нетесаных серых камней, возле сбегающей с пригорка пешеходной тропы на маленьком переносном помосте нашел себе место нищий — сеид. Подобрал под себя ноги, он сидит неподвижно. Заросшее бороною, обожженное дочерна солнцем лицо молитвенно поднято вверх. Привычно протягивает он руку встрече прохожим. Женщина в покрывале, придерживая на голове корзину, торпливо сует в ладонь «святого» маленькую монету.

Нищий сидит неподвижно. Кажется, никакие события не могут нарушить спокойствия «святого». С притворным равнодушием созерцает он мимо проходящую новую жизнь.

Вот, брызгая далеко грязью, близко проносится новая исполкомовская машина. Она как бы плывет по дороге, ныряя в наполненных водою, выбитых тракторами провалах. Под брезентовым верхом видно лицо председателя. Председатель озабоченно смотрит на базарную улицу, на приспособленную для общежития студентов, обвитую плющом старую каменную мечеть, хозяйственно соображая:

— Улицу замостить...

— Отремонтировать общежитие...

— Выполнить план запашки...

Окатив грязью «святого», близко проносится исполкомовская машина. Закрывши лицо руками, он отшатывается в испуге. Грязь струйками бежит по лицу, по его одежде. С лютою ненавистью, вспыхнувшей в черных открывшихся глазах, смотрит сеид вслед удаляющейся машине.

Мелькнувшее в стекле лицо председателя хорошо знакомо сеиду. И еще с большею ненавистью, глядя вслед

скрывшейся за поворотом машине, шепчет «святой»:

— Шайтан! Шайтан!..

### Зональная станция

Километрах в двадцати от берега моря, у подножия лесистых гор Талыша, в широкой плодородной долине, обосновалась зональная субтропическая станция, первая в Азербайджане. Густой, почти непролазный лес окружает расчищенную и распаханную людьми небольшую площадку.

Покрытые лесом горы защищают выбранное для станции место от горячих, дующих из Аравийской пустыни ветров<sup>1)</sup>. Зимой и летом здесь благодатная тишина. Прозрачная, как кристалл, катится в горах обильная рыбью рекка. Зарослями железняка, дуба, цветущего боярышника покрыты сбегаящие в долину горные склоны.

О плодородности почвы свидетельствует необычайное обилие растительности, сплошь покрывшей простершуюся посреди гор долину. Заросли диких кустарников закрывают все видимое глазом пространство. С непостижимой силой возникает здесь эта колючая поросль. Стада животных, топор крестьянина-талыша не могут остановить ее буйного роста. Трудна, нередко непосильна человеку борьба с дикой растительной силой. Стоит опустить руки, отступить на шаг, как в одно только лето расчищенная человеком площадь вдвойне зарастает непролазною пущей, и человек вынужден уступать.

Такой плодородности почвы способствует климат, исключительное обилие выпадающих в зимнее время осадков. Летом весь этот край кажется цветущим. Буйная, почти непроницаемая для солнца, сливается в зеленый покров листва кустарников и деревьев. Аромат множества растений насыщен вечер-

ний воздух. Мириады раскрашенных в радужные цвета насекомых носятся над нагретой солнцем землей. Летом здесь рай, обилие плодов земных. Долина утопает в треске бесчисленных цикад, в пении маленьких лягушек, высоко приросавшихся к листьям деревьев. В гущине древесной и травяной растительности перебегают расшитые бисером ящерицы, лениво кланяются зеленые богомолы...

Пока еще мало использован и дик этот обладающий необычайным плодородием край, полным хозяином которого человек выступает впервые. В диком, непролазном лесу уже проводят дороги, выкорчевывают и взрывают вековые крепкие пни, наголо вырубает глухой дикий кустарник. В распаханную тракторами, темную, как шоколад, землю высаживают семена новых растений. Пройдет десять, пятнадцать лет,—неузнаваемо изменится лесной дикой край. В тех самых местах, где по утрам кричали в густых крепях фазаны и выходили подбирать жолуди дикие кабаны, зазеленеют поля новых плантаций. Буйная сила почвы, рождавшая сорняк и терний, будет вправлена в русло, и там, где рос только глухой колючий кустарник, станут цвести сады, распустятся кудрявые заросли пробкового дуба...

С трудом продравшись сквозь заросли ежевики, больно кусающей за колени, выходим на расчищенный посреди леса участок. Кирпичное двухэтажное здание высится посреди обработанной и распаханной тракторами площадки.

На заросшей сухой травой, засаженной молодыми деревцами поляне собака делает стойку. Я подхожу ближе. Заслышав шаги человека, из куста ежевики с громким криком свечочю вырывается, идет кверху, отливая червонным золотом, старый фазан.

Перед крыльцом здания на большой круглой клумбе растут цветы. Здесь, несмотря на зимнее время, еще пламенеют бутоны роз. Покрытый цветами, зеленою жесткой шапкою над клумбою высится чайный куст.

1) Люди, поднимавшиеся в горы, хорошо знают опустошительную силу этих ветров. Весь западный склон Талышинских гор ничто выжжен знойным дыханием пустыни. Нередко дыхание пустыни доносится до восточного, обильного растительностью склона, тогда, сожженные зноем, свертываются в трубки и опадают листья самых стойких растений.

Совсем недавно на этом месте, где раскинулся опытный участок, поднимался густой, непролазный лес. Пастухи, спускавшиеся с гор, устраивали здесь свою временную кочевку. От времен пастушьих здесь остались остовы шалашей, чернеет в траве покинутое кострище.

Мы входим внутрь здания, встречающего нас запахом трав и пустующих помещений. Отвыкший от чужих посетителей, одичавший кобель бросается нам под ноги. Мы обходим пустынею зимнюю комнату, где расположены лаборатории, хранятся коллекции материалов. В большой светлой комнате устроен зимний сад. Здесь, высаженные на зиму, выстроились зеленеющие свежо своею листвою лимонные и апельсиновые деревья.

Мы останавливаемся перед деревцом, покрытым зелеными глянцевиными листьями. Тонкие ветви дерева упруго тянутся вверх. Молодое нарядное растение кажется похожим на девушку-подростка.

— Вот наше достижение и гордость!—говорит, любуясь красивым деревцом, мой спутник-лесничий.

Я осматриваю деревцо, рост которого почти равен моему росту, с осторожностью трогаю его листья.

— Это дерево мы посадили всего год назад. Как видите, за этот короткий срок оно достигло почти полутораметровой высоты и, при развитой кроне, уже способно давать плоды. Как полагаете: чудо?

— Разумеется, чудо.

— Это чудо, если угодно, объясняется очень просто. Во-первых, качество здешней почвы. Здесь земля такова, что, по чеховскому словечку, посадишь оглоблю, через год целый тарантас вырастает... Во-вторых, правильный уход. Лимонное деревцо — не исключение. Почти все цитрусовые, да и другие растения, при соответствующем уходе растут здесь чрезвычайно быстро. Разумеется, для полного успеха нужны опытные руки, правильный способ прививки. В нашем деле прививка имеет большое значение. В прошлом году я был под Батумом. Там культура ци-

трусовых освоена давно. Однако для полного развития мандаринового дерева требуется три или даже четыре года. У нас такое же дерево вырастает значительно скорее. Все это свидетельствует о богатых возможностях нашего, пока еще почти непочатого, края...



Зональная станция в Ленкорани обслуживает богатые растительностью районы Южного Азербайджана. Кроме уже заложённых питомников цитруссовых—лимонов и мандаринов, — в настоящее время под наблюдением станции находится сто пятьдесят гектаров чайных плантаций, первый урожай которых будет снят в текущем году. Чай сажают в совхозах и колхозах. Научные работники станции нашли новые методы разведения чая; однолетние сеянцы здесь достигают высоты 55 сантиметров, что очень редко наблюдалось в других чайных районах.

Особенный интерес представляют поставленные директором станции Вальтером Эдуардовичем Шмидтом опыты прививок на дикорастущих деревьях. Эти опыты показали, что на лесной дикой хурме, засорявшей лесные уголья, можно прививать садовую японскую хурму, дающую великолепные, крупные плоды. На каштановолистном дубе, в изобилии растущем на горных склонах, с успехом приживается каштан с'едобный и пробковый дуб. На дикой лесной алыче теперь прививают персик, и это даст возможность при вырубке леса иметь готовые, уже плодоносящие деревья.

Богатства ленкоранской природы учтены. Не менее пятнадцати тысяч гектаров лучшей земли, зараставшей кустарниками и чертополохом, в ближайшие годы будут использованы под культуру высоких сортов чая. Предгорья Талышского хребта отойдут для разведения цитруссовых и японской хурмы. В ассортименте новых плодоносящих деревьев особенное место будет отведено пекану. Этот американский лесной орех, не требуя за собой большого ухода, является наиболее доходным культурным растением. Известно, что с

одного гектара насаждения пекана, приносящего ежегодно большой урожай (кроме самых плодов, высоко ценится древесина пекана, идущая на изготовление деревянных частей для самолетов), владелец ореховых плантаций в Америке получает около двух тысяч долларов чистого дохода<sup>1)</sup>.

Кроме японской хурмы и американского ореха пекана, на опытной станции выращиваются семена плодового дерева фейхойэ. Маленькое это деревцо дает плоды, похожие на огурец. Плод фейхойэ, имеющий приятный запах и освежающий вкус, с успехом употребляется в кондитерском и конфетном производстве. Кроме того, плоды фейхойэ содержат йод и применяются как лечебное средство. Из выращиваемых в питомнике новых субтропических растений особенно замечательно тунговое дерево, плоды которого ядовиты. Из плодов тунгового дерева готовится средство тунг-ю, особо ценное в практике... кораблестроения. Лаком, изготовленным из плодов тунгового дерева, покрывают подверженные коррозии подводные части кораблей..

Не только растительными богатствами обилел этот, еще мало кому известный край. Велико будущее Ленкорани как лечебного курортного места. Здесь — недалеко от самого города — из земли вытекают целебные горячие ключи. В горах, куда ведет узкая верховая тропа, заложена климатическая станция для легочных больных. Целебные свойства природы были давно известны местному населению, толковавшему их участием божественной силы. С давних времен больные ревматизмом кочевники ежегодно стекались к бьющим у подножия гор целебным горячим ключам,

а слабогрудые больные поднимались на лето в горы, чтобы в живительных лучах горного солнца получить полное исцеление.

Ленкорань — прекрасное место для летнего отдыха. Здесь — чудесный пляж, купанье, безоблачные, ясные дни. Летом в Ленкорани почти не выпадают дожди, с первых дней весны до поздней осени держится ясная и теплая погода.

От города люди ведут новую шоссевую дорогу. Эта дорога пройдет вдоль реки Ленкоранки, по склонам гор. В горах, в лесистой здоровой местности, в скором времени будут устроены санатории и дома отдыха для здоровых.

Обывателей-приезжих всего больше пугает якобы свирепствующая в окрестностях Ленкорани тропическая лихорадка. Страхи пугливых приезжих значительно преувеличены. Давнишние жители Ленкорани по опыту знают, что малярия почти отсутствует в самом городе и горах. В городе есть десятки семейств, живущих безвыездно и никогда не хворавших.

В летние месяцы малярия свирепствует только в низменной, залитой водою части предгорья. Здесь рисовые плантации — «чалтыки». В нагретой солнцем воде, заливающей рисовые поля, в несметном множестве плодится малярийный комар. Приезжающие в Ленкорань новые люди удивляются форме свайных построек во всей низменной предгорной части. В таких первобытных свайных постройках летом жители спасаются от комаров, густою тучей нависших над поверхностью болота.

В последние годы в Ленкорани ведется энергичная борьба с малярией. В особых водоемах разводят рыбу гамбузию, пожирающую личинок комаров. Мальков гамбузии, разводимых в окрестностях Ленкорани, уже транспортируют на самолетах в другие, зараженные малярией районы.

### Лес

«... Из мира растительного богатство ленкоранского горного района представляют леса. Они занимают значительную площадь, произрастая почти во всей горной части, за исключением не-

<sup>1)</sup> В Ленкорани имеется единственное взрослое дерево пекана. История этого дерева такова. Несколько лет назад, возвращаясь из Америки, ленкоранский житель привез с собою несколько орехов. Один из этих орехов был посажен в саду. Теперь это большое и красивое дерево, ежегодно приносящее обильный урожай. Плодами этого дерева станция пользуется для обсеменения будущих ореховых плантаций. В настоящее время в питомнике станции около двух тысяч саженцев, выращенных из семян дерева-патриарха.

большой западной ее безлесной стороны, и по всему восточному, обращенному к Каспийскому морю, богатому растительностью предгорью, частично — в низменной болотистой полосе. Здесь леса простираются вдоль восточного склона узкой, расширяющейся к северу полосой.

Флора горных лесов и предгорья Талыша чрезвычайно богата и разнообразна. Здесь в изобилии растут: дуб, бук, граб, ясень, клен, липа, ольха, желзняк, вяз, лапина, карагач, тополь, орех. К этим распространенным в ленкоранских лесах породам в меньшем количестве примешаны — самшит, дзельква, гранатник, груша, яблоня и айва.

Еще недавно в лесах горного Талыша можно было найти места, ни разу не слышавшие стука топора. Вершины огромных деревьев свисали в одну зеленую чашу, и сквозь зеленую сплошную крышу почти не проникал солнечный свет. Сообщества деревьев различных пород как бы вели между собою непрекращавшуюся и жестокую войну. Одни уступали место другим, отжив свой век, — сами собою падали на землю умершие естественной смертью могучие лесные великаны.

Величие девственных лесов печально. Здесь, посреди полных жизненной силой, покрытых буйной листвою деревьев стоят уже умершие свидетели веков прошлых. Вершины их сломаны ветрами, и, точно узластые мертвые руки, широко раскинулись их голые ветви. Множество таких умерших великанов лежит на сырой, покрытой мохом и гниющей листвою земле, — лежит так, как свалила их старость или промчавшаяся над лесом сильная буря.

В глухих местах леса по сне время можно увидеть поразительное изобилие растительности, возникшей на упавших стволах деревьев. Яркоселеный мох со всех сторон покрывает эти покоящиеся на земле мертвые деревья: падающие семена растений обретают здесь свою колыбель, и в образовавшемся перегное молодые, проросшие из семян деревца находят для корней своих богатую пищу. На трупах исчезнувшего лесного поколения вырастают миллионы моло-

дых деревьев. Полное жизненной силы молодое лесное поколение взапуски тянется к узким просветам, оставшимся в зеленом своде леса после падения умерших гигантов. Так произошли глухие урочища, где деревья расположились как бы по прямым линиям, строем своим отмечая положение давно истлевших на земле стволов. Иногда в этих диких лесах встречаются старые деревья, корневая шейка которых приходится высоко над поверхностью почвы. Можно полагать, что деревья эти возникли на упавшем стволе лесного богатыря: вокруг неразложившегося еще трупа некогда обогнулись корни народившегося лесного поколения, — труп богатыря сгнил, а корни так и остались на воздухе...

В предреволюционные годы площадь некогда девственных лесов Ленкорани сильно сократилась. Причиной сему было хищническое истребление лесов их владельцами, превращение обширных лесных площадей в различные хозяйственные угодья. Таким путем много погибло леса в горных местностях Ленкорани, особенно значительные площади лесов уничтожены в низменной ее части, где вырубленная лесная площадь обращалась в пастбища для скота. Об'едаемый и вытаптываемый скотом лес не имел возможности возобновляться; пастбищные места зарастали колючим кустарником (держи-дерево, ежевика), и во многих прежде лесных селениях лес остался только в усадьбах.

В степных районах северного предгорья уцелели только искусственные приусадебные насаждения, состоящие из тутовника, акации, инжира и грецкого ореха. Дальше к северу в этих районах постепенно исчезают даже эти искусственные посадки. Причиной сему — летние засухи, равнодушие населения к выращиванию деревьев, требующих поливки в первые годы роста. В результате такого отношения к лесу почти во всех талышинских и тюркских селениях, расположенных в северной части предгорья, почти отсутствуют приусадебные насаждения.

Зато во всем лесисто-береговом районе, непосредственно примыкающем к

самому городу, широко раскинувшиеся селения утопают в зелени садов, представляющих остатки некогда бывшего здесь сплошного леса. Могучая древесная и травяная растительность в этом районе только по морскому побережью изменяет свой характер. Песчаное побережье, почти с полным отсутствием зеленой травяной дернины, заросло низкорослым колючим кустарником. К северу это побережье становится более болотистым, представляя собою заросли камыша с осокой, дающие надежный приют многим миллионам прилетной зимующей и местной гнездящейся в камышах птице...»



Так некогда поэтическим слогом описывал богатства ленкоранских лесов скрывший свое имя скромный лесничий. С тех пор многое переменялось. Однако, и теперь с изумлением смотрит на открывшиеся ему лесные дремучие дебри прибывший из Москвы путешественник и охотник.

Для путешественника и охотника, хорошо знающего нашу северную природу, многое покажется здесь необычайным. Чудные, с неведомыми именами, окружают его деревья. Напрасно ищет глаз знакомые очертания. Здесь не увидит охотник березовых перелесков, заросших ландышами лесных тихих пригорков. Природа здесь как бы вооружилась. Берегись, неопытный и любознательный охотник! Ты видишь перед собою украшенную пышными цветами лесную тонкую ветку. Не спеши протягивать руку. Острые длинные иглы поранят тебя прежде, чем успеешь сорвать приглянувшийся тебе пышный цветок... Здесь никогда не кукует кукушка, молчат певчие птицы, по-другому пахнут лесные цветы.

А все же для подлинного любителя природы даже в скучное зимнее время чудесное зрелище представляет собою этот, покрывающий склоны талышских гор, полутропический дикий лес. Пахучий ковер листьев покоится на утучненной перегнойной земле. Незнакомые путешественнику деревья с темносвинцовы-

ми, покрытыми мохом стволами высятся, плотно обнявшись. Они крепко сростлись ветвями, как бы для того только, чтобы покрепче загородить любопытному человеку дорогу в сказочное лесное царство.

Я останавливаюсь под деревом, поразившим меня формой своих ветвей. Передо мною высятся как бы огромная фантастическая скульптура. Вижу сказочного великана, его поднятые, грозно скрещенные над головой руки. Кажется, некий чудацк-художник, фантазия которого была беспредельна, многие сотни лет трудился в сказочном этом лесу. Я различаю заросшие зелеными бородами головы, страшные туловища чудовищ.

Путешественника, впервые увидевшего такой лес, поражает способность «железного дерева» сростаться своими ветвями, образовывать необычайные выверты и наросты. Прикоснувшись случайно ветви соседних деревьев сливаются воедино, образуя самой неожиданной формы сплетения и узлы. Этой замечательной способностью сростаться своими ветвями обладает растущий в ленкоранских лесах «железняк»<sup>1)</sup>.

О замечательном свойстве железняка свидетельствует рассказанный мне моим спутником случай. Когда-то, лет тридцать назад, один молодой охотник, отправившись в лес на охоту, устроил из поросли железняка засаду. Он согнул и сплел ветви так, что получился удобный для сидения стул. На этом стуле охотник караулил выходяв-

<sup>1)</sup> Леса Ленкорани обильны редчайшими породами деревьев. Из них особенно замечательны ленкоранская акация, очень красивое дерево, растущее только на склонах талышских гор, и широко распространенный в лесах Ленкорани «железняк», «железное дерево», древесина которого почти не уступает по твердости слоновой кости и так тяжела, что тонет в воде. Особенную крепкость древесины «железного дерева» приобретает после усушки. Из этой древесины изготавливаются челноки для текстильной промышленности. В Ленкорани есть небольшая фабрика, где из «железного дерева» готовятся челночные болванки. В настоящее время потребность в этой ценнейшей древесине значительно возросла, в лесах идут усиленные заготовки.

ших из крепей кабанов. Охота была удачная: охотник взял несколько кабанов и хорошо запомнил удачно выбранное место.

Прошло много лет. Занятый делами, охотник забыл о своей первой удачной охоте. Однажды, проходя лесом, он набрел на знакомое место. Глаз охотника бывает приметлив. Посреди густо разросшихся деревьев он узнал некогда построенную им засаду.

Ветви, сплетенные руками охотника, крепко срослись, и «стул», на котором он некогда выкараулил кабана, вырос. Долго стоял охотник перед гигантским «стулом», вспоминая свои давние охотничьи удачи...

Мы стоим под старым деревом, похожим на чудовищную скульптуру, закуриваем наши трубки.

— Однажды, — говорит Иван Сергееч, мой проводник, — в этом лесу я заблудился. Мы возвращались ночью с охоты. Мой спутник-ученый меня торопил. Тысячу раз я проходил этой дорогой, знал любой повороток. Мы шли при лунном свете, я хорошо узнавал дорогу. Потом я вдруг потерял направление, и все смешалось. Вы знаете это дурацкое состояние, когда почувствуешь себя заблудившимся? Я не хотел сдаваться и терялся все больше. Так, не отдыхая, мы всю ночь кружили в лесу, и, нужно сказать, нам ту ночь было порядочно жутковато...



Когда-то, в далекие дни нашего детства, сладостно мечтали мы о сказочной Индии. В необузданной фантазии нашей погружались мы в девственные, непроходимые леса. В погоне за стадом диких мустангов скакали на степных, необузданных лошадях. Мы охотились на львов и носорогов, переплывали в пирогах бурные реки; в лесах Америки мы сражались со злыми насильниками, а самыми лучшими нашими друзьями оказывались благороднейшие куперовские герои. С тех пор у каждого из нас прошли долгие и не всегда радостные годы. Прекрасные мечты детства провалились в черную пропасть, а волшебная Индия

зрела жестким чертополохом житейских забот. Редки посреди нас счастливцы, до седой головы сохранившие в себе детскую и мудрую наивность, прекрасную способность преобразиться. Не этим ли людям обязаны мы всем, что нам дает подлинное, радующее нас искусство...

Детские мечты о сказочной Индии осуществлялись. Мы бредем по лесу, перевитому гирляндами тропических лиан. С заряженным ружьем в руках я иду, как куперовский следопыт. Осыпанный ягодами куст боярышника загроаживает нам дорогу. Кажется, это несметным множеством кораллов украсилась пышная лесная красавица и кокетливо повернулась, чтобы любовались на ее богатство...

Шагая по пахучему лиственному покрову, шумно рассыпающемуся под ногами, мы углубляемся в покрытые лесом горы. Чем выше мы поднимаемся, — реже покрывающий склоны и горные впадины густо сросшийся «железняк». На смену ему по горным открытым хребтам высются вековые дубравы. Точно многометровые толстые колонны, возносятся к небу лишенные листья тысячелетние деревья. Глубокий слой листьев, упавших на землю, достигает здесь почти до колена. Покрытые толстой корою деревья вершинами своими возносятся в небо. В их дуплах и развилинах, наполненных перегноем, живут случайно проросшие из залетевших семян молодые кудрявые деревца. Куст пышного папоротника, забравшись высоко, зеленеет на груди лесного старого великана. Точно растрепанные гнезда, в ветвях вековых дубов темнеют шапки вечнозеленой омелы.

По хребтине горы поднимаемся выше. Летом и зимою здесь тишина. Редко простучит по гнилому дереву дятел, а вечером гукнет, пролетая бесшумно, сова.

Вечером спускаемся с гор. С тоскою покидаю я лес, любезную моему сердцу дремучую лесную тишину. Я оглядываю каждое дерево, запоминаю пройденную нами дорогу, как бы прощаясь не надолго.

## Охота

Живя на зональной станции, каждый день выходили мы в лес на охоту. Мы бродили по зарослям ежевики, вытаптываемая фазанов, искали таившихся в кустах, трепетно вспархивавших при нашем приближении вальдшнепов.

Охотникам, хорошо знающим условия подмосковной охоты, трудно представить обилие дичи в этом краю зимующей птицы. Кроме фазанов и вальдшнепов, мы поднимали зимующих в Ленкорани бекасов, в несметном количестве кормившихся на залитых водой полянах. Тысячными стаями срывались от нас в поднебесье эти маленькие птички. Жалея заряды, мы совсем не стреляли по вылетающим из-под ног наших маленьким бекасам и следили подолгу, как высоко в небе исчезают их тонкие стайки.

## Фазаны

Особенно интересна в лесах Ленкорани охота на фазанов. Эта охота требует от охотника опыта и сноровки, умения хорошо владеть ружьем. Быстро бегущая под собакою птица плотно прячется в непролазных зарослях ежевики. Нужно много терпения, чтобы, следуя за почуявшей собакой, продраться сквозь лесные колючие заграждения. Нередко обескураженный охотник останавливается бессильно. Длинные, вооруженные шипами побеги крепко спутывают ноги. Напрасно старается охотник топтать тяжелыми сапогами опутавшие его колючки, рвать их стволами ружья. Охраняя сказочное лесное царство, крепко держит незваного гостя лесной страж — кустарник. И, слыша, как вырывается из-под стойки, избежав смерти, взматерелый фазан, с отчаянием проклинает охотник остановившие его лесные тенета.

Нелегко приходится и собаке, работающей в густых зарослях по фазану. Не всякая собака способна выдержать трудную эту работу. Неудачлив охотник, отправившийся на фазанов со своею короткошерстной собакой. Острые, впивающиеся в тело колючки скоро охладят пыл самого страстного пойнтера. Только с длинношерстными сеттера-

ми возможна успешная в этих крепких местах охота.

Трудна стрельба по внезапно вылетевшему из кустов фазану. Громкое хлопанье крыльев, вид раскрашенной в радугу птицы ошеломляют неопытного стрелка. Прозевав нужный момент, он неизбежно делает промах. Тогда, опустив ружье, с досадой смотрит охотник вслед сверкнувшей радугой, чудесной улетевшей жар-птице...

## Кабаны

Каждое утро, уходя в лес на охоту, находили мы возле самого здания станции свежие следы кабанов. Следов было везде очень много, а под одной старой грушей черная земля была особенно глубоко изрыта. Глядя на эту изрытую землю, можно было подумать, что здесь каждую ночь паслось большое стадо голодных деревенских свиней.

Несмотря на обилие зверя, мне так и не довелось поохотиться в лесу на кабанов. Для охоты «гаем» нужно было иметь хорошо натасканных, очень злых собак. Не всегда удается охота «на засидках» месячной ночью. Чуткий и умный зверь далеко причуивает затаившегося в лесу человека. Нужна особенная осторожность, точное знание кабаньих повадок, чтобы убить из засады хитрого зверя. Достаточно неосторожного движения, выкуренной невзначай папиросы, чтобы совсем сорвать и погубить ночную охоту.

Военные охотники, приезжающие в Ленкорань охотиться «гаем», не могут пожаловаться на неудачи. В Москве, в альбомах Военно-Охотничьего общества, я видел фотографии, наглядно свидетельствующие об охотничьих успехах охотников-военных. Завидно было смотреть на развешанные по деревьям туши убитых животных, количество которых исчислялось в несколько десятков.

## Немая тяга

В окрестностях Ленкорани испытал я невиданный мною способ охоты на «немой тяге». Каждый вечер, возвращаясь с лесной охоты, мы останавливались на дороге, а через наши головы из леса

«тянули» знакомые длинноносые птицы. Эта охота ничуть не похожа на известную нам весеннюю тягу, когда завороченный весною охотник чувствами как бы сливается с окружающей его весенней природой. Птицы здесь летят деловито и беззвучно, заботясь попасть на ночную жировку. Спокоен и равнодушен остается охотник. Однако, стрельба на «немой тяге» требует от охотника-стрелка особенного искусства. Нужно превосходно владеть ружьем, чтобы без промаха попасть в налетевшую из темноты, как бы нырнувшую в ночном воздухе, птицу.

### Игла дикобраза

Проходя лесом, я поднял валявшуюся на земле острую иглу дикобраза. Игла лежала поверх опавших листьев. По всему было приметно, что зверь потерял ее недавно.

Когда-то в ленкоранских лесах велось очень много этих редкостных ночных грызунов. Они рыли в песке норы и ночами выходили в лес добывать корм. При встрече с охотником дикобраз грозно раздувает все свои иглы и громко хлопает ими, как в кастаньеты.

Суеверные охотники дикобразов боятся. Они верят, что дикобраз умеет «стрелять» во врага своими острыми иглами, и будто бы, оторвавшись от тела животного, игла, как стрела, может насквозь пронзить человека...

В последние годы дикобразов в лесах стало значительно меньше. Их ловили живьем для зоопарков и беспощадно истребляли, охотясь за иглами, которые шли на изготовление ружек.

Спутник мой однажды встретил в лесу дикобраза. Застигнутый зверь фыркал и гремел своими иглами, стараясь испугать увидевшего его человека. Охотник любовался на страдвшего его зверя, не умевшего быстро бегать, и, чтобы не наколоться, осторожно накрыл его плащом.

В неволе дикобраз держался угрюмо, и только в темные ночи можно было услышать, как бегаёт и тремит иглами запертый в клетку ночной глупый зверь.

### Охота с огнем

Ночью, выйдя на крыльцо станции, я увидел двигавшиеся над распаханым участком питомника желтые огоньки. Огоньки двигались, скреплялись и погасали. Казалось, это движутся над полем какие-то странные живые светлячки.

Заинтересованный этим явлением, я вернулся в комнату, чтобы расспросить знающих местных людей.

— Это — деревенские охотники по вальдшнепам, — сказал мне знающий человек. — В темные ночи они зажигают огни и выходят ловить кормящихся на грязи птиц. Ослепленные светом, вальдшнепы их напускают близко. Охотники прижимают растерявшихся птиц хворостинной и, отвернув головы, спокойно складывают в сумку...

Мне хотелось самому убедиться в необычайном способе охоты, и, натянув сапоги, я вышел наружу. Желтые огоньки продолжали медленно подвигаться. Так, бывало, в темные ночи с фонарями в руках бродили по берегу реки наши городские рыболовы, собирая выползавших на поверхность земляных червей.

Шагая по вязкой пашне, я двинулся к этим живым огонькам. Два крестьянина-талыша, вооруженных самодельными фонарями, бросавшими на землю лучи света, медленно бродили по грязи. Иногда в полосу света попадалась сидевшая на грязи птица. Охотник пододвинулся осторожно, не спуская луча с ослепленной птицы, и прикрывал ее длинной веткой. Добыча была обильна: у каждого охотника мы обнаружили в сумке по десятку мертвых птиц.

Губительский способ охоты давно считается запрещенным, и мы попросили «охотников» поскорее убраться.

— Такой способ охоты очень добычлив, — пояснил догнавший меня знающий человек, — и если бы разрешить эту ныне запрещенную охоту с огнем, пожалуй, всех зимующих вальдшнепов здесь можно бы ловить, как мы под Москвою лавливали раков...

С электрическим фонариком, оказавшимся у меня в кармане, я попробовал проделать опыт. Я пошел вдоль вспа-

ханного участка, покрытого грязью. В луч света попадали лучки высохших трав, неразбившиеся комья земли. За одним из таких комьев я увидел притупившуюся птицу. Вальдшнеп сидел неподвижно, как смычок скрипки, опустив свой длинный клюв к земле. В свете электрического фонаря оперение птицы сливалось с фоном; нужно было смотреть очень зорко, чтобы отметить очертания птицы. Выставив фонарик, я попытался подойти ближе. Вальдшнеп напустил на полметра и, вдруг сорвавшись, с хлопанием крыльев исчез в густой темноте. Необычайный способ охоты мне напомнил рассказ об охоте с автомобиля, мчащегося по степи с зажженными фонарями. Попадая в луч света, жирующие звери как бы столбенеют и надолго остаются в гипнозе. Охотники говорят, что тогда их, пожалуй, можно взять даже руками.

#### Страшный зверь

В лесах Ленкорани редко находят охотники следы персидского страшного гостя — тигра, зато довольно часто встречается здесь другой страшный зверь — леопард.

Спутнику моему, старому охотнику, только единственный раз удалось встретиться в лесу леопарда. Однажды, преследуя семью кабанов, он увидел притаившегося за кустом этого зверя.

Прижавшись к земле, готовясь к прыжку, леопард следил за выводком поросят, мирно резвившихся на лужайке. Уши леопарда были прижаты, и, как у кошки, хищно двигался кончик хвоста.

Ружье охотника было заряжено дробью, и он побоялся стрелять в страшного зверя. Опасаясь себя выдать, он осторожно отступил на дорогу, чтобы поскорее уйти от опасного места.

Два года назад в том же лесу пастухи-талыши нашли свежий след зверя. В горах выпал снег, на овечьей пороше отчетливо рисовались отпечатки кошачьих круглых лап. Повидимому, зверь долго преследовал стадо баранов, и, вооружившись, пастухи отправились за ним на охоту.

Выслеживая леопарда, они застали его, когда он лакомился только-что пойманным из их стада жирным бараном. Хищник, не желавший уступить добычи, дерзко встретил преследовавших его людей. Сделанный почти в упор выстрел только поранил занятого трапезою леопарда, и, убегая, он успел ударить лапой стрелявшего в него пастуха. Удар пришелся человеку по лицу, и, потеряв сознание, пастух упал. Долго потом отлеживался в больнице раненный зверем пастух, а о происшествии говорил весь город.

#### Ночь в лесу

Темные ночи не позволяли нам устроить настоящую охоту в засадах, и, чтобы не упустить случая, я отправился в лес послушать кабанов.

Волнующее и памятное впечатление произвел на меня лес ночью. Я сидел на опушке, прислушиваясь к лесным таинственным звукам. Непроглядная, влажная накрывала лес темнота. В этой окружавшей меня ночной темноте я чувствовал много открывавшихся мне движений. Я слышал, как бьется сердце и шумит кровь в ушах. С ветки падала капля, и звук падения слышался четко. В жилах земли двигались соки, мне казалось, что тысячи невидимых пузырьков лопаются под моими ногами. Это ночью дышала подо мною земля, и, прислушиваясь к ее дыханию, я слышал, как, совсем близко ломая ветви, в лесу проходит стадо кабанов.

#### Лесничий Шмидт

Облака бегут с моря. Они закрывают небо, невидимым и туманным делают морской горизонт. Растрепанные клочья пронсящих облаков как бы застревают в голых вершинах мокрых деревьев, серым туманом расползаются по нагорьям.

Люди, никогда не бывавшие зимою в этих районах, не могут себе представить, что такое тропический зимний дождь. Он идет почти непрерывно. Местные жители давно привыкли к этому непрерывно сеющему с низкого неба

дождю. Не обращая внимания на льющиеся на их головы потоки, неторопливо бродят они по залитым грязью улицам и дорогам.

Приезжаем на первых порах дождь показывается несносным. Напрасно ждет он улучшения погоды, ищет сухого, уютного уголка. В сезон дождливой погоды, куда бы ни пошел охотник, в окружившей его природе все кажется насквозь пропитанным влагой. До самых краев налиты водою глубокие придорожные канавы. Точно прозрачными хрустальными бусами унизаны ветви кустарников и деревьев. Стоит тронуть легонько, и с каждого куста на голову охотнику проливается обильный холодный душ...

В дождливую погоду невозможно долго заниматься охотой, и, вернувшись из леса, мы сушим нашу одежду, выливаем набравшуюся в сапоги воду.

В квартире лесничего Шмидта тепло, ярко горит, напоминая деревенские мирные вечера, подвешенная к потолку керосиновая лампа, весело и домашне кипит на столе самовар. После долгого путешествия и удачной охоты очень приятно побаловаться горячим чаем.

— Чертовски богатый край и возможности! — наливая чай, говорит мне лесничий. — Признаться, меня романтика сюда увлекла, возможность начать работу на нетронутом месте. Я еще с малых лет об Индии, о сказочных джунглях мечтал. От Купера и Майн-Рида не отрывался. Вот и вышла, получилась мне эта самая Индия со слякотью и дождями...

Несколько лет назад, увлеченный рассказами о богатствах края, почти неиспользованных человеком, лесничий Шмидт приехал в Ленкорань, чтобы изучать леса, вести правильное лесное хозяйство. В те времена на лесное хозяйство, на выращивание новых лесных культур мало обращали внимания. В Ленкорани Шмидт поставил первые опыты акклиматизации растений. Опыты эти впоследствии открыли широкие перспективы.

Времена изменились. В стране не осталось ни одного забытого и забро-

шенного уголка. Самое то, что когда-то начинал Шмидт в маленьких размерах, теперь приобрело огромный размах. Там, где несколько лет назад были первые грядки с опытными посевами, раскинулись целые плантации, густо зазеленели пышные кроны новых деревьев...

Путешествовавшие по стране нашей хорошо знают этих, подобных лесничему Шмидту, простых, преданных своему делу людей. Таких же, чуждых ложного честолюбия и пустой позы, занятых трудным делом людей видел я на островах ледяной Арктики, наблюдал в пустынной Лапландии, где знанием и трудом человека дикие лапландские болота сказочно превращались в поля и луга, цветущие урожаем...

О себе Шмидт рассказывает просто. Учился в реальном, потом — в Новой Александрии. Всегда мечтал о поездке в Индию, на Цейлон.

Цейлон и Индия так и остались голлой мечтою. Их заменили отечественные северные и кавказские леса.

— Всегда путешествовать думал и — вот подите...

— Чем хуже у вас Цейлона?

— Цейлон-то Цейлон, да вот переписка заела.

Шмидт улыбается, показывает на стол, занятый журналами и бумагой.

— На десяти листах почти каждый день анкеты жарят, а у меня никаких секретарей нету. Схватишься за голову и сидишь дураком. Пожалуй, лучше в Арктику махнуть, — по крайней мере, туда отчетов и анкет не присылают, не мешают работать...

Мы сидим за самоваром, и под шум льющегося за окном дождя слушаю я рассказ лесничего Шмидта:

— Я, знаете, почему именно этот край выбрал? Возможности здесь невероятные. Нам, агрономам и лесоводам, не снилось такое богатство. Вы на здешнюю землю хорошенько взгляните. Ее плодородности хорошему хозяину на миллион лет хватит. Когда я сюда приехал, тут почти ничего не было, никаких новых начинаний. В городе люди, как хотели, по старинке, жили, в лесу на свободе деревья тоже, как хотели, росли...

Мы, натуралисты, хорошо знаем владеющий миром непреложный закон борьбы. Внимательный человек прежде всего должен учиться направлять эту борьбу в надлежащее русло. Тогда за ним остается вечная победа.. Посмотрите на лес наш. Стада животных веками вытаптывали и об'едали не вооруженную колючками молодую поросль, а под копытами животных молодой лес погибал. Тогда, следуя непреложному закону борьбы за жизнь, на вытоптанном месте тотчас возникали виденные вами густые заросли колючек... Эти колючки вырастали для того, чтобы животные не могли продрасться к находившимся под их защитой, выроставшим в тени молодым деревьям. Так в природе совершался неизменный круг борьбы: под защитой колючек возобновлялся молодой лес, а когда деревья достигали полной силы, в их тени, отбив свое назначение, сами собою погибали лишние солнца дикие колючки...

Нам, природоведам, особенно интересно наблюдать эти разнообразнейшие формы борьбы за жизнь в природе. Однажды, путешествуя, я обнаружил в лесу, казалось, еще неизвестный в ботанике новый растительный вид. Обильная формами растительная природа Ленкорани мало изучена, я заинтересовался своею находкой. Как потом выяснилось, найденный мною кустарник был самое обычное в наших лесах растение, лишнее колючек. Оказавшись в опасности, это растение одело листьями, похожими на листья колючего несъедобного кустарника. Так, замаскировавшись под хорошо защищенного своего соседа, невинное растение спасало свою жизнь. Травоядные животные не обращали внимания на замаскированное растение и проходили мимо... Такие ботанические находки в наших краях не редкость. Этим объясняется, что молодые ботаники, наезжающие к нам из Москвы и Ленинграда, каждый год делают «открытия». Помню, один молодой ученый долго скрывал от меня свою «находку». Повидимому, названием нового растения молодой ботаник надеялся увековечить свое имя. К вам, местным научным работникам, та-

кая наезжая зеленая молодежь относится с пренебрежением. Однажды этот молодой ученый вернулся из лесу особенно возбужденный. Я его встретил: «Что это, — спрашиваю, — вы, Сергей Сергеевич, сегодня такой именинник?» — «Так, — говорит, — находочку одну сделал...» Вечером, наконец, заходит ко мне, разворачивает эту свою находку: «Вот, полюбуйте, вид новый открыл. Вы тут уж сколько лет живете и этим редкостным видом не изволили поинтересоваться...» Посмотрел я, головой покачал: «Ошиблись, — говорю, — дорогой мой Сергей Сергеевич, вид этот нам уже давным-давно известен, это боярышник обыкновенный, только листья на нем другие». — «Приспособляется...» — «Как и мы с вами...» Поверите ли, он на меня за эти слова чуть не с кулаками бросился. Уж потом я узнал, что в Ленинграде растение, наконец, определили, и я, конечно, остался прав...

«Чудес» в мире растительном у нас, сколько хотите. Я одно растение знаю кустарниковое. На нем колючки только на ветвях нижних, ровно до того места, где животные могут достать. А выше — никаких колючек нет: нежнейшее деревцо. Как видите, — тоже способ борьбы за жизнь, наиболее экономный...

Вы вот спрашиваете, как мы здесь, местные научные работники, работаем и живем? Для иллюстрации нашей работы расскажу, пожалуй, один случай. Есть здесь молодой доктор, приятель мой, по происхождению — местный тальш. Он хирург молодой, но очень способный. Вы, пожалуй, представить себе не можете, какова нагрузка у местных докторов. Вот — подлинные герои. Нынче население перестало к колдунам и знахарям обращаться, — все идут в больницу. Докторам прибавилось дела. И молодому врачу волей-неволей приходится делать ответственные операции. Так вот привезли однажды в больницу раненого человека. Его кто-то, по закону кровавой мести, в живот ножом полоснул. Операция требовалась немедленная. Чтобы спасти жизнь пострадавшего, пришлось удалить часть

кишек, сделать искусственный вывод. Для выздоровевшего больного это было очень большое неудобство. Через год приходит он в больницу и говорит: «Что хочешь, доктор, со мной делай, — хочешь, совсем зарежь, хочешь, вылечи, так жить не могу, стыдно!» Стал доктор думать. Случай был очень тяжелый. Нужно было придумать способ спайки оперированного кишечника. Подобной операции молодому врачу не приходилось делать. Ночью он прибегает ко мне, стучится. Открываю ему, — вижу, весь от дождя мокрый, извиняется: «Вальтер Эдуардович, давайте вместе обсудим один сложный случай... Помогите мне...» Нарисовал он на бумаге кишечник больного, стали мы вместе обсуждать, как удобнее операцию произвести, как сделать шов. «Постойте, — говорю, — сейчас мы это нагляднее себе представим!» А была у меня камера велосипедная, достал я ее со шкафа, и начали мы вместе соображать. Камера у нас должна была кишечник изображать. Доктор смотрел, смотрел: «Нашел, — говорит, — теперь сделаю!» Надел шапку — и был таков. На другой день приходит, очень веселый: «Камера, — говорит, — ваша очень помогла. Операция сошла благополучно. Отлично мы с вами ночью удумали!..»



На сей раз недолго довелось мне погостить в обильных зверем и птицею диких лесах Ленкорани. Зимняя дождливая погода помешала с прежним успехом продолжать охоту.

С дружеским чувством покидал я любившийся мне охотничий край. Простившись с приютившим меня хозяином и лесничим Шмидтом, нагруженный охотничьей добычей, направился я на пристань.

На палубе парохода было много людей. Я узнал техника по взрывному делу, ехавшего в Ленкорань вместе со мною. В каюте — молодежь, студенты и студентки, отбывшие практику в ленкоранских новых совхозах.

Прощаясь с Ленкоранью, я брожу по паровой палубе, смотрю на берег. Я

вспоминаю город, лес, охоту, гостеприимного лесничего Шмидта. Рядом со мною маленький, одетый в овчинную шубейку, человек. Лицо человека обмотано платком, на голове круглая, со скатанным мехом, баранья шапка. Радостно смотрят на меня его черные, еще полные жизни глаза.

Вот он нагибается ко мне, легонько касаясь своими закорючливыми пальцами.

— Скажи, душа мой, пожалуйста, мне скажи: может такое быть?

Сухие обветренные губы его складываются в улыбку. Добрыми лучиками разбегаются по лицу морщины:

— Может такое быть? У меня есть старший сын Али и есть младший сын Ибрагим, и есть дочь Ханум. Али пас баранов и овец. И вот пришел человек сказал: «Надо учиться твоим детям, Демир. Свой век ты прожил в большой бедности, бедны были твой дед и твой прадед. В своей жизни вы видели много нужды. Посмотри, как меняется жизнь!.. Вот стояло дерево, его видели наши деды. Подул ветер, и дерево упало. Так кончилась прежняя жизнь, Демир. Помнишь ли, как жили у нас богачи? Они имели коней, таких коней, что только ветер их мог обогнать. Они могли ничего не делать, и за это каждый им кланялся низко. Выйди теперь на базар. Там в грязи сидит человек. Когда-то он был большой, очень большой и богатый купец. Теперь он сидит на базаре и просит, чтобы ему дали маленький кусочек хлеба... Послушай же меня, Демир. Пусть твои бараны останутся в горах. Твои ноги еще могут ходить, и зрение твое еще не погасло. Послушай: пошли сына учиться!..» И я отпустил сына Али, и второго сына Ибрагима, и один остался пасти моих баранов. Я сидел в горах, дождь мочил мою спину и мою голову. Я вспоминал мою молодость. Ах, это была невеселая молодость! В жизни моей я перенес все. Я вспоминал, как умирал мой отец, как умерли мои братья... Дождь мочил мою спину. Я сидел на камне и пел песню:

О, какой сегодня холодный день,  
Я вижу, как бегут облака...  
Я буду так сидеть долго,  
Потому что сыны мои ушли учиться...

Вечером я приходил домой и раздувал огонь в костре. Жена плакала и мне говорила: «Посмотри, старый дурак, что ты наделал. Мы состарились одни, наши сыновья от нас ушли... Это ты сделал так, чтобы они от нас ушли...» И я сидел у огня, молчал и думал, что жена говорит правду. Раз пришел ко мне человек. Он похлопал меня по плечу, сказал: «Держись, держись, Демир!.. Скоро сыновья твои вернутся учеными...»

И вот один сын вернулся. Он пришел 1935.

ко мне в дом и сказал: «Здравствуй, отец, поздравь меня: я теперь доктор, буду лечить людей». «Ты будешь лечить людей, — говорю ему, — это хорошо, но не забывай отца и мать. Пока ты учишься, мы много терпели нужды, а мать лежала больная...» И вот я еду в большой город, чтобы повидаться со своим младшим сыном, я хочу также увидеть его. Я оставил моих баранов и первый раз еду на пароходе. Скажи же, душа мой, можно ли верить такому делу?..

# За рубежом

## МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

6 августа. В Бресте — крупнейшем французском портовом городе — рабочие арсенала впервые получили зарплату, урезанную на 10 проц. на основании чрезвычайных декретов. Власти, опасаясь выступлений, вызвали в арсенал полицию и колониальные войска в полном вооружении. Возмущенные этим рабочие вышли на улицу. Со всех сторон толпы рабочих с пением «Интернационала» и с красными знаменами поспешили к ним на помощь. Завязалось настоящее сражение. Бои длились до 7 часов вечера, а в различных частях города до поздней ночи. В тот же день 15 тыс. рабочих арсенала в Тулоне организовали уличную демонстрацию. Произошло кровавое столкновение с жандармерией.

\* В Италии мобилизованы для отправки в Восточную Африку еще две армейских дивизии и одна дивизия чернорубашечников.

8 августа. Польские газеты, комментируя события в Бресте и Тулоне, распространяют провокационные сообщения о том, что будто бы в Москве состоялось «заседание Политбюро», посвященное положению во Франции. На этом совещании присутствовали якобы Сталин, Ворошилов, Кашен и «московские спецы по французским делам». На этом совещании будто бы был разработан подробный план свержения Лавала путем развертывания массового революционного движения во Франции. Советская печать разоблачила эти провокационные сообщения, подчеркнув их цель — ухудшить советско-французские отношения, сорвать франко-советский

пакт о взаимной помощи, а вместе с тем и дело укрепления мира и безопасности в Европе. Кроме того, советская печать указала на сходство этой провокационной информации польских газет с такой же информацией германских фашистских газет.

\* Морское министерство США разместило заказы на постройку 13 военных судов — 1 авионосца, 1 крейсера, 8 миноносцев и 3 подводных лодок.

\* Английское адмиралтейство постановило передать судостроительным фирмам заказы на постройку 19 военных судов, предусмотренных в программе текущего года.

\* Парафировано польско-данцигское соглашение, согласно которому сенат Данцига отменил свое распоряжение об упразднении таможенных пошлин на некоторые товары, ввозимые из-за границы, что, по существу, означало «экономический аншлюсс» Данцига с Германией.

9 августа. Финансовый консорциум, с участием английского капитала, зарегистрированный в Швейцарии, получил в Абиссинии концессию на строительство железной дороги от Аддис-Абебы до Курмука, расположенного на границе Судана.

\* Исполняющий обязанности нанкин-ского министра иностранных дел Ван Цзин-вей подал в отставку. Официальное японское телеграфное агентство Симбун Ренго утверждает, что отставка вызвана наличием в рядах лидеров Гоминдана сильной оппозиции против японофильской политики Ван Цзин-вэя.

11 августа. 15-летие советско-латвийского мирного договора.

\* Польский министр иностранных дел Бек прибыл в Гельсингфорс. Официоз германского министерства иностранных дел «Дейтше дипломатиш-политише корреспонденц» по этому поводу пишет: «Польско-финляндскую дружбу следует приветствовать, поскольку она идет в одном направлении с германской политикой». По мнению французской печати, задача Бека заключалась в том, чтобы не допустить присоединения прибалтийских стран к восточному пакту о взаимной помощи.

12 августа. Подполковник японской армии Айдзава убил саблей генерала Нагата — начальника военного отдела японского военного министерства. Газета «Асахи» пишет: «Нагата являлся фактическим администратором в армии и искренно поддерживал военного министра Хаяси в проведении августовских перемещений в армии, которые имели целью укрепить в ней дисциплину и усилить контроль». Убийца Нагата принадлежал к группировке генерала Араки.

13 августа. В Прагу для участия в маневрах чехословацкой армии прибыла советская военная делегация во главе с начальником военной академии РККА им. Фрунзе тов. Шапошниковым.

\* Рузвельт подписал законопроект о сооружении шести гигантских воздушных баз на Аляске. Постройка этих баз обойдется приблизительно в 120 млн. долларов.

14 августа. В Париж прибыл Иден для участия в «конференции трех». Задача конференции — выработать приемлемое для Италии соглашение по абиссинскому вопросу.

15 августа. Абиссинское правительство заявило в Лиге наций протест против того, что Италия, несмотря на возобновление работ итало-абиссинской согласительной комиссии, продолжает отправлять в Восточную Африку войска и оружие.

16 августа. Открылась «конференция трех» — Италии, Англии и Франции — по абиссинскому вопросу.

\* Итало-абиссинская примирительная комиссия по урегулированию погранич-

ного инцидента в Уал-Уале, избрала своим суперарбитром греческого посла в Париже Политиса.

\* В Италии объявлен дополнительный призыв контингентов рождения 1911, 1913 и 1914 годов. По официальным итальянским данным, итальянская армия достигнет 1 млн. человек.

\* При аварии самолета погибли известный американский летчик Пост и писатель Роджерс.

17 августа. На «конференции трех» Италии были предложены уступки экономического и финансового порядка в Абиссинии, а также право на сооружение железной дороги между Эритреей и Итальянским Сомали, а также ряд территорий, содержащих крупные залежи руды, и провинция Огаден на юго-востоке Абиссинии. Взамен Абиссиния должна была получить выход к морю через порт Зейла, в английской колонии Британское Сомали. До получения ответа от Муссолини работы конференции отложены.

\* В Албании вспыхнуло восстание против короля Ахмеда-Зогу. Французская печать указывает, что восстание вспыхнуло в Южной Албании, где расположены наиболее важные итальянские концессии. Во французских политических кругах полагают, что противники Италии пытаются использовать итало-абиссинский конфликт, чтобы осуществить свои планы освобождения от итальянского протектората и сорвать намечающееся сближение между Римом и Белградом.

19 августа. Муссолини отклонил предложение «конференции трех».

\* Представитель национал-социалистской партии при руководстве германского военного министерства и начальник политического отдела этого министерства генерал фон-Рейхенау по распоряжению военного министра переведен в одну из провинциальных строевых частей.

20 августа. Закончилась 10-я советско-финская конференция по поддержанию порядка в Финском заливе. На конференции положительно разрешены все интересующие СССР и Финляндию вопросы, связанные с обеспечением безопасности плавания в восточной части Финского залива.

21 августа. Созвано чрезвычайное заседание английского кабинета, посвященное провалу «конференции трех». На заседании обсуждался вопрос о директивах для английской делегации на совете Лиги наций, о санкциях против Италии и об отмене запрещения вывоза оружия в Италию и в Абиссинию. О принятых решениях официально ничего сообщено не было.

\* В Эквадоре произошел государственный переворот. Президент Веласко, распустивший парламент и арестовавший руководителей оппозиции, арестован войсками и смещен с поста президента.

22 августа. Три министра-хорвата в кабинете Стоядиновича (Югославия) подали в отставку. Мотивы отставки — образование объединенной правительственной партии, рассчитанной на изоляцию хорватов.

23 августа. Опубликовано сообщение об обмене нотами между правительствами Монголии и Манчжоу-Го. Монгольское правительство констатирует согласие обеих сторон на создание пограничной комиссии для урегулирования инцидентов и на обмен уполномоченными, в задачу которых должно входить только урегулирование вопросов, возникающих на границе. Монгольское правительство остается на своей позиции о передаче каждой стороной по одному уполномоченному, а не нескольких, как это предлагает манчжурское правительство.

\* В Измире состоялось торжественное открытие международной ярмарки. Турецкий министр хозяйства Баяр после посещения выставки заявил: «Советский павильон произвел на меня во всех отношениях блестящее впечатление».

\* Ван Цзин-вей взял обратно свою отставку.

\* Польско-данцигские переговоры прерваны. Причина перерыва переговоров — требование Польши о предоставлении полякам права приобретать в Данциге на данцигские гульдены любые суммы валюты.

24 августа. В Париж для участия в маневрах французской армии прибыла советская военная миссия, возглавляемая

заместителем начальника штаба РККА тов. Седякиным.

\* В Италию для участия в маневрах итальянской армии прибыла советская военная миссия, возглавляемая заместителем командующего Средне-Азиатским военным округом тов. Городовиковым.

\* Английское адмиралтейство официально объявило, что два броненосца и три крейсера отправляются в Александрию, один броненосец и один крейсер — в Порт-Саид, три крейсера и один миноносец направляются в Хайфу (Палестина). Все суда берут с собой запасы на 8 месяцев. Одновременно сообщается о распоряжении мальтийского правительства приступить немедленно к сооружению газозубежищ.

26 августа. Муссолини в беседе с корреспондентом «Дейли мейль» заявил: «Если будет принято решение о санкциях против Италии, мы немедленно оставим Лигу наций. Какое бы то ни было применение санкций встретит вооруженное сопротивление со стороны Италии... На попытку закрытия Суэцкого канала Италия ответит сопротивлением на суше, на море и в воздухе... Мы не можем теперь отступить. 200 тыс. итальянских винтовок в Восточной Африке сами начнут стрелять».

\* На австро-итальянской границе начались маневры итальянской армии. В маневрах принимают участие 500 тыс. войск. Политическая цель маневров — показать, что, несмотря на концентрацию итальянских войск в Абиссинии, Италия сможет выставить значительную армию на итало-австрийской границе.

\* Из Румынии выслан корреспондент «Фелькишер беобахтер» Фридрих Вебер — один из агентов Розенберга, поддерживавший связь с румынскими фашистскими группировками.

27 августа. В Тегеране подписан советско-иранский торговый договор. Одновременно торгпредству СССР заключило с иранским министерством финансов контракты на ежегодную продажу Ирану советской мануфактуры, черных металлов, сахара, спичек, цемента, а также на поставку машин и технического оборудования. Торгпредству СССР переданы заказы на строительство и оборо-

дование в Иране нескольких рисоочистительных и хлопкоочистительных заводов и шерстомоек. Подписаны также конвенции ветеринарная, о борьбе с саранчой и о борьбе против с.-х. вредителей. Состоялся также обмен нотами о введении в действие ж.-д. конвенций между Ираном и СССР о прямом и транзитном сообщении.

28 августа. В советской печати опубликовано сообщение ТАСС о том, что 25 августа посол США в Москве Буллит вручил тов. Крестинскому ноту, в которой обратил внимание советского правительства на деятельность состоявшегося в Москве VII конгресса Коминтерна, в чем правительство США усматривает нарушение обязательств правительства СССР о невмешательстве во внутренние дела США. 27 августа тов. Крестинский вручил Буллиту ответную ноту, в которой говорится, что правительство СССР всегда относилось и относится с величайшим уважением ко всем принятым им на себя обязательствам, в том числе и к взаимному обязательству о невмешательстве во внутренние дела. Далее в ноте указывается, что в ноте Буллита не содержится фактов, которые свидетельствовали бы о нарушении советским правительством его обязательств. Советское правительство не может принимать и не принимало на себя никаких обязательств в отношении Коминтерна. Поэтому тов. Крестинский заявляет, что не может принять протеста Буллита и вынужден его отклонить. Вместе с тем тов. Крестинский подтверждает неизменное стремление СССР к дальнейшему развитию дружеского сотрудничества между СССР и США, отвечающего интересам народов обеих стран и имеющего важное значение для дела всеобщего мира.

29 августа. На заседании итальянского совета министра Муссолини огласил декларацию, в которой заявил, что Италия примет участие в заседании совета Лиги 4 сентября, что в прежних договорах Англия и Франция признавали преимущественное колониальное право Италии на Абиссинию, что Англия нечего опасаться итальянских завоеваний в Абиссинии, ибо интересы

Англии будут обеспечены. Что же касается санкций, то, по мнению Муссолини, «говорить о них означает итти по наклонной плоскости, что может привести к еще более серьезным осложнениям... Во всяком случае фашистское правительство, выполняя свой долг, доводит до сведения итальянского народа, что вопрос о санкциях обсуждался самими высшими военными органами со всех точек зрения и что поскольку речь идет о возможных санкциях военного характера, то уже приняты необходимые решения». Одновременно с декларацией Муссолини итальянское правительство издало ряд декретов финансово-экономического порядка, как, например, о сдаче всей иностранной валюты и ценностей, выписанных в иностранной валюте, Итальянскому государственному банку, об ограничении прибылей акционерных обществ и о переводе автомобильного транспорта на суррогаты бензина и на местное топливо. Итальянское морское министерство отдало приказ о сосредоточении всего итальянского подводного флота у берегов Сицилии.

\* Лаваль на заседании совета министров заявил, что во франко-итальянском соглашении за Италией признается право на экономические привилегии на большей части абиссинской территории, но не предусмотрены политические полномочия в этой стране, так что это соглашение не может быть использовано для умаления суверенитета Абиссинии.

\* Английским гражданам в Абиссинии дан совет выехать в четыре дня.

Абиссинский император обратился к населению с воззванием, в котором излагаются мероприятия по противозападной обороне.

31 августа. Опубликовано сообщение о предоставлении англо-американской финансовой группе (нефтяной трест «Стандарт-Ойл») концессии в Абиссинии. В концессии предусматривается монопольное право на эксплуатацию нефтяных и других естественных ресурсов на территории, составляющей половину всей Абиссинии с востока на запад.

1 сентября. В Англии отрицают причастность английского правительства к концессии в Абиссинии.

2 сентября. В Маргейте открылся 67-й съезд английских профсоюзов.

\* По предложению правительства США нефтяная компания «Стандарт-Ойл» отказалась от концессии в Абиссинии.

3 сентября. Из Англии на Мальту и в порт Аден отправлены 1 500 английских артиллеристов и солдат прожекторных частей. Войска эти предназначены для усиления береговой и противовоздушной обороны.

\* Председатель шаньдунского провинциального правительства по требованию японского командования опубликовал декрет о роспуске гоминдановской организации и запрещении ее деятельности в пределах этой провинции.

4 сентября. Открылась сессия совета Лиги наций. Представитель Италии Алоизи заявил, что всякая возможность мира и сотрудничества между Италией и Абиссинией рухнула. «Италия, — сказал он, — не может больше оставаться пассивной в отношении варварского государства, не способного контролировать ни самого себя, ни подчиненных ему племен, государства, которое, располагая сильным вооружением, угрожает ныне итальянским границам... Итальянское правительство обязано категорически заявить, что Италия почувствовала бы себя глубоко оскорбленной, если бы она продолжала участвовать в дискуссии в рамках Лиги на равных основаниях с Абиссинией... Итальянское правительство изменило бы своему элементарнейшему долгу, если бы оно не лишило окончательно Абиссинию своего доверия и не сохранила бы за собой полную свободу действий для проведения мер, которые окажутся необходимыми для безопасности ее колоний и охраны ее собственных интересов».

Иден от имени Англии настаивал на соблюдении устава Лиги наций.

Лаваль заявил, что он «отказывается верить, что попытки примирения, предпринятые Лигой, окажутся тщетными, и что не будет достигнуто спра-

ведливое решение, обеспечивающее Италии то удовлетворение, на которое она может законно претендовать, не задев основных суверенных прав Абиссинии». Лаваль призывал к сохранению верности Лиге наций.

Представитель Абиссинии указал, что арбитражная комиссия в своем решении, принятом с согласия и итальянских делегатов, не возлагает никакой ответственности за пограничные инциденты ни на Италию, ни на Абиссинию. Тем самым инцидент исчерпан, поэтому итальянское правительство выдвигает теперь новые обвинения против Абиссинии.

\* Вышел в отставку японский военный министр Хаяси. Военным министром назначен член высшего военного совета Кавасима.

\* В Париже состоялась международная конференция в защиту абиссинского народа. На конференции были представлены 120 организаций.

5 сентября. На сессии совета Лиги выступил тов. Литвинов. В своей речи тов. Литвинов заявил, что он не согласен с мотивировкой итальянского делегата, который свое предложение о предоставлении итальянскому правительству свободу действий в Абиссинии мотивирует несоблюдением и нарушением ею международных обязательств. Если бы совет Лиги пошел по этой дороге, то члены совета нарушили бы свои международные обязательства, нарушили бы пакт Лиги наций. Тов. Литвинов напомнил о прецеденте, когда Лига наций не приняла всех нужных мер для предотвращения конфликта между двумя членами Лиги. Повторение такого прецедента имела бы собирательный эффект и в свою очередь послужило бы поощрением возникновению новых конфликтов, более непосредственно затрагивающих всю Европу. Тов. Литвинов особо подчеркнул, что ничто в уставе Лиги не дает никому права различать членов Лиги по их внутреннему режиму, цвету кожи, расовым признакам или по степени цивилизации и лишать тех или иных из них привилегий, которыми они пользуются в силу своего членства в Лиге, и в пер-

вую очередь права на сохранение своей территориальной целостности и независимости. Для поднятия отсталых народов, для воздействия на их внутреннюю жизнь, для поднятия цивилизации можно придумать иные средства, чем военные. «Представляемое мною государство, — заявил в заключение т. Литвинов, — всего год тому назад вступило в Лигу наций с единственной целью и с единственным обещанием всемерно сотрудничать с другими нациями в деле сохранения неделимого мира. Только эта цель и это обещание руководят мною сегодня, когда я предлагаю сове-

ту не останавливаться ни перед какими усилиями и средствами, чтобы предотвратить вооруженный конфликт между двумя членами Лиги и осуществить задачу, которая является смыслом существования Лиги».

6 сентября. Совет Лиги избрал «комитет пяти», которому поручил обсудить всю итало-абиссинскую проблему в целом и представить в конце сентября свои соображения совету Лиги. Назначение комитета имеет целью выиграть время для закулисных переговоров Англии, Франции и Италии о сделке за счет Абиссинии.

# Наука и техника

## ЭНГЕЛЬС И ФИЗИКА

В. Е. Львов

1

**П**ристальный интерес великих основоположников научного коммунизма к естественным наукам не удивляет нас. Борьба рабочего класса за свое освобождение не может быть отделена от борьбы за власть над природой, за власть над материей — за освобождение человечества от рабства у стихийных сил. «Философы до сих пор объясняли мир, а дело состоит в том, чтобы его изменить» — говаривал Маркс. «Общество, где не будет никаких классовых различий, — дополняет эту мысль Энгельс, — будет обществом и господства над внешней природой, существования в гармонии с познанными законами природы...»<sup>1)</sup>

Да, это так, и естествознание, и физика — ведущий его авангард — дают неиссякаемый бесценный материал для улубления мегода материалистической диалектики, — маяка, в равной степени освещающего и поля социальных битв, и глубokie недра атома.

«Так называемая диалектика царит во всей природе...» «Над хаосом бесчисленных изменений в природе господствуют те же диалектические законы движения, что и над кажущейся случайностью исторических событий...»<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> «Анти-Дюринг». Изд. 6. Партиздат. 1934. Стр. 81.

<sup>2)</sup> «Диалектика природы». Изд. 6. Партиздат. 1933, стр. 35, в «Анти-Дюринг», стр. 7.

Диалектика природы и диалектика общества. Они неотделимы друг от друга, являясь лишь различными сторонами единого бытия мира. Изучение одной оттачивает оружие другой.

И вот вожди пролетариата, и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и Сталин, поглощенные по горло борьбой, среди бури дел партийных, политических, революционных находят время для усиленных занятий теоретическим естествознанием. Критически усвоив, переработав, осветив прожектором диалектической мысли весь накопленный за десятилетия материал, не только подводят они итог целым эпохам развития науки, но и прорубают новые просеки в чаще фактов, ведя вперед естествознание.

Так работал Маркс, чьи посвященные дифференциальному и интегральному исчислению «математические тетради», писавшиеся в пору наиболее интенсивных трудов над «Капиталом», представляют не только конспект учебы, но и сочетание оригинальных изысканий, привлекающих сейчас, после опубликования их Комкадемией, пристальное внимание математиков мира.

Так подводил итоги первым шагам электронной теории в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин.

И так следил за пульсом развития естествознания Энгельс, восемь лет своей эмигрантской жизни потративший на изучение физики, химии и биологии.

Эти годы не прошли даром.

Сейчас, спустя 40 лет после смерти Энгельса, подводя баланс его работам в области физики, беспристрастный наблюдатель констатирует, что этот гигант революционной мысли, изучив до малых подробностей весь огромный, накопленный классической физикой XIX века, материал и став на уровень эрудиции, равный уровню таких людей, как Гельмгольц, Кельвин, Максвелл, Клаузиус, смог подняться во многих отношениях на голову выше их.

«Моя задача, — писал в 1885 г. Энгельс в предисловии ко второму изданию «Анти-Дюринга», — была не в том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а в том, чтобы найти их в ней и из нее развить...» «Я вынужден пока, — продолжает Энгельс, — удовлетвориться содержащимися в этой работе («Анти-Дюринге») намеками... Быть может, в будущем мне представится случай собрать и издать результаты моих работ вместе с весьма важными математическими манускриптами, оставшимися после Маркса...»<sup>1)</sup>

Этому суждено было свершиться лишь после его смерти! Черновые конспекты и наброски Энгельса к «исполнительскому», как он сам писал, труду, посвященному диалектике физики и всего естествознания в целом, в течение 30 лет прслежали под спудом в архиве мате­рого ренегата и изменника делу социализма, Эдуарда Бернштейна, откуда только в 1925 г. они были извлечены Институтом Маркса и Энгельса и напечатаны под названием «Диалектика природы».

Появись в законченном виде этот гениальный труд в восьмидесятые — девяностые годы прошлого столетия, Энгельсу было бы бесспорно суждено, невзирая на бешеное сопротивление мракобесов из реакционных клик, стать признанным идейным вождем всего лучшего, что было в современной ему физике. Жизнь бойца-революционера помешала Энгельсу сыграть при жизни эту роль. Но такова уже дальнбойная сила материалистической диалектики, — ее

снаряды, описав пятидесятилетнюю дугу, ложатся без промаха в наши дни. Да, в набросках «Диалектики природы», написанных задолго до великих сдвигов, потрясших физику на рубеже XIX и XX веков, содержатся концы нитей, ведущих к узлам всех основных событий, волнующих сейчас физику, — в дни ураганного шторма вещества.

Методологическим оружием «Диалектики природы» и «Анти-Дюринга», равно как и оружием ленинского «Материализма и эмпириокритицизма», отражаются сейчас все удары, исходящие от идеологической реакции — родной сестры фашизма, дополняющей костер, дубинку и топор фальсификацией и искажением науки изнутри. В «Диалектике природы» Энгельса ищутся и находятся сейчас ответы на все трудности, встречаемые на пути физики атома. «Диалектикой природы» Энгельса вооружен современный физик-материалист в такой же мере, как трудами Эйнштейна, Шредингера, Де-Брогля, Планка...

К показу некоторых основных моментов той боевой, оперативной роли, которую играют методологические работы Энгельса на современном фронте физики, я и перехожу.

## 2

Великая, по выражению Маркса, «перемена декораций» (Scenepwechsel), на рубеже XVIII и XIX веков опустившая занавес над докапиталистической Европой, символизируется не только двумя, сделавшими эпоху, машинами: паровую — Джемса Гордона Уатта и — ровно через двадцать лет — изобретением доктора Гильотена, экспериментально проверенным на нынешней площади Согласия. Вместе с тем столетие пред'явило первые крупнейший социальный заказ физике. На фоне строящихся мануфактур и высоких труб, на этом историческом фоне нас не удивит глубочайший интерес физиков XIX века к тем загадочным и в то же время требующим неотложного разъяснения процессам, что происходят внутри топков и печей, в недрах паровых машин... машин...

<sup>1)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 8.

не требующих взамен своей работы как будто ничего, кроме расхода теплоты, «огня»: важной субстанции древних, не ставшей нисколько более приятной от того, что ее называли «теплородом» и сделали «невесомой», как флогистон, «электрическая жидкость» и другие мифические вещества.

«... На пороге человеческой истории стоит открытие превращения механического движения в теплоту: добывание огня трением; в конце этого развития стоит открытие превращения теплоты в механическое движение... — колоссальная освободительная революция, совершаемая в общественной жизни паровой машиной...»<sup>1)</sup>

Итак, нам понятно, что энергетика, учение о работающих силах и их превращениях появилась на сцене физики, и не могла закономерно не появиться, в тот момент, когда освоение нового вида промышленной энергии — энергии распада углеводородной молекулы — потребовало ее описания на точном и точном языке математической физики.

Так, термодинамика (в своем первоначальном понимании «наука о паровых машинах») незаметно прозаически становится признанной «царицей» буржуазного естествознания вместо высокой астрономии... Ей посвящают свои силы такие гении, как Майер, Гельмгольц, Карно, Больцманн, — плеяда, на рубеже XX века передающая преемство Планку, закономерно завершающему путь термодинамики от фабрично-заводских кочегарок до атома.

Нельзя, с другой стороны, забывать, что в конце XVIII и в начале XIX века опыт Вольта и Гальвани открывает новый источник превращения энергии: электрический ток. Многообещающая, но все же несколько несвоевременная по тому времени игрушка! Несвоевременная, — тем лучше для человечества. За «несвоевременное» всегда берутся прозорливейшие из прозорливых: Фарадей и Максвелл разматывают эту цепь идей и фактов, чтобы, вру-

чив ее Лоренцу и Герцу, умереть, не увидев последних звеньев цепи в руках Милликена и Сименса, Эдиссона и Маркони... Обем ветвям физики XIX века — термодинамике и электродинамике — в равной степени отдает свои силы Томсон-Кельвин.

В самую гущу вот этой исторической стремнины и окунается Энгельс. Вместе с величайшими открытиями — находкой закона сохранения энергии, учением об энтропии, открытием гальванизма, индукции тока, сжижения газов — стремнина эта несет и многочисленные идейные отбросы, щепки, муть, сор, обаянный своим возникновением не только неумению буржуазного естествознания вскрывать объективно-реальное ядро теорий, но и сознательной фальсификацией этих теорий на потребу теологии и обскурантизму.

К расчистке авгиевых конюшен механики и термодинамики и обращается в первую очередь Энгельс.

Внесение полной ясности в громадную путаницу терминов, понятий, архаизмов, схоластицизмов, таких, как: «работа», «энергия», «внутренняя энергия», «сила», «живая сила», является заслугой, значение которой можно в полной мере оценить лишь сейчас.

Обращаясь к понятию «силы» и тщательно отграничивая ее от «энергии» (смешение это в ходу еще в пятидесятых годах, и само заглавие гельмгольца, трактующего о сохранении энергии и, мемуара звучит: «Ueber der Erhaltung der Kraft» — «К вопросу о сохранении силы»), Энгельс приходит к выводам, разрубающим целый узел недоразумений, довлеющих над физикой вплоть до сегодняшнего дня.

Нужно вспомнить, что, введенная некогда в механику, как чисто формальный, обозначающий произведение из массы на ускорение ( $f \leftarrow m \cdot w$ ), символ, величина, именуемая «силой», не имеет какого-либо иного существенного назначения, кроме как служить математическим значком, упрощающим и сокращающим вычисления в механике.

Основную же реальностью в формуле: сила = массе  $\times$  ускорение, является, как

<sup>1)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 81.

ясно, ускорение, т.е. факт изменения движения данного материального тела в результате взаимодействия этого тела с другим.

Два куска, два объема движущейся материи, взаимодействующих между собой, — вот это взаимодействие, вот эта передача материального движения от одного тела к другому и является, повторяю, единственным объективно реальным содержимым всех тех случаев, когда на сцене математической физики появляется «сила».

«Движение (материи), — говорит Энгельс, — не может быть создано, а только передано. Если движение переходит с одного тела на другое, то в нем, поскольку оно передается активно, можно видеть причину движения (второго тела). Это активное движение мы называем силой, а пассивное — проявлением силы...»<sup>1)</sup>

И всякий раз, когда внутренний механизм взаимодействия и передачи движения является вскрытым и более или менее изученным физикой, в каждом таком случае иллюзорность и гносеологическая никчемность введения «силы» не требует особых комментариев. Никому не придет в голову, например, говорить всерьез об особой «бильярдной силе» в явлении столкновения двух движущихся на столе шаров, столкновения, при котором происходит передача движения и скорости от одного шара к другому.

Оба партнера и самый способ передачи здесь ясны (удар одного шара о другой), и введение математического значка «силы» ровно ничего не прибавляет к описанию явления.

Иначе — в тех случаях, когда природа взаимодействия, до поры до времени, за кулисами теории и эксперимента...

Так обстояло дело, например, в явлении тяготения, где можно было констатировать лишь голый факт передачи ускорения, скажем, между Солнцем и Землей, но способ этой передачи оставался загадкой в течение двух столетий.

Так получалось всякий вообще раз, когда процесс передачи движения сопровождался качественным его превращением: электрическое притяжение в результате трения, ход поршня вследствие нагрева пара в котле, притяжение магнитной стрелки проводом, по которому течет ток.

Оперирование во всех этих случаях понятием «силы», ничего не об'ясняя по существу, чревато в то же время величайшими опасностями для физики, уводя ее с пути конкретного исследования новых качественных форм движения материи на путь бесплодных топтаний в пустоте.

Так, ограничиваясь в феномене всемирного тяготения описанием этого явления с помощью «силы тяготения», физика не только не сделала в течение двухсот лет ни одного шага к раскрытию механизма взаимодействия между тяготеющими телами, но и ввела в картину мира «величайший», по выражению Ньютона, «абсурд» *actio in distans* — «действие на расстоянии» в пустоте...

Да, поистине, «действие» это, то-бишь участие «силы», передающейся (скажем, между Землей и Солнцем) через пустое пространство, да еще на расстояние 150 миллионов километров, да еще с бесконечно большою скоростью, — такое действие «под силу» разве что лишь «всесильному» сплodu богу: лавейка для теологов, исправно и использовавшаяся ими на протяжении всей истории гравитационной проблемы!

С полной ясностью это кардинальное и решающее для всего дальнейшего развития физики положение вещей вскрывается Энгельсом в сжатых записях «Диалектики природы».

«...Мы ищем прибежище в слове «сила» не потому, что мы вполне познали закон (взаимодействия между телами.— В. Л.), но именно потому, что мы его не познали... Прибегая к понятию «силы», мы выражаем не наше знание, а наше отсутствие знания природы закона и способа его действия...»<sup>1)</sup> «Ни один порядочный физик не станет называть элек-

<sup>1)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 42. Ср. также: «Диалектика природы», стр. 11.

<sup>1)</sup> «Диалектика природы», стр. 139.

тричество, магнетизм, теплоту просто силами... Сказать: теплота обладает силой расширять тела, — это простая тавтология... избавляющая от необходимости всякого дальнейшего изучения явления теплоты»<sup>1)</sup>. «Представление силы» — в итоге — «приводит к путанице понятий... и вообще не может найти научного применения во всех областях исследования, выходящих из рамок вычислительной механики...»<sup>2)</sup>

Все развитие материалистической физики за истекшие пять десятилетий подтверждает этот вывод.

Я уже говорил выше, что идеалистическая концепция «силы тяготения» успела нанести неисчислимый вред физике, надолго затормозив построение правильной теории гравитации. Лишь в 1915 году гений Эйнштейна сумел стихийно прорваться к предварительному решению задачи, введя в описание гравитационных явлений материю (эфир), заполняющую пространство между гравитирующими телами<sup>3)</sup>. Бесславный финал «силы тяготения»!

Гораздо хуже обстоит дело с силами электрическими и магнитными, теми самыми «силами», по поводу которых еще пятьдесят лет назад Энгельс мог с полным правом констатировать: «Лучше сказать, что магнит (как выражается Фалес) имеет душу, чем что он имеет силу притягивать»!..

Попытка Фарадея и Максвелла расшифровать передачу электрических и магнитных влияний, как чисто механическое взаимодействие между частицами эфира, потерпело, как известно, ре-

шительную и исторически предопределенную неудачу.

Сущность неудачи этой наиболее отчетливо выражена в знаменитых словах Энгельса:

«Всякое движение включает в себе механические движения и перемещения больших или мельчайших частей материи... Познать эти механические движения является первой задачей науки, однако лишь первой... Само же это механическое движение вовсе не исчерпывает движения вообще... Движение во все не есть простое перемещение, простое изменение места... Движение во все не сводится к одному только грубому механическому движению...»<sup>1)</sup>

Констатировав это, признав сложный, немеханический характер электрических и магнитных процессов, происходящих в эфире, диалектический материализм устами Энгельса призвал физику к дальнейшему конкретному изучению этих немеханических процессов, к изучению эфира. Буржуазная физика не откликнулась на этот призыв! Она пошла по пути полного отрицания существования непрерывного материального субстрата мира, выплескивая эфир вместе с отобранной механистической водой...

Она отказалась было даже от чисто математического, непрерывного заполнения пространства значками электрических и магнитных напряжений, попытавшись заменить учение об электромагнитном поле Максвелла теорией «запаздывающего действия на расстоянии» Лоренца. В теории этой освобожденное от каких-либо следов материи мировое пространство оказывается населенным электронами, разбросанными на разных расстояниях и «действующими друг на друга через абсолютную пустоту!

Лишь безысходные тупики абсурдов, в которые очень скоро завели электромагнетизм и основанную на нем электротехнику эти бредовые построения заставляют в самые последние дни спо-

<sup>1)</sup> «Диалектика природы», стр. 11—12.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 142.

<sup>3)</sup> Материя эта учитывается конкретно, как так называемое «поле gik»; gik суть математические величины особого рода (отображающие определенное состояние эфира), распределенные во всех точках бесконечного пространства. Состояние «поля gik» в данном участке определяет очертания пути движения материальных тел. В свою очередь появление материальной массы изменяет «поле gik». В результате этого взаимодействия между материальными телами и полем (эфиром) и происходит движение тел друг около друга по тем или иным кривым.

<sup>1)</sup> «Диалектика природы», стр. 80 и 97.

хватиться буржуазную физику и возвращают ее (в работах М. Борна, 1935) опять на путь непрерывно заполняющего все пространство электромагнитного поля. Иначе говоря, на путь стыдливого признания существования эфира, — нравится или не нравится этот термин господам теоретикам!

«Объясняя непонятные явления, — говорил Энгельс о предшественниках современной ему физики, — они «в основу их (язвлений) клали какую-нибудь силу — движущую, плавательную, электрическую или, где это не подходило, какое-нибудь неизвестное вещество — световое, тепловое, электрическое... Мнимые вещества теперь уж почти устранены, но спекуляция с силами... все еще продолжается...»

Увы, спекуляция эта — через 40 лет после смерти Энгельса — полным ходом продолжается еще и в эти дни!

В качестве примера: кастрировав в 1927 — 30 гг. одно из крупнейших в послевоенной истории науки открытий, — открытие Де-Броглем — Шредингером «волн материи», — физический обскурантизм не нашел ничего более свежего, как... ввести в физический оборот новую разновидность силы! Силу «аустауша» (обмена). Суть дела в том, что при приближении двух систем материальных частиц на достаточное расстояние между связанными с этими частицами волнами возникает естественное взаимодействие. Волны накладываются, интерферируют друг с другом, в результате чего соответствующие частицы вступают в более или менее прочную пространственную связь. Так именно возникает связь между нейтральными («гомеополярными») атомами при соединении их в молекулу (скажем, в водородную молекулу, состоящую из двух атомов).

Причиной, удерживающей два водородных атома на узкой площадке молекулы, является, повторяю, взаимодействие между соответствующими волнами. Как быть, однако, на следующий день после «упразднения» материальных волн, упразднения (на бумаге, конечно!), произведенного, как известно, в 1926—31 гг. по почину В. Гейзенбер-

га, А. Паули и других (находящихся сейчас, кстаги, в фашистском лагере) вождей современной физической попovichины.

Раз нет волн, разыгрывающихся и взаимодействующих в непрерывном эфире, раз атомные электроны и ядра находятся в абсолютно пустом пространстве, тогда нет никаких реальных причин для соединения этих электронов и ядер (в условиях гомеополярной молекулы) в одну тесную частицу.

Если нет причины, надо ее выдумать! И — с маленьким запозданием на подстелегия — появляется на сцене физики «сила аустауша»: самый новейший и самый уродливый из экспонатов архивной кунсткамеры «сил», о каковом экспонате сами авгуры не отзываются в беседах меж собой иначе, как с улыбкой. В нагрузку сей, с позволения сказать, «силе» вменяется заставлять электроны одного, вступающего в молекулярную связь атома меняться местами с электронами атома другого... меняться местами, перепрыгивая во мгновение ока из одного атома в другой — неизвестно как, неизвестно почему и неизвестно зачем — только для того, чтобы убажить нелюбовь к эфиру гг. Гейзенберга, Паули и иже с ними...

Да, поистине, история физического идеализма повторяется столь же плачевно, как и политическая история буржуа. И в первый раз она звучит, как всегда, трагедией, второй же раз оборачивается в фарс.

### 3

Анализ, данный Энгельсом для второго после «силы» основного понятия современной физики понятия энергии и, еще более боевым и непосредственным образом вклинивается в самую гущу боев, кипящих сейчас на авангардных позициях физики.

Тема эта была уже однажды подробно рассмотрена на страницах «Нового мира»<sup>1)</sup>, и мы ограничимся здесь лишь самым кратким напоминанием.

<sup>1)</sup> См. статью «Перпетуум мобиле — последнее слово буржуазной физики», «Новый мир», кн 5 за 1934 г.

Вслед за эфиром физический идеализм пытается «упразднить» закон сохранения энергии!

Ужатившись за некоторый пробел, обнаружившийся в энергетическом балансе атомных ядер (этот пробел уже заполнен ныне открытием новой мельчайшей частицы материи: нейтрино), ряд теоретиков счел своевременным использовать этот момент для возобновления старой атаки на одно из «основных положений материализма» — «закон сохранения и превращения энергии» (Ленин<sup>1</sup>).

Один из главных аргументов, на платформе которого пытается выдвигать акробатические упражнения та часть «несохраненцев», которая, в порядке маскировки, рядится в ура-материалистический костюм<sup>2</sup>), — этот «аргумент» заключается, напоминаю, в следующем.

Для тех областей мира, которые уже известны и изучены физикой, господа несохраненцы, так и быть, готовы «подарить» закон сохранения энергии. Но нельзя ли, спрашивают они, допустить, что в рамках мира, взятого в целом, существуют такие участки материи, к которым вовсе не применимо понятие энергии, а следовательно, не применим и закон ее сохранения. Что за провинциальная «узость» мышления, дескать, считать, что по отношению ко всем, без исключения, как открытым, так и имеющим еще быть открытыми через миллионы лет физическим явлениям будет иметь хождение величина энергии?!

Горе-«материалистам» этим, не в бровь, а в глаз, отвечает сейчас живой, бессмертный Энгельс:

«Утверждение... что в периоде существует, вероятно, масса форм движения, которых мы не способны воспринять своими чувствами, представляет собою

довольно убогое оправдание... отказу от закона о несотворимости движения. Ведь эти невосприимчивые формы движения могут превратиться в доступное нашему восприятию движение...»<sup>1</sup>).

Гвоздь вопроса здесь! Гвоздь вопроса в том, что нет и не могут существовать качественные формы движения, изолированные от всех прочих форм. Что все формы движения «суть проявления одного и того же универсального физического движения», и, следовательно, «доказанной является взаимная связь и взаимные переходы друг в друга всех (подчеркнуто Энгельсом) существующих форм движения»<sup>2</sup>).

И если понимать под энергией то, что понимает под ней, устами Энгельса, материалистическая физика, а именно величину, измеряющую количественную сторону любого материального процесса, тогда бесконечному многообразию качественных форм движения может соответствовать только один их измеритель. Им соответствует энергия, не меняющаяся количественно по ходу любых превращений...

Ибо «движение, как таковое, как форма существования материи, неразрушимо, как сама материя... Если мы знаем, что материя противостоит нам как нечто данное, нечто несотворимое и неразрушимое, то отсюда следует, что движение несотворимо и неразрушимо». Закон же сохранения энергии не устанавливает ничего иного, кроме того, что «разные формы движения переходят при известных условиях друг в друга без какой бы то ни было потери». «Если мы желаем говорить о всеобщих законах, применимых ко всем (подчеркнуто Энгельсом) телам, то нам остается... теория превращения энергии...» Нам остается «великий основной закон» этого превращения, закон, с которым «исчезает последнее воспоминание о внемировом творце...»<sup>3</sup>).

<sup>1</sup>) Ленин, «Материализм и эмпириокритицизм». Соцэгниз. 1931. Стр. 27.

<sup>2</sup>) М. П. Бронштейн вполне серьезно сообщает, например, что, «быть может, техника будущего коммунистического человечества... будет... основана на вечном двигателе». «Сорена. № 1, стр. 10, 1935 г.).

<sup>1</sup>) «Диалектика природы», стр. 84.

<sup>2</sup>) Там же, стр. 97.

<sup>3</sup>) Там же, стр. 214.

## 4

«Клаузиус — if correct<sup>1)</sup> — доказыва-ет, что мир создан, ergo<sup>2)</sup>, что материя создаваема, ergo, что она уничтожаема, ergo, что и... движение создаваемо и уничтожаемо, ergo, что все учение о «сохранении силы» нелепица, ergo, что и все его выводы из этого учения тоже нелепица»<sup>3)</sup>).

В этих строках «Диалектики природы» сформулирована сущность одного из наиболее сложных тупиков, в который пытались шестьдесят лет назад и — на новой, неизмеримо усложненной базе — пытаются и в настоящий момент загнать науку реакционные клики в физике.

Речь пойдет о так называемом «втором начале термодинамики», или о «принципе энтропии» — о том, разъясненном до конца великим германским физиком-материалистом Людвигом Больцманном, законе, который складывается, по существу, из двух основных положений.

Всякое механическое движение в природе, во-первых, имеет тенденцию самопроизвольно расстраиваться и переходить в беспорядочное молекулярное движение: теплоту. И, во-вторых, переход теплоты от более холодного к более нагретому телу невозможен. Невозможно, другими словами, самопроизвольное разогревание любого тела за счет рассеянной между соседними (столь же или еще более холодными) телами, теплоты. Вода, поставленная на лед, не закипит за счет дальнейшего его охлаждения!

Всякое механически перемещающееся тело (камень, брошенный в воздухе) на самом деле, если посмотреть на него изнутри, представляет собой рой частиц (молекул), движущихся организованно образом по параллельным путям в пространстве. Для возникновения такого упорядоченного марша необходимо, очевидно, приложение к телу определенной энергии извне (бросок камня рукой). Наоборот, пе-

реход упорядоченного молекулярного движения нацело в беспорядочное не требует, очевидно, ровно никаких добавочных импульсов, и этот переход может совершаться самопроизвольно. Упав на землю, камень «останавливается». «Встряхнутые» толчком молекулы начинают беспорядочно двигаться быстрее, чем раньше. Механическая энергия переходит нацело в тепловую...

Невозможность самопроизвольной передачи теплоты от более холодного к более горячему телу немедленно разъясняется, в свою очередь, если учесть, что температура определяется средней скоростью беспорядочного перемещения молекул. Становится ясно, что быстро движущиеся молекулы своими толчками и ударами могут раскачать и убыстрить движения молекул, качающихся более вяло. Вероятность же того, что рой медленных молекул, будучи приведен в контакт с еще медленнее движущимися частицами, начнет двигаться от этого быстрее, — эта вероятность исчезающе мала!

И вот целиком и полностью понятное, повторяю, сочетание этих фактов, будучи взято в оборот Рудольфом Клаузиусом (профессором теоретической церкви), и привело, как известно, к ниже следующей цепи выводов, «целевая установка» которых давно уже не вызывает споров...

Если механические движения любых масс материи неумолимо распространяются и переходят в тепловые, тогда, рано или поздно, и весь мир, взятый в целом, не должен ли погрузиться в холодный хаос беспорядочно качающихся с одной и той же средней скоростью молекул? Хаос, из которого, как будто бы, не может уже быть «исхода»?!.<sup>1)</sup>

Чисто астрономически говоря, это означает окончательное потухание всех горящих ныне на небосводе звезд и распыление их материи в холодном мировом пространстве.

<sup>1)</sup> Поскольку и сгущение рассеянной теплоты в одном каком-нибудь участке мира (начинающем от этого самопроизвольно нагреваться), и превращение теплоты самопроизвольно в механическую энергию является, как сказано, совершенно невероятным.

<sup>1)</sup> Если правильно.

<sup>2)</sup> Следовательно.

<sup>3)</sup> «Диалектика природы», стр. 34.

«Тепловая смерть мира»! Но почему она не наступила до сих пор? Почему светит еще солнце над нашей головой и горят звезды в безлунную ясную ночь?!

Бесконечно продолжительно существующая вселенная должна была бы и бесконечно давно превратиться в кладбище рассеянных молекул. Отсюда следует один только, сформулированный на деле и широчайше распропагандированный Клаузиусом, вывод: мир не вечен. Он имеет начало, а следовательно, и «того», кто начал мир...

Эта наиболее примечательная из всех попыток подвести под физику или, точнее, извлечь из нее бога получает трещину уже при первом прикосновении диалектико-материалистического метода.

Все механические, все упорядоченные движения молекул имеют тенденцию необратимо превращаться без остатка в беспорядочный тепловой хаос. Пусть так. Но ведь все дело в том, что формы движения материи в природе не исчерпываются одними механическими перемещениями молекул и отнюдь не сводятся целиком к ним. Все дело в том, что существуют еще и немеханические процессы, немеханические изменения, которые ничего общего не имеют с перемещениями молекул, а потому и не подлежат закону неизбежного и необратимого превращения в теплоту. Сказать, что миру угрожает тепловая смерть, что мир имел «начало» и будет иметь «конец», равносильно, таким образом, в глубокой сути дела, признанию, что все мировое бытие сводится без остатка к механике молекул.

Теологическое шило в механистическом мешке! Наглядный пример того, как метод плоского механицизма, метод упрощения и кастрации бесконечно сложной, переливающей всеми красками и цветами физической материи, будучи продолжен до конца, неизбежно скатывается к религии. Важно напоминание для механистов!

Итак, за счет встречных потоков немеханических процессов разного качества поддерживается, в действительности, вечный и бесконечный круговорот физической материи и ее движения в мире. Механические же и тепловые, упо-

рядоченные и неупорядоченные, корпускулярные перемещения, входя сюда в качестве одного, и только одного, из звеньев, регулируются уже вторичным образом. На определенных этапах превращения материи становится тогда возможным возникновение новых количеств механической тепловой энергии. Становится возможным — на отдельных участках мира — и самопроизвольное разогревание холодных масс материи, а также самопроизвольное превращение тепловой энергии нацело в механическую — не «из ничего», разумеется, а за счет немеханических процессов мира.

«Мы приходим... к выводу, что излучаемая в мировое пространство теплота должна иметь возможность... путем, установить который предстоит в будущем естествознанию, превратиться в другую форму движения, в которой она снова может накопиться и начать функционировать. А в таком случае отпадает и... трудность, мешавшая обратному превращению умерших солнц в раскаленную туманность...»<sup>1)</sup>

Гениальное предсказание это, подводящее итог энгельсову анализу второго начала термодинамики, и реализуется сейчас, через 40 лет после смерти Энгельса, в важном открытии европейской экспериментальной физики.

Начну с того, что сущность процесса лучеиспускания звезд, оставшаяся чистой загадкой во времена Энгельса, уточняется в настоящее время физикой в следующем виде. По ходу остывания звезды происходит превращение звездной материи из одной формы в другую. Мельчайшие составные части атома: электроны и протоны, сталкиваясь и взаимопогашая свои противоположные заряды, прекращают существование<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> «Диалектика природы», стр. 99.

<sup>2)</sup> Реальность этого процесса доказана в 1933 г. прямым опытом, произведенным Анри Тибо в Париже. Поток положительных электронов (позитронов), направленный на рой отрицательных электронов, приводил к взаимоничтожению тех и других с выделением гамма-лучей (коротковолнового света). Число фотонов (частиц) в наблюдаемом гамма-пото-

Вещество их преобразуется нацело в частицы нового качества, а именно, в частицы света (фотоны), вылетающие в стороны за тем прочь из звезды, унося с собою всю энергию уничтожившихся электронов и протонов.

Остывание каждой звезды сопровождается, таким образом, не только рассеиванием ее механической, тепловой и всякой иной энергии в мировом пространстве, но и распылением звездной массы. Блауждающие в космических просторах рои беспорядочно движущихся фотонов, — таков, следовательно, финал первого этапа превращений материи и энергии во вселенной. Но если так, тогда для поддержания вечного круговорота этих превращений должен существовать и встречный процесс обратного самопроизвольного превращения фотонов в пары противоположно заряженных атомных частиц.

Вот это, магистральное для всего развития космоса, встречное превращение и наблюдается в один из последних месяцев, на опыте в лаборатории Ирен Кюри и Фредерика Жолио в Париже.

Путь следования небольшой струйки гамма-лучей, пущенной сквозь пересыщенные водяные пары, фотографировался Жолио и Кюри на пластинку. Вдоль этого пути ясно обнаруживались тогда двойные, исходящие из одной точки, капельные следы двух противоположно наэлектризованных частиц, из которых одна — отрицательный электрон, а другая — положительный позитрон. Трансформация фотонов в отрицательные и положительные составные части атомов доказана! Доказано «вечно повторяющееся последовательное появление миров в бесконечном времени...» «Материя движется в вечном круговороте... в котором каждая отдельная форма ее существования... одинаково преходяща, и в котором ничто не вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно движущейся материи и законов ее движения и изменения...»<sup>1)</sup>

Атака обита. Но непростительно близорук был бы тот, кто не предвидел бы контратаки, изощренность которой прямо пропорциональна ненависти теологов к материалистической диалектике и к активному вмешательству ее в дела науки.

В этой статье я могу дать только намек на новый поворот событий, завязавшихся вокруг проблемы «тепловой смерти мира».

Урок, данный материалистической диалектикой на предыдущем этапе проблемы, не прошел даром! Учтена, в частности, невыгодная (для теологической агентуры в термодинамике) связь «тепловой смерти» с чистой механикой! Попытка подвести под сию смерть более крепкий и надежный фундамент и делается на наших глазах в переживаемый момент...

Мы будем говорить об «отрицательной энергии». Величина энергии, несомненно всеми, известными до недавних пор, материальными телами (речь идет, подчеркиваю, уже не только о механической или тепловой, но о любой вообще, возможной в природе, энергии) есть, как известно, положительная величина. Никто и никогда не слышал о телах, имеющих «отрицательную энергию»! Но в 1930 г. П. А. Н. Дирак впервые показал, что состояния с отрицательной энергией реально существуют в природе на тех же основаниях, что и «положительные» состояния. Остаются же незамечаемыми они по той простой причине, что «отрицательная энергия» есть очень малая (меньшая, чем самая малая положительная) энергия. И те изменения и движения, что совершаются телами с отрицательной энергией, столь «вялые» и слабые движения, что они, естественно, должны ускользать и ускользают фактически от самых тонких приборов физики...

Согласно вполне обоснованному предположению Дирака мир заполнен, в частности, неисчислимыми массами «це-

ке было ровно вдвое больше, по сравнению с числом уничтожившихся позитронов. Их энергия равнялась — соответственно — полной энергии уничтожившихся электронов и позитронов.

1) «Диалектика природы», стр. 99.

пенелых» электронов, погруженных именно в такое «отрицательное» состояние и не доступных прямому опыту.

В этом именно пункте — перед нами вопрос, представляющий новую транскрипцию иезуитского «вопроса» Клаузиуса, переведенную теперь лишь на новый, неизмеримо более утонченный физический язык...

Раз, кроме «активных» состояний с положительной энергией, в физическом мире существуют состояния с еще меньшей энергией, то почему все электроны мира не заняли с самого начала этих наименьших, т.-е. отрицательных, энергетических уровней?! Какая сила «встряхнула» и подняла нынешние активные электроны через ноль, сделав возможным современный спектакль вселенной? Этот спектакль не должен был как будто состояться, однако же, он происходит сейчас на наших глазах! И если он однажды уж состоялся, то не должен ли он рано или поздно окончиться («концу мира» соответствует здесь «падение» всех электронов с положительной энергией обратно в тот оцепенелый рой, который они покинули в «первый день творения»)?!

Ответ на эту вот достаточно хитро-сплетенную — надо отдать ей справедливость — ситуацию содержится в гениальных строках Энгельса:

«Вечно повторяющаяся последовательность появления миров в бесконечном времени является... логическим королаарием<sup>1)</sup> к одновременному существованию бесчисленных миров в бесконечном пространстве...»<sup>2)</sup>.

То-есть вечность мирового времени внутренне неразрывно связана с бесконечностью мирового пространства и наполняющей его материальной массы! Ход рассуждений, приводящий к выводу о «начале» и «конце» мира, явно или неявно, но содержит в себе, тем самым, абсурдную посылку о

<sup>1)</sup> «Королаарием» (лат. «добавление») называется в логике вспомогательное предложение, с необходимостью стоящее в связи с доказательством какого-нибудь другого основного положения.

<sup>2)</sup> Там же.

конечности пространства и массы мира.

Именно так и обстоит дело в разбираемом нами случае!

Учтем прежде всего тот, твердо установленный современной физикой, факт, что на каждом возможном в природе уровне положительной или отрицательной энергии может одновременно находиться не более двух электронов.

«Рассаживаясь» тогда «снизу» по два на каждый уровень электроны только в том случае не выйдут за пределы отрицательных «оцепенелых» состояний, если число их в мире ограничено. Бесконечному числу отрицательных свободных мест, и впрямь, соответствовало бы тогда конечное число электронных «пассажиров»! В том же (единственно реальном) случае, когда число электронов во вселенной неограниченно-велико, бесконечному числу «мест» противостоит бесчисленное же число «пассажиров»... Бесчисленному количеству отрицательных и положительных энергетических уровней соответствует бесчисленное множество электронов!

Мировое бытие не ограничивается в этом последнем случае отрицательной энергетической ареной, но самопроизвольно (безо всякого участия «творца») переплещивается в область положительных энергий. Бесконечная смена «падений» и «подъемов» электронов с одних уровней энергии на другие и составляет тогда первичный круговорот материи в мире... «Как бы часто ни совершался во времени и пространстве этот круговорот, сколько бы бесчисленных солнц и земель ни возникало и ни погибало... материя во всех своих превращениях остается вечно одной и той же... Ни один из ее атрибутов не может погибнуть... и с той же самой железной необходимостью, с какой она некогда истребит на земле свой высший цвет — мыслящий дух, — она должна будет снова его породить в другом месте и в другое время...»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> «Диалектика природы», стр. 99.

## 5

Вопросы строения атома, вопросы, вставшие конкретно в поле зрения физики лишь после смерти Энгельса, были предугаданы нашим учителем в той наибольшей мере, в какой только это возможно для гения, вооруженного методом, наиболее глубоко проникающим сквозь туманы будущего...

«... Атомы, — пишет в «Анти-Дюринге» Энгельс, — не являются мельчайшими... частицами материи... Атомы обладают сложным составом... Строение материи оперирует дифференциалами второго порядка, и... в природе имеется еще аналогии  $d^3 x$ ,  $d^4 x^1$ ) и т. д.»<sup>2)</sup>. Нет и не может быть предела для дробления атома на все более и более мелкие частицы!

Не забудем, что это писалось в 1878 г., в период, когда само существование атомов подвергалось беззубым насмешкам как воинствующего мракобесия (утверждавшего, по словам Поггендорфа, что «основания для веры в атомы не больше, чем для веры в чертей»), так и импотентного агностицизма дубуа-реймоновского толка... Не забудем, что еще в 1904 г. бесструктурность атома была возведена в догмат Менделеевым, отрицавшим самую возможность проникновения науки внутрь атома...

<sup>1)</sup> Математические символы  $d^3 x$  и  $d^4 x$  означают дифференциалы, т. е. бесконечно-малые величины третьего и четвертого порядка малости. Разумеется, объемы атома и субатомных частиц, взятые в отдельности, не являются бесконечно-малыми, но по отношению ко всей бесконечной материи эти объемы являются дифференциалами разного порядка малости.

<sup>2)</sup> «Анти-Дюринг», стр. 246, 247.

С бесстрашием гения Энгельс не останавливается на этом первом положении. «Новая атомистика», — продолжает он, — будет отличаться «от всех прежних тем, что она... не утверждает, будто материя просто дискретна...» «Дискретные части являются различными ступенями и... различными узловыми точками», обуславливающими «различные качественные формы бытия у всеобщей материи...»<sup>1)</sup>.

То-есть предсказываемое материалистической диалектикой проникновение физики внутрь атома должно заключаться не в механическом рассечении его на все более и более мелкие бесструктурные кусочки. Дело будет обстоять не так. Каждый новый мельчайший объем интраатомной материи расшифруется как особый, бесконечно сложный микрокосм со своими особыми, ему одному присущими качествами и свойствами.

Реализацией этого поразительного предсказания является в 1913—35 гг. весь триумфальный марш современной физики внутрь атома. Марш, приведший в 1913 г. к открытию атомного ядра, в 1919-м — находке внутри ядра протона, в 1932-м — нейтрона, в 1933-м — позитрона, в 1934-м — нейтрино и так без конца...

Спуск штурмовых колонн физики в бескрайние глубины мира продолжается. Знамя воинствующего материализма, великое и непобедимое знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, реет над ними.

<sup>1)</sup> «Диалектика природы», стр. 115.

# Литература и искусство

1. П. РОЖКОВ — Беспринципная спекуляция под видом критики. 2. А. СТАРЧАКОВ — По поводу одной теории. 3. И. АНИСИМОВ — Лирика Верхарна

## 1. БЕСПРИНЦИПНАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ ПОД ВИДОМ КРИТИКИ

### П. Рожков

Некоторые наши литературные караси-идеалисты полагают, что самым верным способом ликвидации отставания критики является конкретная критика сама по себе. Стоит ли, дескать, заниматься «негативной» работой по разоблачению антимарксистских рапповских теорий, вести длительную и упорную борьбу за марксистско-ленинское понимание сущности социалистического реализма и социалистической романтики, — за определение основных принципов критики, — когда дело гораздо проще: пусть критики разбирают в своих статьях как можно больше конкретных произведений наших писателей, а остальное само собой приложится... Автору этих строк уже приходилось указывать на то, что рассуждающие по такому способу караси-идеалисты не понимают одной «мелочи»: дело не в конкретной критике самой по себе, а в характере конкретной критики. Подлинно конкретная критика возможна только при том условии, если она будет высоко теоретической и, следовательно, глубоко принципиальной. Если же это условие отсутствует, то всякие разговоры о конкретной критике неминуемо превращаются в пустую фразу. Нелепо и чудовищно называть конкретной критикой такую критику, в основе которой лежит беспринципность. Такая

критика не в состоянии правильно оценить то или иное художественное произведение, не в состоянии чему-либо научить писателя или читателя. Такая критика иногда формально (чисто словесью) приспосабливается к очередным лозунгам вождей, к политике партии, но по сути своей она не двигает наших писателей вперед, а только паразитирует на живом теле советской литературы и спекулирует на бдительности, на лозунгах вождей, на политике партии. Одним из образцов именно такой беспринципной и спекулятивной критики является как-раз последняя статья тов. Ермилова, напечатанная в восьмой книжке «Красной нови».

В своей статье В. Ермилов подвергает уничтожающей «критике» новую повесть Федора Гладкова — «Трагедию Любаши». Ссылаясь на разговор Эжкермана с Гете о пользе «конгенальной иллюстрации» живописца кистию к тем картинам, которые рисует живописец словом, Ермилов (имея в виду повесть Гладкова), спрашивает: «Каких людей должен был бы рисовать наш воображаемый живописец? Какой колорит... какая общая атмосфера характеризовали бы эту картину? Какой образ завода встал бы перед зрителем?» По мнению нашего критика, взыскующему взору

«воображаемого живописца» представилась бы следующая мрачная картина:

«Злобствующие, грубые, неопрятные люди суеятся около величественно-красивых, благородных, чистых, изящных, живых, музыкальных машин... Музыкальность, красота и совершенство машины и уродство, хилость, несовершенство человека, — таково основное противоречие, которое принужден будет констатировать наш иллюстратор».

Зачем же Ф. Gladкову понадобилось злобствующим, грубым и неопрятным людям прогивопоставлять величественно-красивые и благородные машины? Для понимания этого странного феномена наш критик считает необходимым «углубиться в сюжет повести». А углубившись в сюжет, он приходит к тому выводу, что в основе концепции повести «лежит обожествление машины... человек существует для вещи, для машины, а не наоборот». Разумеется, такая (кстати сказать, приписываемая нам меньшевиками) «концепция» не соответствует политике партии, и наш критик спешит засвидетельствовать этот факт с документами в руках. Он с ортодоксальным пафосом цитирует тт. Сталина и Жданова и, «дружески» похлопывая Gladкова по плечу, развязно рекомендует ему запастись «живым ощущением реальной действительности» и осознать значение нового лозунга партии о внимании к живым людям, к кадрам.

Найдутся опять-таки караси-идеалисты, которые воскликнут: «А вот и хорошо! Писатель, стало быть, отстал от жизни, а критик это во время заметил и поставил вопрос на обсуждение. Стало быть, «наша критика выросла», стало быть, верно то, что «из полосы разговоров об отставании критики мы вступаем в период непосредственной ликвидации этого отставания»<sup>1)</sup>. Слов нет, поэтично и соблазнительно быть карасем-идеалистом! Однако, мы относимся с нескрываемым скептицизмом к философическим восторгам этой мелкой рыбешки,

либо считаем глубоко-истинным мнение великого русского сатирика о том, что, как правило, караси забывают о существовании щуки, и потому всегда попадают ей в «хайло». Принимая во внимание это пресанкетное обстоятельство, мы оставим пока в стороне наших карасей и посмотрим, какими аргументами кригик Ермилов обосновывает свои выводы, какие у него имеются доказательства в пользу вышеприведенной интерпретации повести.

Одно из «доказательств» нашего критика состоит в том, что в повести Gladкова якобы нет «никакой радости труда».

«Никакой радости труда нет в повести Ф. В. Gladкова. Люди здесь — унылые жертвенники, отдавшие себя вещи и утешающиеся «простой детской радостью» слияния с вещью. В сущности, это какие-то сектанты, изнуряющие себя в молении богу своему — продукту их собственных рук».

Ермилов недоволен тем, что в повести много «неопрятных лиц и фигур», что работница Марья Власовна — «сырая, рыхлая» и «тяжело тащила свои толстые ноги», что от мастера Сергеева идет «терпкий запах старого пота». Вдобавок ко всему этому у некоторых действующих лиц — «хмурый, угрюмый вид и неумение смеяться». Эти действующие лица позволяют себе «мурзиться», «лаять» и пускают в употребление оскорбительное словечко «дерьмо».

Представим себе, что мы еще не знаем содержания повести, и рассмотрим вышеприведенное рассуждение Ермилова пока-что безотносительно к сюжету. Мы отнюдь не стоим за то, чтобы писатель изображал людей, занятых в социалистическом производстве, в виде «унылых жертвенников». Полагаем также, что Ф. Gladков вполне мог обойтись без таких выражений, как «мурзился» и «дерьмо». Но наряду с этим мы считаем, что будничная работа в производственных цехах наших фабрик и заводов пока еще отличается от карнавалных и даже обыкновенных прогулок по Центральному парку культуры и отдыха. Бесспорно то, что мы имеем великие

<sup>1)</sup> См., например, передовую «Лит. газеты» от 6 марта 1935 г.

успехи в промышленности — и в отношении технической реконструкции, и в отношении социалистической организации труда. Однако, было бы, безусловно, вредным предаваться по этому поводу головокружению от успехов и забывать о реальных трудностях и противоречиях нашего роста. Отмечая наши великие победы в индустриализации страны и достижения передовых предприятий, тов. Орджоникидзе (в своей речи на совете при наркомте тяжелой промышленности 12 мая 1935 г.) предостерегал руководителей нашей промышленности от зазнайства и успокоенности. «За эти годы, — сказал тов. Орджоникидзе, — мы выросли гигантски. И вот я боюсь, что каждый из вас, вспоминая вчерашнее свое прошлое, сравнивая его с сегодняшним днем и видя ту громадную разницу между тем, что было вчера, и тем, что есть сегодня, не решил бы, что достигнуто столько, сколько нужно, и дальше идти некуда... Мы с вами пока еще недостаточно культурны, кругозор наших работников еще ограничен деревенщиной, а ведь нам работа предстоит огромная» (подчеркнуто мной.— П. Р.).

Вот эту сторону дела — наличие деревенщины в сознании многих работников нашей промышленности — тов. Ермилов как-раз и не хочет замечать. Ермилов забывает о том, что санитарное состояние и организация труда в цехах многих наших фабрик и заводов еще далеки от совершенства. В производственных цехах многих наших фабрик и заводов можно обнаружить и грязь, и суетливость, и неопрятность, иначе говоря, недостаточно культурную организацию труда, недостаточно культурные отношения между живыми людьми. И когда писатель с партийной точки зрения подмечает такие явления, смело изображает и критикует их в своем произведении, то он выполняет свою прямую гражданскую обязанность, ибо приковывает внимание партии и всех трудящихся нашей страны к отрицательным явлениям нашей жизни, мобилизует энергию масс на преодоление этих отрицательных явлений.

Критик Ермилов имел полное основание поставить вопрос о том, насколько удачно Гладков распределяет в своем произведении свет и тени, соблюдает ли он меру, не впадает ли в излишества, и в какие именно, когда описывает производственный процесс и людей, занятых в этом процессе. Такой вопрос критик имел полное основание поставить. Но едь у Ермилова нет и намека на такой подход к делу. Для него, так сказать, а priori не существует трудностей на производстве: по смыслу его рассуждений, объективно выходит так, что в цехах всех наших фабрик и заводов такая сплошная «красивая жизнь», при которой людям категорически запрещается иметь толстые ноги, хмуриться или потеть. Ермилов, повидимому, считает, что старые работницы (в роде Марьи Власовны) обязательно и при всяких обстоятельствах должны изображаться нашими писателями в виде грациозных студенток Института физической культуры, шествующих на парад, а старые рабочие (в роде мастера Сергеева) — в виде стройных и элегантных дискоболов из «Строгого юноши» Юрия Олеси. Всем памятны те громы и молнии, которые Ермилов (под руководством Авербаха) в свое время метал против так называемой «лакировки действительности». Но разве не ясно, что в его собственных напыщенных декламациях о «радости труда» явственно проступает тенденция именно лакировки действительности.

Этот вывод напрашивается даже при том условии, если критические рассуждения Ермилова брать сами по себе, безотносительно к сюжету. Но, чтобы по достоинству оценить рассуждения Ермилова, мы должны рассматривать их в теснейшей связи с содержанием повести. Действие новой повести Гладкова разворачивается на одном из наших заводов. Цех, производящий автотолшнур для тракторных, автомобильных и военных заводов, попадает в положение прорыва: неимоверно и прогрессивно растет процент брака. Молодая работница Любаша — ударница и бригадир цеха, попавшего в прорыв. Она в первую очередь отвечает за производство. Здесь и

начинается завязка сюжета. Любашу, как бригадира и члена партии, вызывают в партком, секретарь парткома Дробишин читает ей длинные наставления («предупреждаю, Любаша»; «подтянись!»; «а еще большевичка!» и т. д.), но никакой деловой помощи ей не оказывает. Точно такое же канцелярско-бюрократическое отношение к себе встречает Любаша и со стороны непосредственных руководителей цеха: секретарь цехачейки Мишурина и цехмастер Сергеев тоже «подтягивают», стыдят и распекают Любашу вместо того, чтобы оказать ей какую-либо реальную, конкретную помощь. Дробишин, Сергеев и Мишурина требуют от Любаши, чтобы она дала продукцию «высокой радости», но, как это сделать, они ей не говорят. Даже самый близкий для Любаши человек, ее муж, комсомолец Модест, и тот отсграничивается от Любаши и становится на сторону Дробишина и Сергеева. Поведение заводских руководителей является тем более странным, что, по собственному же признанию секретаря парткома, Любаша до внезапного прорыва в цехе была «лучшая ударница» и ее бригада была премирована за то, что она «брак довела до минимума». Далее, Любаша не раз говорила и Дробишину, и всем, «кому надо», об истинной, по ее мнению, причине прорыва — о том, что из оклада стала поступать пряжа нигде негодного качества, а причину такого ухудшения качества пряжи Любаша усматривает в бесхозяйственности, может быть, и во вредительстве на складе. Все эти обстоятельства заводские руководители пропустили мимо ушей. Вдобавок ко всему этому сама любашина бригада также ведет себя странно: девчата, с которыми Любаша работала много лет и подружилась на производстве, вдруг отворачиваются от нее, не оказывают ей поддержки (такое поведение бригады в известной мере объясняется поведением заводских руководителей: «если, мол, против Любаши восстало все заводское начальство, то это не спроста, что-нибудь в Любаше кроется»). Любаша, по сути дела, попадает в положение травли. Когда Любаша начинает протестовать и говорить

о внимании к живым людям, к душе человека, то «руководители» (вроде Сергеева) раз'ясняют ей, что им на душу человека «наплевать».

Вот обстановка на заводе и в цехе, вот тот фон, на котором перед нами выступают действующие лица. Спрашивается: есть ли что-либо удивительного в том, что в такой обстановке, при таких порядках на заводе в цехах суетятся «злостствующие, грубые, неопрятные люди»? Полагаем, что ничего удивительного тут нет. Нет ничего удивительного потому, что в повести изображается не передовое предприятие с образцовой организацией труда, а предприятие отсталое; показываются не хорошие руководители, а плохие. Но, может быть, сам Gladkov этого не понимает? Может быть, он сочиняет свои повести без всякой мысли и цели, просто ради самого процесса сочинения? Может быть, он подходит к описываемым им событиям и людям, как беспартийный наблюдатель и объективист? В том-то и дело, что все обстоит как раз наоборот. Gladkov сознательно защищает в своей повести партийную точку зрения. Он резко противопоставляет изображаемые им характеры: с одной стороны — герои фразы: чиновники и бюрократы (Дробишин, Мишурина, Сергеев); с другой стороны — честные работницы, передовые ударницы, болеющие душой за производство (Любаша). Первых Gladkov беспощадно критикует, он над ними издевается, а вторым явно симпатизирует.

Так выглядит повесть Gladkova со стороны идейного замысла и в очень большой мере со стороны объективно данного содержания. Критик Ермилов совершенно игнорирует этот идейный замысел, это содержание повести, и прежде всего пытается представить дело так, как будто Gladkov не делит героев на отрицательных и положительных, а изображает людей вообще. Ермилов с дрожью в голосе жалуется на —

«ту странную пренебрежительность, тот холод, с которым автор (т.е. Gladkov. — П. Р.) относится к своим персонажам. Своих некрасивых, дур-

но пахнущих людей автор называет не иначе, как «Макарками», «Маньками», и характеризует их презрительно-уменьшительными словами. Все это разнообразно уродливые люди».

Совершенно верно. Маньку и Макарку Гладков действительно характеризует уменьшительными словами и отнесется к ним с пренебрежительным холодом. Но кто такие Манька и Макарка? Ермилов пытается уверить читателя в том, что это люди вообще, что «мотивы их мерзких поступков неизвестны», что «социальная, политическая характеристика людей (вроде Маньки, Макарки и др. — П. Р.) совершенно отсутствует». Так ли это? Возьмем, например, Маньку. В повести ясно сказано, что за сплетни и клевету Маньку Речкину «исключили из бригады» Любаши. Перейдя на работу в склад, Манька начинает мстить Любаше: в повести есть указание на то, что Манька «реванш берет», умышленно подсовывает в любашин цех бракованую пряжу, т. е. вредительствует. Далее, Манька делает ложный донос зав. складом Кулакову о том, что будто бы Любаша украла пряжу на складе для изготовления берета. По этому ложному доносу Кулаков, оказывающийся на поводе у Маньки, организует наглый налет на квартиру Любаши с яичным обыском. А кто такой Макарка?

«Макарка, — пишет Ермилов, — систематически травит Любашу, преследует ее, мечтает только об одном: об устройстве какого-нибудь скандала, склоки, клеветы. Почему этот рабочий — такой низменный человек? Почему он так обозлен? Может быть, он болен? Или он — кулак, или подкулачник, пробравшийся на завод? Может быть, он подвержен классово-враждебным влияниям? Или же у него есть какие-нибудь личные счёты с Любашей?»

По смыслу рассуждений Ермилова выходит, что в повести нет и намека на мотивы поведения Макарки, нет и намека на то, кем является Макарка. Но это неверно. В повести членораздельно

сказано, что Макарка — брат Маньки. Уже этого достаточно, чтобы предположить у него «какие-то личные счёты с Любашей». Кроме того, Макарка вообще показан в повести, как бульварный пижон и хулиган (любит вываливаться из трамвая прямо в толпу, шатается по ночам с гармошкой, а жена от него плачет). Уместно поставить вопрос о том, достаточно ли полно перечисленные выше поступки характеризуют отрицательные образы Кулакова, Маньки и Макарки? Мы считаем, что Гладков мог и должен был более полно мотивировать поступки названных героев и политически более ярко очертить их отрицательные качества. Однако, одно совершенно ясно: отрицательная характеристика Кулакова, Маньки и Макарки в повести дана, мотивы поведения этих героев указаны. Отсюда следует, что утверждение Ермилова, будто мотивы мерзких поступков Маньки и Макарки «неизвестны» и будто социальная характеристика названных героев «совершенно отсутствует», — это утверждение Ермилова является вздорным. По замыслу Гладкова и по объективному смыслу повести Манька и Макарка — отрицательные герои; Маньку и Макарку Гладков сознательно изображает «уродливыми людьми». Отсюда совершенно понятным является тот пренебрежительный холод, с которым относится Гладков к названным героям. Ермилов же представляет все дело шиворот-навыворот: он уверяет читателя, что речь идет не о плохих, а о хороших героях, что будто бы Гладков

«так пренебрежительно пишет о живых людях, о своих товарищах по великой борьбе и работе!»

Разве не ясно, что Ермилов, по сути дела, совершает подлог? Мы не можем позволить Ермилову безнаказанно перевирать идейный смысл повести, тем более, что подобным образом Ермилов обращается не только с Манькой и Макаркой. Изображенные в повести заводские бюрократы и чиновники (Дробинин, Сергеев и др.) опять-таки интерпретируются Ермиловым шиворот-навыворот. Он пишет:

«И Дробишин, и Сергеев, и все другие передовые люди завода, которых Ф. В. Гладков представляет, как исключительно симпатичных людей и передовых, выдержанных большевиков, по сути дела, являются самыми злостными, самодовольными бюрократами и тупицами» (подчеркнуто мной. — П. Р.).

Итак, согласно уверениям Ермилова, выходит, что злостных и самодовольных бюрократов Гладков сознательно представляет, как исключительно симпатичных людей. Но откуда же это следует? Почтенный критик, прежде всего, впадает в неразрешимое логическое противоречие. Ведь в начале своей статьи он утверждает, что Гладков изображает своих героев в виде «довольно отвратительных и неопрятных лиц и фигур». К числу таких отвратительных и неопрятных лиц и фигур Ермилов относит и мастера Сергеева («ноздрястого, мокроусого старика»), и Дробишина («кривоногого урода»). Все это написано Ермиловым на 193-й странице восьмой книжки «Красной нови». На следующей, 194-й, странице того же номера названного журнала Ермилов еще раз заявляет, что Дробишин и Сергеев (наряду с Маньками и Макарками) выступают в повести, как «разнообразно уродливые люди». Как же после всего этого Ермилов осмеливается утверждать, что тех же самых Дробишина и Сергеева Гладков «представляет, как исключительно симпатичных людей»? Не ясно ли, что критик запутался в своих собственных утверждениях? Нисколько не смущаясь этим обстоятельством, Ермилов продолжает «углублять» свои выводы и, имея в виду тех же Дробишина и Сергеева и им подобных, пишет:

«Если бы автор хоть одним штрихом дал почувствовать, что речь идет о плохих, сомнительных большевиках, если бы он писал сатиру на куда негодных, зарвавшихся «руководителей»... на бездушных бюрократов,

тогда, конечно, вся повесть зазвучала бы по-другому. Но здесь нет критики, осуждения этих людей...»

Запомним: автор повести, якобы ни одним штрихом не дал почувствовать, что речь идет о плохих, сомнительных большевиках, что повесть есть сатира на куда негодных «руководителей». Но если это так, то откуда же наш почтенный критик мог вывести категорическое заключение о том, что руководители завода «являются самыми и злостными, самодовольными бюрократами и тупицами»? Ведь о тех материях, которые объективно не даны в повести («ни одним штрихом!»), нельзя рассуждать с таким видом, как если бы эти материи в то же время в повести были даны! Не ясно ли, что Ермилов зарапортовался: согласно его же собственным уверениям, выходит, что он формулирует свои выводы не на основании объективно данного в повести содержания, а просто высасывает их из пальца.

Выходит, что Ермилов не в состоянии элементарно логически связать концы с концами. Но не в этом, разумеется, главное. Главное в том, что Ермилов говорит неправду по существу. Из замысла и объективного содержания повести ясно, что Дробишина, Сергеева, Мишурину и им подобных Гладков изображает не в виде «исключительно симпатичных людей и передовых, выдержанных большевиков» (как в этом уверяет Ермилов), а в виде именно плохих большевиков. Сам Ермилов (впадая в безнадежное противоречие с самим собою) вынужден признать этот непреложный факт. Анализируя повесть, он находит, что муж Любаши, Модест, —

«так же, как и Сергеев, и Дробишин... дает издевательски-бюрократические ответы Любаши на ее вопросы о том, что конкретно ей нужно делать...» «Модест, Сергеев, Дробишин в отношении к трагедии бедной Лизы (явно несерьезное, легкомысленное сопоставление. — П. Р.), то-бишь бедной, несчастной, беспомощной Люба-

ши, ничем не отличаются друг от друга. Руководитель партийной организации Дробишин, точно так же, как Модест и Сергеев, норовит «наплевать на душу» и так же, как они, не проявляет абсолютно никакого интереса к делу, к конкретным вопросам о том, как и что можно улучшить».

И далее, в виде окончательного резюме, Ермилов об отрицательных персонажах повести говорит так:

«Стоит на одну минуту сопоставить образ, дачный товарищем Сталиным, — образ садовника, выращивающего облюбванное плодовое дерево, — с образами Дробишина, Сергеева, Модеста, как сразу станет совершенно ясной чуждость этих «руководителей» тому типу большевистского организатора-воспитателя, который встает в речи товарища Сталина».

Совершенно верно. Но что это значит? Это значит, что Ермилов сам себя великолепно любивает, ибо он сам признал, что заводские руководители — Дробишин и Сергеев — показаны Гладковым, как бездушные чиновники и бюрократы. Этим бюрократом в повести противопоставлена коммунистка Любаша. Ермилов не осмеливается утверждать, что к Любаше Гладков относится с пренебрежительным холодом, что Любашу Гладков рисует в таком же уродливом виде, как Дробишина и Сергеева. Наоборот, Ермилов вынужден признать, что «Любаша... и ее муж Модест наделены нормальной человеческой внешностью». Но почему же Гладков относится к Любаше иначе, чем к Дробишину и Сергееву? Да потому, что Любашу Гладков показывает как положительного героя, и этого героя он противопоставляет отрицательным персонажам, плюющим на душу человека. Стало быть, свидетельские показания самого критика Ермилова находятся в коренном противоречии с его же собственной общей оценкой повести.

Ермилов замазывает следующие основные факты:

1. Гладков взял для своей повести современную, боевую тему: он вводит

читателя в заводскую обстановку, непосредственно в цех и знакомит его с жизнью и борьбой сегодняшнего рабочего класса за интересы социалистического производства. Это свидетельствует о том, что Гладков неизменно продолжает традицию пролетарского писателя в самом тесном смысле этого слова.

2. Основным героем повести Гладкова является новая советская женщина. Однако, не в этом еще суть дела. Нам приходилось указывать на то, что в большинстве произведений советских писателей современная советская женщина предстает преимущественно, как особь своего пола, как любовница и т. п.<sup>1)</sup> Но очень мало можно указать таких примеров, когда бы советская женщина была показана в нашей литературе в своем общественном значении, в качестве ударника и бригадира социалистического производства, героя науки, транспорта, авиации, колхоза и т. д. Достоинство повести Гладкова состоит в том, что он изображает новую женщину не только в роли хорошей советской жены и матери, но, главным образом, в том, что он изображает эту женщину преимущественно в ее общественной функции, в качестве ударника и организатора социалистического производства, в качестве человека, у которого даже семейные дела, эстетические вкусы<sup>2)</sup>, вопросы личного счастья целиком подчинены общим интересам великого пролетарского коллектива.

3. Для своей повести Гладков не просто взял героев из жизни современного

<sup>1)</sup> Не безынтересно в этой связи привести следующее симптоматичное высказывание молодой колхозницы Клавдии Харитоновой, кандидата в члены партии (Кораблинская МТС Московской области), о покое женщины в «Тихом Доне» Шолохова: «По-моему, — говорит Харитоновна, — все-таки Шолохов обижает женщину, смотрит на нее сквозь пальцы. А от этого и получается у него так, что мужчины передовые, а женщины все в хвосте, отсталые, только одной любовью и живут. Это неверно» (см. ст. Б. Брагинной «Колхозный читатель», «Новый мир», кн. 8. 1935 г.).

<sup>2)</sup> Читая современную советскую литературу, Любаша находит, что советские писатели плохо отражают жизнь рабочего класса, в частности не пишут о таких женщинах, как она.

рабочего класса, а изобразил этих героев в острой ситуации. Он взял ответственный и критический момент из жизни завода — момент прорыва в одном из важнейших цехов — и смело обнажил те противоречия и конфликты, которые в связи с этим возникли в отношениях между живыми людьми.

4. Заставив своих героев действовать в сложной обстановке, Гладков изображает этих героев не в виде людей вообще, а в виде представителей различных тенденций. Он противопоставил характеры, т.-е. изобразил героев повести, как людей положительных и отрицательных, как людей борющихся, по сути дела, за различные цели и интересы. Повесть Гладкова объективно есть критика и сатира на такого рода болтунов и бюрократов, как Дробишин и Сергеев. А это основной и решающий факт для оценки повести: этот факт говорит о большой смелости и политической чуткости Гладкова. Этот факт говорит о том, что повесть Гладкова попадает как раз в точку: она есть художественный документ борьбы за политику партии.

Сравним теперь действительный смысл повести с тем смыслом, который вкладывает в повесть Ермилов.

а) В действительности: идея повести заключается в том, что Гладков показывает противоречие между чиновно-бюрократическими методами руководства и политикой партии.

б) Согласно утверждению Ермилова: идея повести состоит в том, что Гладков показывает, с одной стороны, «музыкальность», «красоту и совершенство машины», и, с другой стороны, «уродство, хилость, несовершенство человека». Гладков, якобы, стоит за «обожествление машины». По Гладкову, мол, «человек существует для вещи, для машины, а не наоборот»...

Не ясно ли, что Ермилов ставит факты вверх ногами, что он скандально извращает идею повести? Особенно же нетерпимым является то, что, грубо извращая идею повести, Ермилов пытается

заработать при этом политический капитал.

«Повесть Ф. В. Гладкова, — пишет Ермилов, — закончилась печатанием в «Новом мире» через три месяца после известной всем пролетариям мира речи товарища Сталина на совещании с металлургами. В этой гениальной речи вождя содержались следующие слова, дышащие подлинным величием нашей родины, величием победившего социализма...»

Далее идут цитаты из речей гг. Сталина и Жданова о кадрах. Все это делается для того, чтобы доказать, каким отсталым, политически неграмотным человеком является Гладков, и каким передовым и проницательным политиком является он сам, Ермилов. Ермилов уверяет публику, что Гладков не понимает лозунга товарища Сталина о кадрах. «Тов. Ф. В. Гладков, — поучает Ермилов, — несомненно, должен быть в первых рядах тех писателей, которые полностью поймут и осознают «великое значение этого нового лозунга». Вот как ков Ермилов! Сначала он извращает идею повести и превращает Гладкова в проповедника «какого-то индустриального руссизма», а потом, взгромоздившись на весь этот вздор, Ермилов начинает ломаться и паясничать перед публикой в роли благочестивого и беззаветного блюстителя лозунгов вождей нашей партии... Разве не ясно, что тем самым Ермилов не воспитывает, а приижает и развращает эстетические вкусы советских читателей. Он не способен внимательно и толково подойти к большому пролетарскому писателю, т.-е. он не осуществляет лозунга товарища Сталина на деле, а лишь воскуривает словесный фимиам перед этим лозунгом.

Но разве в повести Гладкова нет недостатков? — спросят читатели. На этот вопрос мы отвечаем: в повести Гладкова имеется недостаток, и недостаток серьезный. Этот недостаток состоит в том, что Гладков не выдержал до конца принципа противопоставления характеров или, иначе говоря, он не развил

положительные и отрицательные черты своей повести до необходимой чистоты и определенности. Мы выше доказали фактами, взятыми из самой повести, что Дробишина, Сергеева, Кулакова, Маньку Речкину и других Гладков показывает, как «разнообразно уродливых людей». Наоборот, мы видели, что Любаша — хороший коммунист, что она, по существу, невинно страдающая личность, что ее трагедия — следствие противоречия между интересами социалистического производства, живой жизнью и живыми людьми, с одной стороны, и между никуда негодными, бездушно-бюрократическими методами руководства — с другой. Тенденция, воплощенная в образах Дробишина, Сергеева и других, с одной стороны, и тенденция, воплощенная в образе Любаша, — с другой, эти две тенденции были представлены Гладковым, как противоположные и взаимо-исключающие тенденции. В конечном же итоге Гладков стремится разрешить сюжет повести путем примирения этих противоположных и взаимо-исключающих тенденций. Чтобы показать это, посмотрим, как Любаша выводит свой цех из прорыва. Она выходит из беды не путем активной борьбы с описанными выше препятствиями (с бездушно-бюрократической системой руководства), а путем внутреннего прозрения. Однажды ночью Любаша встала и, раскрыв окно, стала вдыхать «пахучую свежесть предутреннего покоя и смотреть в невиданно зеленое небо». Созерцая звезды и внимая шуму рокочущих поездов, Любаша как-то сразу поняла, что все ее муки и боли — это муки и боли людей, которые волнуются у машин, в ярком свете электричества, и спят в открытых белостенных домиках, за тьмой окон... Сразу поняв это, Любаша утром решила поехать в Царицыно, на лоно природы. На лоне природы у нее «закружилась голова от неожиданной воздушной глубины, от лесных просторов и неба... Она забыла себя и не ощущала времени». От прикосновения к траве Любаша «чувствовала себя безмятежной, певучей и кроткой». Заметив на листьях зеленую водяную гусеницу, ткущую вокруг

себя паутиный кокон, Любаша начала по этому поводу философствовать: она «нутром ощутила огромную любовь этого ничтожного существа (гусеницы) к своему делу... Пусть здесь не было сознания и самокритики, но был непреложный закон и сила инстинкта... Любаша очарованно смотрела на этот чудесный труд изумрудной гусеницы... Вспомнила она свой бунт в цеху против Сергеева, против Мишуриной и Дробишина, вспомнила, с какой натугой и отвращением она обращалась с пряжей и машиной, как претила ей работа в цеху в эти дни, и ей стало совестно...»

После такого «просветления» (восполненного пляской в хороводе на лугу) Любаша находит в себе силы и средства ликвидировать свою беду (тем более, что здесь же, в Царицыне, она встретила подруг с другого завода, немного пожуривших ее и решивших взять на буксир). Любаша возвращается с прогулки на завод, собирает бригаду, поднимает на ноги Дробишина и Сергеева, проверяет работу Кулакова и Маньки Речкиной на складе, обнаруживает большую бесхозяйственность, организует сортировку пряжи и тем самым уничтожает зло в корне.

Далее. Раньше Дробишин, Сергеев, Кулаков и Модест были показаны бездушными бюрократами. Теперь же они стали добрыми людьми. Например, Дробишин, видя, что Любаша взялась за проверку склада и сортировку пряжи, активно и приветливо ей в этом помогает. «Вот что, друг, — говорит он зав. складом Кулакову, — утром придет сюда комиссия для обследования состояния склада, а сейчас любашина бригада займется сортировкой пряжи. У тебя здесь — барахло, а не продукция. Тут у тебя крысы хозяйничают. Зайдешь ко мне, в партком: покалякаем там» (раньше Дробишин не мог выбрать времени «покалякать»!) Или, например, Кулаков: ведь, он виноват в бесхозяйственности: ответственен за гнилую пряжу, за вредительство Маньки и за свой ночной налет на квартиру Любаша. Ясно, что приход любашинной бригады на склад для сортировки пряжи должен

был вылиться в резкий общественный конфликт между Любашей и Кулаковым. Любаша должна была разоблачить Кулакова и поставить о нем вопрос по партийной и профсоюзной линии. Но вместо всего этого между Любашей и Кулаковым происходит на складе следующий интимный разговор: «-- Давно родился у тебя детенок-то, Кулаков? Мальчик или девочка? — Любаша спросила просто, дружелюбно, с интересом матери, и в ее голосе уже не было ни насмешки, ни раздражения». Покосившись на Любашу, Кулаков вполне резонно отвечает ей, что «это к делу не относится... в наш план не входит». Но Любаша не унимается. Она начинает выкладывать Кулакову всякие подробности о том, какой «потешной родился» ее Надюшка. Кулаков смягчается и сообщает Любаше, что у его «щенка» привычка за нос хватать и лакает почем зря... «— Ах, значит, мальчик, — восклицает Любаша. — Я тоже очень хотела мальчика. Не вышло...»

После таких интимностей «Кулаков как-то обмяк и потеплел». И Любаша, глядя на Кулакова, про себя решила: «В сущности, этот парень -- не так плох». «Оба оглянулись на девчат, точно хотели скрыть свое странное сближение: и в эти минуты Кулаков и Любаша по-новому чувствовали друг друга, и прошлые дни уже казались далекими и глупыми, как дурной сон...» С Модестом у Любаши также устанавливается полное взаимопонимание. Правда, боль в душе Любаши «накопилась медленно: она отравляла ее, как яд, а люди — товарищи, подруги, и даже Модест — не могли помочь ей в беде...» Но все это позади. А сейчас, «просветлев» и обсуждая все случившееся, Любаша, нежно воркуя, выговаривает Модесту: «— Ты всегда без всяких объяснений упрекал меня только в том, что я не знаю своего долга. А вот зажать, взволновать не мог. Ты сам живешь только одним долгом. Потому и сутулый...». Посмеялись. Модест развеселился... «Душа у нее (у Любаши) будто распахнулась, и та боль, которая мучила ее долгие дни, сгорела мгновенно...»

Такое же нежное примирение состоялось между Любашей и всем остальным коллективом. Кончается повесть полнейшей идиллией: Любаша «подошла к своим машинам. Механизмы работали плавно, и Любаша чутко уловила их уверенную музыку... Она почувствовала напряженную судорогу здоровья и какой-то новой энергии».

Таким образом, сюжет повести естественно, неправильно разрешается в конце примирением Любаши с той негодной системой руководства, жертвой которой она стала.

Примирение Любаши с людьми типа Дробишина и Сергеева, конечно, не является абсолютно исключенным. Но такое примирение было бы законным лишь в том случае, если бы оно состоялось на основе осознания и осуждения Дробишиным и Сергеевым негодности и вредности той бюрократической системы руководства, представителями которой они выступают. В повести же примирение осуществляется не на этой, единственно законной, основе, а на основе «прозрения» и самоосуждения Любаши. А такое разрешение сюжета повести неправильно.

Этот недостаток повести отмечает в своей статье и Ермилов. «Любаше, — пишет Ермилов, — в дальнейшем самой становится стыдно за свой «бунт», она «отмежевывается» от своего протеста против дробишинско-модестовской «системы». И, таким образом, всем ходом повести эта система утверждается. Весь ход повести показывает, что этот протест Любаши осуждается, причем с позиций неправильных, с позиций «модестовско-сергеево-дробишинской теории о человеке и вещи».

Ермилов так же, как и мы, подвергает критике идею внутреннего «прозрения» Любаши на лоне природы, идею примирения Любаши с дробишинской системой.

Но раз это так, раз в повести Гладкова имеется такой серьезный недостаток, и этот недостаток критикуется Ермиловым, то последний, может быть, все-таки прав, если не целиком, то хоть на половину или на одну треть? В том-то и дело, что Ермилов не прав ни на

половину, ни на одну треть. Ермилов не прав, во-первых, потому, что он извратил идейный замысел и объективное содержание повести. Гладков задумал и уже в весьма значительной мере воплотил в образы правильную и политически актуальную идею. Но, уже воплотив в весьма значительной степени правильную идею в противопоставленные друг другу положительные и отрицательные характеры, Гладков не развил этой идеи до конца, не развил характеров своих героев до необходимой чистоты и определенности: в конце сюжета повести он разрешает примирением двух противоположных тенденций. Всякий, кто внимательно вдумается в факты, увидит, что центр тяжести содержания повести отнюдь не в ее конце<sup>1</sup>). Настоящий марксистский критик обязан был все это принять во внимание. Ермилов обязан был поглубже разобраться в достоинствах и ошибках автора повести, обязан был увидеть разницу между идейным замыслом и объективно данным содержанием, с одной стороны, и искусственным концом повести — с другой. Если бы Ермилов поступил так, тогда его критика была бы, безусловно, поучительной: она помогла бы писателю понять его ошибку и исправить эту ошибку, исходя из сильных сторон своей же собственной повести, т.е. в интересах наиболее полного и определенного выражения правильно задуманной самим автором идеи<sup>2</sup>). Но на такую постановку вопроса в статье Ермилова нет и намека. Вместо помощи писателю, он стал на путь извращения идеи повести. Это значит, что Ермилов поступил не как критик-марксист, а как давно знакомый нам, неисправимый рапповский вульгаризатор.

Во-вторых, и в этом главное, частично правильные критические замечания Ермилова, по иронии судьбы, об-

ращаются против него самого, ибо они, эти замечания, находятся в кричащем противоречии с теми «принципами» реализма, которые Ермилов всегда защищал и от которых он по сей день не отказался. В самом деле: правильные критические замечания Ермилова сводятся к указанию на неестественное разрешение сюжета повести путем внутреннего «прозрения» Любаши и путем примирения ее с отрицательными персонажами. Но что это значит? Это значит, что характеры в повести Гладкова оказались погруженными в такие противоречия, которые наносят ущерб определенности этих характеров: и положительные, и отрицательные герои в известной мере выглядят так, что, с одной стороны, они — такие, а, с другой стороны, — другие. Но ведь такого рода противоречивость или неопределенность характеров целиком соответствует теоретическим взглядам Ермилова. Ведь Ермилов стоял и стоит на той позиции, что все люди насквозь противоречивы, что в каждом человеке наличествует, с одной стороны, доброе, а, с другой стороны, — злое, что людей нельзя раскладывать по полочкам, что определенных, т.е. цельно-положительных или цельно-отрицательных характеров, вообще, не существует...<sup>1</sup>)

Выше нами показано, что Ермилов считает Дробишина и Сергеева не соответствующими тому образу «садовода»-руководителя, который дан в речи тов. Сталина. Значит, Ермилов считает Дробишина и Сергеева не типичными характерами для нашей партии. Очень хорошо. Но, ведь, такой вывод находится в коренном противоречии с «методологией» Ермилова. Ведь Ермилов всегда вел и ведет борьбу против всякой «идеальной схемы» в определении типичности характеров. Согласно его «методо-

<sup>1</sup>) Ермилов, следовательно, не прав, когда утверждает, что дробишинско-модестовская система утверждается «всем ходом повести».

<sup>2</sup>) По имеющимся у нас сведениям, повесть Гладкова, выходящая в Гослитиздате отдельной книжкой, будет переработана именно в этом направлении.

<sup>1</sup>) Ермилов отвергает, как «совершенно метафизическое, представление о том, что людей можно разложить по полочкам, наклеить на них ярлычки» («Творческие разногласия в РАПП» изд. «Прибой», 1930, стр. 186—187). Подробнее об этом см. нашу статью «Об определенности характеров» — «Новый мир», книга восьмая за 1935 год.

логии», героев художественных произведений надо сравнивать не с какой-либо теоретической или политической меркой, например, с лозунгами партии, а с «правдой жизни», т.е. с самотеклом, с теми «живыми людьми», которые существуют в «живой жизни» (стало быть, с теми же Дробишиным и Сергеевым). Не ясно ли, что, рассуждая с невинностью на лице о несоответствии Дробишина и Сергеева тому образу, который дан товарищем Сталиным, Ермилов изменяет своей собственной методологии.

Если бы Ермилов стремился, не на словах, а на деле, следовать идеям тех вождей партии, которых он цитирует в своей статье, то он прежде всего обязан быть теоретически честным и последовательным. Иначе говоря, он должен был не только критиковать ошибки повести Gladkova, но и раскритиковать тот ложный и вредный принцип, который им защищается и который находится в полном соответствии с неправильным разрешением сюжета повести. Если же Ермилов считает свой принцип правильным и не собирается от него отказываться, то недостаток повести Gladkova вполне логически, т.е. в строгом соответствии со своими «принципами», он должен был целиком оправдать и возвести в добродетель. Почему же Ермилов этого не сделал? Да потому, что, как справедливо говорит Писарев:

«последовательность очень неудобна для тех людей, которые в основание своей деятельности кладут ложный принцип, т.е. такую идею, в которой затаено что-нибудь нелепое или вредное для общества. Последовательность ведет в этом случае именно к тому, что затаенная нелепость, развернувшись во всей своей красоте, покрывает позором самого адепта неверной идеи. Поэтому, имея в виду такую неприятную перспективу, слабоумные люди стараются зажмурить глаза и утешают себя тем плохим рассуждением, что они всегда

сумеют изменить своему принципу, как только этот принцип потащит их в вопиющую нелепость. На словах можно предаваться этим сладким надеждам сколько угодно, но жизнь постоянно разрушает эти ребяческие фантазии и, выводя из каждого принципа все его последствия, даже самые нелепые и самые безобразные, насильно навязывает их каждый отдельной личности, основавшей на данном принципе всю свою деятельность. На словах вы можете браковать все, что вам угодно, но в жизни есть своя собственная логика, которая переломит вашу непоследовательную брезгливость и непременно вымажет вас с ног до головы общеобязательной краской или грязью, соответствующей основным требованиям вашего принципа. От этого окрашивания или загрязнения вы не отвертитесь никакими хитростями, если только у вас не останется характера оттолкнуть прочь ложный принцип. («Подрастающая гуманность»). Подчеркнуто мной. — П. Р.).

Полагаем, что приведенное место из сочинений Писарева является вполне «конгениальной иллюстрацией» к статье тов. Ермилова. У Ермилова, разумеется, не достало характера «оттолкнуть прочь ложный принцип», и потому его критика повести Gladkova является даже в «сильных» своих пунктах насквозь беспринципной. Ермилов не поднимает на высшую теоретическую ступень писателя и читателя, а, по сути дела, дискредитирует в глазах писателя и читателя советскую критику.

Чего же стоят после всего этого попытки Ермилова предстать в образе уверенного «многих и многих читателей», зачислить себя в разряд борцов за правду и в разряд друзей Gladkova? «Настоящему художнику, — пишет Ермилов, — никогда не повредит правда, сказанная о нем самом. Особенно, если она сказана друзьями, — а ведь мы говорим здесь от имени многих и многих

читателей, которые горячо хотят, чтобы вновь зазвучал страстный пафос «Цемента»...» и т. д.

«Упаси нас бог от таких друзей», — скажет Гладков. И он будет, безусловно, прав. Он будет прав в особенности потому, что Ермилов не только не понял и извратил содержание повести, не только не оттолкнул прочь свой собственный ложный принцип, но он еще пытается потихоньку, контрабандным путем, этот ложный рапповский принцип реабилитировать. Продитировав тт. Сталина и Жданова о необходимости бережного отношения к живому человеку, Ермилов пытается сейчас же протащить свой собственный лежалый товар, пытается вложить свой собственный убогий смысл в понятие живого человека. «Писателю, — пишет он, — иной раз с живым человеком труднее, чем с вещью, с машиной, и поэтому в литературе возникали даже целые «направления», теоретики которых доказывали, что социалистическое искусство не должно заниматься чувствами, переживаниями людей...»

Имеющий уши — да слышит! Партия и ее вожди говоря о внимании к живому человеку. А Ермилов уже намекает читателю, что никто столько не занимался «чувствами и переживаниями людей», как он, Ермилов.

Он, ведь, создал даже целую теорию «реализма» под именем «живого человека» и всегда доказывал, что эта теория является «столбовой дорогой» социалистического искусства... Таковы (пока что замаскированные) попытки Ермилова реабилитировать свои взгляды. Но эти попытки шиты гнилыми нитками.

Мы видим, что с помощью лозунгов партии Ермилов пытается подзаработать не только политически, но и театтически. Он считает, что ситуация настолько подходящая, что уже нечего больше стесняться, и он пускает пробный шар на тот предмет, чтобы открыто оседлать и вывести из стойла того самого критического Пегаса, на котором он в окружении достойной его кавалькады, с гордо откинутой назад головой, с шумом и звоном скакал по большим и малым путям советской литературы.

Статья Ермилова — хороший урок для тех карасей-идеалистов, которые, вследствие шаткости и расплывчатости собственных убеждений, готовы во всякой «критической» мазне рапповского толка видеть конкретную критику. Эта статья показывает, что конкретной критики нельзя ждать от тех людей, у которых нет за душой принципов.

## 2. ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ТЕОРИИ

### А. Старчаков

#### 1

Не так давно «Кюхле» минуло десять лет, — Тынянов-беллетрист еще очень молод. Но эти десять лет стоят иного почтенного юбилея, — Тынянов-беллетрист не знал начальных опытов, поражений, сопутствующих литературной молодости, упорной борьбы за признание. Он начал, как зрелый художник, в литературу он вошел, как победитель. Это не значит, что, выразив себя однажды с большой силой, Тынянов остановился. У Тынянова к литературе двойственное отношение, — экспериментатор зорко следит за каждым шагом художника. В

своем последнем, еще не оконченном, романе «Пушкин» Тынянов не только рассказывает о жизни и гибели великого поэта, но и решает определенную литературную задачу. Когда-то Пушкин писал: «Прелесть нагой красоты так еще для нас непонятна, что даже в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями». В романе «Пушкин» читатель явно ощущает расставание с иронией. Вместе с тем манерность «Вазира» уступает место нагой простоте.

Как будет понят и отображен трагический путь поэта, какое иное мироотношение придет на смену привычной для Тынянова иронии, иссушающей и в по-

следнем счете бесплодной, не станет ли пушкинская «нагая простота» только новой манерой — игрой в простоту, — расскажет читателю новый роман. Но и то, что уже сегодня сделано Тыняновым в художественной прозе, дает богатый материал для исследования. Появление монографии о Тынянове<sup>1)</sup> вполне своевременно. Эту монографию ждет читатель. Тем более, что автор монографии не ограничивается только анализом творчества художника, но и ставит общие вопросы, связанные с тем жанром, над которым работает Тынянов.

## 2

В чем соблазн наукообразной схемы? В ее внешней убедительности, в той легкости, с которой умная сложность превращается в недалекую простоту. Вы хотите разгадать природу такого глубокого литературного явления, как исторический роман? Ведь это так просто!

Исторический роман возник в первой трети XIX века на почве романтической культуры феодальной реакции. Рожденный дворянством, литературный жанр был усыновлен буржуазией. Но мышление буржуазии всегда было и оставалось антиисторическим. В борьбе за свои права буржуазия не пыталась обосновать их исторически, ибо считала их обоснованными естественно. Теряя с годами блестящие доспехи борца за естественное право естественного человека, буржуазия в своей борьбе против пролетариата в поисках подкрепления все чаще начинает обращаться к истории. Уже в эпоху, следовавшую за Термидором, происходит неожиданная по своему дружескому характеру встреча историков реакции с историками либеральной буржуазии эпохи Реставрации. Однако, «буржуазное сознание, ограниченное в своих познавательных возможностях исторической ролью буржуазии, как класса эксплуататора, никогда, ни на одной ступени своего развития, не поднимается, не способно по самой природе

своей подняться до высот подлинного историзма и подлинного исторического знания». Потому судьба исторического жанра являет собой печальную картину постепенного вырождения. В большой литературе исторический роман как-то не держится и, впад в преждевременное детство, естественно, уходит в детскую литературу. Но и там ему нет житья. И там он на манер приживальщика «существует на правах второстепенных». («Тынянов-беллетрист», стр. 5 — 18).

Схема, предложенная нашим критиком, соблазняет читателя своей наукообразностью, своей добросовестной фразеологией. Верно, конечно, что буржуазия в эпоху своего цветения, в эпоху борьбы с феодализмом, искала обоснования своих прав не в историческом прошлом, но в доводах разума, — философы Просвещения противопоставляли феодалам, ссылавшимся на предания, на права и заслуги предков, общественный договор, как основу нового социального порядка. Верно, конечно, что новое общество, сломив феодальную аристократию руками революционной мелкой буржуазии, крестьянства и пролетариата, торопилось связать руки победителям, присвоить плоды их победы, торопилось заключить союз со своим вчерашним противником. Но, сведя всю проблематику исторического романа к становлению буржуазии в эпоху ее борьбы с феодализмом, наш критик забыл об одном могучем факторе, оказавшем огромное влияние на судьбу исторического романа. Он забыл о национальных движениях, о национально-освободительных войнах и революциях, которыми так богато было прошлое столетие. Выбросив за борт национальный вопрос, Л. Цырлин свел сложную и противоречивую проблему исторического романа к пустому педантизму, «к игре в понятия и словечки», как говорил Ленин.

Читатель, обрадованный легким решением сложной задачи, быть может, и не

<sup>1)</sup> Л. Цырлин — «Тынянов-беллетрист». Изд. писателей в Ленинграде, стр. 112, 1935 г. Ц 2 р. 50 к.

замечит, что наш критик, похоронив на нескольких страничках европейскую историческую науку и исторический роман за целых сто лет, совершенно произвольно оперирует только материалами французской литературы и французской истории, мельком упоминая обязательного для рассуждений об историческом романе Вальтер-Скотта.

Однако, попробуем перенести эту схему в иную историческую обстановку, попробуем приложить ее к литературам тех народов, которые в прошлом столетии прошли сквозь бури национально-освободительных войн и революций, и схема разлетается в прах. Оказывается, например, что польский романтизм в первую треть прошлого века, до поражения польской революции 1830—1831 года, был не реакционным, но исторически-прогрессивным явлением. Лучшие представители польской исторической науки и литературы того периода, выступая в борьбе за национальное освобождение Польши от имени всего народа, обращались к истории в поисках оружия для освободительной борьбы. Не случайно среди главнейшей революционной Польши 1830—1831 года мы видим одного из крупнейших представителей польской исторической науки, народника Иоахима Лелевеля и замечательного польского критика, теоретика раннего польского романтизма, Маврикия Мохнацкого. История нужна была им для того, чтобы «импровизировать чудную поэму народного восстания», как говорил Маврикий Мохнацкий.

В согласии с тезисом «о потухании жанра» исторический роман объявлен нашим критиком приживальщиком, выжившим из ума, который не находит себе угла даже на задворках детской литературы. Но если мы обратимся к той же польской литературе, то мы увидим иное явление: исторический роман неуклонно утверждает свою волю к существованию. Мы не говорим о целой плеяде второстепенных романистов. Мы не говорим даже о таких мастерах исторического романа, как Крашевский и Сенкевич. Но раз-

мышляя о судьбах исторического жанра, как можно было забыть трехтомный «Пепел» Жеромского, исторический роман о Польше в эпоху наполеоновских войн, роман об обманутых надеждах, возлагавшихся польской интеллигенцией на Наполеона I? Или роман того же Жеромского «Верная река» о восстании 1863 года? Как забыть трилогию такого замечательного реалиста, как Реймонт, его «1794 год» — гигантский роман о Польше времен раздела? Или, наконец, роман Леона Кручковского «Кордиан и Хам», тоже о революции 1863 года, написанный уже в наши дни, — «Кордиан и Хам» вызвал широкие отклики в мировой печати (у нас специальную и обстоятельную статью посвятил Кручковскому Карл Радек).

Какой вопрос трактуют все эти произведения? Вопрос о борьбе с русским самодержавием во имя национального освобождения польского народа, вопрос о взаимоотношениях различных классов в обстановке национально-освободительной борьбы. Если Сенкевич решал поставленную проблему с позиций реакционного шляхетства, если Жеромский выдвигал тезис о трагической жертвенности польской интеллигенции, то Реймонт обвинял шляхетство в классовом эгоизме, и Леон Кручковский подходил к событиям 1863 года с точки зрения противоречий, которые лежат между шляхетством и крестьянством.

Мы умышленно ограничиваем себя пределами одной лишь польской литературы. Но даже в этих пределах напрашивается вопрос: как можно говорить о потухании исторического жанра? Что это — невежество или пренебрежение живой действительностью во имя мертвой схемы? Национально-освободительное движение широких масс, вся сложная сумма вопросов, возникающих из междуклассовых отношений в обстановке национально-освободительного движения, — эта тематика не только польского исторического романа. Но, по мысли нашего критика, этой про-

блеме нет места в большой литературе! Утверждение это красноречиво говорит о том, что наш критик знаком с учением Ленина и Сталина по национальному вопросу не больше, чем с основными фактами европейской литературы.

Расправившись на всем скаку (на протяжении нескольких страничек!) с исторической наукой и историческим романом больше чем за сто лет, наш критик приступает к конструированию схем советского исторического романа. Так как исторический роман в прошлом объявлен несуществующим, то проблема классического наследия, само собой разумеется, отпадает. «Исторический жанр в нашей литературе предстоит создавать почти заново. Это жанр, так сказать, безродный, обойденный, не получивший своей доли в классическом наследии» («Тынянов - беллетрист», стр. 13).

Поистине восхитительно это филистерски-самодовольное «так сказать», одним росчерком упраздняющее живую, конкретную действительность!..

Но какая же задача стоит, по мнению нашего критика, перед советским историческим романом? Быть может, мастер советского исторического романа раскроет в художественных образах смысл той борьбы, которую ведет молодое человечество, идущее из предистории к коммунизму? Или с новых идейных позиций он изобразит узловые моменты далекого прошлого нашей родины? Быть может, в своем творчестве, методами своего искусства советский исторический романист станет драться за диктатуру пролетариата, подобно тому, как его великие предшественники дрались за «естественные права естественного человека»?

Ничего подобного! Никаких специфических задач перед советским историческим романом не стоит, поскольку Л. Цырлин отрицает возможность существования исторического романа на современном материале. Само по себе настоящее не может быть объектом исторического романа. Настоящее исторически не ощущается. Именно в этом

видит наш критик специфику исторического романа, в этом, например, отличие «Анны Карениной» от «Войны и мира», как романа исторического. В одной из статей нашего критика мы читаем:

«Дело в том, что в «Анне Карениной» выражена и изображена одна и та же эпоха. Этого не бывает в романах исторических, иначе можно было бы писать исторические романы на современном художнику материале. В историческом романе всегда присутствуют две эпохи: писатель, изображая историю, выражает современность» (см. «Литературный Ленинград» от 8 августа с. г., ст. Л. Цырлина).

Любопытно, что эта ликвидаторская теория, пытающаяся выключить современность из сферы внимания исторического романиста, предлагается как-раз в тот момент, когда наше искусство одерживает одну блестящую победу за другой, воплощая исторический смысл современности в подлинных, не вымышленных образах, прочно живущих в памяти народа.

В своей работе «Тынянов-беллетрист» Л. Цырлин, пытаясь установить признаки исторического жанра, говорит, что в романе «конфликт должен быть подчинен какой-то большой и значительной общей идее, одновременно отражающей закономерности уже не исторической прошлой идеи, а современного нам процесса социалистического строительства. Специфическая особенность исторического жанра, быть может, именно в том, что он оперирует, если так можно сказать, двумя действительностями — исторической и сегодняшней («Тынянов-беллетрист», стр. 14).

Итак, «писать исторические романы на современном художнику материале нельзя», — художник выражает современность, косвенно изображая историю прошлого. На манер римского жреца, гадавшего по внутренностям убитых жи-

вогных о будущем, советский исторический романист гадает на материале прошлого о «закономерностях современного нам процесса, социалистического строительства».

Вчитываясь в эту, с позволения сказать, формулировку, нельзя не вспомнить слова Маркса, сказанные им по адресу Штирнера. Маркс говорил, что путаница, бессвязность, революционная фразеология являются прямым выражением теоретической беспомощности автора книги «Единственный и его собственность».

### 3

Год тому назад в журнале «Октябрь» появилась статья В. Ваганяна «О двух типах исторического романа». Основные положения этой статьи сводились к следующему. Роман может быть написан на историческом материале, но «господствующая основная идея романа является продуктом нашей действительности», — это роман псевдо-исторический. И возможен исторический роман, когда «основная идея детерминирована изображением прошлой эпохи и ей имманентна», когда конфликт, отразившийся в романе, присущ одной изображаемой эпохе. Это и есть подлинный исторический роман.

В своей работе «Тынянов-беллетрист» Л. Цырлин воспроизводит точку зрения В. Ваганяна. Рядом с историческим романом, в котором «конфликт вытекает из самой эпохи» (стр. 18), существует исторический роман, в основу которого положен «конфликт внеисторический, чуждый конкретному историческому материалу» (стр. 14).

В согласии со своей «дуалистической концепцией» Л. Цырлин расщепляет творчество художника. Из двух романов Тынянова, по мнению нашего критика, историчен один «Кюхля». Что касается «Смерти Вазир Мухтара», то это роман с «внеисторическим замыслом». Что это значит? Это значит, что в романе дана мнимая действительность, поскольку замысел привнесен автором, поскольку замысел автора чужд конкретной исторической действительности. Доказатель-

ства? Их нет. Нельзя считать доказательствами отдельные указания по поводу отдельных несоответствий.

Как мы знаем, внутренний движущий конфликт в романе «Смерть Вазир Мухтара» — история одного политического предательства. Грибоедова-Чацкий после событий 14 декабря 1825 года, после разгрома декабрьского восстания, превращается в Грибоедова-Молчалина. Автор бессмертной комедии изменяет идеалам своей юности, отрекается от своих вчерашних друзей и соратников. Грибоедов—Молчалин — внутренний конфликт, на котором построен роман<sup>1)</sup>.

Л. Цырлин совершенно прав, когда он, детально анализируя конфликт, на котором построен «Вазир Мухтар», говорит, что сущность конфликта — в превращении героя («Грибоедов-Чацкий становится Грибоедовым-Молчалиным»), что в «Вазире» поведение Грибоедова после неудачи восстания содержит в себе зачатки прямого политического ренегатства, основные черты которого не раз с большим успехом воспроизводились либеральной буржуазией и интеллигенцией. И откуда критик не сходит с рельсов объективного исследования, пока он подкрепляет свои соображения фактическим материалом, его анализ интересен и содержателен. Тогда Л. Цырлин заявляет, что Тынянов в своем романе «решительно чужд дурной модернизации» (стр. 46), что Тынянова-романиста «отличает зоркость и острота социального зрения» (стр. 107).

Но так как в работе Л. Цырлина господствует методологическая путаница, так как, утверждая, с одной стороны, историческую правду «Вазира», наш критик в то же самое время говорит о «мистификаторской» природе романа, так как, желая разгадать корни этих мистификаций, он одновременно исследует роман с позиций порочного психологизма, то совершенно неожиданно читатель, уверовавший в исторический, объективно-правдивый смысл романа, к ужасу своему узнает, что «тема романа.

<sup>1)</sup> См. «Известия», 1933 г., 20 октября. А. Старчаков, «Проза Тынянова».

благодаря своей абстрактности, за эпохой не закреплена» (стр. 28), что «замысел романа не историчен» (стр. 46), что «Тынянов пошел по пути модернизации» (стр. 48) и вообще ничего не понял в событиях 14 декабря 1825 года (стр. 79).

Попробуйте найти в книжке единую мысль в высказываниях по одному и тому же вопросу — Тынянов об идеологии декабристов, — и вы прочтете:

Тынянов... «не увидел прогрессивности самой идеологии» (стр. 26).

Тынянову «удалось понять, что декабристы были представителями передовых идей своего времени» (стр. 72).

«Показав распад декабризма, Тынянов не сумел нащупать прогрессивные положительные элементы движения... Декабристское движение еще не буря, но предчувствие ее, поэтому декабристы только «штурманы будущей бури» (Ленин)». («Тынянов-беллетрист», стр. 79).

«Штурманами будущей бури» декабристов называл не Ленин, а Герцен. Но дело не в этом. Дело в том, что эта путаница поневоле вызывает в памяти бессмертный шекспировский диалог:

ГАМЛЕТ: Видите это облако? Точно верблюд...

ПОЛОНИЙ: Клянусь святой обедней, совершенный верблюд.

ГАМЛЕТ: Мне кажется, оно похоже на хорька?

ПОЛОНИЙ: Спина точь-в-точь, как у хорька.

ГАМЛЕТ: Или как у кита?..

ПОЛОНИЙ: Совершенный кит».

Но ведь Полоний был лукавым царедворцем и не писал литературоведческих работ об историческом романе!..

#### 4

Художественный образ не совпадает во всех деталях с конкретной действительностью. Он строится по иным законам, подчиняясь внутреннему замыслу. Факт, став элементом художественного произведения, иногда претерпевает известную деформацию. Задача ху-

дожника заключается в том, чтобы правильно учесть сопротивление фактического материала, не нарушить «разумные условия вымысла», как говорил когда-то Вяземский. Деформация материала может зайти так далеко, что произведение начинает утрачивать черты исторической достоверности и его познавательное значение начинает стираться. Те горячие споры, которые ведутся вокруг романа «Война и мир» от Вяземского и до наших дней, в значительной мере объясняются тем, что глубокая деформация материала, обусловленная политическими и философскими тенденциями художника, часто разрушала в романе подлинное смысловое содержание изображаемых процессов.

Тынянов в своем «Вазире», не нарушая исторических пропорций, с большим художественным тактом дал полный глубокого социального содержания образ. Поведение героя при всем своем субъективно-неповторяемом своеобразии — поведение либерала в обстановке разбитой революции, в обстановке торжествующего самовластия.

В согласии с общим замыслом Грибоедов дан у Тынянова как упадочник. Он внешне очень деятелен, он как будто до предела напряжен. Но это обманчивое, призрачное существование. Грибоедов социально умер в день 14 декабря 1825 года. Он еще живет, движется, иногда стремительно, но это только «движенья вид». Свой замысел Тынянов подчеркнул в эпиграфе:

Так яркий ток, оледенев,  
Над бездною висит,  
Утратив прежний грозный рев,  
Храня движенья вид.

Е. Баратынский.

Закономерно ли такое толкование? Думается, что вполне закономерно. Упадочники и декаденты николаевской эпохи, — эта тема еще ждет своего исследователя.

Но, выходящая самую сердцевину романа, Л. Цырлин объявляет трагедию Грибоедова вымышленной. Он предлагает писателю свою собственную концепцию романа. Оказывается, Грибоедо-

ва следовало бы изобразить эдаким бодрячком, жизнерадостным приспособленцем, бойко подвизавшимся на Кавказе. Мы читаем: «... Когда весь пафос приспособленчества, накапливаемый этим человеком, оказался успешно реализованным, в этот момент его настигает гибель. Этот жестокий исторический парадокс, пожалуй, много трагичнее той вымышленной трагедии человека, стоявшего над временем и над современниками, которую склонен навязать Грибоедову Тынянов» — самодовольно заявляет наш критик (см. стр. 55).

Возможно, что исторический Грибоедов был иным, что прав не Ю. Тынянов, а Л. Цырлин, и автор «Горя от ума» и в самом деле не стоял над своим временем. Возможно, что Тынянов сочинил своего Грибоедова, — деформация материала в «Вазире» зашла так далеко, что Грибоедов утратил черты исторической подлинности и Тынянов нарушил «разумные условия вымысла».

Но для того, чтобы бросить писателю такое серьезное обвинение, для того, чтобы утверждать, что трагедия навязана автором герою, что в романе получила свое отражение не историческая, но мнимая действительность, — нужна аргументация, нужны веские доводы, подкрепленные фактическим материалом. Таких доводов в книге Л. Цырлина нет. И центральное обвинение («внеисторический замысел») повисает в воздухе. Оно нужно критику лишь для того, чтобы во имя торжества мертвой схемы противопоставить роман «Смерть Вазир Мухтара» («псевдоисторический») роману «Кюхля» («исторический»). На одном анализе грибоедовского проекта закавказской кампании, который Тыняновым раскрыт не во всей подлинности, нельзя построить серьезное обвинение в неправдоподобии «Вазира». Читатель, сбитый с толку обилием противоречий, перестает верить критику. Это тем более досадно, что Л. Цырлин прекрасно знает исследуемый материал. В его книге много тонких наблюдений. Полно глубокого смысла замечание о противоречии, которое лежит между литературной теорией и художественной практикой Тынянова. Но ревностно воюя с

формализмом, наш критик и сам еще не освободился от влияния реакционных идеалистических теорий. Вчерашние лидеры формализма сегодня покинули уже свои первоначальные становища. Но Л. Цырлин, вsrча по адресу первоначальников, продолжает греться у брошенных костров.

Несколько слов по поводу языка работы Л. Цырлина. Флобер как-то заметил: «Знайте то, что вы хотите сказать, и вы скажете все хорошо». Но наш критик не всегда знает, чтг, собственно, он хочет сказать, и потому не всегда хорошо говорит. Что значат эти слова:

«Событие оказывается символизированным предметом, а самый предмет вызывает новое символическое толкование в сознании Грибоедова» (стр. 63)?

Это туманность, приличествующая теософскому трактату, где один и тот же предмет имеет несколько значений. Но как попала она в научную работу?

На протяжении всей своей работы Л. Цырлин оперирует двумя понятиями: «биография» и «судьба». Но так как смысл, вкладываемый им в эти понятия, навряд ли ясен для самого автора, то ни в чем неповинному читателю приходится разгадывать следующие шарады:

«Историческая судьба, отождествляясь с биографией, нивелирует эту последнюю, а психологическая биография героя, поглощая судьбу, возводит ее на уровень личного исключения из эпохи и тем самым противопоставляет эпохе» (стр. 40).

Как смешны и неуклюжи эти запоздалые рецидивы интеллигентской словесной зауми, воскрешающей традиции давно опочившего религиозно-философского общества, на заседаниях которого салонные мыслители спорили о премудрой Софии, о Логосе и прочих деликатных предметах!

## 5

В романе «Война и мир» с совершенной ясностью дана политическая атмосфера 1809 года. То было время бес-

численных комитетов, комиссий. «В 1809 году готовилось в Петербурге какое-то огромное гражданское сражение, главнокомандующим которым был неизвестный, таинственный Сперанский» — говорит Л. Толстой. Либералы, крупные аграрии, собирались дать сражение крепостникам-плантаторам. Князь Андрей является ближайшим сотрудником Сперанского. Он посвящен во все его планы. По просьбе Сперанского князь Андрей деятельно работает над «Гражданским уложением». Организация государственного совета, который должен был «утвердить силу и блаженство империи Российской на незыблемом основании закона», была прямой победой Сперанского и его единомышленников. Вот как рассказывает об этом Л. Толстой:

«Бицкий, служивший в разных комиссиях... едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею, тотчас начал говорить. Он только-что узнал подробности заседания, нынешним утром открытого государем... Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории! — восторженно восклицает Бицкий».

Но князь Андрей встречает известие об открытии государственного совета ледяным равнодушием. Еще вчера он ждал открытия с огромным нетерпением, еще вчера он видел в этом событии торжество своих заветных стремлений. Но сегодня «то, что совершилось, не только не трогало его, но представлялось более чем ничтожным» — говорит Л. Толстой.

Когда же созрел и окреп этот идейный кризис князя Андрея, человека глубокого, не легковверного, более всех других героев романа склонного к мышлению? Разрыв князя Андрея со Сперанским дан без всякой мотивировки. Но если бы Л. Толстой и хотел мотивировать этот разрыв, он навряд ли сумел бы это сделать. Государственный совет был открыт конституционной речью 1 января 1810 г., т. е. через три месяца с небольшим после первой встречи князя Андрея со Сперанским, — три эти меся-

ца были заполнены совместными трудами, общим сотрудничеством.

Чем же было вызвано это явное нарушение «разумных условий вымысла»? Оно было подсказано мировоззрением художника. Греческие боги имели обыкновение вмешиваться в дела земных героев. Так, кто-то из богов, покровительствовавших Одиссею, всячески помогал ему вернуться на родную Итаку, к верной Пенелопе. Л. Толстой, на манер олимпийца, торопится возвратить князя Андрея от разума к бессознательному, от Сперанского к Каратаеву. Вся вина Сперанского заключалась в том, что он был человек, «разумно об'ясняющий все явления жизни, признающий значительным только то, что разумно, и ко всему имеющий прилагать мерилу разумности».

Итак, лишены содержания самые глубокомысленные догадки о том, «привнес ли замысел в роман художником», или же «замысел романа вытекает из самой эпохи», откуда догадки эти не проверены на конкретном историческом материале, откуда не решен вопрос о соотношении замысла и факта, о соотношении «разумных условий вымысла» и той деформации, которую вносит вымысел в исторический материал. В последнем счете вся сумма этих вопросов сводится к мировоззрению художника, к пределам его понимания объективного смысла исторического процесса, к его творческим возможностям, позволяющим ему с той или иной полнотой облечь свое понимание в систему художественных образов.

Но напрасно стали бы мы искать в работе Л. Цырлина анализа классово-идеологии автора «Вазира». В какой мере мировоззрение автора приблизило его к пониманию исторического процесса? Почему, вопреки зловещей оценке, которая дана нашим критиком «Вазиру», произведение это является одним из замечательнейших в современной литературе? Для читателя, не полоненного предвзятой теорией «о двух типах исто-

рического романа», совершенно очевидно, что философский и социальный план «Вазира» несравненно глубже «Кюхли», который, хотя и проще в литературном отношении, но в то же время уже по своему охвату темы. Но все эти вопросы просто не существуют для Л. Цырлина, поскольку вся проблематика сведена к злополучному абстрактному противопоставлению «романа с внеисторическим конфликтом» («Смерть Вазир Мухтара») «роману с конфликтом, вытекающим из самой эпохи» («Кюхля»).

Упраздняя начисто познавательную ценность буржуазного исторического романа, наш критик забывает, что на различных этапах, в различные моменты своего бытия, относительно правда буржуазного искусства поразному приближается к абсолютной правде, к объективной исторической истине.

Беликие мастера буржуазного реалистического романа называли себя «историками частной жизни». Вслед за ними у нас Белинский говорил, что задача романа заключается в изображении «частной жизни». Исторический роман, являясь видом романа реалистического, отличается той особенностью, что в нем «частная жизнь» дается в тесной конструктивной связи с событиями, волнующими широкие народные массы. Рядом с вымышленным героем «частной жизни» мы видим героя, чье имя живет в памяти народа. Исторический герой, появляющийся на страницах романа, не просто проходит в толпе действующих лиц, — его судьба тесно связана с судьбами вымышленных героев. Он и сам является таким же типическим характером, как и вымышленный герой.

В «Капитанской дочке» А. Пушкина крестьянское движение не является простым фоном романа, — судьба Мироновых — история частной жизни — композиционно связана с движением пугачевцев. В пределах «разумных условий вымысла» Пугачев входит в определенные отношения с остальными героями «Капитанской дочки». Это позволяет Пушкину раскрыть не только историче-

скую роль Пугачева, но и показать его как определенную индивидуальность. У Вальтер Скотта в его романе «Квентин Дорвард» (роман назван по имени героя, молодого шотландца, поступившего на службу к французскому королю Людовику XI) судьба частного лица тесно сращена с исторической борьбой короля, идеолога абсолютной монархии, и могучего, необузданного феодала, бургундского герцога Карла Смелого.

В этом отличие исторического романа от романа-хроники, где история является только фоном «частной жизни», где судьба исторического героя не связана крепким композиционным узлом с судьбой вымышленных героев. В то же время совершенный отказ от вымысла, сосредоточение всего внимания на изображении подлинных судеб подлинных исторических героев (пусть не всегда имеющих решающее значение в истории) приводит к переключению жанра в сторону романа-биографии. Мастер романа-биографии выражает в своем творчестве определенные философские воззрения, и герой в романе раскрывается прежде всего как социальный характер. Но в романе-биографии мы видим совершенно иное соотношение между истинной и вымыслом, чем в романе историческом, и опять-таки иное, нежели в романе, представляющем «историю частной жизни» в ее чистом виде. Таким образом, время не является существенным признаком, учитываемым при определении исторического жанра. Исторический роман может быть написан на материале современности с не меньшим успехом, чем на материале прошлого.

Если исторический романист XVII века произвольно и хаотично монтировал свои скудные, часто фантастические познания из истории, капризно приписывая героям далекого прошлого черты и мысли своих современников, если в XVIII веке исторический роман больше походил на мемуарную запись деяний царей, полководцев и дипломатов, то мастер исторического романа в прошлом веке уже был обладателем одной глубокой истины. Он уже знал, что историю

делают не только цари, но и народы. Исторический романист в поисках материала обращается к изучению истории родного народа. Его внимание привлекает борьба эксплуатируемых против эксплуататоров, борьба за национальную независимость. Наиболее разительные проявления истории он отражает со своих классовых позиций, в пределах своего классового мировоззрения. Но вместе с тем он стремится постичь нравы, язык, «душу народа». Исторические произведения А. Пушкина и его учителя Вальтер-Скотта пропитаны фольклором, овеяны народным говором, песенным материалом. И хотя мировоззрение художника часто деформировало исторический факт, все же пристальное изучение жизни, нравов, языка народных масс являлось объективно передовым явлением, — отсюда шел путь к реалистическому роману прошлого века.

Советский исторический роман отличается от своего предка прежде всего по своему стилю. История раскрывается перед мастером советского исторического романа в свете философии революционного пролетариата, в свете той борьбы, которую пролетариат ведет за социализм, за построение бесклассового общества. И так как стиль социалистического реализма выражает в искусстве мировоззрение революционного пролетариата, советский исторический роман дает последовательное отображение исторической правды с позиций активной защиты интересов пролетарской революции.

Борьба эксплуатируемых и эксплуататоров, борьба народных масс за свое национальное освобождение — далекое и

близкое прошлое родного народа — содержит в себе богатый материал для советского исторического романа. Однако, построение бесклассового общества уже не является мечтой, но конкретным содержанием нашего труда, и самый труд впервые в истории человечества в корне изменил свой характер: из удела раба он стал уделом доблести, славы и героизма. Изменилось самое представление о герое. Деспот, враждебный широким народным массам, вождь иногда победной, но еще чаще разбитой наголову народной революции, — вот популярные герои старого исторического романа. Вожди и герои советской страны, ученые, изобретатели, труженики, чьи имена прочно живут в памяти народа, их жизнь, их творчество, полные самоотвержения и творческого пафоса, становятся объектом советского исторического романа, романа-биографии:

Герой больше не противостоит обществу, но в своем труде и творчестве отражает его заветные чаяния. Противоречия и трудности, которые стоят у нас на пути героя, не заложены в самой структуре общества и не носят непримиримого антагонистического характера. Значит ли это, что у нас путь героя устлан розами, что на его пути нет серьезных препятствий? Обломки разбитых классов живут. Они напоминают о своем существовании выстрелом из-за угла, ежечасным молчаливым, но упорным сопротивлением. Недостаточно сломить господство паразитических классов, нужно выкорчевать пережитки капитализма и в экономике, и в сознании людей. Социалистическая реконструкция человека осуществляется различными средствами. История, выраженная средствами искусства, становится оружием советского исторического романиста в его борьбе за социалистическую реконструкцию человека.

## 5. ЛИРИКА ВЕРХАРНА

К восьмидесятилетию со дня рождения

И. Анисимов

Колоссальная трагическая фигура Верхарна всегда будет вызывать изумление. Исключительны многогранность этого художника и глубина, с которой отразил он свое время.

«Один из критиков назвал Верхарна — Данте современной жизни. Это справедливо в том смысле, что после Бодлера не было поэта, который с равной силой отразил бы в своих стихах образы современности. Наши города, кишачие многомиллионной толпой, блеск и роскошь театров и концертных зал, сумрак и нищета трущоб, негаснущие огни фабрик и немолчный грохот их машин, стремительность поездов-молний, пути трансокеанских стимеров, медленное умирание деревень, звон золота в банкирских конторах, крик народа на баррикадах в день революции, — все стороны современной жизни нашли своего певца в Верхарне».

Так писал Брюсов, испытавший на себе, подобно другим поэтам своего поколения, необычайно сильное влияние Верхарна. Приблизительно в то же время другой писатель, с другого конца Европы, вторил ему почти в тех же выражениях:

«Вся наша эпоха отразилась в творчестве Верхарна, охватывающем все явления современности: мрачные силуэты больших городов, грозные волнения народных масс, копи и шахты, тихие монастыри, умирающие в тягостном забвении. Нет ни одной области духа, которую Верхарн не превратил бы в поэму: разрушительные социальные идеи, беспощадная борьба промышленности и сельского хозяйства, дьявольская сила, отрывающая людей от здоровой деревенской жизни и бросающая их в ужасающую сутолоку больших городов, трагедия эмиграции, финансовые крахи, блестящие успехи науки, философские концепции, достижения искусств и ремесел, все — вплоть до импрессионистской теории цвета. Все проявления со-

временной мысли, претворенные в стихах, отразились в произведениях Верхарна. Все находит отклик в прозорливой душе поэта».

Стефан Цвейг, которому принадлежат эти строки, опубликовавший в 1910 году тонкую и проникновенную монографию о значительном мастере, которого он считал своим учителем, как видим, нашел почти те же слова, что и Брюсов, чтобы выразить существеннейшее в Верхарне.

Совпадение это не случайно. Можно как угодно расценивать поэзию Верхарна, но нельзя пройти мимо того, что поэт стоял «на перекрестке», употребляя излюбленный его образ, всех стремлений современной ему жизни. Верхарн не укладывается в рамки какой-либо из существовавших в его время традиций, настолько выше он «дряблых химер» современного искусства.

Эпоха Верхарна — это «конец века», начало крушения буржуазного искусства и всей культуры. 80—90-е годы, когда написаны самые значительные произведения Верхарна, были для искусства эпохой трагической. Перед искусством обнажилась пропасть. Его жизненные соки иссякали. Была объявлена смертельная борьба реализму, то-есть самому значительному и яркому, чего достигло буржуазное искусство в XIX столетии. Еще писал свои реалистические романы Золя, но он становился все более одиноким, и «случай» Гюисманса, променявшего четкое и острое перо реалиста на монашескую рясу, утонувшего в самом диком мракобесии, для эпохи Верхарна характерен. Символизм, выступивший на смену реалистическому искусству, не даром имел вторым своим названием декадентство. Это было по-длинно упадочное движение, глубокий кризис буржуазного реализма, — ступень вниз, начало того краха буржуазного искусства, свидетелем которого мы являемся. Искусство все более суживало

свои возможности, замыкалось в необычайно тесном и бесплодном кругу, утрачивало подлинную жизненность, превращалось в очень тонкую, замечательно рафинированную, но лишенную прежнего значения область.

Верхарна часто числят среди символистов, но трудно представить более неверную, не соответствующую действительности классификацию. Правда, в поэмах Верхарна мы найдем черты, свойственные символистской поэзии. Все это сделалось настолько типичным, непреодолимым, что художник, стоявший «на перекрестке» всех путей своего времени, не избежал самого настойчивого и распространенного влияния. Но вся поэзия Верхарна направлена к жизни, а не отстраняется от нее. Неизбежная дань символизму, уплаченная Верхарном, — лишь накипь его поэзии, жизненность, реалистическая глубина которой огромны. Верхарн резко выделяется среди современной ему поэзии. Он кажется существом другой породы, занесенным в условия, породившие иную флору и фауну.

Символизм был, главным образом, явлением поэзии. Проза, на долю которой пришлось самые величественные достижения буржуазного искусства в XIX столетии, была в конце века областью, где еще действовали такие гиганты, как Золя, мучительно переживавший кризис своей школы, как большие соотечественники Верхарна — Камилл Лемонье и Экхоуд. Поэзия Верхарна тесно связана с творчеством последних могикан буржуазного реализма. Очень многое в поэмах Верхарна прямо соответствует «открытиям», которые сделал Золя в романах, столь потрясавших современников. К этому гранитному острову искусства, со всех сторон захлестываемому наводнением декаданса, Верхарн стоит неизмеримо ближе, чем к поэтам «Молодой Бельгии», изысканно-бледному Роденбаху, например.

Как для очень многих писателей последнего полувека, для Верхарна, уже в самом начале его пути, характерно сомнение в том, что большое искусство возможно. Слишком громко и победоносно раздается визгливый голос «ярмарки

на площади». Верхарн не случайно начинает с вдохновеннейшей стилизации старого фламандского искусства, с произведений, протитанных воспоминанием об ушедшем величии.

«Фламандки» — первая книга стихов Верхарна, появившаяся в 1883 г., впервые прочитанная Камиллу Лемонье и им восторженно оцененная, представляет попытку реалистической живописи в духе «старых мастеров». Верхарн сам называет имена Рубенса, Тенирса, Стэна, Бровера, но его стилизация гораздо шире охватывает великую фламандскую живопись XVII столетия.

«Фламандки» настолько проникнуты духом Рубенса, что о них можно говорить словами Тэна, написавшего в своих «Чтениях об искусстве»:

«... Никогда еще симпатия художника не обнимала природы так чистосердечно и всецело. Старые преграды, отодвигаемые уже много раз, как будто снесены теперь совершенно, и поприще открылось этим бесконечное. Исчезла всякая уступка историческим соображениям: художник совмещает аллегорические фигуры с действительными, ставит каких-нибудь кардиналов рядом с нагим Меркурием. Исчезла всякая забота о ображениях нравственных: в идеальное небо мифологии и евангелия художник вводит лица грубые или плутовские, какую-нибудь Магдалину в виде настоящей кормилицы, или Цереру, передающую на ухо соседке шутовское словцо. Нет никакой боязни оскорбить физическую чувствительность: художник доходит до последних пределов ужасного путем всевозможных мук истерзанного тела и судорог кричащей криком агонии. Нет ни малейшей боязни оскорбить чувство нравственное: художник из своей Минервы делает какую-то мегеру, готовую итти на кулаки, из своей Юдифи — какую-то мясничиху, для которой проливать кровь безделица, из своего Париса — пройдоху-зубоскала и отъявленного лакомку. Чтобы перевести на слова мысль, так громко выкрикиваемую его Сусаннами, Магдалинами, св. Себастьянами, его грациями, сиренами и всеми его празднествами, божескими и человеческими, идеальными и реальными,

христианскими и языческими, необходим язык Рабле. Он первый вывел на сцену все животные инстинкты человеческой природы; их прежде исключали, как явления слишком грубые, а он водворил их опять, как истинные; у него, как и в самой природе, они встречаются вперемешку с прочими. У него нет недостатка ни в чем, кроме самого чистого и благородного; в его распоряжении вся человеческая природа, кроме лишь высочайших ее вершин. Поэтому вымысел его шире всех когда-либо заданных и совмещает в себе решительно все типы: итальянских кардиналов, римских императоров, современных бар, мещан, крестьян, пастухов и коровниц».

Воссоздавая манеру «старых мастеров», воспроизводя изумительное полнокровие фламандских художников в противовес «дряблым химерам искусства нашего», Верхарн выступает против искусства, все более становившегося декадентским. Славя «иступление желаний кровавых, неистовый разгул тел», изображая жизнь как «пир, веселый и кмельной», ища жизни полноценной и яркой, ища страстей опаляющих и подлинных, поэт обращается к полотнам фламандских художников XVII столетия, а не к окружающей жизни. Первая книга Верхарна со всей ее неистовой реалистической стилизацией была произведением глубоко романтическим, преисполненным мечты и очень горьким.

В «Монахах» — второй книге стихов — сохраняется характер стилизации, но уже Мемлинг, Ван-Эйк, Роже Вандер-Вейден с их строгим, аскетическим бесстрастием глядят из-за поразительных спурф Верхарна. Решающее значение приобретает историческая романтика. Несказанное мужество, подлинная грандиозность, «героический символ великого прошлого» привлекают Верхарна в «искателях химер возвышенных». На всем протяжении творческого пути великолетие ушедших эпох истории тревожит поэта; в «Монахах» раскрылось с особенной ясностью, что эта любовь к прошлому порождена отвращением к окружающей действительности. Необычайно мрачен колорит поэм, столь

неудержимых в романтическом окрашивании прошлого.

Уже первая книга Верхарна сделала его заметным и известным, но она не принесла ему удовлетворенья. Для большинства подлинных мастеров культуры капитализм приготовил удел мук. Гармоническое, плавное, естественное развитие таланта капитализм сделал невозможным. Жизнь Верхарна полна страданий, поистине титанических.

В годы 1887—1890 возникает знаменитая трилогия: «Вечера» — «Разгром» — «Черные факелы», в которой Верхарн говорит только о безумии, гниении и смерти. Он был близок к помешательству, он был безнадежно болен, но в его стихах, «подъемлющих чашу мук», находит сокровище, наряду с психиатром и каждый читатель, они производили и производят огромное, неизгладимое впечатление, сквозь мучительную бредовость их проступают очень ясно вполне правдоподобные и жизненные очертания. Строки Верхарна изгрызли «псы безнадежности». Трилогия представляет выражение беспредельного отчаяния и полной разочарованности, в этой интимнейшей лирике раскрывается трагедия личности, утрачивающей себя. Сквозь всю цепь черных поэм проходит идея всеобщего обесмысления:

Бесмысленность растет, как роковой цветок,  
В провалах чувств и дум, в слепых глубинах  
воли,

Нет ни спасителей, нет ни героев боле;  
Нет ничего; гнием,—так повзрел нам рок<sup>1)</sup>.

Первое прикосновение Верхарна к действительности порождает жгучую, непреодолимую ненависть к ней и бездонное отчаяние, в этих строках Верхарна родилась поэзия, которой человечество еще не знало. Патологические обстоятельства лишь подчеркнули и углубили, придали безумную яркость образам, которые имели своей основой неизбежное разочарование поэта, попытавшегося с мерой Рубенса подойти к современной культуре, мельчающей и утрачивающей свою подлинность. И «муку

<sup>1)</sup> Перевод Г. Шенгели, как и во всех остальных случаях, где это не оговорено.

жадную, свой плач, свою тоску и ужас свой извечный» поднимает, как черное знамя, художник, начавший с поисков необузданной жизненности, яркости, света.

Жизнь распята в пустотах вечеров...

В одеждах цветом, точно яд и гной,  
Влачится мертвый разум мой.

Легко сблизить эту трилогию Верхарна со множеством пессимистических произведений символистской литературы, далеко не отличающейся жизнерадостностью. Мотивы, разработанные в «Вечерах», «Черных факелах», назойливы для литературы конца века. Гниение, тоска, отчаяние — все это можно найти у Верлена, Метерлинка, Маларме. Но для Верхарна это отнюдь не эстетический, до известной степени искусственный пессимизм. Его стихи потрясают своей глубочайшей подлинностью. Именно это возвышает их, делает поразительным свидетельством того, в какой тюрьме («О, ужас мой извечный») оказывается художник, который стремится к великому творчеству, который чужд поверхностности, все больше становящейся законом умирающего искусства.

Незабываемое «я изнемог» Верхарна потрясает, потому что в мучительных переживаниях, плодом которых явилась трилогия безнадежности, нет ни тени поэты, литературного приема, обыгрываемой традиции. Это — страшные страницы действительности.

Голгофы черные встают перед тобою.  
Внесем же к ним наш стон и нашу скорбь. Пора.  
Прошли века надежд беспечных над землею.  
И никнут к черному от крови водопою  
Распятые во тьме на небе вечера<sup>1)</sup>.

Пессимистический кризис Верхарна оказался необычайно упорным и очень длительным. Текли мучительные годы, но не менялось настроение поэта: «Моя душа! Она на мелях смерти».

О жизни, «от ужаса застывшей», продолжает говорить Верхарн. С иступ-

ленной настойчивостью он возглашает закон «державного, бескрайнего, извечного гниения». Он «задыхается», он «в тисках», он мучается «в колодцах смерти». Из-под его пера выходят произведения, которые нельзя читать, не содрогаясь. Трагедию творческой личности, не находящей возможности своего раскрытия, необычайно типичную для современного капитализма, Верхарн выразил с силой невиданной, он довел эту муку до последнего напряжения. Он нашел такие слова и такие образы, которые не могут быть забыты и никоим образом не оставят равнодушным. Исключительная сила этой мрачной поэзии Верхарна заключается в том, что страдания личности, потерявшей в джунглях современной цивилизации, даны с такой глубиной, что за страницами интимнейшей лирики возникает огромная общественная проблема. Нельзя не видеть чудовищности капитализма, породившей эти кимеры абсолютного отчаяния.



Кризис был так глубок и продолжителен, что речь шла о том, останется ли существовать Верхарн не только как художник, но и просто как личность. Верхарн вышел победителем только потому, что нашел новую почву. Он в пролетариате увидел свою надежду. Бельгийский социализм, с которым встретился Верхарн, был поражен оппортунистической болезнью, тень Вандервельде скрывала революционную сущность марксизма, но, несмотря на это, общение с рабочим классом Бельгии, создавшим в 90-х годах сплоченную, массовую организацию, было необычайно плодотворно для Верхарна, спасло его.

Встретившись с рабочим движением, Верхарн вырастает в мастера мужественных поэтических форм, пропитанных чувством массы, чувством большого города, предчувствием надвигающейся грозы. Верхарн стремится сделать поэзию выражением грандиозных конфликтов, освободить ее от налета камерности, сблизив ее с самыми животрепещущими проблемами своего времени, сделать поэзию самым полным ограждением

<sup>1)</sup> Перевод В. Брюсова.

бурной эпохи. Верхарн становится мастером социальной поэзии. Первое, что он с огромной силой воспроизводит, на чем он пробует силу своего вновь окрепшего голоса, — это смертельная схватка между патриархальной деревней и капиталистическим городом. В «Призрачных деревнях» и «Галлюцинирующих селеньях» Верхарн разворачивает огромную панораму патриархального деревенского уклада, гибнущего под пятой городской цивилизации.

Равнина? Вся—огонь и бред,  
Вся кровь и золото, — и бурей  
Уносится смертельный свет  
Там, в обезумевшей лазури.

Нескончаемый поток образов крушения, отчаяния и мрака ведет к обнажению реальных противоречий действительности. Поэт раскрывает недра подлинной жизни, Придавая трагедии деревни, разлагаемой капитализмом, «галлюцинирующие» очертания, он доводит до болезненной остроты восприятие изображаемого. Бредовой характер изображений («Песни безумного», проходящие сквозь весь сборник «Галлюцинирующих селений», символическая мельница, простирающаяся в отчаянии руки над гибнущей деревней: «мельница вращает ввечеру крест черных рук на яростном ветру») не отрывает лирику Верхарна от большого и полноценного социального содержания, а лишь подчеркивает напряженность, глубину развивающегося конфликта.

Ведь это смерть полей,  
Смотри, как дали хмуры.

Сквозь бредовую окраску образов проступает чрезвычайно реально, жизненно и полно показанная действительность. Возмущение Верхарна было стихийным, но он правильно видел безумие капитализма, дикую разнузданность его, торжество самых темных и отталкивающих инстинктов, варварство, которое несет с собой капитализм. Он мудро и пронизательно сделал «чужовищность» сквозным мотивом изображения капиталистической цивилизации.

Навязчивая тема преступления, неоднократно со страшной остротой раскры-

тая в произведениях Верхарна, наполняется глубочайшим содержанием. Этот беспощадный «символ» становится справедливой мерой капиталистической действительности.

\*\*\*

«Галлюцинирующие селения» нельзя оторвать от книги, представляющей как бы другую сторону единого замысла, — это «Города-спруты», одно из самых мощных произведений Верхарна. Здесь окончательно складывается совершенно своеобразная манера поэтического изображения, обращенная к новому, поэзией почти не осваивавшемуся содержанию. Подобно тому, как в романах Золя были изображены многие стороны капитализма, приблизившегося к своей последней стадии, подобно созданным Золя образам биржи, рынка, универмага, Верхарн дает в своей лирике, столь изумительно отразившей ритм большого города и движение огромных масс, заполняющих город, грандиозную серию урбанистических изображений.

Восприятие капиталистического города у Верхарна отличается большой сложностью. Впервые открытая для поэзии земля озарена отсветами трагического пожара, которым охвачены «Галлюцинирующие селения». Гибнущая в последних судорогах деревня, это — кошмарный фон, на котором вырисовываются очертания верхарновского города:

Увы! С равниною покончено без слов.  
Вот мельницы без сил, вот церкви неживые.  
Равнина бедная. То кашель агонии —  
Последний перезвон колоколов.

И рядом:

Под небом сажистым восходит из земли,  
Огромным золотым Фавором,  
Присоски черные раскрыв  
И ослепляя красным взором,  
Огромный град,  
Стальной и мраморный,  
Развратный и рабочий, —  
Спрут.

Здесь все имеет «роковую» окраску, все поставлено под знак трагического: «проспект чудовищный», «дворцы, дома,

проулки и базары хрипят и пенятся, об'яты страстью ярой», «хрипит, клокочет яростная стая заводов и печей», «магазин, огромный, как гора», кажется «зверем, струющим гром и пламя», чудовищный город «звездную пугает тишину». Перед нами — нечто противоположное, попирающее законы природы. Это — сама чудовищность; «спрут» для Верхарна — образ почвенный, глубокий, отражающийся в любом изображении города. Это — верхарновский «символ», имеющий, подобно «преступлению», неотразимую убедительность.

При такой «чудовищной», совсем не реалистической, окраске образов города мы находим у Верхарна богатое реалистическое содержание. Изображая жизнь города-спрута, поэт делает бесконечно много реалистических «открытий». Верхарновские образы города насыщены сознанием отталкивающего безобразия капиталистической цивилизации. При всей своей апокалипсичности они ведут к чистой правде. «Рабы вещей и тьмы, чьи руки наняты, чьи проданы умы» — говорит Верхарн, — разве эта крылатая формула лжеиндивидуализма не показывает, насколько мудро судил он о действительности!

Верхарн вплотную подошел к теме народа, к теме масс, скопившихся в каменных недрах «спрута». Он воспел не только «чудовищные проспекты» большого города, «грез и огней водоворот»,

... площадь, скверы и мосты,  
Где гроздьга газа голубые  
Бросают с темной высоты  
Лучи и мглу на мостовые,

но и толпы народа, в котором он пронизательно увидел зреющую бурю. Образ толпы у Верхарна с замечательной последовательностью перерастает в образ «мятежа», восстания:

.. прыжок в шумящий мир борьбы,  
Когда народ, сломав преграды вековые  
И кулаки подняв на темный лик судьбы,  
Брал приступок фасады золотые<sup>1)</sup>.

В эти годы Верхарн был уже связан с социалистическим движением. В понимание города он вносит много черт чисто патриархального, крестьянского

ужаса перед городской культурой, но единственной надеждой своей поэт считал рабочий класс. В двух планах Верхарн изображает большой город. Это — область мрака, но здесь же рядом (и это существенная особенность Верхарна) возникает другое восприятие города. Это — область «больших ожиданий». Город — это мир совершеннейшей техники, способной неслыханно обогатить человечество. Верхарн вдохновенно пишет об этом, как и в других случаях, впервые находя образы, создавая поэзию, не имеющую прецедентов. Так в прекрасном «Исследовании» материей поэтического изображения является обстановка лаборатории, технические приспособления и формулы. Из всего этого ткется стихотворение, для своего времени необычайно смелое:

Блестящие приборы,  
Воздушные, как мотыльки;  
Весы точнейшие, пружин дрожащих ленты,  
Квадраты, конусы, окружности, сегменты.

Изображение имеет здесь утверждающий, патетический характер, оно прямо противопоставлено образам «чудовищности». Это совершенно другое освещение. Резкой двойственностью отличается концепция города у Верхарна.

В книге, исполненной мрака, получает начало то, что определит более поздние работы Верхарна, что коренилось в его дружбе с бельгийским пролетариатом, — прекрасная и плодотворная область мечты о прекрасном, гармоническом будущем человечества. Здесь Верхарн дал много строк, впервые начинающих жить своей настоящей жизнью в наши дни и в нашей стране. Вместе с тем, как «город-спрут» оказался вместилищем громадных масс пролетариата, оказался кузницей небывало развернутого и укрепившегося коллективизма, самый образ начинает менять свои очертания, наполняясь новым содержанием. Черты «чудовищности» удерживаются, но рядом с этим занимают все больше места такие черты в образе города, которые делают его мостом к будущему, позволяют провидеть сквозь «безумие» действительности возможность ее полного изменения. Сборник «Города-спруты»

<sup>1)</sup> Перевод В. Брюсова.

заканчивается ясными строками поэмы «К будущему». Это — замечательная прелюдия к новым произведениям Верхарна, которые с такой силой выразили его «мечты, что создаются внове, в кипении надежд всей юностью земли».

Трагическая книга о городе завершается обращением к будущему. «Города-спруты» привели поэта к убеждению, что «тремит дорога под новой колесницею судьбы», что «вливается новый дух во грудь земли». Новая, патетическая концепция города у Верхарна имеет ряд существенных особенностей. Это несколько не похоже на лакирующую идеализацию большого города, получившую широкое распространение. Стефан Цвейг неправ, утверждая, что «Верхарн создал поэму большого города в дионисийском смысле, гимн нашей эпохи, всегда возобновляющегося экстаза современной жизни, неисчерпаемо прекрасной в своем беспрестанном обновлении». В Верхарне никогда не умолкает отвращение к уродливости большого капиталистического города; это — всегда «спрут». Даже в поздних, светлых, книгах Верхарна это —

... Угрюмый город, где лает  
с домов реклама.

Нет радостного дионисийства в образах города, данных Верхарном, его изображения гораздо более жестоки, суровы и правдивы. Но в грозном мраке рождается будущее. В «сажистом городе» сплываются гигантские коллективы, город насыщается духом восстания. Отсюда начинается мечта Верхарна. Здесь возникает возможность сказать о городе неожиданные слова:

Сады труда и чистых грез,  
Как чаши, полные святых сияний новых.

Урбанистические видения Верхарна содержат огромную, положительно ошеломлявшую современников сокровищницу образов, почерпнутых из источников, к которым поэзия до того не прикасалась. Это — равная гигантским полотнам Золя поэзия большого города, отразившая все своеобразие и всю новизну действительности.

«Тайна его творчества, — по словам Базальжета, — открывается, когда находишься в машинном отделении, среди грохота, искр, ударов молота, шипения и тяжелых вздохов, когда ощущаешь его запах, прислушиваешься к мощному пыхтению локомотива, завершающего свой путь, или когда сирена заатлантического гиганта прорезывает воздух заунывными жалобами. Неистовство мощи, опьянение силой, kloкочущие в строфах Верхарна, чувствуются только в движении машин, гордых своей ужасающей стихийностью и неумалимой точностью. Я чувствую себя близко к Верхарну не в молчании и уединении, необходимых для приближения к другим поэтам, а там, где сосредоточена деятельность мира и толпы людей». В этих мрачных недрах зарождается мечта Верхарна о справедливом и гармонически построенном человеческом обществе, мечта об обществе, архитектором которого будет пролетариат, выковывающий свою сознательность в чудовищных мастерских «города-спруга».

Следуя за «Галлюцинирующими селеньями» и «Городами-спрутами», «Зори» завершают трилогию, составляющую важнейшее звено в развитии Верхарна. Это замечательно плодотворная попытка вывести на сцену огромные коллективы и сделать их носителями действия. Если в лирике созидательно-конструктивная мощь пролетариата намечена ясно, но не дана еще в полностью развернувшихся образах, то здесь это является основой. Масса в «Зорях» трактована еще чисто унанимистически: «группы движутся, как единый герой со многими, не похожими один на другой, ликами», но узел драмы заключается в том, что в массах зреет идея восстания, что народ несет в себе великую возможность реконструкции мира. Так поэма «К будущему», завершающая «Города-спруты», получает в «Зорях» широко развернутую конкретизацию. Мы приходим к истокам мечты Верхарна.

«Лики жизни» (1899), «Мятежные силы» (1903), «Многообразное сиянье» (1906) — новая полоса жизни и творчества Верхарна, отмеченная небывалым



И гнев его, и ярость, и любовь,  
 То вместе свитые, то вьющиеся жадно  
 Вокруг его идей.  
 И мысль его, неистово живая,  
 Вся огневая,  
 Вся слитая из волн и страстей.  
 И жест его, подобный вихрю бури,  
 В сердца бросающий мечты,  
 Как сев кровавый с высоты,  
 Как благодатный дождь с лазури<sup>1)</sup>.

В этом поразительном стихотворении, чрезвычайно романтическом, овеянном духом самой восторженной и грозной патетики, самое существенное—конкретно. Верхарн средствами лирики строит образ глубоко типичный и увлекательный, образ, в котором заключено огромное жизненное содержание.

Трибун и Банкир являются двумя полюсами. Все восприятие действительности сосредоточено для Верхарна в этом противопоставлении: Банкир означает «чужовищность» капиталистической цивилизации, это новый облик «спрута»; Трибун—это грозная, ни перед чем не останавливающаяся сила, несущая обновление мира.

Все больше влечет Верхарна «мечтать о радостях», все больше становится он мастером не имеющих края фантазий о светлом грядущем. Мечта Верхарна опирается, не только на мирное торжество научного знания, но и на освежающую грозу «мятежа». Верхарн—поэт восстания—неотделим от Верхарна-мечтателя.

В «Многообразном сиянии» с большой полнотой выразилась утопия Верхарна: «как войско, ждет меня мечта над океаном». Все понимание жизни (а эта книга имеет подчеркнuto учительный характер) проникнуто сознанием возможности обрести гармонию, представить мир счастливым. В замечательных словословиях Миру, Мыслителю, Мечтам, Жизни, Страданию, Идеям раскрывается поразительное богатство жизнеутверждающих оптимистических образов. Все они, сливаясь в «Многообразном сиянии», имеют одно основание. Верхарн думает о будущем—о прекрасной поре, когда спадут стружья современной чудовищности. Эту радуж-

ную мечту Верхарна, эту глубочайшую уверенность в том, что настанет время, когда человечество будет счастливым, можно поставить рядом только с оптимистическим пафосом Роллана. Величественная, покоряющая патетика Верхарна сближает его с нами. Верхарн был предшественником тех мастеров культуры, которые сейчас сделались нашими соратниками, как Жид, Роллан, Шоу.

\*\*\*

Предвоенная эпоха, когда расцветает социальная утопия в верхарновской лирике, была эпохой оппортунизма в рабочем движении, — в Бельгии это имело особо яркое выражение. Верхарн, воспринявший социализм через Эмиля Вандервельде, гением художника однако поднимался над оппортунистическим болотом. Гений Верхарна через головы вождей социал-демократии достигал подлинных толщ рабочего класса, ими вдохновлялся, в них черпал свое величие. Это позволило Верхарну достичь тех высот, которыми являются его произведения. Но положение Верхарна было чрезвычайно сложным, — в великолепном взлете своем он отрывался все чаще от конкретных противоречий действительности, становясь все более отвлеченным, ему, как воздуха, не хватало революционного взгляда на мир. Это привело не только к трагическому концу художника, захлебнувшегося в шовинистической грязи, после того, как наступила война, и не нашедшего в себе сил подняться. Мечта Верхарна гораздо менее конкретна, чем она могла бы раскрыться, будь Верхарн вооружен подлинным представлением о социализме.

Последние годы жизни Верхарна убедительно свидетельствуют об этом. Мы наблюдаем горестную картину иссякания мечты Верхарна, превращение «Многообразных сияний» и «Мятежных сил» в очень спокойное и не богатое содержанием повествование «Всей Фландрии». Поэзия сытого и непритязательного благополучия, уюта, тишины, сентиментального спокойствия привлекает Верхарна. Вот к чему он соскальзывает

<sup>1)</sup> Перевод В. Брюсова.

после величественных строф «Многообразного сияния». Шовинистическое перерождение Верхарна совершилось отнюдь не в момент высокого творческого подъема, а тогда, когда уже назревал большой внутренний кризис, вызванный тем, что поэт не мог найти естественного перехода от мечты о гармонии жизни к подлинному «свершенью». Путь настоящей реконструкции мира не открывался для Верхарна, «социализм» Вандервельде слишком затуманивал эту великую цель.

Стихи Верхарна во время войны, это — падение великого художника. Перелистывать страницы «Алых крыльев войны» и «Окровавленной Бельгии» — мучительно. Переживаешь почти физическую муку, — так искажен здесь облик поэта. Все, что удалось в этих стихах, возмущает своей дикой несообразностью. Большинство строк настолько бледны, что недостойны Верхарна.

Эта творческая гибель поэта, наступившая гораздо раньше, чем он был

раздавлен колесами руанского поезда, служит поучительным завершением его трагической судьбы. Огромных высот достиг этот мастер, но он достиг этого мучительными рывками, затратой последнего напряжения своей энергии. Его жизнь была юдолью нечеловеческих страданий. Величие Верхарна заключается не только в том, что он создал столько мужественного, подлинного и прекрасного, что потрясает и долго еще будет потрясать, но в том, что сама жизнь его, которую Стефан Цвейг назвал справедливо «художественным произведением», есть замечательное воплощение трагедии гения в обществе, которое не способно уже выращивать гениев.

Трагическая судьба Верхарна типична. Капиталистическая цивилизация коверкала и уродовала гигантский гений Верхарна, подобно тому, как руанский поезд 26 ноября 1916 года разорвал на части его тело, полное соков жизни.

## Книжное обозрение

Л. ЕИКУЛИН. „Стамбул—Анкара—Измйр.“ — В. Канторович.

Л. Никулин. — «Стамбул—Анкара—Измйр». Документальная струя в творчестве Л. Никулина чрезвычайно сильна. В границах этого жанра Л. Никулин культивировал манеру приподнятого, лирического автобиографического рассказа о виденном. Сам о себе Никулин говорит, что он принадлежит к числу писателей, которые ничего не выдумывают.

В ряду советских писателей-очеркистов Л. Никулин занимает свое особое место, не столько по предметной теме своих произведений («капиталистический мир глазами советского гражданина»), сколько по своеобразной, пожалуй, в советской литературе ему одному присущей, манере повествования. Квалифицированный читатель непременно угадает авторство Никулина в каждом отрывке, принадлежащем его перу; не всякий писатель и, тем более, не всякий очеркист обладает столь индивидуализированным почерком.

К Никулину вполне применимо замечание Ник. Тихонова: «Документ, погруженный в сюжетный соус, не должен, однако, потерять ни очертаний, ни вкуса». Конечно, приведенное выше признание Никулина в том, что он «никогда ничего не выдумывает», не следует понимать буквально. Нет сомнения, что некоторые персонажи его очерков, воспомяющие довольно откровенно функцию гидов и предводителей различных слоев общества, не являются портретами конкретных людей. Ясно также, что в обильных вставных новеллах трилогии («Время, пространство, движение») Никулин произвел значительные перестановки во времени и в пространстве (против действительных событий), чтобы вывести их на автобиографическую магистраль рассказа. И, конечно же, писательское воображение помогло ему в придании его очеркам новеллистической законченности. Но без воображения нельзя написать ни хорошего рассказа, ни хорошего очерка. «Воображение, по словам М. Горького, — один из наиболее существенных приемов литературной техники, создающих образ. Воображение и заканчивает процесс изучения и отбора материала». Но воображение Никулина никогда не переходит той черты, которая лишает очерк его документального характера.

Другой особенностью Никулина является

лирико-субъективный характер его произведений. Автор, его индивидуальность нисколько не затемняются внешними событиями, и сами эти события — обычно весьма значительные — проходят сквозь призму авторского пристрастного, взволнованного восприятия. Эта положительная черта произведений Никулина позволила превратить его лучшее произведение — очерковую трилогию «Время, пространство, движение» — в своеобразный роман о становлении личности, не изменяя ее документального характера.

Наконец, Никулина отличает еще одна черта, столь характерная для очеркистов: склонность к дальним ассоциациям, к мобилизации по поводу наблюдаемого факта обильного познавательного материала, сбереженного памятью. Надо признать, что черта эта несколько гипертрофирована у Никулина, а обилие литературных реминисценций придает порой его произведениям привкус литературщины.

С формальной стороны Никулин обращает внимание своей склонностью к вставным новеллам, т.е. сюжетно законченным рассказам, вмонтированным в текст большого очеркового произведения, и к так называемым отступлениям лирического и публицистического характера. И тот и другой приемы, в конечном счете, украшают очерк, а публицистические отступления — Никулин умело пользуется ими — позволяют автору делать широкие обобщения, не превращая очерка в статью.

\*\*\*

Новая книга Никулина — о современной Турции. Л. Никулин был гостем молодой, дружественной Советскому Союзу Турции, возникшей на обломках султаната и окрепшей в боях за национальную независимость против могущественных империалистических держав. Никулин, по собственному признанию, был в Турции недолгий срок, и, не зная языка, не имея возможности вплотную познакомиться с жизнью крестьянства и пролетариата Турции, естественно, не мог исчерпывающе показать кемалистскую Турцию. Об этом примерно и говорит автор в «Эпилоге», беседуя с турком-интеллектом. Собеседник Никулина высказал сомнения в возможности правильного изображения чужой страны писателем, которому незнакомы ее нравы. Никулин ответил своему собеседнику цитатой из Бальзака: «Что же касается нравов,

то человек везде одинаков: везде без исключения борьба между богатым и бедным, везде она неизбежна». Собеседник Никулина иронически спрашивает, как же советский писатель, разделяющий доктрину о классовой борьбе, будет писать о Турции, стране, которая говорит об единстве нации. «Я вижу тот этап развития, на котором находится ваша страна, — отвечает Никулин. — Вы начали строить промышленность, вы поставили себе целью превратить крестьянскую страну в страну индустриальную, и это приводит в ярость западных империалистов; они — наши общие враги...»

Это — программные строки для всей книги. Социальные конфликты, которые, конечно, прищипывая современной Турции, не являются объектом специального внимания Никулина, но читатель все время помнит о них; на дальнейших этапах они неизбежно определяют ход событий. Эта позиция автора заставляет его испытывать восхищение в тех случаях, когда он оглядывается на героическое прошлое революционной Турции, разорвавшей цепи Севрского договора. Эта позиция определяет симпатию, с которой автор описывает многих современных деятелей Турции.



«Основой старой Турции был ислам. Что объединяет новую Турцию?» — этот вопрос задает себе Никулин и пытается последовательно ответить на него.

Наиболее убедителен ответ, относящийся к героическому периоду турецкой национально-освободительной революции. Рассеянные по всей книге воспоминания о том периоде, когда плохо вооруженные и голодные партизанские части, под руководством Кемаля, сначала остановили наступление греков, поддержанных Антантой, а потом прогнали их с турецкой земли, читаются с огромным вниманием. Интереснейшие страницы, относящиеся к истории революционной Турции, сосредоточены в главе, дающей характеристику Гази. Читатель узнает из нее не только о роли Кемаля в период партизанской войны, но и о его мужественном поведении в более раннее время, при разоружении турецких войск союзниками. И под конец очерка читатель, проследовав за автором на прием к президенту республики, видит «военачальника, одетого в штатский синий пиджак, политического деятеля, увлекающегося лингвистикой, историей и техникой языка, руководителя работ исторической и лингвистической комиссий».

Инцидент с клерком французской компании, которого уволили за разговор на турецком языке, поясняет читателю, как выросло чувство национального достоинства в новой Турции. Газеты вскользь оповестили об этом факте, не придав ему серьезного значения. Но в тот же день огромная толпа молодежи собралась на площади против дома французской фирмы и энергичными действиями подтвердила фактическую отмену унижительной капитуляции.

Профессора, поэты, политические деятели, журналисты, инженеры и другие представители

интеллигенции проходят через очерки Никулина, не только декларируя официальную идеологию буржуазно-демократической страны, но и раскрывая те идейные и лежащие в их основе социальные противоречия, которые свойственны, конечно, и Турции. Фигуры помещика-ростовщика, продажных журналистов и б. партизанского атамана, полаяния портретную галерею, достаточно ясно напоминают о классовых противоречиях в стране. К сожалению, Л. Никулин не сделал никаких или почти никаких попыток проникнуть поглубже в психологию встреченных им и, повидимому, типичных для своей социальной прослойки людей. Быт новой Турции, в частности такой институт, как семья, в стране, где только революция отменила многоженство, не нашел никакого отражения в очерке.

Пристрастие Никулина к символам побуждает его сталкивать противоположности: женщина в чадре проходит мимо европеизированной высшей женской школы; провинциальный мулла, приехавший в Измир, потрясен сценой морского купанья: голые турчанки спокойно раздеваются на пляже, неподалеку от мужчин. Эти символические противопоставления к сожалению, не больше, чем намек. В книге выведены две женщины — журналистка и доктор социальных наук, предстатели современных женщин Турции, но описаны они только с внешней стороны (и притом чрезвычайно бегло). Современная турчанка, детство которой протекало еще в гареме, а юность в государственной женской школе, не показана в книге Никулина. На эту ограниченность, односторонность портретных зарисовок, какие бы объективные причины ее ни вызывали, посетует читатель книги «Стамбул — Анкара — Измир».



Формальные, стилистические особенности Никулина проявились, конечно, и в рецензируемой книге. И в этой книге очерков о Турции читатель находится в непрерывном общении с автором. Этой цели — более полного развертывания авторской индивидуальности — служат, например, воспоминания о детстве в Одессе («Лето, июль, молодость...»), когда Турция мыслилась страной апельсинов и лимонов, молчаливых шкиперов из Трапезунда и величественных консулов Блистательной Порты. Дважды на протяжении книги автор возвращается к личной теме о возрасте, о мироощущении «пожилого» человека, и даже эта сугубо-личная деталь воспринимается, как нечто вполне закономерное в тексте книги.

В книге о Турции Л. Никулин по обыкновению блеснул общими историческими и литературными ассоциациями. Эта особенность никулинских очерков составляет и силу его, и слабость. Конечно, обширные экскурсы в историю Турции и особенно в историю взаимоотношений царской России и Турции служат к украшению книги. Само собой разумеется, что корреспонденции К. Маркса в «Нью-Йоркскую трибуну» об оттоманской Турции не могут и не должны быть обойдены в книге о современной Турции. Но не слишком ли много имен и цитат, приводимых буквально по каждому

поводу? Я проделал кропотливую работу над текстом Никулина, составил перечень имен, использованных автором в порядке реминисценций на различные факты и события современной Турции. Этот список писательского инвентаря не лишен интереса; поэтому приведу его здесь за некоторыми сокращениями.

Цитированные авторы: Маркс, Ленин, Л. Толстой, Пушкин, Тютчев, Стендаль, Гоголь, Бальзак, Екатерина II, Грибоедов, Лекорбюзье, Омар Хайям, Наполеон (а также коран).

Упомянуты в той или иной связи: Лоти, Фарвер, Клодель, Декобра, Кайзерлинг, Достоевский, Шпенглер, Цельсий, Шиллер, Шекспир, Батайль, Жуковский, Эсхил, Расин, Флобер, Дидро, Гегель (а также Шехерезада).

Упомянутые полководцы, государственные деятели и пр. серия султанов, византийских и русских императоров: Дурново, Греков, Тимур, Александр Македонский, Макдональд, Лоуренс, Кромвель, Болдуин, Бисмарк, Меньшиков, Горчаков, Дизраэли, Булгаков, Шафиров, Альфонс XIII, Фридрих II и т. п.

Я опустил здесь серию киноактеров и расcеянные в тексте намеки на различные литературные и исторические события, связанные с определенными именами.

Б. Агапов жаловался как-то на бедность ассоциаций в нашей очерковой литературе. Он написал наиболее разные по смыслу слова из очерка Герцена и одного советского очеркиста. Сравнение словарей оказалось, конечно, в пользу Герцена. Описывая пустяковый случай о путешественнике и его портфеле, Герцен попутно рассказал о Неполе, его чиновниках, о рус-

ском посольстве, о российском бюрократизме и люмпенпролетариях Италии. Агапов справедливо отметил у Герцена богатство знаний и умение наблюдать и мыслить, противопоставив его прямолинейному, обедненному современному очерку.

Никулин, как бы отвечая Агапову, продемонстрировал свою образованность, хорошую память; он обнаружил себя занимательным собеседником, умеющим окружить каждый наблюдаемый факт другими аналогичными фактами, способными раскрыть типические его черты и объяснить связь событий. Но не показывает ли приведенный выше перечень литературно-исторического инвентаря Никулина, что поток литературных ассоциаций, обрушивающихся на читателя, чересчур обилен?



«Стамбул — Анкара — Измир» — интересная и полезная книга. Хотя по материалу и по своим литературным качествам она уступает отличным очеркам того же автора об Испании, но все же как первая и почти единственная (о Турции еще писал П. Павленко) пока книга о современной Турции, она займет свое место в очерковой литературе. Многие портретные зарисовки и описанные в книге любопытные и замечательные встречи надо рассматривать как своего рода предварительные наброски. Вероятно, некоторые из этих встреч, характерных для эпохи, оживут заново в одном из последующих томов «Время, пространства, движения», когда автор будет чувствовать себя свободнее в распоряжении материалом.

*В. Канторович*

Редакция:

А. И. Безыменский.  
Ф. В. Гладков.  
В. В. Григоренко.  
И. М. Гронский.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».